

ББК 88+81
Я41

*Утверждено к печати
Учреждением Российской академии наук
Институтом языкознания*

Рецензенты:

д.ф.н. И.И.Чельшева
д.ф.н. В.Я.Порхомовский

Редакционная коллегия:

к.ф.н. Н.С.Бабенко (ответственный редактор),
д.ф.н. Д.Б.Никуличева, к.ф.н. В.И.Карпов,
д.ф.н. Т.В.Топорова, д.ф.н. Е.Б.Яковенко

Я41 Язык. Закономерности развития и функционирования: Сборник к юбилею Н.Н.Семенюк. – М.-Калуга. Издательство «Эйдос» (ИП Кошелев А.Б.): 2010. – 354 с.
ISBN 978-5-902948-80-3

Сборник научных статей отражает основные направления научного творчества Н.Н.Семенюк – ведущего специалиста в области отечественной германистики, теории развития литературной формы языка и нормализационных процессов.

Технический редактор: *А.Н.Комкова*

СОДЕРЖАНИЕ

Бабенко Н.С. К юбилею Натальи Николаевны Семенюк 5

Раздел 1. История германских языков и новые аспекты изучения

1. *Зеленецкий А.Л.* Некоторые вопросы построения фундаментальной исторической грамматики 11
2. *Сквайрс Е.Р.* Ареально-лингвистические основы истории нидерландского языка (к вопросу о нидерландо-нижненемецком языковом разделе) 20
3. *Чекалина Е.М.* Переводы Библии в зеркале новой истории шведского языка 45
4. *Топорова Т.В.* О поэтической терминологии (на примере скальдических кеннингов, отражающих космологические представления) 54
5. *Карпов В.И.* Об употреблении артиклеобразных элементов в древнегерманских сакральных текстах (на материале готских переводов Библии) 61

Раздел 2. Стратификация немецкого языка

1. *Копчук Л.Б.* Центростремительные и центробежные процессы при взаимодействии литературного стандарта и диалекта в сфере лексики и фразеологии 68
2. *Дубинин С.И., Тетеревенков А.Е.* Интеррегиональный контакт как фактор формирования лексической системы немецкого литературного языка 79
3. *Меркурьева В.Б.* Штрихи к портрету личности носителя диалекта 102

Раздел 3. Норма и варьирование: теория и реализация в языке

1. *Анисимова Е.Е.* О развитии теории нормы в современной лингвистике 112
2. *Гришаева Л.И.* О номинативных стратегиях и их варьировании 121
3. *Piirainen I.T.* Deutsche Berufsbezeichnungen in Pressburg/Bratislava. Aufzeichnungen im Bürgerbuch der Stadt aus den Jahren 1700-1767 135
4. *Таюпова О.И.* Роль синтаксических средств современного немецкого языка при реализации коммуникативно-прагматической вариативности в малоформатных текстах 145

Раздел 4. Стилистика: исторический и синхронный аспекты

1. *Германова Н.Н.* Историческая стилистика и проблемы кодификации литературного языка 158
2. *Потапова Р.К., Потапов В.В.* О научном стиле с позиций прагмафонетики 162
3. *Яковенко Е.Б.* Библейская переводческая традиция в Германии: исторический фон и национальное своеобразие 188
4. *Славятинская М.Н.* Стереотипность, традиция и творчество (еще раз о языке Гомера) 196
5. *Трошина Н.Н.* Стилистика и антропологическая лингвистика 213

Раздел 5. Историческая социолингвистика

1. *Нарумов Б.П.* Балкано-романский языковой ареал в аспекте исторической социолингвистики 219
2. *Радченко О.А.* Язык и раса: немецкая философия языка в плену национал-социализма 227
3. *Бабенко Н.С.* Раннее книгопечатание в Германии и его роль в развитии форм коммуникации 255
4. *Аликаев Р.С.* Об истоках немецкой научной литературы 271
5. *Кокова А.В.* Газетно-публицистический стиль в ряду других функциональных стилей письменной речи XIX столетия 276

Раздел 6. Исследования по лексике и грамматике современных германских языков

1. *Добровольский Д.О.* Что значит немецкая конструкция *vor sich hin*? 286
2. *Никуличева Д.Б.* Когнитивный смысл темпоральных оппозиций в английском и датском языках 296
3. *Сулейманова О. А.* Особенности семантики безличных инфинитивных конструкций 320
4. *Блох М.Я.* Фактор слушающего в формировании коммуникативного сообщения 327
5. *Терехова Е.В.* Рекуррентные конструкции как часть английского политического дискурса 333

Библиографический список научных трудов Н.Н.Семенюк 344

К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ СЕМЕНЮК

2010 год – юбилейный для Натальи Николаевны Семенюк, профессора, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института языкознания Российской Академии наук, авторитетного ученого и замечательного человека. Ее многочисленные труды по вопросам германского языкознания, истории и теории немецкого языка, по проблемам развития литературного языка и нормализационных процессов, по исторической стилистике хорошо известны не только германистам, но и специалистам в других областях филологии.

Научное творчество Натальи Николаевны непосредственно связано с именами выдающихся отечественных германистов – академиком В.М.Жирмунским, В.Г.Адмони, член-корр. РАН В.Н.Ярцевой; много лет тесным и плодотворным было ее научное сотрудничество с М.М.Гухман, с которой Н.Н.Семенюк связывали и очень теплые личные отношения. Будучи сначала ее аспиранткой, Наталья Николаевна стала затем коллегой по научной работе, результатом которой были совместные труды, заметно продвинувшие разработку целого ряда крупных теоретических проблем германистики.

Отличительной чертой научного творчества Н.Н.Семенюк является глубокое знание русской лингвистической и – шире – филологической традиции, умение рационально использовать богатый опыт своих предшественников при исследовании материала германских языков и в первую очередь – немецкого языка в его непрерывном развитии и преобразовании.

Кандидатская диссертация Н.Н.Семенюк «Язык нюрнбергской народной драмы XV века» (1954) была во многом новаторской как по замыслу и материалу, так и по глубине исполнения и значимости выводов. Опыт предпринятой ею реконструкции локальных языковых отношений в Германии XV века так и остался единственным в своем роде; до сих пор он считается образцом тонкого, аргументированного исследования исторического материала и глубокого историко-лингвистического мышления.

Весьма заметное место в отечественной германистике, а также в развитии теоретической базы исследования процессов формирования литературных языков занимают две монографии Н.Н.Семенюк «Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия» (1967) и «Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка» (1972). В этих работах гармонично со-

единяется рассмотрение крупных лингвистических проблем с детальным анализом обширного языкового материала. Впервые предметом серьезного лингвистического анализа стали ранние немецкие газеты, начиная с момента их появления в Германии в начале XVII века. Н.Н.Семенюк удалось убедительно продемонстрировать характер протекания нормализационных процессов в языке прессы и на этом материале сформулировать общие положения о закономерностях языкового варьирования, функционально-стилистической дифференциации языка и типологии процессов языковых изменений. Наталье Николаевне принадлежат очень точные и в высшей степени корректные определения кардинальных языковых категорий, являющихся базовыми в теории литературного языка. Такие понятия, как языковая норма, языковой вариант прочно вошли в научный обиход и обладают высоким индексом цитирования не только в работах отечественных лингвистов, но и зарубежных. Понятия диапазон и глубина варьирования выступают в исследованиях Н.Н.Семенюк важной частью предложенного ею метода изучения вариантных явлений в языке, а ее работы в этой области считаются приоритетными (см., в частности, главу «Норма» в коллективном труде Института языкознания РАН «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», 1970).

Многие публикации Натальи Николаевны стали результатом многолетнего научного сотрудничества, осуществлявшегося ведущими германистами нашей страны и лингвистами бывшей ГДР. В серии фундаментальных трудов «Основы развития немецкого литературного языка» (*Bausteine zur Geschichte des Neuhochdeutschen*), которая издавалась в Берлине с 1964 года по 1992 год (опубликовано 67 томов), появилась ее совместная работа с М.М.Гухман «*Zur Ausbildung der Norm der deutschen Literatursprache im Bereich des Verbs (1470-1730). Tempus und Modus*», где впервые была описана динамика развития грамматических категорий времени и модальности в немецком литературном языке и показана зависимость характера использования грамматических форм от целого ряда факторов.

Публикации Н.Н.Семенюк хорошо известны в немецкоязычных странах; они являются свидетельством бесспорно высокого профессионализма германистов из России, работы которых становились достоянием международной лингвистики благодаря существовавшему до 1991 года серийному изданию Центрального Института языкознания Академии наук бывшей ГДР «Лингвистические исследования» (*Linguistische Studien, Reihe A, Arbeitsberichte, Akademie-Verlag, Berlin*), представленного в общей сложности 212 выпусками.

Сотрудничество с немецкими языковедами успешно продолжается и после прекращения существования Академии наук ГДР. Работы Натальи

Николаевны по теории и истории немецкого языка, ее богатый научный опыт привлекают постоянное внимание германистов разных поколений и разных школ. Она является одним из авторов «Энциклопедии по проблемам изучения истории немецкого языка» (*Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung*) – фундаментального обобщающего труда в двух томах, к участию в котором были приглашены наиболее авторитетные германисты из разных стран. Ее статья «Социально-культурные предпосылки развития немецкого языка в нововерхненемецкий период» посвящена проблемам взаимодействия языка с разнообразными факторами внешней среды. В этой работе Наталья Николаевна высказывает идею о комплексном характере влияния экстралингвистических стимулов на язык, их иерархическом характере и неравноценном отражении в самом языке. Данная статья обобщает наиболее принципиальные положения, разработанные в отечественной школе германистики и получившие распространение в зарубежной германистике благодаря их объективности и убедительности.

Выступления Н.Н.Семенюк на международных конференциях, ее участие в коллоквиумах экспертов-германистов всегда сопровождается выдвижением новых, плодотворных идей, оригинальных и взвешенных суждений, точных и тонких формулировок по разным аспектам изучения языка. Ее мнение как германиста-профессионала всегда является высоко авторитетным в нашей стране и за рубежом.

Н.Н. Семенюк по праву входит в число создателей отечественной теории литературного языка как одной из форм существования языка. Эта теория в основных своих элементах нашла воплощение в уникальной по своим задачам коллективной двухтомной монографии «История немецкого литературного языка» (авторы М.М.Гухман, Н.Н.Семенюк, Н.С.Бабенко), где Наталье Николаевне принадлежат разделы, посвященные развитию немецкого литературного языка XII-XIII и XVII-XVIII веков. В основу монографии положена новая концепция построения истории немецкого языка и принципов описания процессов развития его литературной формы, которая отличается особым социальным, функционально-коммуникативным и стилистическим статусом в общей системе форм существования языка. Работа над этой монографией позволила уточнить традиционное членение истории немецкого языка на периоды и выделить наиболее значимые для развития языка основания для его периодизации. К данной весьма дискуссионной для германистов теме Н.Н.Семенюк постоянно возвращается в своих публикациях, обращая внимание на все новые аспекты, которые необходимо учитывать при создании непротиворечивой и объективной модели членения истории языка на отдельные этапы его развития.

В многотомном энциклопедическом издании «Языки мира», которое является уникальным сводом сведений о большом числе естественных языков, описанных по единой типологической схеме, Н.Н.Семенюк участвовала как один из авторов и редакторов тома, посвященного германским и кельтским языкам.

Многие работы Натальи Николаевны в последние годы посвящены рассмотрению вопросов стилистики, в частности, такому мало изученному ее аспекту, как историческая стилистика, серьезное изучение которой еще только начинается. В монографии «Очерки по исторической стилистике немецкого языка» (2000) она предлагает свою версию данной дисциплины, опираясь на достижения современной лингвистики в области изучения текста, социальных и функциональных дифференциаций языка, а также прагматических основ стилистических процессов. В каждом из десяти очерков Наталья Николаевна обсуждает кардинальные проблемы изучения стилистических дифференциаций в истории немецкого языка в их соотносительности с процессами языковых изменений. При этом стилистическая дифференциация рассматривается как один из видов варьирования, свойственного языку и в его системных свойствах, и при его функционировании. Связывая историческую стилистику с изучением текста, Наталья Николаевна подчеркивает, что именно текст является основным, а часто и единственным источником сведений о стилистической дифференциации исторического языкового материала. Для исторического аспекта изучения стилистических процессов это особенно важно, так как отдельные виды варьирования оказываются особенно тесно связанными между собой именно при исторических преобразованиях языка. Автор настоятельно подчеркивает, что процессы стилистического развития должны включаться в общую характеристику языковых изменений, так как только такой подход дает реальную возможность наиболее адекватно описать эти изменения.

Диапазон теоретических и историко-лингвистических проблем, которые попадают в поле непосредственных научных интересов Натальи Николаевны, очень широк: это изучение типологии форм существования языка, разработка принципов описания литературных языков и их истории, исследование языка в социолингвистическом аспекте и с учетом роли культурно-исторических факторов в развитии и преобразовании языка, определение соотношения системы, нормы, узуса, а также письменной и устной форм языка, выделение видов варьирования и рассмотрение проблем функционально-стилистической дифференциации языка.

Оригинальные, неизменно продуктивные идеи и гипотезы, выдвигаемые Натальей Николаевной, разрабатываются не только на материале германских языков. В последние годы Н.Н.Семенюк является руководи-

телем Проблемной группы по литературным языкам института языкознания РАН (совместно с В.Я.Порхомовским) и возглавляет большой коллектив лингвистов, ведущих специалистов по языкам разных групп и семей. В коллективных монографиях, опубликованных в разные годы – «Литературный язык и культурная традиция» (1994), «Языковая норма. Типология нормализационных процессов» (1996) «Устные формы литературного языка. История и современность» (1999), «Языковая норма и эстетический канон» (2006), развиваются идеи, связанные с концепцией литературного языка как высшей формы существования языка. Каждая из названных монографий содержит весьма разнообразный и интересный материал о состоянии и функционировании литературных языков как феноменов культуры, а также о характере протекания процессов их эволюции. В новом проекте Проблемной группы, который в настоящее время осуществляется под руководством Натальи Николаевны, в центре внимания стоят проблемы, связанные с изучением языковых процессов в контексте культурно-исторических парадигм.

Эта актуальная и перспективная для современного языкознания проблематика находит оригинальное преломление в новой монографии Натальи Николаевны «Развитие сложного предложения в немецком языке XII-XVIII вв.» (2010).

Основная идея этого исследования, в котором учитывается многообразный опыт отечественной и зарубежной германистики в области изучения исторического синтаксиса, заключается в том, что пути развития немецкого синтаксиса связаны не столько с генезисом гипотаксиса как такового, сколько с более четким структурным отграничением его от паратактических конструкций, а также с увеличением его употребительности в текстах. Структурные процессы, связанные с оформлением гипотаксиса, и определенные прагматические и стилевые тенденции, регулирующие относительную продуктивность обоих типов организации сложного предложения, перекрещиваются в отдельные периоды истории немецкого языка. Уровень развития всей совокупности синтаксических средств, определяющих структуру предложения, накладывается на функциональные характеристики содержания текстов, определяясь к тому же и некоторыми эстетическими и прагматическими канонами и традициями синтаксической организации разных видов и жанров письменности.

Новая монография Натальи Николаевны представляется очень своевременной по проблематике и глубокой по заложенной в ней и последовательно применяемой методике исследования языкового материала разных исторических эпох. Книга, несомненно, является существенным дополнением и уточнением к тому, что до сих пор существовало в области исторического синтаксиса немецкого языка; его описание традицион-

но относится к доменам международной германистики, в которой велико значение трудов отечественных германистов. Вместе с тем компактное, построенное на применении статистических данных историческое описание синтаксических структур и различных типов связи между ними дает представление о динамике языковых изменений и их направлении применительно к современному немецкому языку. И в этой монографии Наталья Николаевна дает образцы безупречного научного анализа языкового материала и исчерпанности в осмыслении самых разнообразных процессов и явлений, с точки зрения закономерностей развития языка, проявляющихся под влиянием множества факторов и стимулов в разные периоды его истории.

Считая язык объектом, которому присущи в высшей степени гетерогенные свойства, Наталья Николаевна всегда особо выделяет значение в нем эстетического компонента. И это не случайно: ее научное творчество, огромная организационная деятельность, стиль отношений с коллегами, друзьями и учениками являют собой знак высокой культуры, эстетического совершенства и неизменного изящества.

Наталья Николаевна ценит профессионализм, научную корректность, умение ясно излагать суть сложных научных проблем и облекать содержание в безупречную языковую форму. Все эти качества в полной мере присущи самой Наталье Николаевне, которая является бесспорным лидером отечественной германистики. Исключительная доброжелательность и человеческая отзывчивость притягивают к ней коллег разных поколений. Научная судьба многих из них связана с Натальей Николаевной, а ее имя с глубочайшим уважением и теплотой произносят в разных уголках нашей страны.

С сердечными поздравлениями и добрыми пожеланиями обращаются к Наталье Николаевне Семенюк в год ее юбилея многочисленные коллеги, друзья, ученики, с которыми она постоянно делится научными идеями, мудрыми советами и нежной дружбой.

Со словами искренней любви
и неизменного восхищения
от имени коллег
Н.С.Бабенко

Раздел 1

История германских языков и новые аспекты их изучения

А.Л. Зеленецкий

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ

Принципам построения исторической грамматики (ИГ) посвящена известная (и – в определенном смысле слова – программная) статья В.Н. Ярцевой, появившаяся около двадцати лет назад во время работы над фундаментальными историческими грамматиками основных западногерманских языков [Ярцева 1986]. В ней рассматривалось соотношение ИГ с другими лингвистическими дисциплинами, прежде всего со сравнительно-историческим языкознанием, исторической диалектологией, филологией и историей языка (ИЯ), а также с синхроническими описаниями языка. Не ставя задачи обсуждения проблематики статьи и предложенных в ней решений, представляется все же достаточно интересным попытаться развить и уточнить ее отдельные положения.

В первую очередь следует заметить, что в сфере сравнительно-исторического языкознания ИГ наиболее близка сравнительная грамматика той группы (или подгруппы) языков (СГ), к которой принадлежит язык, ИГ которого предполагается построить. Именно при разведении подлежащих компетенции ИГ и СГ языковых фактов открывается ряд моментов, затрудняющих принятие однозначного решения.

Часто главное различие ИГ и СГ усматривают в том, что первая исследует факты одного языка (идиома), связанные с эволюцией его системы, тогда как вторая – факты разных языков. Во то же время генетическая преемственность между разными временными этапами развития языка оказывается далеко не всегда бесспорной. Так, значительные трудности возникают в ИГ нидерландского языка, древний период развития которого письменными памятниками практически не представлен (за исключением единственного предложения, написанного, по всей видимости, на языке древнезападнофламандской диалектной окрашенности), что ведет к использованию в качестве так называемого древненидерландского материала текста, относящегося к лимбургскому ареалу [Миронов 1986, 9-10, 25-37]. Вероятно, не менее проблематично и генетическое соотнесение так называемого древнесаксонского, в первую очередь – языка Хели-

анда, с письменной практикой средненижненемецкого. Определенные сложности обнаруживаются и при установлении генетической связи древневерхненемецкого со средневерхненемецким и древнеанглийского со среднеанглийским. Иными словами, в ИГ западногерманских языков вопрос о прямой генетической преемственности между древним и более поздними периодами развития однозначного решения, по сути дела, не имеет. Напротив, в отношении генетической преемственности между языком среднего и нового периодов развития сомнений не возникает.

Во многом указанная коллизия возникает потому, что периодизация ИЯ традиционно основана на данных письменных памятников, которые отнюдь не безоговорочно могут рассматриваться как порожденные одной и той же языковой системой на разных этапах ее развития и в силу этого не исчерпывают источника ИГ. Последняя должна опираться и на некоторые факты, не нашедшие отражения в сохранившихся текстах и полученные путем внутренней реконструкции. Эту специально упоминаемую В.Н. Ярцевой особенность ИГ [Ярцева 1986, 24] демонстрирует, например, реконструируемая в качестве базы верхненемецкого передвижения согласных замена РП «звонкость» на РП «напряженность» [Раевский 1969, 17, 23-25; Lerchner 1971, 102] или реконструкция трехпадежной парадигмы неродовых личных местоимений во франкском [Зеленецкий 2006, 35-42].

В целом создается впечатление, что при периодизации ИЯ на основе функциональных критериев в какой-то мере дискриминируются факты чисто структурной преемственности развития языка. Бесспорно, такую периодизацию нельзя полностью отвергнуть, однако нужно ясно осознавать ее ограниченность, особенно очевидную при учете принципа языковой непрерывности А. Мейе [Мейе 1938, 54], строгое выполнение которого в ИЯ – и особенно в ИГ – сопряжено с известными трудностями, так что сам принцип приобретает характер постулата. Тем самым бесспорным различием ИГ и СГ оказывается только присущая им ориентация сравнения, преимущественно проспективного в ИГ и полностью ретро-спективного в СГ. Лежащие же в основе этого различия посылки о возможности или же – соответственно – невозможности отнесения сравниваемых языковых фактов к одной и той же системе очерчиваются весьма нечетко.

Второе различие ИГ и СГ связано с их отношением к письменной фиксации языка. Если ИГ в целом основывается на материале сохранившихся памятников письменности, то в СГ реконструируется состояние, предшествующее их появлению. Однако и этот, казалось бы, самоочевидный критерий не снимает всех сложностей описания дописьменных стадий развития письменно засвидетельствованных языков. Для немец-

кого языка такая стадия развития была обозначена в свое время как «протопериод» [Зеленецкий 2006, 12-13]. Очевидно, что изучение протопериода подлежит одновременно компетенции ИГ и СГ, ибо составляя предмет ИГ, он может быть описан лишь путем реконструкции, т. е. посредством методики СГ. Это обуславливает актуальность изучения протопериода, тем более что относящиеся к нему факты языкового развития обычно обсуждается в разделах, посвященных древнему периоду развития языка (см., например, [Иванов 1964; Жирмунский 1956а; Москальская 1959; Филичева 2003]), что едва ли безусловно корректно.

При описании протопериода ИГ вынуждена оперировать реконструированными формами, по определению являющимися формами устного языка, иначе – формами диалектными. Отсюда проистекает ее соприкосновение с диалектологией, при этом не только с диалектологией исторической, но и с описанием современных диалектов, которые в силу большей динамичности по сравнению с письменным языком порой демонстрируют тенденция развития, не получившие отражения в письменном языке или им не принятые.

В качестве примера достаточно напомнить известный факт отмирания претерита в ряде немецких и нидерландских диалектов [Жирмунский 1956б, 452-454, 531; Миронов и др. 2000, 245-246], практически не представленный в письменно-литературном языке. Это до сих пор не получившее однозначного толкования явление¹, как кажется, вскрывает одно из главных противоречий классической ИГ, основанной преимущественно на данных письменных текстов и поэтому а priori недооценивавшей данные диалекта. В то же время ясно, что именно узус диалекта как устной формы существования языка характеризуется малой частотностью простого прошедшего как граммемы со специфической семантикой нарративности, к тому же максимально маркированной во временной микропарадигме германского глагола [Зеленецкий, Новожилова 2003, 62]. Иными словами, предпосылки вытеснения претерита перфектом и превращения последнего в единственную форму прошедшего времени² были обусловлены прежде всего сущностной спецификой диалекта.

Если для ИГ большинства германских языков, различающих простое и аналитическое прошедшее, этот факт малосуществен, то для ИГ таких языков, как африкаанс и идиш, важно выделение именно данной тенденции развития, прослеженной для африкаанс Й.Э. Лубсером [Loubser

¹ Достаточно спорным представляется в данном случае среди прочих версий также апеллирование к весьма неясным морфонологическим факторам [Мигачев 1991, 109-115].

² Плюсquamперфект принадлежит не временной микропарадигме глагола, но сфере таксиса.

1961]. Не исключено, что дополнительным фактором исчезновения в этих языках претерита, помимо специфики диалектной базы их литературной нормы, стало также позднее появление письменных памятников и обусловленная этим относительно поздняя нормализация без опоры на сложившуюся письменную традицию.

Таким образом, обеспечивающее полноту описания обращение ИГ к данным диалектологии не позволяет ей ограничиваться лишь системно-структурным аспектом языка и ведет к ее соприкосновению с ИЯ, историей литературного языка и социолингвистикой в целом. Иными словами, жесткое разграничение ИГ и СГ во многом произвольно и имеет характер постулата.

В сфере взаимодействия ИГ и диалектологии актуален также вопрос о том, какой конкретный идиом (на том или ином этапе его развития) следует называть языком, а какой – диалектом последнего. Будучи второстепенным для СГ, где обозначения «язык» и «диалект» выступают как синонимы, различие языка и диалекта существенно для ИГ, где среди прочих проблем обсуждается также и территориальное варьирование языка. В германистике в данном отношении хорошо известен прецедент со статусом нижненемецкого, который традиционно считался немецким диалектом и системная самостоятельность которого, равно как и его несоотнесенность с верхненемецким в системном плане – по меньшей мере для времени до XVI в. – была признана лишь сравнительно недавно¹. Во многом это справедливо и для социолингвистического аспекта проблемы.

Сходным образом решается иногда в отечественной – как, впрочем, и в немецкой – германистике также вопрос о статусе средненидерландского, рассматриваемого как региональный вариант немецкого языка среднего периода развития (например, [Москальская 1959, 35; Бах 1956, 133]), хотя в так называемый средненидерландский период (XIII – XV вв.) в Нидерландах существовало не менее трех областных разновидностей письменно-литературного языка.

Конечно же нельзя не учитывать того обстоятельства, что в обоих случаях источником расширительного использования обозначения «немецкий» было применение для рассматриваемых идиомов самоназвания «нижненемецкий» (нем. Niederdeutsch, нид. Nederduits), сохранившегося как наименование языка севера Германии вплоть до настоящего времени, тогда как для языка Нидерландов с начала XVI в. засвидетельствовано также новое самоназвание *Nederlands*, на протяжении XIX в. вытесняющее старое *Nederduitsch*. Однако подобной «неаккуратностью» при употреблении самоназваний языков едва ли можно оправдать недостаточно

¹ Специально об этом см. [Сквайрс 1995, 29-30].

строгое различие явно неидентичных в системно-структурном и социолингвистическом планах идиомов в специальной литературе.

При обозначении социолингвистического статуса среди континентальных германских языков (диалектов) «повезло» лишь фризскому, который, как кажется, не выступал в ИГ в качестве диалекта или же регионального варианта немецкого языка, хотя в рамках истории нидерландского языка, особенно в отношении его регионального варьирования, судьба фризского отчасти напоминает судьбу нижненемецкого. Правда, чисто структурное сходство фризского и нидерландского при этом больше, нежели сходство ниже- и верхненемецкого, а фризские диалекты участвовали в формировании диалектной базы литературной нормы новонидерландского языка.

Вполне объяснимым кажется в связи с изложенным в целом позитивистский подход к формированию материала ИГ путем указания на ареальную принадлежность его источников (памятников). Примером может служить средненидерландская грамматика М.Л. ван Хелтена, где средненидерландский определяется как диалектная группа XIII – XV вв., представленная документами из Фландрии, Брабанта, Лимбурга, Голландии, Утрехта и части Гелдерланда [Helten 1887, 222]. Еще категоричнее ограничивает материал своей средненидерландской грамматики XIII в. Г.С. Овердип, перечисляя послужившие для ее построения тексты [Overdier 1946, 6]. По сути дела, во многом произволен и общепринятый состав древневерхненемецких памятников, достаточно гетерогенных в чисто языковом отношении. Таким образом, корпус материала ИГ конкретного языка, всегда в какой-то мере условен и включаемые в него языковые факты не отражают реального многообразия форм и вариантов некоего языкового состояния (ареала определенной эпохи), но ограничены преимущественно письменно-литературным языком, описанием которого традиционная ИГ на деле оказывалась.

Вместе с тем, истолкование фактов языкового варьирования (свободного и контекстно обусловленного) как диалектического единства синхронии и диахронии является самоочевидной посылкой фундаментальной ИГ [Ярцева 1986, 5-6]. Так, например, такой случай варьирования в современном немецком языке, как переходное именное склонение, объясняется именно в ИГ (см., например, [Paul 1956a, 41-49; Жирмунский 1956a, 198-199]) и часто сопровождается историческим экскурсом в нормативных грамматиках [Jung 1980, 276-277] и тем более в исследованиях динамики развития современного языка [Entwicklungstendenzen... 1988, 195].

В то же время, как кажется, не все случаи варьирования безусловно подлежат компетенции ИГ. Так, в нидерландском письменно-

литературном языке XVI в. одновременно с формированием так называемого общего падежа отмечена и архаизирующая нормализация падежной флексии с попыткой установления шестипадежной системы имени по образцу латыни [Миронов и др. 2000, 72]. Однако если первая, представляя собой факт динамики строя языка, принадлежит ИГ¹, то архаизирующая нормализация развитию строя языка противоречит и принадлежит поэтому сфере функционирования как аспекту ИЯ.

Противоречивое отношение одной и той же тенденции развития языка к ИГ и ИЯ отчетливо прослеживается на примере так называемой «тенденции к монофлексии» в немецком языке с ее достаточно сложным переплетением свободного и альтернативного варьирования. В частности, известно, что в именной группе с нулевым или элиминированным артиклем первое из двух согласованных препозитивных прилагательных обычно выступает в сильной форме, а второе, если оно семантически более тесно связано со стержневым словом, т. е. в случае реализации скрытой категории ингерентности, – в слабой. Например, *gutes alten Weines*; *gutem alten Wein* [Paul 1956b, 101-102]; *mit außerordentlich dickem schwarzen Haar* [цит. по, Адмони 1973, 230]; *die Auslage schöner seidenen Stoffe* [цит. по, Шендельс 1952, 66]. Однако, согласно Г. Паулю, на рубеже XIX-XX вв. употребление слабой формы в подобных контекстах сужается [Paul 1956b, 102], что ведет к восстановлению полифлексивности. Тем самым в письменно-литературном языке прослеживается своего рода архаизирующая регламентация, иллюстрацией которой может быть исправление слабой формы прилагательного на сильную при переиздании романа В. Бределя «Отцы» в случае *auf Stuben mit weniger starkem politischen* (испр. на *politischem*) *Interesse*, где интересно еще и то, что прилагательные синтаксически неравноценны, но входят в состав распространенного определения.

Напротив, в устно-разговорном языке монофлексия проявляется в последнее время в употреблении слабой формы указательного местоимения корня *dies-* в сочетании с родительным падежом имени (типа *diesen Jahres*). Это сочетание было встречено (нами) в середине 70-х гг. также в письменном тексте договора между универмагами городов Зуль и Калуга во времена существования ГДР. Тем самым можно видеть, что низшая страта по сравнению с письменно-литературным языком более подвижна и относительно четко показывает тенденцию развития грамматического строя. На материале письменно-литературного языка последнего времени тенденцию к монофлексии демонстрируют именные группы вида *diese Art Menschen* или *zwei Sack Mehl*.

¹ Об ИГ как о выявлении поступательного движения языка см. [Ярцева 1986, 9].

Уточнение отношения ИГ к языковому варьированию показывает, что в строгом смысле слова она ограничена исследованием имманентных подсистем языка типа фонологии и морфологии, тогда как все многообразие языкового варьирования, при описании которого полное отвлечение от функционирования языка – и прежде всего от его стилистической дифференциации – невозможно, подлежит изучению ИЯ, частью которой, по справедливому замечанию В.Н. Ярцевой, ИГ является [Ярцева 1986, 10].

Эту ограниченность предмета ИГ строевыми (имманентными) подсистемами языка обнаруживает также ее соотношение с синхронической грамматикой в сфере методики.

Речь здесь идет, в частности, об оптимизации представления структуры языка при раскрытии динамики языкового развития. Можно полагать, что весьма перспективен в этом случае так называемый полевой принцип, раскрывающий многообразие средств передачи некой языковой семантики (грамматической категории). В синхронической грамматике такой подход известен под именем грамматико-лексических (обозначение Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс) или функционально-семантических полей (обозначение А.В. Бондарко). В ИГ он позволяет представить развитие грамматической техники как перемещение в пределах некоторого поля. Так, развитие аналитизма в системе имени с переходом от флексии как средства выражения падежного значения к использованию предложных конструкций и порядка слов выглядит как движение от центра грамматико-лексического поля падежа к его периферии (образ поля см., [Зеленецкий 2004, 106-109]). Наоборот, процесс формирования артикля с точки зрения полевого принципа предстает как движение от периферии поля, образуемой разными типами местоимений с их относительно расплывчатой семантикой, к его центру, которому принадлежат однозначные служебные слова и даже – в случае постпозитивного артикля – своего рода аффиксы (о структуре поля артикля см. [Зеленецкий 2004, 132-133]).

Изложенные соображения позволяют полагать, что в отличие от синхронического описания языка, ИГ логичнее строить не столько по таким традиционным разделам, как подсистемы фонем или части речи и их грамматические категории, сколько соответственно некоторым тенденциям развития в рамках имманентных подсистем языка. В исторической фонологии для обозначения структурной сущности подобных изменений (перестроек) фонемной микросистемы, лежащих в основе некоторой тенденции ее развития, в свое время было предложено название «диахронема» [Рапопорт 1978, 2-3].

Как кажется, имплицитно это понятие применялось в исторической фонологии уже достаточно давно, что отразилось в таких традиционных

обозначениях перестроек фонемных систем, как дифтонгизация, монофтонгизация, умлаут, палатализация и т. п. Соответственно так называемым эволюционным линиям, в понятии которых обобщено понятие диахронемы, изложен материал исторической фонологии германских языков [Плоткин 1982], являющейся также блестящим образцом СГ.

В то же время организация исторической морфологии как раздела ИГ обычно мало отличается от организации соответствующего раздела синхронической грамматики. Здесь представлены те же главы и подглавы о частях речи и их категориях и лишь изредка – особые разделы с обсуждением аналитических тенденций в системе имени или истории аналитических глагольных форм (например, [Жирмунский 1956а, 204-212, 181-290]). Специальных разделов, посвященных унификации глагольного словоизменения, динамике морфологических классов глаголов или опрошению синтетических глагольных форм, ИГ, как правило, не содержит. Вместе с тем именно таким образом в ИГ можно оптимально представить тенденции языкового развития. Так, на древней тенденции к омоформии 1-го и 3-го лица мн. числа глагола во франкском ареале основана структурная идентичность микропарадигмы мн. числа глагола немецкого и нидерландского языков в противовес языкам ингвеонского ареала [Зеленецкий 2006, 120-122], а такие уже обсужденные динамические тенденции (диахронемы) в грамматике, как развитие монофлексии и элиминация претерита, принадлежат сфере взаимодействия исторических морфологии и синтаксиса.

Что касается исторического синтаксиса, то в нем описанию тенденций развития обычно уделяется больше внимания (см., в частности, [Адмони 1963; 1973; Миронов и др. 2001]).

В заключение следует подчеркнуть, что как раздел исторической лингвистики ИГ характеризуется достаточно четко очерченным объектом, что обеспечивается прежде всего построением ее в соответствии с рядом имплицитных договоренностей (постулатов).

Литература

- Адмони В.Г.* Исторический синтаксис немецкого языка. М., 1963.
Адмони В.Г. Пути развития грамматического строя в немецком языке. М., 1973.
Бах А. История немецкого языка. М., 1956.
Жирмунский В.М. История немецкого языка. М., 1956а.
Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М., 1956б.
Зеленецкий А.Л. Истоки немецкого языка. Калуга, 2006.
Зеленецкий А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков. М., 2004.

Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания. М., 2003.

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. М., 1964.

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

Мигачев В.А. Проблемы диахронологической морфонологии германских языков. Белгород, 1991

Мионов С.А. История нидерландского литературного языка (IX – XVI вв.). М., 1986.

Мионов С.А. и др. Историческая грамматика нидерландского языка. Кн. 1, Фонология. Морфология. М., 2000.

Мионов С.А. и др. Историческая грамматика нидерландского языка. Кн. 2, Синтаксис. Заключение. Калуга, 2001.

Москальская О.И. История немецкого языка. Л., 1959.

Плоткин В.Я. Эволюция фонологических систем. М., 1982.

Раевский М.В. Верхненемецкое передвижение согласных и факторы фонологической эволюции // ВЯ. 1969. № 4.

Рапопорт М.Я. Системность фонологической эволюции (сдвиг гласных в английском, нидерландском, немецком языках). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1978.

Сквайрс Е.Р. Место нижненемецкого в изучении и периодизации истории немецкого языка // История германских языков в современной высшей школе России. Сб. научн. трудов. Калуга, 1995.

Филичева Н.И. История немецкого языка. М., 2003.

Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. М., 1952.

Ярцева В.Н. О принципах построения исторической грамматики языка // ВЯ. 1986. №№ 5 – 6.

Entwicklungsstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache / Herausg. von K.-E. Sommerfeldt. Leipzig. 1988.

Helten van W.L. Middelnederlandsche Spraakkunst. Groningen, 1887.

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig, 1980.

Lechner G. Zur II. Lautverschiebung im Rheinisch-Westmitteldeutschen. Halle, 1971.

Loubser J.E. Die samengestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans. Groningen, 1961.

Overdiep G.S. Vormleer van het Middelnederlandsch der XIII^e eeuw. Antwerpen, 1946.

Paul H. Deutsche Grammatik. In fünf Bänden. Halle, 1956 a. Bd. II.

Paul H. Deutsche Grammatik. In fünf Bänden. Halle, 1956 b. Bd. III.

Е.Р. Сквайрс

**АРЕАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИИ
НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКА (К ВОПРОСУ О НИДЕРЛАНДО-
НИЖНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКОВОМ РАЗДЕЛЕ)**

«Dutch is a mixture of Frankish, Saxon and, to a lesser extent, Frisian. Accordingly, it is dialectally the most complicated of any Germanic speech community»,¹ – в этом определении истоков (древней базы) нидерландского языка его автор Т. Марки одновременно указывает и на трудность, связанную с их изучением. Благодаря своему центральному, а значит, – промежуточному, – положению в германском мире это языковое сообщество соединило и развило разнообразное по происхождению и смешанное по характеру языковое наследие.

Смешанное истевоно-ингвеонское происхождение, о котором говорит Марки, не является, однако, исключительной особенностью нидерландского языка; напротив, смешение характеризовало весь север европейского континента уже в эпоху до вычленения древнегерманских языков, наложив отпечаток и на другие возникшие здесь языки. В особенности это касается нижненемецкого – соседнего по отношению к нидерландскому языку и наиболее близкого ему как в лингвогенетическом, так и в структурном плане.² Очевидно, в каждом случае особыми являются иерархия и доли участвующих страт. В случае нидерландского языка своеобразие его генетической базы выражается формулой, предложенной С. А. Мироновым: «франкское ядро и ингвеонский субстрат»³. В этой фор-

¹ *Markey, Thomas L.* Germanic Dialect Grouping and the Position of Ingvaenic (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Hrg. W. Meid. Bd. 15) Innsbruck, 1976. S. 43.

² Из многочисленных работ, посвященных языковому смешению в ранней истории нижненемецкого см., например: *Dal, I.* Altniederdeutsch und seine Vorstufen. In: Handbuch zur niederdeutschen Sprachwissenschaft. Mitarb. G.Cordes, D.Möhn. Berlin, 1983; *Sander, S. W.* Altsächsische Sprache, in: Goossens J. (Hrg.). Niederdeutsch. Sprache und Literatur. Bd.1: Sprache. Karl Wachholtz Vlg., Neumunster, 1973). S.28-65, hier: S. 30-31; из отечественных работ: *Сквайрс Е.Р.* Ареальная база истории нижненемецкого языка Ганзы. Москва, МГУ, 1997(а), с. 22-125; *она же*, Языковые контакты в балтийско-североморском ареале как фактор истории нижненемецкого. Автореферат докторской диссертации. Москва, МГУ, 1997(б), с.1-29; *Skvairs, Ekaterina.* Altsächsisch-alt niederfränkisches Kontakterbe und sein Fortleben im Niederdeutschen// Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. RO-DOPI, Amsterdam-Atlanta, Nr. 55 (2001). S. 27-60.

³ *Миронов С.А.* История нидерландского литературного языка (IX-XVI вв.). Москва, 1986. С. 21.

муле содержится характеристика нидерландского как по преимуществу (нижне)франкского, которая, однако, сочетается с хронологическим приоритетом ингвеонской доли. Такая конфигурация хронологических и диалектных пластов на первый взгляд необъяснима, если иметь в виду территории расположения языков в данном регионе. Однако, в определенный исторический период, очевидно, должны были существовать географические и коммуникативные условия, обусловившие именно такое развитие. Значит, для понимания этой своеобразной языковой судьбы необходимо найти ту территорию, где могла сложиться данная смешанная форма.

1. Нидерландский и нижненемецкий

Из сказанного ясно, что наиболее крепким узлом в проблеме истоков нидерландского языка является вопрос о его восточной границе с нижне-немецким. Однако и с началом ранней письменной фиксации перед историками нидерландского языка по-прежнему стоит трудность, связанная с определением ареальных отношений по линии запад-восток. Как известно, в отношении единственного памятника древней эпохи, Вахтендонкских псалмов IX в. существуют сомнения именно географического характера, связанные с его локализацией к востоку или к западу от нидерландо-нижненемецкой языковой границы. Особенности языка псалмов (отсутствие признаков вокализации -oud- и озвончения *f, s*, характерных для раннего средненидерландского) были причиной выдвижения гипотезы о существовании другого, более западного варианта нижнефранкского, обладавшего этими и другими чертами, благодаря которым развившийся на его основе средненидерландский отличается от соседних языков, в том числе средненижненемецкого. Этот западный вариант и понимается сторонниками данной гипотезы как древненидерландский в строгом смысле,¹ несмотря на почти полное отсутствие письменных свидетельств его существования. Вахтендонкские же псалмы с позиций этой гипотезы вообще не являются нидерландским языковым памятником.² Как мы увидим ниже, аналогичные проблемы, связанные с неоднозначной атрибуцией, возникают и у других языковых источников, происходящих из этой области, что заставляет думать о действующих здесь лингвогеографических факторах.

¹ См. обзор по данной проблеме: *Миронов* 1986, 9-10, 37-38; а также: *Kyes, Robert L.* The Old Low Franconian Psalms and Glosses. Ann Arbor, 1969. P. 6-10.

² Это мнение настолько утвердилось среди значительной части лингвистов, что его приводят в учебной литературе по германистике, ср. *Берков В.П.* Нидерландский язык. / *Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н.* Введение в германскую филологию. М., "Высшая школа", 1980. С. 224-234.

Однако вернемся к вопросу о местонахождении линии нидерландо-нижненемецкого языкового раздела. Традиционно делались попытки связать ее с границей между древненижнерфранкским и древнесаксонским, хотя и признавалась неудовлетворительность такого решения: «...auch aus älteren denkmälern wird die sprachgrenze zwischen beiden (Franken und Sachsen, E.S.) schwierig zu ermitteln sein».¹ Переход к допущению, что обе эти границы не обязательно должны совпадать, совершался постепенно, ср.: «Die Grenze zwischen dem Altniederländisch und Altsächsisch läßt sich schwer ziehen»,² приводя в конце концов к признанию, что «für die alte Zeit eine sichere Unterscheidung zwischen Niederdeutsch und Niederländisch kaum möglich erscheint».³

Проблема нидерландо-нижненемецкого языкового раздела также традиционно интересует историков нижненемецкого регионального языка, поскольку она и для них связана с методологически сложной проблемой ареальной базы. А. Лаш различала нижненемецкий в широком смысле, то есть «северную группу континентальной западногерманской ветви»⁴ (объединяя на определенном этапе историю нижненемецкого и нидерландского языков), и в узком смысле - «die ganz oder hauptsächlich auf sächsischer grundlage erwachsenen dialekte», т.е. диалекты Германии к северу от линии передвижения. За истекшие десятилетия делались попытки примирить «широкий» и «узкий» подходы; обобщая итоги этих попыток, Я. Госсенс⁵ перечисляет **десять** сложившихся концепций нижненемецкого, различающихся степенью «вместительности» этого понятия. В пяти из этих концепций нидерландский язык включен в понятие «нижненемецкий» в качестве его составной части; две другие основаны на двух различных пониманиях этого термина и включают формулу «Niederdeutsch umfaßt Niederländisch und Niederdeutsch im engeren Sinne» (там же).

Традиционная трактовка языковых фактов не привела к решению проблемы языковой границы, так как системная близость языков в этом регионе настолько велика, что даже в отношении богатого источниками среднего периода заставляет говорить о нидерландо-нижненемецком

¹ *Gallée, Johan Hendrik*. Vorstudien zu einem altniederdeutschen Wörterbuch. Leiden, 1903. S. VII.

² *Quak, Arend*. Versuch einer Formenlehre des Altniederländischen auf der Basis der Wachtendonckschen Psalmen, in: *Zur Phonologie und Morphologie des Altniederländischen*. Hrg. R. Bremmer / A. Quak. Odense, 1992. S. 81.

³ *Stellmacher, Dieter*. Niederdeutsche Sprache. Berlin, 2000. S. 19.

⁴ *Lasch, A.* Mittelniederdeutsche Grammatik. Tübingen, 1974. S. 1

⁵ *Goossens, J.* Niederdeutsch. Sprache und Literatur. Bd.1: Sprache. Neumünster, 1973. S.14-15

континууме¹. Среди германистов сложился недифференцированный подход к состоянию, предшествовавшему вычленению нидерландского и нижненемецкого языка. Так, П.фон Поленц возводит нидерландский к территориальному варианту литературного нижненемецкого². Интересно, что этот взгляд существует не только у историков немецкого языка, но и у нидерландистов³; он же по существу выражен в определении А. Куака: «Das Altniederländische gehört zusammen mit dem Altsächsischen zum Altniederdeutschen»⁴.

При всей дискуссионности приведенных оценок и концепций они верно отражают запутанность и сложность языковых взаимоотношений и связанной с ними проблемы: при столь ограниченных языковых свидетельствах вопрос о строго однозначной и прямой структурной, территориальной или этнической преемственности между древними и современными языками этого региона не может быть ни положительно решен, ни даже корректно поставлен.

2. Проблемы нидерландской и нижненемецкой языковой историографии

В истории обоих языков, нидерландского и нижненемецкого, имеются пробелы. В первом случае это прежде всего касается древнего периода, о котором известно очень мало по сравнению с другими древнегерманскими языками. Нижненемецкому, древняя эпоха которого документирована лучше, до недавнего времени вообще отказывалось в исторической самостоятельности (хотя он до XVI в. имел собственную историческую судьбу, структурные тенденции, периодизацию⁵), а сам термин «нижненемецкий» употреблялся как обозначение диалектов (верхне)немецкого языка. Это связано с тем, что исследования в этой области с XIX в. велись преимущественно в русле немецкой диалектологии. Древним же периодом (точнее, древнесаксонским языком) традиционно занимались в русле сравнительно-исторического языкознания и исторической поэтики, и в течение долгого времени усилия диалектологов и исследователей гер-

¹ *de Grauwe, L.* Das historische Verhältnis Deutsch-Niederländisch «revisited»// *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*, Bd.35. Amsterdam, 1992. S. 191-205, hier: S. 205.

² *von Polenz, Peter.* Geschichte der deutschen Sprache. Berlin, 1972. S. 70.

³ *Heromaa, K.* Ingwäonisch in niederländischer Sicht // *Ndt. Jb.*, Bd. 87. Neumünster, 1964. S. 23; *de Grauwe*, op.cit.

⁴ *Quak*, op.cit. S. 81.

⁵ *Сквайрс Е.К.* Место нижненемецкого в изучении и периодизации истории немецкого язык. //История германских языков в современной высшей школе России. Под ред. А.Л.Зеленецкого. Калуга, 1995. С. 26-37.

манских древностей не были объединены для построения единой хронологической вертикали нижненемецкого регионального языка. Таким образом, и на изучение средненемецкого сильно повлияла инерция традиционного взгляда на всякое языковое состояние, которое не завершилось созданием национального языка, как на диалектное, маргинальное с точки зрения истории литературных языков, в то время как в историографии нидерландского языка была заметна противоположная тенденция – стремление резче подчеркнуть его самостоятельность, отделить средненидерландский от процессов, происходящих к востоку от него. Обе тенденции работали друг против друга, препятствуя сложению научных усилий.

Что касается древней истории обоих языков, то, как уже сказано, именно здесь лежат наиболее сложные неразрешенные проблемы. Несмотря на выраженные признаки ингвеоно-истевонского смешения в обоих языках, средненемецкий почти единодушно возводится учеными к одному лишь древнесаксонскому языку¹, а история нидерландского языка – к одному древненижнефранкскому², точнее к языку Вахтендонкских псалмов³. Нерешенность проблем, связанных с размежеванием древней истории обоих языков, нашла отражение в противоречиях научной терминологии. Исследователи нижненемецкого, в том числе И. Даль, нередко оперируют термином «древненижнемецкий», в то же время признавая его искусственность. Понимая под древненижнемецким один лишь древнесаксонский, они употребляют этот термин безо всякой расширительности, а, по их собственному признанию, ради терминологической стройности, по аналогии с терминами «средненижнемецкий» и «(современный) нижнемецкий»⁴ и по образцу трехчастного членения в других германских языках (например, немецком и английском). Симметрично в истории соседнего языка появляется термин «древненидерландский», который, в свою очередь, также признается искусственным: это видно из цитированного выше определения А. Куака, в котором «древненидерландский» определяется, наряду с древнесаксонским, как составная часть нижненемецкого.

Другие сторонники взгляда на древнесаксонский, как на единственный источник нижнемецкого, продолжают пользоваться термином «древнесаксонский» (Sanders 1973, 28). К ним относится и А.Лаш, как

¹ *Dal*, op. cit., *Sanders*, op. cit.

² В данном случае за рамками обсуждения намеренно оставляется фризская проблематика, как лежащая в стороне от вопроса франко-саксонского взаимодействия.

³ *Quak*, op. cit.

⁴ *Dal*, op. cit., S. 78-79.

видно из принятых ею границ нижненемецкого: средненижнемецкие ландшафты граничат на севере с фризским и датским, на западе с франкскими (куда входит весь нижефранкский), на юге - со среднемецкими диалектами, на востоке - со славянским (Lasch 1974, 1). Таким образом, введение термина «древненижнемецкий» наряду с названием «древнесаксонский», а термина «древнидерландский» рядом с понятием «древненижерфанкский» вовсе не означало принципиальной дифференциации внутри каждой из этих пар; из приведенных определений и высказываний, напротив, следует, что в этом не усматривалось необходимости, несмотря на существование не опровергнутой до сих пор (хотя и не доказанной) «западной» гипотезы.

Между тем все упомянутые проблемы, на которые указывают исследователи, наталкивают на вывод, что взаимоотношения нидерландского и нижненемецкого можно понять лишь, отказавшись от строго параллельных моделей периодизации, а взамен этого признав, что один древний язык может сделать вклад в создание нескольких языков, и – напротив – что один современный язык может быть результатом развития и взаимодействия двух или нескольких древних. Иными словами, если языковой материал столь последовательно сопротивляется попыткам отвести для древнего периода каждого из рассматриваемых языков по одному древнему языку, то это может означать, что оба языка имели смешанные базы, различающиеся не принципиальным составом компонентов, а их конфигурацией (иерархией и долями). Это возвращает к мысли о том, что для понимания истоков нидерландского языка (как и нижненемецкого) необходимо найти те различающиеся друг от друга ситуации и контактные ареалы, которые обусловили появление в каждом случае именно той смешанной базы, которая прослеживается в дальнейшей истории каждого из языков.

Однако не только в традиционной классической германистике делались попытки представить историю древнесаксонского языка как вертикально развивающийся процесс, в котором горизонтальным связям и влияниям отводится маргинальное место несущественных помех, заслоняющих его исконный облик. Концепция «порчи» истинной, ингвеонской, основы древнесаксонских текстов франкизмами явно или имплицитно присутствует во многих, даже относительно недавних работах. Т.Марки выдвигал идею «genuine Old Saxon with distinctively Ingvaeonian features» в противовес «Old Saxon influenced by High German», который дошел до нас в конкретных текстах¹. Противопоставление «истинного» древнесаксонского данным памятников встречается и в новых работах,

¹ Markey, op. cit., p. 17, 37, 39.

например, в исследовании Ст. Крога.¹ Такие черты, встречающиеся в текстах, как палатализация в дс. *deg* «день», форма вин. п. ед. ч. дс. *gumon* «человека» противопоставлены у него «закономерным» («normalaltsächsisch») *dag*, *guman*. Фундаментальное исследование Крога посвящено вопросу о месте древнесаксонского в кругу германских языков. Гипотеза автора строится на выдвинутой им концепции очень раннего (уже в начале новой эры) обособления германских языков, ведущим аспектом которого, по его мнению, было их расхождение в результате различного морфологического выбора из круга общегерманских алломорфов. Обретший таким образом самостоятельность древнесаксонский язык Круг рассматривает уже на этом раннем этапе как готовую и в целом устойчивую языковую форму, определяя ее понятием «normalaltsächsisch». Дальнейшие изменения в этой системе, которые он видит как результат вторичных контактов самостоятельной языковой формы с другими языками, имеют, таким образом, для нее второстепенное значение и не являются определяющими в ее истории. Однако, поскольку именно морфологию Круг считает решающим аспектом в становлении самостоятельного языка (в отличие от явлений фонетики, которым отводится второстепенная роль), то значимость для истории древнего языка признается только за массивными языковыми контактами, достаточно интенсивными для того, чтобы вызвать морфологические интерференции. Таким образом, напоминающее классические модели XIX в. представление Крога о существовании «истинного» древнесаксонского, обладающего относительно большой устойчивостью на протяжении длительной дописьменной истории, логически влечет за собой ограничение той роли, которая отводится в его судьбе контактам с другими языками. Понятно, что с таких позиций многие факты получают иную оценку и трактовку, чем в концепции контактного развития, принятой другими авторами (Т. Марки, И. Даль, А.Л.Зеленецким и др., к которым присоединяется и автор). Можно не вдаваться здесь в анализ конкретных расхождений с исследованием Ст. Крога (тем более, что оно посвящено иной теме - генезису древнесаксонского языка), признавая в принципе за авторами право на различия в путях и методах; однако их результаты, если они верны, должны складываться в единую картину, и поэтому здесь нелишне рас-

¹ *Krogh, S.* Die Stellung des Altsächsischen im Rahmen der germanischen Sprachen (Studien zum Althochdeutschen 29). Göttingen, 1996; *Ders.* Zur Stellung des Altsächsischen im Rahmen der germanischen Sprachen // Sprachgermanistik in Skandinavien II. Akten des III. Nordischen Germanistentreffens. Mastemyr bei Oslo, 2-5.6.1993. Hrg. J.O.Askedal, K.E.Schöndorf. Oslo, 1994. S.42-51; *Ders.* Zur Stellung des Altsächsischen im Rahmen der germanischen Sprachen. Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 103 (1996). Kiel, 1996. S. 9.

смотреть некоторые итоги с точки зрения вопросов, поставленных в данной статье. Логика его анализа приводит Крога к признанию в истории древнесаксонского двух эпох совместных контактных инноваций: с ингвеонскими языками до 450 г. и с франкским языком Каролингской империи, начиная с конца VIII в. Между этими фазами Крог оставляет промежуток в 350 лет, на протяжении которых не происходит ничего с его точки зрения значимого. Согласно этой хронологической модели все процессы и явления, сближающие древнесаксонский с древненижнефранкским, которые занимали современных исследователей, в том числе и те, что будут рассмотрены ниже, должны были развиваться в течение краткого периода, предшествующего появлению письменных памятников (в к. VIII в.).

Между тем именно ко времени с сер. V в. и до к. VIII в. относят некоторые важные контактные изменения в этом регионе. Например, И. Даль датирует этим временем распространение с юга форм инструменталиса указ. местоимения на -и, ср. дс. *thiu* и перенос окончания аккузатива ед. ч. в -о-основах на номинатив, ср. дс. *geba* как двн. *geba*. Другой исследователь, Т. Марки относит к периоду 600-800 г. фризское влияние (результат господства фризов в торговле и возникновение на этой основе ингвеоннижнефранкских черт¹). К числу ингвеонизмов, проникших в нижнефранкский после 506 г., но до создания письменного языка, относятся монофтонгизация герм. *au* > *ou/o*, а также утрата носового перед спирантом, которая в нижнефранкском регулярна перед *f* и спорадична перед *þ*, *s* и отнесена ко времени до 750 г. на основании датировки до умлаута, начало которого в древнесаксонском и нижнефранкском датируется Марки этим годом. К этому же хронологическому отрезку относят появление контактных южных черт в древнесаксонском, например, форм с повышением перед -и- под влиянием верхненемецкого франкского, ср. дс. *mīluk*, двн. *mīluh* "молоко" (на фоне отсутствия обычного повышения: днфрк., дс. *fe*, но двн. *fīhu* "скот"). Все эти факты складываются в картину контактов нижнефранкского с саксонским со 2-й половины V в. до 777 г., которые включали также южную переориентацию (Сквайрс 1997а, 65). В работах последнего времени дискуссия по этому вопросу развивалась в пользу именно такой хронологической модели².

¹ *Dal*, op. cit., p. 88-89, *Markey*, op. cit, p. 39

² *Klein*, *Th. Zur Stellung des Altsächsischen// Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung*, Bd. 123. Neumünster, 2000. Ss. 7-32; эта статья Т. Клейна, как и его же доклад на ту же тему, сделанный на Съезде исследователей нижненемецкого в Кведлинбурге в 1999г., являются ответом и критикой в адрес положений, защищаемых Ст. Крогом.

В результате раскола североморского контактного ареала и возникшего раздела между прибрежным и континентальным ингвеонским контактные процессы этих зон протекают раздельно и в последней приводят в IX в.¹ к тем явлениям, которые отмечают исследователи отдельных письменных памятников. Думается, что в этой связи для обоих языков разумно предположить существование до эпохи письменных памятников еще некоторого предшествовавшего дописьменного периода, в котором имели место многие контактные процессы, важные для их развития.

Подытоживая обзор мнений и фактов, высказанных в связи с новой гипотезой Ст. Крога, хочется все же повторить мысль о том, что контакты играли столь важную роль в создании обоих языков, что справедливее рассматривать смешанность как позитивный конституирующий признак древнидерландского и древнижнемецкого, а линию раздела между обоими языками искать в различиях процессов смешения.

3. Контактно-ареальные аспекты

Гипотеза западного (западнижнефранкского) происхождения нидерландского языка означает, в случае ее подтверждения, что восточный древнижнефранкский (язык Вахтендонкских псалмов) отходит к зоне восточнее границы с нижнемецким, то есть, попросту говоря, является частью диалектной базы последнего. Однако географическая локализация псалмов не вполне ясна (происхождение из Вердена-Эссена – лишь гипотеза, требующая проверки); следовательно, географическая атрибуция псалмов значительно помогла бы ответить на вопрос о месте древнейшего территориального раздела между нидерландским и нижнемецким языками.

3.1. Топография древнесаксонско-древнижнефранкских контактов

Топографию и хронологию контактных процессов на границе между древнесаксонским и древнижнефранкским можно проследить на материале заметных грамматических различий между этими языками. К этим древним чертам, которые могут служить маркерами происходящих процессов, относятся:

- 1) окончание -s (из ингв. -as, -os) в им. пад. множ. ч. мужских а- и ј-снов;
- 2) морфологические различия в типах слабых глаголов II и III классов;

¹ С 777 года до начала IX в.: этап франкизации под влиянием каролингской метрополии, непосредственно предшествовавший времени создания сохранившихся письменных памятников (Сквайрс 1997а).

3) глагольные флексии мн. ч. в индикативе (единое окончание в ингвеонском);

4) соотношение форм дат. и вин. падежей у личных местоимений, и некоторые другие.

Для обсуждаемого здесь вопроса о соотношении между древнесаксонско-древненижнефранкской границей и древнидерландо-древненижне-немецким разделом, однако, интересны не столько сами по себе генетические различия, сколько те различительные признаки – как из числа генетических, так и приобретенные позднее, – которые позволяют проследить распространение влияний в ходе создания базы каждого из языков. С этой точки зрения перечисленные признаки обладают неодинаковой показательностью. Например, слабые глаголы (признак 2) дают показания для контактов различной хронологии – дописьменных и времени древних письменных памятников,¹ к началу же среднего языкового периода показатели глагольных типов нейтрализуются за счет интерференции и редукции. Явления, происходящие в склонении мужских а- и ја-основ (признак 1), в основном отражают контакты древнего периода. Напротив, глагольные окончания плюралиса (признак 3) на протяжении древнего периода не участвуют в интерферентных процессах и имеют значение лишь для изучения последующей эпохи. Нас, следовательно, интересуют явления, перечисленных в пунктах 1 и 2.

Изменения в склонении мужских а- и ја-основ касаются ингвеонской единой флексии на -s у им. и вин. пад. множ. ч. Как известно, она возникла в результате совпадения этих форм, отличающего западногерманские диалекты от остального германского, где различие сохранилось (ср. гот. *dagos* и *dagans*, дисл. *daḡar* и *daḡa*). Направление этого совпадения было неодинаковым: в древнеанглийском и древнесаксонском обобщено окончание номинатива (да. *Nom.=Akk. dagos.*), в древневерхненемецком – результат противоположный (двн. *taga Nom.=Akk.*). В нидерландском деле осложняется еще наличием фризского варианта -*ag*, представляющего собой обобщенный аккузатив.

Для нижнефранкского характерен второй (неингвеонский) вариант, что соответствует его диалектной природе. С этим связана серьезная проблема в нидерландской диахронии: дело в том, что для распространенного в средний период окончания -s не обнаруживаются источников в древнем периоде. Историки-нидерландисты склонны даже объяснять появление данной флексии заимствованием из других языков, в первую

¹ Ср. Зеленецкий А.Л. Истоки немецкого языка. Калуга, 1992, с. 51-52; также 2-е переработанное издание: 2006, с. 44-48.

очередь английского или французского.¹ Распространение этого окончания имело место в XIII-XV в. в особенности в западнофламандском и голландском, тогда как на востоке в Брабанте (примыкающем к области бывшего древнесаксонского) оно встречается реже. Таким образом, картина распространения данного ингвеонизма в нидерландском языке характеризуется не только не объясненным еще хронологическим перерывом, но и выпадением из этого процесса территорий, расположенных на пути его возможного продвижения.

Для древнего периода, к сожалению, недостаточно данных для сравнения процессов на востоке и на западе, так как почти отсутствуют западнонижнефранкские свидетельства. Единственный текст, связываемый с этим западным нижнефранкским, – это известное предложение XI в. туманного содержания,² в котором встречается ингвеонское окончание -as (в слове *pestas*, читаемом как мн. ч. слова **nest* «гнездо» мужского рода, как впоследствии в западнофламандском – в отличие от двн. *nest*, ср. р.). Кроме того, топонимика Гентских источников IX-X в., в которой встречаются формы типа *Grifningas*, изобилует также формами на а, как *Scloa*. В целом ни историческая топонимика, ни другие внутриязыковые свидетельства³ не дают картины непрерывного проникновения этой ингвеонской черты в нидерландский язык.

Старейший древнижнефранкский текст Вахтендонкских псалмов, как уже упоминалось, по мнению многих представляет восточный вариант древнего нижнефранкского. Тем самым он оказывается локализованным на территории, лежащей между западным нижнефранкским, где, как показано, этот ингвеонизм встречается наряду с франкским окончанием, и древнесаксонским, для которого эта форма является исконной и преобладающей. В этой связи тот факт, что язык псалмов совершенно свободен от данной черты, представляет исключительный интерес и требует объяснения.

Анализ материала псалмов показывает, что большинство встречающихся в нем форм плюралиса существительных образованы по тому же типу и имеют те же флексии, что соответствующие лексемы в остальном

¹ *Philippa, M.* Noord-Zee-Germaanse ontwikkeling. Academisch Proef-schrift. Alblasserdam, 1987. Главы "Problematik rond het s-meervoud: een diachron overzicht", blz.15-27; "De meervoudsvorming op -s in het Nederlands voor 1300", blz. 29-53.

² *Philippa* op. cit., 36.

³ *Blok, D.P.* Meervoudsvormen bij vroegmiddeleeuwse Nederlandse plaatsnamen. In: *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. "RODOPI"*, Amsterdam-Atlanta, 1989. S. 55-56; *Philippa M.* Some masculine plurals in North Sea Germanic reconsidered. *NOWELE* 12, 1988. Pp. 77-90, here: p. 80.

франкском (древневерхненемецком), ср. примеры разных именных основ: *himila* «небеса», *uort* «слова», *tende* «зубы», *ogon* «уши», *fiunta* «враги». При этом древненижнефранкский обнаруживает гораздо большую редукцию в конечных слогах, чем древневерхненемецкий и древнесаксонский; в псалмах встречаются случаи перехода из одного типа склонения в другой. Такой переход наблюдается в различном, даже во встречном направлении, например: днфрк. *selun* «души» (переход из сильного в слабый тип, ср. двн. *sêla*, дс. *sêla*, да. *sâwol*, ж.р., о-основы); днфрк. *tunga* «языки» (переход из слабого в сильное склонение, ср. двн. *zunga*, дс. *tunga*, да. *tunge*, п-основы женского рода). Эти и другие подобные примеры показывают, что в смене типа склонения в языке псалмов не просматривается какой-либо четкой тенденции. Напротив, переходы носят скорее беспорядочный характер; очевидно и то, что они не зависят от древневерхненемецкого образца. В восточном древненижнефранкском, следовательно, уже в IX в. наблюдается ослабление в различении именных типов при отсутствии заметного индуцирующего направления внутри системы.

Обратившись к соседнему ингвеонскому ареалу, также увидим противоречивые тенденции в развитии этой части именной парадигмы. К востоку от древненижнефранкско-древнесаксонской границы, где окончание *-s* является исконным, оно встречается в двух вариантах: *-as* и *-os*. Для ответа на вопрос, коррелирует ли дистрибуция этих вариантов с факторами географического, хронологического или иного характера, важно прежде всего представить себе их распределение по жанрам. Подсчеты показали, что в поэтических памятниках преобладает *-os*, тогда как *-as* составляет меньшинство: в «Генезисе» 9,1%; в Коттонской и Мюнхенской рукописях «Хелианда» только 3,3%, Пражский, Ватиканский и недавно найденный Лейпцигский фрагменты имеют *-os*, а в Штраубингском отрывке на девять случаев с *os* приходится два случая с *-as* (*uardas* S 396, *helidas* S 722).¹ Для поэтических текстов, таким образом, *-os* представляет норму, что подтверждается ее индуцирующим влиянием на другие типы: ср. в «Хелианде» форму множ. ч. *uuigandos* (M 5271) у причастной осно-

¹ Данные по Лейпцигскому фрагменту (*engilos* 5745, *gisîdos* 5867), обнаруженному в 2006 г., приведены по факсимильному изображению рукописи, размещенному на электронном сайте библиотеки Лейпцигского университета (сайт (<http://www.ub.uni-leipzig.de/service/aktuell/heliand>), и сверены с только что вышедшим ее первым изданием: *Schmidt, Hans Ulrich*. Ein neues 'Heliand'-Fragment aus dere Universitaetsbibliothek Leipzig. *Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Ziteratur*, Bd. 135 (2006), Heft 3, S. 309-323. Статистика по остальным рукописям приводится по ранее опубликованной работе А. Куака: *Quak, A*. Meervoudvorming in oudsaksisch en middelnedderduits. In: *AbâG, "RODOI"*, Amsterdam-Atlanta, 1989, 45-46.

вы *uuigand*. В малых, или прозаических памятниках соотношение обратное, то есть в целом преобладает *-as*, однако статистика отдельных памятников сильно расходится. А.Куак устанавливает интересную закономерность в распределении здесь окончаний *-as* и *-os*: вариант *os* преобладает в текстах, происходящих из области монастырей Верден и Эссен (в юго-западной части вестфальского, то есть на западной окраине древнесаксонского, граничащей с нижнефранкским). В остальных прозаических текстах (большинстве глоссариев и Люблинских псалмах) преобладает *-as*. Именно эти восточные тексты Герхард Кордес связывает с англосаксонской переводческой традицией,¹ а Томас Клейн видит в них влияние верхненемецкой графематической традиции.² Таким образом, дистрибуция окончаний *as* и *os*, вероятнее всего, коррелирует с географическим и культурно-историческим факторами: пограничная область Вердена-Эссена четко выделяется преобладанием в ней варианта *-os* (в прозаических памятниках – даже в противовес общей тенденции, действующей в этих жанрах), тогда как вариант *as* сближает рукопись «Хелианда» из Штраубинга с прозаическими памятниками, не происходящими из Вердена и Эссена. Из этого краткого обзора видно, что в распространении двух вариантов этой флексии в древнесаксонских текстах фактор жанровой отнесенности уступает действию географических факторов (или перекрывается ими).

Вскоре, в X–XI вв., в древнесаксонском наблюдается распространение франкских форм с флексией *-a*, причем начинается этот процесс с податных списков из Фрекенхорста и Вердена, комментария к Беде и некоторых глоссариев, также происходящих из области Вердена-Эссена. Следует оговориться, что здесь так же, как в отношении нидерландского языка, остается неясной связь между этим процессом вытеснения исконной флексии и последующим господством в средненижнемецком окончания *-s* для плюралиса. И все же картина, складывающаяся из подсчетов Куака, наглядно демонстрирует факт вытеснения форм *-as/-os* в этой пограничной зоне, на западе прилегающей к нижнефранкскому, а на юге – к среднефранкскому, который красноречиво свидетельствует о принципиальном значении географического фактора в протекающих здесь процессах. Подтверждение того, что в области Эссена протекают контактные процессы, найдено и со стороны фонетики, например, в наблюдениях Г.

¹ Cordes, G. *Altniederdeutsches Elementarbuch. Wort- und Lautlehre.* Von Gerhard Cordes mit einem Kapitel "Syntaktisches" von Ferdinand Holthausen. (Germanistische Bibliothek, 1. Reihe). Heidelberg, 1973. S. 16.

² Klein, Th.. *Studien zur Wechselbeziehung zwischen altsächsischem und althochdeutschem Schreibwesen und ihrer sprach- und kulturgeschichtlichen Bedeutung* (GAG 205), Göppingen, 1977. S. 487-497.

Тифенбаха, установившего, что граница, пролегающая между областями Ксантена и Эссена, является проницаемой для фонетических влияний.¹

Контактное объяснение процессов в системе именных флексий, как наиболее правомерное, выдвигал А.Куак², к такому же выводу приходит и М.Филиппа, представляя эту ситуацию как диглоссию, развивающуюся на основе ареальной культурной и экономической консолидации.³

Обобщая сделанные сопоставления и наблюдения над процессами, протекающими в склонении существительных, можно заключить, что западная окраина древнесаксонского и граничащий с ней восточный нижнефранкский обнаруживают целый ряд сближающих их черт. Отсутствие либо ранняя утрата окончания *-as/-os*, в целом раннее смешение типов склонения и отдельных форм, вторжение культурно-исторических влияний (также со стороны верхненемецкого, о чем здесь не было сказано⁴) создают общую картину этой пограничной контактной зоны, отличную как от остального нижнефранкского на западе (где распространилось *-as*), так и от древнесаксонского на востоке.

Беспорядочный переход в другие грамматические типы, общее ослабление грамматических показателей и прерывистость в распространении языковых явлений свидетельствуют о протекающем здесь процессе интерференции и указывают на центр этого контактного ареала. Центр этих контактных процессов следует искать в зоне наибольших утрат показателей грамматических типов, то есть в области к западу от древней границы между нижнефранкским и древнесаксонским. Эта область – родина Вахтендонкских псалмов.

Другим ярким проявлением взаимодействия древнесаксонского и древненижнефранкского являются контактные процессы в системе слабых глаголов. Как известно, одной из морфологических особенностей ингвеонских языков является своеобразный тип слабых глаголов 2 класса с основой на **-ōja-*, а также в целом более высокая продуктивность этого класса по сравнению с франкским и в целом с древневерхненемецким. В древнесаксонском реализуются оба типа суффиксов: ср. да. *macian*, дс.

¹ *Tiefenbach, H.* Xanten-Essen-Köln. Untersuchungen zur Nordgrenze des Althochdeutschen an niederrheinischen Personennamen des neunten bis elften Jahrhunderts. (Studien zum Althochdeutschen, 3.) Groningen, 1984. S. 325-326.

² : "Hier maag men ook vermenging van dialekten aannemen" (Quak 1989, 51).

³ *Philippa, M.* Pluralisering van nomina in het oudere Germaans. Een inleiding. Het meervoud op *-ar* in het Oudfries. Stand van Zaken. In: *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*. Bd. 28. Amsterdam-Atlanta, RODOPI, 1989. Blz. 1-21, hier: S. 2.

⁴ *Klein, Th.* Althochdeutsch und Altniederländisch // *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*. B. 57. Amsteram-New York, 2003. S. 19-60; Сквайрс 1997(a), 90-91, 109, 114.

makôian "делать" при наличии также дс. makôn по франкскому типу, ср. двн. mahhôn; также дс. tholôn и tholôian, дс. wundrôn и wundraian, и др. Параллелизм исконных форм с *-ôja- и контактных с простым суффиксом -o- почти составляет здесь правило и обеспечивается фонетической и морфологической сохранностью обоих типов.

В отличие от своего восточного соседа, древненижнефранкский обнаруживает признаки ослабления и смешения глагольных типов. Об этом, по всей вероятности, говорят колебания в написании одной и той же глагольной основы, в т.ч. (например, blithande, но blithon) или разнообразие написаний одного и того же инфинитива (gihoron, gihorin, gehorun). Эти и многие подобные же примеры говорят о таком ослаблении показателей класса, при котором многие глаголы трудно отнести к тому или иному типу и возможно смешение типов, как в форме drenkodes, несущей одновременно признаки первого (умлаут в корне) и второго (суффикс) классов. В результате появляются беспорядочные колебания и у сильных глаголов (форма 3 л. множ. ч. uerthun, uerthin, uerthon, uerthunt, uerthint), которые по всей вероятности следует объяснить как гиперкорректные написания, свидетельствующие о фонетической редукции гласных показателей различных типов и о десемантизации и разрушении самих типов.

На фоне этих процессов в языке псалмов особенно выделяется тенденция, выразившаяся в незакономерном (для данного диалекта) отнесении глаголов к 2 классу. Такое сближение нижнефранкского с ингвеонским (и отрыв его от верхненемецкого в плане распределения глаголов между 2 и 3 классами) наблюдается у ряда древненижнефранкских глаголов, например:

*dwelôn¹ при дс. dwalôn, но двн. twalên;

(ge)mikilon при дс. mikill(o)ian, но двн. mihhilên / mihhilôn;

genathon при дс. genathôn, но двн. ginadên;

tilon при дс. tilôn, да. tilian, но двн. zilôn / zilên;

wonon при дс. wonôn, wunôn, да. wunian, но двн. wonên / wonôn.

¹ Днфрк.*dwelôn, восстановленное на основе глоссы *duelont=errant* (Gl. Lips. 582), получает различную интерпретацию в литературе: как слабый глагол (Heyne 1970, 113) или как сильный (на основании корневого гласного, см. Quak 1981a, 197). Сравнение с вариантами, встречающимися в других языках, по-разному сочетающимися умлаут корневого гласного, суффикс класса и семантические особенности, склоняет автора к мнению, это 2 класс с незакономерным умлаутом (о колебаниях в формах с умлаутом и без него при смешении типов 1 и 2 классов, см. Зеленецкий 1992, 51-52; 2006, с. 44-48. Подробнее материал и аргументация изложены в работах: Сквайрс 1997 (a), с. 39-41, Skvairs 2001, S. 36-37.

Очевидно, интерферентные процессы зашли дальше той стадии, когда различия между типами становятся нечеткими и нестабильными, но достигли уже стадии грамматического перераспределения типов: "во франкском – по крайней мере в его северной части – продуктивность суффикса /-ô-/ должна считаться особенностью, привнесенной из ингвеонских диалектов... ". Уже для дописьменной эпохи ясно направление этого влияния – со стороны ингвеонского на (нижне)франкский, – и его интерферентный характер, заключающийся в адаптивной перестройке системы типов слабых глаголов на фоне их десемантизации¹. В IX-X в. этот процесс уже вполне разворачивается в языке древненижнефранкских памятников, который в этом случае, как и в ряде других, опережает древнесаксонский, где в это время, как мы видели, наблюдается еще четкое различие словообразовательных типов и фонетическая сохранность показателей класса. Это согласуется с уже сделанным выше предположением о том, что эпицентр контактных процессов находится к западу от нижнефранкско-древнесаксонской границы. Древнесаксонский же в том виде, как он представлен в письменных памятниках, характеризуется маргинальностью – как по отношению к франкскому в только что описанном взаимодействии, так и по отношению к остальному ингвеонскому, образуя по выражению Томаса Марки "an ancillary fringe area bordering on Ingvaeoníc proper"².

3.2. Топография (древне)нидерландско-(древне)нижнегерманского языкового раздела

Рассмотренные выше явления в грамматике и морфологии (распределение флексий плюралиса именных мужских а-основ и оформление основы слабых глаголов) как мы видели, свидетельствуют о франкско-ингвеонской интерференции дописьменной или ранней письменной эпохи. Для того же, чтобы провести линию, отделяющую базу (древне)нидерландского языка от соседнего (древне)нижнегерманского, необходимо обнаружить те различия процессов смешения, которые были бы характерны для каждого из них. Для этого обратимся к материалу лексики, отражающей контакты различной глубины, на всем протяжении от древней языковой общности в географических рамках североморского ареала до инноваций письменной эпохи.

У исследователя имеется два пути для сбора ингвеоно-нижнефранкской лексики ареального происхождения: выборкой из материала, зафиксированного в древнесаксонских и древненижнефранкских

¹ Зеленецкий, 1992, 55

² Markey, op. cit., 39; подобно же: Dal, op. cit., 88-91

письменных памятниках, либо взяв за основу корпус лексики более позднего языкового состояния – среднего периода или языков и диалектов Нового времени. В первом случае придется, как известно, довольствоваться крайне скудными свидетельствами, особенно в отношении нижнефранкского. Второй путь дает преимущество богатейшей базы языковых данных, однако на нем придется иметь дело с серьезным препятствием для столь отдаленной реконструкции в виде мощных миграционных процессов, изменивших диалектную карту в XII-XIII в.

Результатом выборки первого типа является вычленение североморских лексических изоглосс, включающих древнесаксонские и нижнефранкские лексемы, засвидетельствованных в текстах, либо надежно реконструируемых на основе древних же фактов.¹ В этот список вошли древненижнефранкские лексемы: *blikisni* «молния», *blasmo* «горящая свеча, факел», *brunni* в значении «баран, предназначенный для культового сожжения», *burgisli* «могила», *(far)dervan* «пропáсть», *dwelôn* «блуждать», *gîrôn* «звать», *hlôtha* «трофей», *knapo* «мальчик», *crieran* «ползать», днфрк. *mendisli* «радость», *(ge)mikilon* «возвеличивать», *-rith* «речка», **sûga* «щавель»,² *trappa* «ступень», *thuisternussi* «темнота», а также менее надежные *burthi* (ср. *burthon* = *oneribus*, *Wacht.* 80, 7), **instekan* (из *inne stecke* = *infigar*, *Wacht.* 68, 15)³.

Изоглоссы, в которых участвуют эти лексемы, представляют собой три типа контактных явлений в зависимости от характера и хронологической глубины:

А. Реликтовые изоглоссы, к которым относится:

1) группа лексем, представляющих старые германские непродуктивные типы днфрк. *blikisni* / дс.**bliksmo*, днфрк. *blasma* / дс. **blusemo*, в

¹ Исследованию этих изоглосс были посвящены прежние публикации автора: Сквайрс 1997 (а), с. 30-50; *Skvairs* 2001, S. 29-45. Несмотря на то, что в центре внимания этих работ стоял нижненемецкий, их результаты касаются и нидерландского языка. Большой объем и подробный анализ материала не позволяет повторить здесь всю аргументацию автора, поэтому для детального ознакомления читатель может обратиться к указанным публикациям.

² Нижнефранкское соответствие зафиксированной древнесаксонской лексеме **sûga* реконструируется на основе заимствованного старофранцузского заимствования *sur* (ср. уменьш. франц. *surelle*), см. Сквайрс 1997 (а), с. 47-48.

³ В случае двух последних изоглосс их условный характер вытекает из того, что древнесаксонское слово в них встречается лишь по одному разу в сильно поврежденном месте Падерборнских псалмов и потому прочитывается лишь на основе сопоставления с нижнефранкской параллелью (реконструкция А. Куака в: *Quak, A. Zum Paderborner Fragment einer altsächsischen interlinearen Psalmenübersetzung.* In: *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*, Bd. 26 (1987). Amsterdam. S. 1-10, hier: S. 5, 8.).

которых сочетаются в различных комбинациях три ряда словообразовательных компонентов: различные аблаутные варианты *bhli- (от *bhlei-), *bhleu- и *bhlo-, различные согласные расширители корня -g-, -s- (а возможно, и сочетание обоих -gs-) и словообразовательные суффиксы -ni- (-sni-), -m-/-mo- (smo-).¹

2) сильный глагол днфрк. fardervan / дс.*derban;

3) днфрк. rith / дс.-rîth; прилагательное днфрк. thuister- / дс. thiustri «темный».

Б. Совместные инновации дописьменной эпохи:

1) по аблауту и семантическому развитию: а) днфрк. brunni / дс.*bruni; б) днфрк., дс. *burgisl- со значением «могила»;

2) по варианту корня: а) днфрк.*gîrôn / дс. gîron со специфическим вариантом корня на -r-; б) днфрк. sîeran / дс. *sîoran, kîûran (также варианты корня на -r-); в) днфрк., дс. trarra с вариантом корня без носового (ср. снн. trampen);

3) по варианту основы с -pp- в днфрк. knapo / дс. knappo;

4) словообразовательные инновации: а) днфрк. burgisli / дс. *burgisl- и днфрк. mendisli / дс. mendislo с продуктивным суффиксом -sl⁻²; б) днфрк. *sûga / дс. sûga и в) оформление по II классу слабых глаголов днфрк. *dwelôn / дс. *dwelôn;

4) днфрк. (заимствованное) hlôtha / дс. *hlôþ-.

В. Инновации эпохи письменных памятников:

1) днфрк. brunni / дс.*bruni (семантическая инновация "жертва" и переоформление по краткосложным -ja-основам);

2) дериваты общей письменной традиции: а) днфрк. -mikilon / дс. mikil(o)ian; б) прилагательное thiustri с дериватом днфрк. thiusternussi / дс. thiusternassi.

3) днфрк. burthon / дс. *burthi, днфрк. *instekan / дс. *instekan из перевода псалмов.

Эти 18 нижефранкско-древнесаксонских лексем содержат 22 ареальных признака (или их сочетания), на основе которых строятся два ряда:

¹ *Рокоту, J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern-München, 1959. S. 156-157; *de Grauwe*, op. cit., §. 253-254, 298, 364; Сравнительная грамматика германских языков. ТЛИ. "Морфология". Москва, 1963. С. 93; *Откупщиков Ю.В.* Из истории индоевропейского словообразования. ЛГУ, 1967. С. 156; *Kluge, Fr.* Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte. Dritte Aufl., bearb. L.Sutterlin und C.Ochs. Halle/Saale, 1926. § 86; *Grewolds, H.* Die gotischen Komposita in ihrem Verhältnis zu denen der griechischen Vorlage. Göttingen, 1931. S. 27-28.

² *de Grauwe, Luc.* De wachendoncksce psalmen en glossen. Een lexicologisch-woordgeografische studie met proeve van kritische leestekst en glossaria. I-II. Gent, 1979-1982, § 67, 70, 430.

17 изоглосс дописьменной эпохи (5 реликтовых, 7 инноваций по аблаутному или иному варианту корня/основы, 4 инновации по продуктивным типам, 1 заимствование) и 5 инноваций эпохи письменных памятников. Все инновации несомненно являются результатом контакта, поскольку включают наряду с ингвеонскими нижефранкскую единицу, но не содержат южных франкских параллелей.

Вторым из названных методов – методом выборки из поздних источников (среднего или нового периода истории языков, из диалектов) – удается получить большой корпус единиц. Из довольно большого круга научных публикаций по североморской лексике наиболее полным корпусом располагает исследование Г. Лерхнера 1965 г.¹ Его список североморских лексических изоглосс составляет 350 лексем, собранных по словарям средневерхне- и средненижнемецкого, средненидерландского и английского языков, западнофламандских и рейнских диалектов, например: снл., снн. *belle* “колокол”; снл., снн. *ham* “отделенный рвом участок земли”; снн. *pratte* “упрямство, своенравие”, нл. *pret* “забава” и *prettig* “довольный”; нл. *eest*, снн. *eist*, *eiste* “сушильная печь”.

Этот пласт североморской континентальной лексики разделен исследователем на хронологические слои и диалектные ландшафты, причем для интересующего нас сравнения его (длинного) списка с нашими древним (кратким) списком важно заметить, что наиболее древний пласт Лерхнер относит к общегерманскому, а все выделенные им ландшафты включают нидерландский, подтверждая его центральное место в членении и ареальных контактах в западногерманском.

Исходя из этого следовало бы ожидать, что в числе лексем, представленных в работе Г. Лерхнера, с необходимостью должны обнаружиться все лексемы «краткого» списка. Однако в действительности этого не произошло: в корпусе лексики, составленном по поздним данным, значатся лишь 3 из 18 древних лексем: *sgioran* (с производным существительным *croft*), *-rith* и *thiustri*. Это тем более неожиданно, что большинство единиц древнего списка не утрачены в последующие эпохи (ср. материал, приведенный в: Сквайрс 1997а, 67-69).

Для объяснения этого расхождения оказалось значимым то обстоятельство, что Лерхнером не учитывались колониальные нижнемецкие территории, а в нижнемецком только они не затронуты западным (нидерландским или вестфальским) влиянием. Вестфальский же отмечен в тех древних изоглоссах, которые встречены также и у Лерхнера. Очевидно, североморский элемент (и особенно вестфальская доля в нем), очень

¹ *Lerchner, G. Studien zum nordwestgermanischen Wortschatz. Hrg. Th. Frings / R. Grosse. Halle (Saale), 1965.*

весомый и на древних (в кратком списке), и на поздних хронологических срезах (у Лерхнера), представлен в разные эпохи различным составом лексем. Иными словами, вестфальский диалект древнесаксонского языка IX в. отличается от вестфальского после миграций с нидерландского запада¹ за счет перемещения лексики в их ходе.²

В результате реконструкции методом Лерхнера, как уже говорилось, нидерландский оказывается в фокусе ареальных взаимоотношений; в таком случае лексика древних нижнефранкско-древнесаксонских изоглосс лишь краем попадает в этот фокус, основная же ее часть занимает по отношению к нидерландской базе место затухающей периферии или вовсе остается за кадром. Такой результат согласуется со взглядом Т.Марки на осевое положение среднидерландского ("pivotal, partially Ingvaenic position").

Из приведенного сопоставления очевидно, что язык большинства древнесаксонских памятников, как и язык Вахтендонкских псалмов представляют периферию контактных процессов, рассмотренных у Г. Лерхнера, Иначе говоря, язык псалмов занимает периферийное, причем, как мы уже понимаем, юго-восточное положение по отношению к истокам нидерландского языка, а в свою очередь эпицентр североморских процессов, описанных Г. Лерхнером, в дописьменную эпоху находится к западу

¹ *Teuchert, H.* Die Sprachreste der niederländischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts. 1944.

² Следует учесть и социолингвистический фактор: расхождения в вестфальском словаре между литературными памятниками IX в. и общенародным узусом, отраженным в поздних диалектных словарях, могут объясняться жанрово-функциональными различиями источников. Кроме того, различен смысл термина "вестфальский" на различных хронологических срезах глоттогенеза. Вестфалия, область, в которой древнесаксонский распространился поверх франкского субстрата (*Dal*, op.cit.; *Fring's Theodor.* Aufbau und Gliederung des Niederdeutschen. Lund, 1950; *Fring's, Th./Lerchner, G.* Niederländisch und Niederdeutsch. Aufbau und Gliederung des Niederdeutschen. Berlin, 1966; *Okken, L.* Vorstudien zu einer Vor- und Frühgeschichte der Sprachen in den Niederlanden. Daten der frühen Siedlung. //ABäG, Bd. 18. Amsterdam, 1982. Ss.1-62.), представляет на этапе, синхронном этому субстрату, истовонскую территорию (ср. у Фрингса: «Istwäonisch ...ein alter Sprachverband Niederlande, Rheinlande (Niederrhein), Westfalen bis zur Weser»). Г.Лерхнер вслед за Фрингсом ("ein alter festländischer Sprachverband Niederlande-Niederrhein-Westfalen... Wir sprechen mit Th.Fring's von Istwäonisch-Fränkisch...") понимает вестфальский 1) как исконный франкский субстрат и 2) как вторично франкизированный (в ходе миграций с запада) саксонский после XII в., в то время как для историка нижнемецкого "вестфальский" – это древний диалект саксонского, т.е. ингвеонская категория (*Foerste, W.* Untersuchungen zur westfälischen Sprache des 9. Jahrhunderts. Marburg, 1950).

от восточного древненижнефранкского (языка псалмов), и именно к нему-то и восходит процесс вычленения базы нидерландского языка.

Таким образом, из сопоставления двух лингвогеографических картин, реконструированных по данным лексики древних памятников и на основе источников после XIII в., возникает возможность очертить топографическую границу (она пролегает к западу от зоны контактов, к которой относятся Вахтендонкские псалмы) и хронологический старт (время североморских контактов) для определения базы нидерландского языка. Одновременно с этим получен ответ, подтверждающий западную (западнонижнефранкскую) гипотезу его происхождения.

Эти важные заключения, позволяющие обосновать решение методами ареально-контактной лингвистики вопроса о диалектных истоках и об ареальной базе нидерландского языка, имеют один недостаток: они построены на очень скудном древнем фактическом материале, с большим трудом добытом из немногочисленных языковых источников не всегда удовлетворительной сохранности. Ввиду важности проблемы, однако, остается руководствоваться принципом, на который ссылается Томас Клейн, правда, по несколько иному поводу: *in dubio pro ON*¹. Кроме того, оставалась надежда, что дальнейшие достижения в этой области могут принести новые результаты, которые помогли бы подтвердить, поправить или опровергнуть эти выводы.

С конца 1990-х гг., когда публиковались первые результаты этого анализа, в изучении континентальных западногерманских языков произошли события и были получены данные, в свете которых свидетельства лексических изоглосс получили новое значение. Например, в критических выступлениях Т. Клейна в 1999-2000 гг.² в ответ на теорию ранней самостоятельности древнесаксонского, выдвинутой Крогом, был заострен ареально-лингвистический аспект глоттогенеза в этой зоне и значительно укрепился взгляд на ведущую роль контактов на протяжении всей реконструируемой истории диалектов в данном ареале. Возражая против хронологического разрыва, получающегося по модели Крога (см. выше), Т. Клейн приводит исторические свидетельства: именно на это время приходится активные контакты саксов и франков в ходе миграций на севере континента. По данным археологии, около 700 г. должно было иметь место массовое перемещение саксонского этнического комплекса из района между Эльбой и Везером в юго-западном направлении и образование центрального этнического ядра в Ангарии, которое и во время Карла Ве-

¹ «в случае сомнения – в пользу древненидерландского», *Klein* 1995, 56

² *Klein, Th. Zur Stellung des Altsächsischen // Niederdeutsches Jahrbuch. Nr. 123. Neumünster 2000. S.7-32.*

ликого сохраняло центральное положение в племенном союзе.¹ Начиная с VI в. здесь складывается зона активных совместных инноваций, в которой нельзя еще различить самостоятельных языков, как это пытается представить Крөг, а приходится признать наличие диалектного конгломерата. Таким образом, подкрепляется точка зрения, согласно которой контактные процессы обоих будущих языков активны и в эпоху североморского единства, и в VI-VIII в, а различная ориентация их контактов в значительной степени определила и различия между самими развивающимися языками.

3.3. Новые древнидерландские Верденские источники ?

Другие новые данные, важные для решения обсуждаемой здесь проблемы, были получены в смежной исследовательской области изучения соседнего диалекта – среднефранкского. Речь идет о «Рифмованной Библии» (Легендарии) начала XII в. (Mittelfraenkische Reimbibel). Один из знаменитых памятников духовной поэзии XII века на немецком языке, включенный во многие антологии,² каталоги,³ обзорные⁴ и фундаментальные труды,⁵ был локализован в 1879 г. Гуго Бушем, его первым ис-

¹ *Laux, F.* Die Sachsen – Nachbarn und Gegenspieler der Franken // In: Die Franken – Wegbereiter Europas. 1997. S. 331-337, hier: 331; *Osten, G.* Die Frühgeschichte der Langobarden und die Bildung eines Grossstammes der Angeln seit dem Ende des 2.nachchristlichen Jahrhunderts/Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 51. S. 77-136< hier: S. 13f.;

² Die religiösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts, hrg. von *F. Maurer*, Bd. I, Tübingen 1964, S. S. 95–168, hier bes. S. 128–165; *Kraus, C. von.* Mittelhochdeutsches Übungsbuch. 1926, S. 17–21, 25–27.

³ *Schmidt, G.* Die Hss. der Gymnasial-Bibl. II. S. 25–26; *Hellgardt, E.* Die deutschsprachigen Handschriften im 11. und 12. Jahrhundert. Bestand und Charakteristik im chronologischen Aufriß // Deutsche Handschriften 1100–1400. Oxforder Kolloquium 1985, hrg. von V. Honemann u. N.F. Palmer, Tübingen 1988, S. 60 (Nr. 91); *Сквэйрс Е.Р., Ганина Н.А., Антонце Е.В.* «Коллекция документов Густава Шмидта» (Фонд № 40). КАТАЛОГ // Немецкие средневековые рукописи и старопечатные фрагменты в «Коллекции документов Густава Шмидта» из собрания Научной библиотеки Московского университета. Сост. Е.Р.Сквэйрс, Н.А.Ганина. Москва, 2008. С. 275-130.

⁴ *Papp, E.* Verfasserlexikon des Mittelalters 6 (1987), Sp. 616–620; *Skvairs, E.* Die «Dokumentensammlung Gustav Schmidt». Deutsche Sprach- und Literaturdenkmäler in der wiss. Bibliothek der Lomonossow Universität Moskau / ZfdA, 133 (2004). S. 475f.

⁵ *Гухман М.М.* От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. Ч. 2. Развитие языка немецкой народности. М., 1955. С. 47; *Wells, D.* The Central Franconian Rhyming Bible («Mittelfränkische Reimbibel»): An Early-Twelfth-

следователем и издателем, как среднефранкский.¹ До недавнего времени эта оценка его языка и происхождения не подвергалась критике или пересмотру, и лишь в последние годы возникла гипотеза,² согласно которой язык рукописи А «Легендария» является неоднородным по происхождению и в нем различим более западный, то есть нидерландский, вклад, причем хронологически реконструируемый как более старый, относящийся, таким образом, к более древнему состоянию этого языка. Автор гипотезы, Т. Клейн, исследовав различного рода особенности и противоречия в характере языка памятника (фонетические, графематические, грамматические и др.), выделил в нем два различных хронологических и диалектных слоя. Например, обнаруженные в поэме многочисленные неточности рифмы получают объяснение, если допустить, что они возникли в результате внесения более поздних южных форм среднефранкским переписчиком: ср. рифмующиеся в рукописи *daz* и *stat*. В качестве изначальной рифмы, принадлежавшей поэту, Клейн правомерно видит в этом случае форму *that* с непередвинутым *-t*. В этом и многих других подобных случаях оказалась возможной реконструкция первоначальных более северных, чем среднефранкские, форм, которые в рукописи XII в. оказались замененными переписчиком на более южные. О хронологической дистанции, пролегающей между двумя этими процессами, также можно судить по несоответствиям в языке рукописи. Так, написание порядкового числительного *thridden*, по мнению Клейна, уже невозможно в эпоху создания рукописи (когда уже распространены формы с отвердением) и объяснимо лишь в том случае, если предположить в ней более древнее и северное **thirde*, *therde* (со старым спирантом и метатезой), частично поправленное поздним переписчиком в направлении формы *drifte*: без метатезы, хотя и без отвердения и передвижения. Таким образом, текст, принадлежавший поэту, должен был быть более северным по диалекту, чем среднефранкский, и более ранним по хронологии, чем на-

Century German Verse Homiliary. (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur, 155. Hrg. Cola Minis† und Arend Quak.). Amsterdam–New York, 2004.

¹ *Busch, H.* Ein Legendar aus dem Anfange des zwölften Jahrhunderts // *Zeitschrift für deutsches Philologie*, 10 (1879), S. 129–204, 281–326, 390–485; 11 (1880), S. 12–62.

² *Klein, Th.* Längebezeichnung und Dehnung im Mittelfränkischen des 12. und 13. Jahrhunderts. /Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Bd. 57. Amsteram-Atlanta, 1995. S. 1–71; *Klein, Th.* Niederdeutsch und Hochdeutsch in mittelhochdeutscher Zeit // Die deutsche Sprache und die Regionen. Entstehungsgeschichtliche Fragen in neuer Sicht. Hrg. R. Berthele, H. Christen, S. Germann, I. Hove. Berlin-New York, 2003. S. 203–229; bes. S. 205. *Klein, Th.* Althochdeutsch und Altniederländisch// Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Bd. 57. Amsteram-New York, 2003. S. 25–43.

чало XII в. Отвечая на вопрос, как первоисточник поэмы локализуется по отношению к списку А по линии восток-запад, исследователь анализирует наряду с другими фактами колебания в формах глаголов *stân /stê̄n* и *gân/gê̄n* и на основании свидетельств рифмы приписывает языку поэта вариант с -â. Из анализа колебаний у слабых глаголов с синкопой (*kerde /karde*) выясняется, что переписчик колеблется между формами с обратным умлаутом или без него, тогда как поэту, судя по рифмам, свойственны только варианты *gekart, karde*. Значительное количество аналогичных фактов приводит к выводу о том, что диалектом поэта был нижнефранкский, причем юго-восточной локализации, на границе с вестфальским (древнесаксонским) и со среднефранкским. Это, как мы видим, совпадает с областью обсуждавшихся выше контактных явлений.

Полученная Клейном реконструкция обладает достаточно определенными конкретными языковыми чертами для того, чтобы можно было высказать предположение о месте создания первоначального текста. В качестве адреса в этой приграничной нижнефранкско-древнесаксонской области автор гипотезы выдвигает монастырь Верден, причем такое решение получает подкрепление со стороны фактов истории культурных и церковно-монастырских связей области Вердена-Эссена. Дело в том, что обсуждаемая рукопись уже с XII в. находилась в Гальберштадте¹ и этот факт, вкупе с тем, что в Гальберштадтской епархии имелся дочерний по отношению к Верденскому монастырь св. Людгера в Хельмштедте, убедительно свидетельствует в пользу того, что памятник может происходить из Вердена.

Таким образом, оригинал «Рифмованной Библии», список которого в результате исследований Т. Клейна рассматривается с 2000-х гг. в качестве источника по древней истории нидерландского языка,² по всей вероятности, происходит из той же контактной области, что и другой «условно древненидерландский» источник – обсуждавшиеся выше Вахтендонкские псалмы. Напомним лишь, что происхождение из Вердена позволяет «Рифмованной Библии», как и Вахтендонкским псалмам, претендовать лишь на роль косвенного источника для изучения нидерландской языковой истории.

4. Некоторые перспективы

¹Wells, D. The Central Franconian Rhyming Bible... Открытие Т. Клейна относится к одной из рукописей, частично находящейся в Германии в г. Галле (Hs. A), частично – в Научной библиотеке Московского университета (Hs. A*). Сквайрс Е.Р., Ганина Н.А., Антонец Е.В. 2008, № 37, 38 и 39.

² «Рифмованная Библия» включена в корпус источников для нового древненидерландского словаря: см. обсуждение включения в статье Т.Клейна: Klein 2003.

Значение новых данных о диалектном происхождении «Рифмованной Библии» выходит за рамки изучения этого конкретного памятника, представляя в новом свете проблему ареальных связей на восточной (юго-восточной) границе древненижнефранкского и ту роль, которую эти контакты сыграли в становлении нидерландского языка. Новый интерес приобретает тот факт, что часть рукописи Вахтендонкских псалмов (первые три псалма) написаны не на ниже-, а на среднефранкском. Если родина псалмов оказывается не только областью языкового (диалектного) смешения, но и центром культурных контактов и литературного процесса, давшим столь крупное поэтическое произведение на библейский сюжет, как «Рифмованная Библия»¹, а также центром письменности, связавшим нижнефранкскую рукописную традицию с несколько более поздней среднефранкской, то стоит обратиться и к другим источникам, происходящим из того же района. Например, среднефранкскую атрибуцию также имеет никогда не исследовавшаяся в данном реконструктивно-лингвистическом аспекте «Поэма о Маккавеях» XIII в., которая находилась вместе с рукописью «Рифмованной Библии» в одном и том же собрании гимназической библиотеки г. Гальберштадта.² Ранее в литературе обсуждалась возможность древненидерландской атрибуции другого среднефранкского памятника – Лейденского «Виллирама».³ Наконец, в прирейнской области существовала мощная литературная религиозно-поэтическая традиция, родственная обсуждаемым текстам в языковом и жанровом отношении. Она представлена в антологиях духовной поэзии⁴ и заслуживает внимания с точки зрения ее значения для изучения истоков языков этого региона.

¹ «Легендарий» представляет собой крупное по объему произведение: сводка текста по всем сохранившимся рукописям составляет 667 строк, см. *Wells, D.* op. cit.

² В настоящее время также находится в Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова («Коллекция документов Густава Шмидта»), см. *Сквайрс Е. Р., Ганина Н.А., Антонец Е.В.* 2008, w 37, 38 и 39.

³ *Sanders, W.* Der Leidener Willeram. (Medium Aevum, 27). München, 1974. Т. Клейн считает нижнефранкский след в этой рукописи не столь отчетливым, как в «Рифмованной Библии».

⁴ Например, большая антология: *Oskar Schade* (Hrg.) Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts von Niederrhein. Hannover, 1854; а также: *Maurer, F.* Die religiösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts., Bdd. I-III. Tübingen, 1964-70.

*Е.М. Чекалина***ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ В ЗЕРКАЛЕ НОВОЙ ИСТОРИИ
ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА**

Уникальность библейских текстов состоит в том, что они отражают изменения языковой системы при идентичном содержании в рамках единого социально значимого и функционально маркированного жанра. Каждый перевод, начиная с первой половины XVI в., – это «дитя своего времени» [Olofsson 1986, 7], и по тому, насколько далеко отстоит один текст от другого, можно фиксировать поворотные моменты в новой истории шведского языка.

Ранненовошведский период открывается датой напечатания первого полного перевода Нового Завета в 1526 г. (далее NT 1526). К этому времени шведский язык претерпел кардинальные изменения на всех уровнях – в фонетике, морфологии, синтаксисе и лексике, предопределившие тенденции его развития вплоть до современности. Системная перестройка происходила в условиях сильнейшего иноязычного влияния в период Ганзейского союза и Кальмарской унии конца XIV – начала XVI вв., тормозившего процессы выработки общенационального стандарта. Для языковой ситуации того времени было характерно смешение старых и новых словообразовательных форм и синтаксических конструкций, исконной и иноязычной лексики, создававшее нестабильность узуса и неустойчивость нормы. Важнейшая роль в выработке общенационального литературного языка принадлежит Библии Густава Васы 1541 г. (далее GVB) – полному печатному переводу Священного Писания, который осуществили выдающиеся деятели шведской Реформации – архиепископ Лаурентиус Петри и его брат Улаус Петри, студентом Виттенбергского университета слышавший выступления Мартина Лютера. Этот текст оставался почти неизменным на протяжении нескольких столетий; в издания Библии Густава Адольфа 1618 г. и Библии Карла XII 1703 г. были внесены лишь незначительные изменения, главным образом, в орфографии.

Языковая форма, в которую деятели шведской Реформации облекли текст Священного Писания, была обусловлена воздействием трех факторов:

- 1) современного им узуса письменной и устной речи центральных областей Швеции вокруг озера Меларен;
- 2) письменной традиции перевода и переложения клерикальной литературы, сложившейся в XIV в. на эстьётской диалектальной основе в связи с деятельностью Вадстенского монастыря;

3) новых переводов Библии, предпринятых европейскими гуманистами – Эразмом Роттердамским на латынь в 1516 г. и Мартином Лютером на немецкий язык в 1534 г.

Переводы Библии первой половины XVI в., отражавшие языковую ситуацию того времени, которая была определена шведским исследователем Л. Воллином как «samtidens turbulens» [Wollin 1991, 40], привлекают внимание прежде всего своей вариативностью, что проявляется как в пределах каждого перевода, так и при их сопоставлении. Проведенный Л. Воллином анализ небольшого отрывка из Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея 7:16) выявил, в частности, следующие различия между NT 1526 и GVB [Wollin 1991, 38]:

1) употребление определенной/безартиклевой формы существительного после детерминатива перед относительным придаточным:

NT 1526

GVB

then domen som**then doom som****thet måtet som****thet mått som**

2) употребление в притяжательной функции местоимения 3 лица множественного числа/возвратного местоимения:

NT 1526

GVB

ath the icke trampa them

at the icke trampa them **medh sina****medh theres fötter****fötter**

(как в современном датском языке)

В обоих случаях в синтаксической норме современного шведского языка закреплены варианты, которым было отдано предпочтение в GVB.

В фундаментальном исследовании языка и стиля шведских переводов Библии К.И. Столе приведены примеры целого ряда существенных изменений в тексте GVB, по сравнению с NT 1526, направленных на упрощение синтаксиса и отказ от калькирования с латыни и нижненемецкого:

1) отказ от использования конструкций с причастиями [Stähle 1970, 18]:

NT 1526

NT 1541

han **war soffwandes**, baak j skipet, han **soff** baak j skepet (Luther: und Mark. 4:38 (Erasmus: erat ... dormiens)

schlieff...)

2) отказ от использования унаследованной из нижненемецкого футуральной конструкции с глаголом становления и причастием I [Stähle 1970, 19]:

NT 1526

NT 1541

Genom mit nampn **wardha** the Genom mitt nampn **skola** the
vthdriffwande dieflnar, Mark. **vthdriffua** diefflar.
16:17-18

3) отказ от избыточного употребления местоимений; здесь и ниже [Stähle 1970, 21]:

NT 1526	NT 1541
Herren han kenne r them som hans äro, 2 Tim 2:19	Herren kenne r sina all ting, 1 Kor 2:15
then andeligh är, han kan döma om all ting, 1 Kor 2:15	then andelige dömer all ting

4) замена относительных придаточных именными словосочетаниями:

NT 1526	NT 1541
lät oss bortkasta the gerningar som mörkret tilhöra , och clädha oss vthi the wapn som liwset tillhöra, Rom 13:12	lät oss bortkasta mörkersens gerningar , och jklädha oss liwssens wapn

5) замена придаточных цели инфинитивным оборотом:

NT 1526	NT 1541
kom iach..., på thet ath iach wille see Petrum, Gal 1:18	kom iagh..., til at see Petrum

6) замена описательных побудительных конструкций формой императива:

NT 1526	NT 1541
Sådant må tu biwdha och lära , 1 Tim 4:11	Sådant biudh och lär
J skolen icke elska werlden, 1 Joh 2:15	Elsker icke werldena

7) замена повествовательных предложений с инверсией, в том числе с вводящим союзом **och**, на предложения с прямым или инвертированным порядком слов, соответствующим современной синтаксической норме [Stähle 1970, 23–24]:

NT 1526	NT 1541
Sadhe Jesus till henne...	Och han sadhe...
Och uppenbaradhe han sigh...	Thå sadhe han...

8) усечение производных имен существительных и прилагательных [Stähle 1970, 17]:

NT 1526	NT 1541
förståndughet, hastughet, kraftughet, plictughet, saktmodighet, lydaktighet	förstånd, hast, kraft, plikt, saktmod, lydna
bredhet, långhet, höghet, tysthet, otrohet	bredd, längd, höjd, tysta, otro

hordom, fördömelse, döpelse, röveri, fördärvelse, förtröstning, förhindring	hor, dom, dop, rov, fördärv, tröst, hinder
--	---

fåfängelig, klarlig, renlig, svaglig, uppenbarlig, tacksamlig	fåfång, klar, ren, svag, uppenbar, tacksam
--	---

По сравнению с NT 1526, в GVB заметно упорядочена орфография, а также унифицированы средства синтаксической связи – союз причины **ty** (соответствующий немецкому **denn**) заменил дву- и трехчленные сочетания **för ty**, **ty ath**, **för thy ath**, а изъяснительные союзы **ath** и **på thet** (ср. **dass** и **auf dass** у Лютера) заменили сочетания **uppå thet**, **på thet ath**, **uppå thet ath** [Stähle 1970, 16].

Вместе с тем внутри каждого перевода в различной степени прослеживается тенденция к унификации, хотя значительно больше это проявляется в GVB. Так, уже в NT 1526 впервые вводится употребление букв **å**, **ä** (совр. **ä**) и **ö** (совр. **ö**); упорядочивается написание союза **och** (который прежде мог писаться как **oc**, **ok**, **ock**, **och**); в заударных слогах восстанавливается написание конечного **a**, в противовес датской норме и, следовательно, по идеологическим причинам: **wardha/warda**; **tagha**, **ögha** вместо употреблявшихся в устной речи форм с редуцированным **e**: **warde**, **taghe**, **öghе**, зафиксированных в письменных текстах, как предшествующих, так и современных переводам Библии; в NT 1526 сохраняется, однако, написание редуцированного **e** в местоимении **theres**.

В то же время текст NT 1526 отличается непоследовательностью в орфографии; так, в предисловии, которое было написано королевским канцлером Лаурентиусом Андрез, одно и то же прилагательное «простой» дается в трех различных написаниях – **eenfåldugh**, **enfållugh** с ассимиляцией и **enfalleligh**; показательно, что в них используется как исконный скандинавский суффикс **-ugh**, так и заимствованный из нижне-немецкого **-igh**.

В обоих переводах наблюдается варьирование в словоизменении по древнешведским парадигмам или по новой значительно упрощенной модели склонения. Так, и в NT 1526, и в GVB встречаются именные словосочетания прилагательных и местоимений со старыми флективными показателями и существительных в новых падежных формах (при древнешведской форме косвенного падежа **brodthur**) [Wollin 1991, 37]:

	NT 1526	GVB
gen.	thins brodthers	tins brodthers
dat.	thinom brodher	tinom brodher

Однако если в NT 1526 варьирование происходило стихийно, в GVB, как убедительно показывает исследование К.И. Столе, оно было осознанным и использовалось в экспрессивно-стилистических и ритмико-интонационных целях, например:

J skolen icke giffua **hundomen** (определенная форма мужского рода множественного числа дательного падежа) thet heligt är;

i himmelen och på **jordenne** (определенная форма женского рода единственного числа дательного падежа) [Ståhle 1970, 34].

В «архаичном облачении» здесь часто выступают слова, которые передают наиболее важные христианские понятия:

дательный падеж мужского рода единственного числа – **Gudi, Herranom, Andanom** (два последних слова в определенной форме);

дательный падеж женского рода единственного числа в определенной форме – **själenne, syndenne**;

именительный и косвенный падежи слабых существительных – **Herre/Herra; ande/anda; vilje/vilja**;

винительный падеж прилагательного при инверсии – **ty en gladhan giffuare elskar Gudh** [Ståhle 1970, 34].

Осознанное использование вариативных форм в GVB было подчинено общенациональной задаче создания интонационно ритмичного и экспрессивно насыщенного текста, предназначенного для произнесения во всех приходах страны, в противовес «турбулентности», которая имела место в шведском языковом континууме того времени. При выборе языковых и стилистических средств учитывалось прежде всего то, что население страны в большинстве своем было неграмотным, и Слово Божие должно было восприниматься на слух, пониматься и запоминаться.

В исторической перспективе Библия Густава Васы стала наиболее значительным текстом общенационального масштаба, который когда-либо был написан на шведском языке. Благодаря высокому социальному престижу и распространению по всей стране Библия Густава Васы явилась отправной точкой в сознательной нормализации шведского литературного языка, которая стала главной линией его истории в последующие три с половиной столетия.

В XX веке основным вектором в развитии шведского языка стало сближение письменной и устной речи. Как отмечает Л. Воллин, в предшествующие столетия каждая из форм существования шведского языка «жила своей жизнью», а процессы стандартизации литературно-письменной нормы лишь «цементировали все увеличивавшуюся пропасть между ними» [Wollin 1991, 43]. Их сближение, определившее дальнейшую эволюцию шведского языка в XX в., было взаимонаправленным. Изменения, происходившие в литературно-письменном языке, в значи-

тельной степени были обусловлены влиянием устной речи; см. об этом [Molde 1970, Ståhle 1970; Widmark 1987]. Вместе с тем за минувшее столетие шведы стали говорить на гораздо более книжном языке, чем прежде [Wollin 1991, 43]. Одним из наиболее значимых результатов этих процессов, повлиявших на судьбу библейских переводов, стало изменение функционально-стилистической дифференциации шведского языка. В XX в. существенно модифицировалось соотношение между двумя тенденциями, составляющими антинорму литературного языка и определяющими характер и степень его негомогенности в каждой национально-специфической культуре – стабильностью и дифференцированностью [Семенюк 2000, 103]. В новой языковой ситуации идеологи и создатели перевода Библии Густава V, которая увидела свет в 1917 г. после 144 лет работы подготовительной комиссии, стремились найти золотую середину, объединив решение двух задач – остаться верными сложившейся традиции и, сохранив *usus biblicus*, вместе с тем сделать текст Священного Писания более понятным для своих современников. Связь с традицией поддерживалась использованием преимущественно архаичной лексики; в тексте были, например, сохранены такие лексемы, как **tillstådja** (совр. **tillåta**), **förgäta** (совр. **glömma**), **afton** (совр. **kväll**), **blygas** (совр. **skämmas**), **ståndaktig** (совр. **tålmodig**). Одной из важнейших примет высокого библейского стиля оставались лексемы **icke** (совр. **inte**), **allenast** (совр. **bara**), **ock** и **jämväl** (совр. **också**). Вместе с тем вытеснение части устаревшей лексики из сферы литературного языка на периферию словоупотребления в устной, чаще всего обиходной диалектно окрашенной речи предопределило ряд лексических замен ставших архаичными слов на нейтральные: **varda** на **bliva**, **spörja** на **fråga**, **förtappas** на **förlora**.

Для придания тексту Библии понятной современникам формы были использованы синтаксические средства; тем самым на новом витке истории через 400 лет повторялся путь, пройденный создателями NT 1526, стоявшими у истоков традиции. Однако если у первых переводчиков эпохи Реформации под рукой были только лютеровский образец и собственное чувство языка и стиля, создатели Библии Густава V опирались на поддержку современных им лингвистов-новаторов, ратовавших за сближение литературно-письменного языка с устной речью, прежде всего А. Нурена и Г. Седершельда [Ståhle 1970, 96]. В текст Библии 1917 г. в соответствии с нормами устной речи были внесены некоторые существенные изменения:

- 1) употребление наряду с флективной формой на **-s** аналитического пассива с глаголом становления **bliva** и причастием II:

GVB 1541	1917
Ty thet skal idher giffuas j samma stundenne hwadh j tala skolen [Stähle, 110]	ty vad I skolen tala skall bliva eder givet i den stunden [Stähle, 111]

2) использование эмфатических описательных конструкций:

GVB 1541	1917
Hwadh handladen I ... ? [Stähle, 99]	Vad var det I samtalade om ... ? [Stähle, 99]
Om een meniskia råkadhe falla j någhon synd [Stähle, 96]	Om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse [Stähle, 96]

3) частое употребление глаголов с поствербями вместо префиксальных:

GVB 1541	1917
Detta är det brödet, som nederkommer af himmelen, på det den der af äter, skall icke dö [Stähle, 100]	Men med det bröd som kommer ned från himlen är det så, att om någon äter därav, så skall han icke dö [Stähle, 100]

4) употребление «расщепленных» относительных местоимений вместо составных в подчинительной функции:

GVB 1541	1917
Hwaraff hjertat är fullt [Stähle, 98]	Vad hjärtat är fullt av [Stähle, 98]

5) регулярное использование дискурсивных наречий **nämligen**, **då**, **så**, **nu**, модальных частиц **ja**, **ju**, **väl**, **nog** и союзов **ty**, **men**, **och**, **så att**.

Особенно часто встречалась в переводе 1917 г. частица **ju** – в 6 раз чаще, чем в NT 1526 и GVB; поэтому после выхода в свет Библию Густава V стали в шутку называть «ju-bibeln» [Olsson 2001, 102].

Вместе с тем в переводе 1917 г. были сохранены устаревшие глагольные формы 2 лица множественного числа на **-en**, которые сохранялись в риторике и высокой поэзии; в других типах текстов эти формы к началу XX в. вышли из употребления:

в презенсе – Och där **I gå**n fram skolen **I** predika... [здесь и ниже Stähle 1970, 107];

в перфекте – **I haven fått** för intet;

в императиве – **Boten** sjuka, **uppväcken** döda, **gören** spetälska rena, **driven ut** onda andar;

в претерите – **I samtaladen** [Stähle 1970, 99].

В связи с этим в тексте Библии Густава V сохранялось и старое местоимение 2 лица множественного числа **I**, являвшееся приметой высокого стиля. Как и во всех других письменных текстах первой половины XX века, неизменным оставалось употребление форм множественного числа в презенсе всех и претерите сильных глаголов.

Как отмечалось в работах Н.Н. Семенюк, проблема модернизации языка Библии, встающая перед современными теологами и лингвистами, – «это отнюдь не просто стилистическая проблема: неизбежный сдвиг в стилистическом восприятии библейского текста создает для современного человека ряд психологических и этических проблем, с которыми общество не может не считаться» [Семенюк 2000, 37].

Во второй половине XX в. в шведском обществе произошли глубокие изменения; секуляризация стала основной причиной создания по инициативе государственных органов нового экуменического перевода Библии на современный шведский язык [Teleman 1991, 99]. Решение об этом принял Риксдаг в 1961 г., а в 1972 г. Министерством образования Швеции была создана рабочая комиссия, в которую вошли теологи, лингвисты, историки литературы и писатели. Они видели свою задачу в том, чтобы адекватно оригиналу (*grundtextadekvat*) передать содержание и стилистику древнегреческого текста Нового Завета и древнееврейского текста Ветхого Завета на идиоматичный, понятный и естественный современный шведский язык, используя все ресурсы вариативности. Основным при работе над новым шведским переводом Священного Писания стал «принцип равного эффекта» (*lika-effekt-principen*) [Olsson 2001, 12].

Перевод Нового Завета появился в 1981 г.; в 1979 и 1984 гг. были опубликованы неполные издания книг Ветхого Завета; наконец в 2000 г. в обновленном виде вышел в свет полный текст Священного Писания на современном шведском языке.

Проблема выбора адекватных оригиналу новых стилистических средств шведского языка была связана с изменением традиционного деления стилей по шкале: низкий – средний – высокий; «для языков европейского культурного ареала это противопоставление в значительной мере было уже снято, что сопровождалось перипетиями в языковых и стилистических характеристиках отдельных текстов» [Семенюк 2000, 137]. В современных языках «стилистическая тональность сохраняется лишь как условно выделяемая совокупность однородно маркированных языковых явлений, тогда как прямая соотнесенность определенного стилистического слоя с теми или иными видами/жанрами письменности в современной языковой ситуации в значительной мере устраняется» [там же, 138]. Применительно к нашей теме традиционный библейский стиль перестал быть частью живого шведского языка.

В новом переводе были устранены все архаичные глагольные показатели лица и числа, а также произведена замена устаревших полных форм на стяженные: **bli/blir** вместо **bliva/bliver**; **ta/tar** вместо **taga/tager**, **ha/har** вместо **hava/haver**, **er/era** вместо **eder/edra**, кроме имен родства **fader**, **moder**, **broder**. Являвшиеся приметой высокого стиля лексемы **icke**, **allenast**, **jämväl** и **ock** были заменены современными стилистически нейтральными **inte**, **bara**, **också**. Пространный, порой витиеватый синтаксис Библии 1917 г., искусственно имитировавший устную речь, был значительно упрощен; из текста были убраны избыточные дискурсивные слова, прежде всего **ju**. Язык нового перевода стал содержательно более емким и стилистически более сдержанным.

В целом новый перевод Священного Писания был воспринят шведским обществом положительно, и тираж его разошелся очень быстро. Тем не менее нашлись скептики, усмотревшие в модернизации языка библейских текстов покушение на историко-культурные ценности нации. Они аргументировали свои возражения тем, что никому не приходит в голову переводить на современный шведский язык созданные в прошлые века художественные тексты, которые стали частью современной национальной культуры, например, поэзию Бельмана. Следует, однако, помнить о том, что ставшие крылатыми библейские цитаты вошли в современную фразеологию и заняли свое место в языке и культуре шведской нации, а это стало возможным во многом благодаря обновлению библейских переводов. Ожидает ли современный перевод такая же судьба, покажет будущая история шведского языка.

Литература

Семенюк Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.

Molde B., Ståhle C.I. 1900-tals svenska. Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård, 37. Stockholm, 1970.

Olofsson S. Guds ord och människornas språk. En bok om bibelöversättning. Uppsala, 1986.

Olsson B. Från Birgitta till Bibel 2000. Den svenska Bibelns historia. Stockholm, 2001.

Ståhle C.I. Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-tal. Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård, 40. Stockholm, 1970.

Teleman U. Guds ord och människornas meningar // Språket i bibeln – bibeln i språket. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 76. Arlöf, 1991.

Widmark G. Växelverkan mellan tal och skrift // Språk i Norden 1987. Nordisk språksekretariats skrifter 8. Arlöf, 1987.

*f*Wollin L. Bibeln och språknormen // Språket i bibeln – bibeln i språket. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 76. Arlöf, 1991.

Т.В. Топорова

**О ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ СКАЛЬДИЧЕСКИХ КЕННИНГОВ,
ОТРАЖАЮЩИХ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ)***

Наталья Николаевна Семенюк всегда привлекала к себе умы и сердца многих людей, как в человеческом, так и в научном отношении, прежде всего потому, что и в ее жизни и в профессиональной деятельности доминируют столь редкие в наше время качества – благоразумие и терпимость. Их органичное сочетание оказывает на окружающих почти магическое влияние положительной энергии и создает впечатление о гармонической личности, незамутненности характера, ясности и определенности научных воззрений.

В своих трудах на протяжении длительного периода Н.Н. Семенюк уделяла пристальное внимание проблеме языкового варьирования. Особо упоминания заслуживает, в частности, изданная в 2000 г. монография Н.Н. Семенюк, в которой «стилистические разграничения рассматриваются в рамках более общих проблем, а именно в качестве одного из видов варьирования, свойственного языку и в его системных свойствах, и в его функционировании» [Семенюк 2000, 4]. В русле научных интересов Н.Н. Семенюк находится, как мы надеемся, и настоящая заметка.

Проблема поэтической терминологии на редкость актуальна для древнегерманской мифопоэтической традиции на разных этапах ее развития. В качестве наиболее архаичного примера рассматриваемого феномена можно привести особый жанр - тулы, представляющие собой перечни имен, объединяемых при помощи поэтических приемов. Весьма существенно, что именно тулами являлись *древнейшие* германские памятники - аллитерационный ряд племенных названий, приводимый Плинием и Тацитом, в частности, генеалогические ряды лангобардов. Продолжением этого жанра можно считать древнеисландские тулы (др.-исл. *pula*), стихотворные произведения, состоящие исключительно из имен собственных, произносимых жрецом (др.-исл. *pulr*), хранителем мудрости. Специфика тул заключается в том, что в них имена собственные выступают не в сюжетно-логической последовательности, они вырваны из контекста, определяемого их связями с окружающими апеллятивами, и упоря-

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 00-04-0354(a)).

дочены в соответствии с принципами поэтической мотивированности (аллитерацией, наличием общего корневого гласного, словообразовательного элемента и пр.).

Некоторые факты свидетельствуют о том, что интересующее нас явление можно считать закономерностью реального тезоименитства. Как известно, для древнегерманской ономастической концепции (то есть наречения именем) характерен плюрализм названий, которому нельзя дать удовлетворительное объяснение, ссылаясь исключительно на стремление отразить различные аспекты денотата. Множественность имен, свойственная древнегерманскому периоду, свидетельствует о тенденции к вариативности, к *разным* способам семантического кодирования, к метафорическим обозначениям. Использование в кте номинации названий-метафор зафиксировано в знаменитой песне «Старшей Эдды» — «Речах Альвиса», диалоге на космологические темы между мудрым карликом Альвисом (др.-исл. *Al-víss*, букв. 'всезнающий') и богом Тором, где каждый элемент вселенной (небо, земля, море, гора, дерево, ветер и др.) имеет несколько названий: он обозначается на языке богов, людей, карликов и великанов. "Речи Альвиса" подтверждают актуальность различных принципов номинации одного и того же объекта и метафорическую основу семантических мотивировок.

Как видим, укорененность поэтической терминологии в сфере имен (как нарицательных, так и собственных¹) в общегерманскую эпоху подтверждается документально. Особого расцвета эта тенденция достигает в *древнеисландском* ареале, в недрах которого складывается корпорация поэтов-певцов - скальдов, в своих истоках тесно связанных с ритуалом, создается наука о поэзии - поэтика (ср. в «Младшей Эдде» раздел «Язык поэзии», своеобразный учебник поэзии)². Типологической параллелью древнейших названий-метафор в более позднее время можно считать

¹ В монографии Г. Шрамма древнегерманские двучленные имена собственные трактуются как специфические сочетания поэтического типа. По мнению Шрамма, поэтическая природа ономастических композитов проявляется в диахронии в их происхождении из элементов эпоса, а в синхронии – в трактовке их «апеллятивного фона» как «поэтических обозначений правителей и воинов» [Schramm 1957, 5].

² Ср. высказывание по этому поводу автора "Младшей Эдды" Снорри Стурлусона: «Теперь следует сказать молодым скальдам, пожелавшим изучить язык поэзии и оснастить свою речь старинными именами или пожелавшим научиться толковать темные стихи: пусть вникают в эту книгу, дабы набраться мудрости и позабавиться» [Младшая Эдда 1970, 60].

скальдические кеннинги (перифрастические описания объекта)¹ и хейти (поэтические синонимы) несмотря на принадлежность скальдической поэзии индивидуальному творчеству. Деятельность скальдов в известной мере сопоставима с архаичной традицией наделения названий-метафор, поскольку она (хотя и на другом уровне — авторском) ориентирована на многообразие способов номинации и на нахождение наиболее удачного имени. Таким образом, обращение к поэтической терминологии, реализующейся в скальдических кеннингах, вполне естественно, поскольку проблема использования названий-метафор выдвигалась в рамках скандинавской поэтической традиции и занимала в ней центральное положение (ср. упоминавшийся выше «Язык поэзии», посвященный рассмотрению приемов поэтического творчества). Выбор в качестве объекта исследования скальдических кеннингов, отражающих космогонические представления, обусловлен периферийностью и недостаточной изученностью именно этой сферы, поскольку система кеннингов образует пирамиду: «вершину ее занимают кеннинги мужа-воина – главного персонажа героического мира, ниже располагаются кеннинги женщины, богов и правителей, <...> еще ниже помещаются кеннинги битвы, оружия, золота и корабля – важнейшего атрибута скандинавских воинов – викингов; за ними следуют кеннинги птицы и зверя битвы (ворона и волка), крови и трупа, на нижних «этажах» этой пирамиды располагаются кеннинги моря и неба, огня и змеи, поэзии и скальда» [Гуревич 2000, 30-31].

Целью настоящей заметки не является исчерпывающее описание скальдических кеннингов, имеющих отношение к древнегерманской космогонической концепции; внимание акцентируется прежде всего на указании основных типов «космогонических» кеннингов и на изучении семантических мотивировок важнейших понятий из космологической сферы; анализу подвергается материал скальдической поэзии, собранный и расклассифицированный Мейснером [Meissner 1921]. Наряду с изучени-

¹ Приведем развернутое определение кеннинга: «kenning - букв. «охарактеризованный» или «снабженный приметой» - двухчастная субстантивная фигура, состоящая из «основы» и «определения» и выступающая в языке скальдов в роли поэтического заместителя обычного существительного. «Основа» в кеннинге обычно служит метафорическим обозначением подразумеваемого понятия, тогда как «определение» (выраженное существительным в родительном падеже) берется из денотативной сферы референта (например: *конь моря = корабль*)» [Гуревич 2000, 715]. Кеннинг трактуется как «структурно-семантическая модель, осуществляющаяся в серии вариантных воплощений» [Гуревич 2000, 27]. Таким образом, для кеннинга характерны два момента – замещение описываемого объекта и иносказательная форма представления этого объекта.

ем языкового образа «мира вещей» из сферы космогонии, предполагающем низведение апеллятива до своих истоков «первого имени», отсылающего к акту первоначальной номинации, ставятся и другие задачи - проследить взаимодействие языковых и поэтических факторов и определить функции поэтической терминологии в избранной области.

Семантическую структуру скальдической космогонии можно представить в виде понятийного словаря, включающего следующие элементы:

Небо [Meissner 1921, 104-109]

'череп Имира': *Ymis hauss*;

'владение четырех карликов (Северного, Южного, Восточного и Западного), располагающихся по краям небосвода': *Norðra niðbyrðr, Austrar erfiði*;

'свод, шлем, шатер': *heims skáli, heiðar hialmr, eyhjalmr, heimtiald, fróns fagrtiöld*;

'кровля': *vallræfr, hreinvers ræfr*;

'сосуд' (ветров, бури, дождя): *vindker, glyggs ker, élker*;

'путь' (урагана): *hreggs hábraut, skýiar slóð, skýia leið*;

'обитель солнца' (страна, дом, шатер, луг, престол, шлем, мост): *sólar grund, sólarann, sóltiöld, sólvangr, sólar stóll, sólar hialmr, sólbryggia*;

'обитель дня' (страна, дом, престол, кровля, путь): *dags land, dags höll, dagstallr, dagræfr, dagbraut*;

'обитель месяца' (страна, дом, шатер, путь, мост): *mána fold, mána rann, mána tiald, mána vegr, mána bryggia*;

'обитель созвездий' (дом, путь, мост): *tungla rann, vagna braut, tunglbryggia*;

'Мимир непогоды': *hregg-Mimir, vetr-Mimir*;

Земля [Meissner 1921, 87-89]

'жена Одина, мать Тора': *Báleygs brýðr, mellu dolgs móðir*;

'впадина, дно': *élkers botn, vindkers botn*;

'обитель людей': *aldar rann, vera setr*;

'ложе моря': *með mar-beðium*;

Вода [Meissner 1921, 92-100]

'кровь Имира, земли': *Ymis blóð, iötuns hals undir þjóta, sals dreyri*;

'страна, мир, путь волн': *bóuru land, unnheimr, öldu vegr*;

'движение, путь, страна прибое, шума': *brims gangr, brims vegr, brimland, dynlád*;

'небосвод, страна, мир песка': *sandhiminn, sanda land, sand heimr*;

'кольцо, пояс, петля, узы, ограждение земли': *foldar hringr, grundar girði, frónband, iarðbelti, foldar fiöturr, þjórnar sili, landgarðr*;

'страна, дом, кров, путь рыб': *áls ferá, hvals búá, lýs heimr, hvalmænis*

'жилище птиц (чаек, лебедей и др.): *máva glæheimr, svana dalr*;

'ОГОНЬ': *hrauð í himin upp glóðum hafs, Gylfa skipi glóiörð*;

Огонь [Meissner 1921, 100-102]

'зло, забота, ужас, смерть земли': *viðis böl, эс angr, marka grand, kastar hel*;

'убийца, враг, вор': *hallar bani, limdolgr, húsþiófr*;

'волк, пес': *storðat úlfr, viðar hundr*;

'обладающий лучами, дымом': *geisla niótr, reyks rösuðr*;

'родич ветра, моря, Сурта': *vinds bróðir, sævar niðr, Surtar sefi*;

Солнце [Meissner 1921, 103-104]

'колесо альвов, неба': *alfröðull, himins, hvél*;

'сестра месяца': *Mána systir*;

'огонь, пламя, щит неба': *himins eisa, hlýrnis eldr, svana flugreinar leygr, himna skiöldr*;

Месяц [Meissner 1921, 104]

'исчисляющий годы': *ártali*;

'украшение земли': *fróns þrýðir*;

Ночь [Meissner 1921, 109]

'сна Ньерун': *draum-Niörun*

'костяк между двух дней': *veggja daga miðleggr*;

Ветер [Meissner 1921, 102-103]

'вред, забота, уничтожение дерева': *lindis skaði, almsorg, viðar morð*;

'волк, пес': *seliu gandr, limgarmr*;

'великан дерева (мачты)': *vandar iötunn*;

'родич огня, моря': см. **Огонь**;

Гора, камень [Meissner 1921, 89-92]

'жилище карликов, великанов': *dvergrann, Regins skáli, gygiar gagnstígr*;

'кость, зуб земли, моря': *foldar bein, fróns leggr, foldar tönn, ævar bein, fentönn*;

'шар, яблоко, зерно, желудь моря, земли': *undirkúla, fiarðepli, flóðkorn, rastakarn, aurs epli*;

'балка, кол земли': *áss haudr*;

Трава, лес [Meissner 1921, 89]

'волосы, водоросли земли': *iarðar haddr, iarðar hár, foldar fax, hliðþang*;

Фауна

Змей [Meissner 1921, 112-116]

'брат волка [Фенрира]': *úlfs hnitbróðir*;

'рыба земли': *dalfiskr, grundar fiskr, foldar fiskr*;

'ограждение, узы, ожерелье, изгиб, серп земли': *allra landa endiseiðr, holmfjöturr, iarðar men, stordar lykkia, urðar sigðr*;

'кольцо, пояс земли': *vallar baugr, iarðar fránbaugr, grundar belti*;

'веревка, нить земли': *foldsili, moldþinurr, grundar seil*;

'узы, ремень моря': *lögseimr, öldu eitþvengr, sæþrapr*;

Волк [Meissner 1921, 124-126]

'потомок Фенрира': *Fernis ióð, Fenris kindir*;

'собака Одина': *Viðris grey*,

'противник Одина': *Tveggja bági*;

'нагоняющий, поглощающий солнце': *sólar sækir, himins hvólsvelgr*;

'говорящий мечом': *skólkinnir*;

'конь великанши': *flagðs blakkr, kveldriðu hestr, trolls marr, flagðvigg*;

Ворон [Meissner 1921, 119-123]

'птица Одина': *Óðins hauhk, Hanga gagl, Yggs svanr*;

Боги [Meissner 1921, 251-252]

'обитатели божественного места (престола)': *Gauta setrs vikingar*;

'защитники богов': *goða varnendr*;

'подчиняющиеся Одину': *Hárs þegnar, Yggs ærir*;

Великаны [Meissner 1921, 255-259]

'жители гор': *bergsalar bönd, fróns leggs folk*.

Сведения о древнегерманской космогонии, почерпнутые из скальдических кеннингов, отличаются оригинальностью и новизной. Они предоставляют уникальную информацию о космологических представлениях, в частности, позволяют реконструировать мифологему первоначального слияния неба и земли, прародителей всего сущего и круг — образ их единства на основании микромотивов 'небо — свод, шлем, шатер', 'земля — дно, впадина', сравнить небо и нижний мир, ассоциирующийся с водной стихией и плодородием, поскольку в качестве их персонафикаций выступает один и тот же персонаж по имени *Mimir*, имеющий индоевропейские истоки [Мифы народов мира 1980, 531], и тем самым, восстановить концепцию происхождения вселенной из единого начала, обнаружить общую природу огня и ветра как разрушительных стихий, установить изоморфизм между морем и мировым змеем, опоясывающими или ограждающими землю. Скальдические кеннинги предоставляют дополнительные данные о некоторых мифологических мотивах, известных из других источников, например, идея антропогонического характера космогенеза (происхождения элементов мироздания из частей тела первоче-

ловека Имира) подтверждается микромотивами 'вода — кровь земли', 'гора — кость земли, моря', 'лес — волосы, водоросли земли'; изофункциональность мирового древа и мировой горы отражается в микромотиве 'гора — кол земли'; архаичная природа мирового змея, окружающего землю и сдерживающего ее, реализуется в микромотиве 'змея — кольцо, пояс, нить земли'; на недифференцированность воды и огня в период, предшествующий творению, указывает микромотив 'огонь — родич моря'; ссылка на эстетическое восприятие объектов демиургической деятельности содержится в микромотиве 'месяц — украшение земли'. В скальдических кеннингах воплощены некоторые сюжеты древнегерманской космогонии, ср. микромотивы 'волк — противник Одина', 'волк — нагоняющий, поглощающий солнце', 'волк — говорящий мечом', отражающие эсхатологические сцены поединка Одина и Фенрира, волка, уничтожающего солнце или разъединения челюстей волка при помощи меча богами, стремящимися сохранить космизированную вселенную.

В целом можно констатировать, что скальдическая поэзия является важнейшим источником сведений о древнегерманской космогонии, значение которого трудно переоценить. На примере кеннингов, отражающих космологические представления, нельзя не заметить, что семантическое варьирование выполняет две функции: оно, с одной стороны, используется как важнейший механизм описания различных аспектов денотата, и, с другой, акцентирует внимание на метафорической природе обозначений объектов космизированной вселенной. Таким образом, именно семантическое варьирование выступает в качестве связующего звена между экстралингвистической реальностью — миром вещей — и отражающим его денотативным значением слова и поэтической функцией языка. Оно оказывается тем исходным локусом, где необходимость предоставить исчерпывающую информацию об объекте используется в поэтических целях.

Литература

Гуревич Е.А. Поэзия формы // Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 2000. С. 17-222.

Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. М., 1982. Т.2.

Младшая Эдда. Л., 1970.

Семенюк Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.

Meissner R. Die Kenningar der Skalden. Bonn, 1921.

Schramm G. Namenschatz und Dichtersprache. Göttingen, 1957.

В.И. Карпов

**ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ АРТИКЛЕОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГОТСКИХ ПЕРЕВОДОВ БИБЛИИ)**

Многочисленные исследования показали, что употребление артиклеобразных элементов в древнегерманских языках вовсе не регулировалось механическим правилом постановки их при повторном употреблении имени существительного (см., н-р, [Sauvageot 1929, Hodler 1954]). В частности, при анализе больших отрезков готского текста, объединенных одной темой, выяснилось, что появление *sa*, *so*, *þata* не было на данном этапе истории германских языков регулярным маркером определенности предмета: они не сопровождают имя существительное при каждом повторном упоминании, а помогают обозначить мысль повествования [Карпов 2005, 145-154]. Таково употребление *sa*, *so*, *þata* в притчах, где акцент делается на ключевых для христиан качественных характеристиках персонажей. О.И.Москальская вслед за рядом исследователей приводит в качестве примера притчу о пастыре и овцах, в которой многократно повторяемое существительное *lamba* ‘овцы’ сопровождается артиклеобразными элементами не при каждом повторении, а лишь в тех случаях, когда оно становится носителем главной идеи повествования. Так, *þo* появляется при существительном *lamba* только при третьем и четвертом упоминании в тех местах, где на первый план выступает рассказ о поведении овец при появлении истинного пастыря: *þammuh daurawards uslukip, jah þo lamba stibnai is hausjand jah þo swesona lamba haitip bi namin jah ustiuhip þo*. [Ин 10, 3] – ‘Тому же сторож отворяет, и овцы голос его слышат, и он зовет своих овец по имени и выводит их’; *Jah þan þo swesona ustiuhip, faura im gaggip, jah þo lamba ina laistjand, unte kunnun stibna is* [Ин 10, 4]. – ‘И когда выводит своих (овец), идет перед ними, и овцы идут за ним, потому что знают голос его’.

Так же употребляется существительное *lamba* в седьмом и восьмом стихах, где оно снова находится под настойчивым логическим и эмфатическим ударением: *þanuh qap aftra du im Jesus: amen amen, qana izwis þatei ik im daur þize lambe* – ‘И вот сказал им далее Иисус: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам’; *allai swa managai swe qeman, þiubos sind jah waidedjans; akei ni hausidedun im þo lamba* – ‘Все, сколько их не приходило, суть воры и разбойники и овцы не слушали их’.

В 11-ом стихе существительное *lamba* не имеет местоименного сопроводителя. Главной идеей стиха снова является мысль о добром пастыре и его отличительных качествах, поэтому артиклеобразное местоимение появляется при именной группе *hairdeis sa goda* ‘добрый пастырь’: *ik un*

hairdeis gods. Hairdeis sa goda saiwala seinā lagīþ faur lamba – ‘Я добрый пастырь. Добрый пастырь душу свою полагает за овец’.

Далее в 15-м стихе представлена вариация той же идеи с переносом логического ударения на слова *þo lamba: jah saiwala meina lagja faur þo lamba* – ‘и душу мою положу за овец’. Наряду с этим причастный оборот *sa inngaggands þairh daur* ‘входящий через дверь’ имеет артиклеобразный элемент уже при первом упоминании. Помимо субстантивирующей функции последнее служит здесь также для подчеркивания доминирующего образа, связанного с главной идеей об истинном пастыре, и противопоставления образа пастыря «вору» и «разбойнику» [Москальская 1977, 247].

Неоднократно высказывалась мысль об эмоционально-экспрессивном характере зарождающегося артикля в древнегерманских языках [Heinrichs 1954, Hodler 1954]. Употребление артиклеобразных элементов и в готском может быть связано со стремлением повысить выразительность и образность речи, сделав ее тем самым более доходчивой и убедительной. Это происходит, например, при передаче прямой речи, особенно в кульминационный момент повествования: *urrais nimuh þata badi þein jah gagg du garda þeinamma* [Мк 2, 11] – ‘Встань, возьми постель твою (вот эту постель твою) и иди в дом твой’; *Jah ussaihvands ins miþ moda, gauris in daubiþos hairtins ize qaf du þamma mann: ufrakei þo handu þeina!* [Мк 3, 5] – ‘И посмотрев на них в гневе, печалась о неверии их сердец, сказал тому человеку: подними руку свою!’

Как видно из примеров, переводчики не довольствуются артиклеобразным элементом, а обрамляют имя существительное еще и притяжательным местоимением. Дейктическое значение артиклеобразного элемента в приведенных примерах подчинено той же экспрессивной задаче, которой служит насыщение субстантивно-атрибутивной группы дополнительными компонентами расширения, что наблюдается при наличии у имени существительного одновременно детерминанта и притяжательного местоимения, хотя это и не является необходимым для уточнения референции имени существительного: *iþ biþe galipun þai broþrjus is* [Ин 7, 10] – ‘но когда пришли братья его’; *jus us attin diabaulau sijuf jah lustuns þis attins izwaris wileiþ taujan* [Ин 8, 44] – ‘вы от отца дьявола суть и похоть отца вашего желаете творить’.

В притчах, а также в наиболее драматичных местах повествования артиклеобразный элемент и притяжательное местоимение «как нельзя лучше нагнетают напряжение в рассказе, направляют внутренний взор получателя речи на предмет, над которым совершается некое действие» [Москальская 1977, 250]: *hvazuh nu saei hauseiþ waurda meina jah taujiþ þo, galeiko ina waira frodamma, saei gatimrida razn sein ana staina. jah atiddja*

dalaþ rign jah qemun ahvos jah waiwoun windos jah bistugqun bi þamma razna jainamma, jah ni gadraus, unte gasuliþ was ana staina [Мф 7, 24-25] – ‘всякого, кто слушает слова мои и творит их, уподоблю его мужу разумному, который поставил дом свой на камне. и пошел дождь и пришли воды и задули ветра и обрушились на дом тот и ни дрогнул, ибо основан был на камне’. Причем, акцентуируется в то же время и тот факт, что действие выполнено человеком, который ставится другим в пример; особо выделяется наиболее ценный в данном отрывке аллегорический объект – дом разумного человека как символ его жизненной мудрости – с помощью конечной рифмы *þamma/jainamma*. В двух следующих за ними стихах при описании действий человека неразумного (*galeikoda mann dwalamma* ‘похожего на человека дурного’) тот же объект описывается без детерминанта с указательным местоимением в препозиции: *bi jainamma razna*. Нельзя не отметить и тот факт, что напряженность усиливается за счет дополнительных стилистических средств: синонимическое использование пары *wair/manns* ‘муж, человек’ обусловлено их лексическим окружением и особым ритмическим оформлением синтагмы: *ina waira frodamma/ mann dwalamma*.

Артиклеобразный элемент может появляться в авторской речи, чтобы подчеркнуть значительность того, о чем говорится. Так, в главе о казни и похоронах Иисуса слово *leik* ‘тело Иисуса’ детерминировано как при первом, так и при повторных упоминаниях: *Jah atgaggands du Peilatau bab þis leikis Jesusis. þanuh Peilatus uslaubida giban þata leik.* [Мф 27, 58] – ‘И прийдя к Пилату, просил тела Иисуса. Пилат же разрешил отдать тело’; *Jah nimands þata leik Josef biwand ita sabana hrainjamma* [Мф 27, 59] – ‘И взяв тело, Иосиф обвинил его чистою полотницею’.

В этом случае детерминация является, по сути своей, излишней. Здесь артиклеобразный элемент выступает не как маркер референции имени существительного, а как эмоционально-экспрессивное средство, что делает возможным выделение предметов, которые не детерминированы контекстом и ситуацией, но выступают как центральные образы в кульминационных местах текста. Это наблюдается наиболее четко при противопоставлении антогонистических образов: *unte þai sunjos þis aiwis frodozans sunum liuhadis in kunjja seinamma sind* [Лк 16,8] – ‘ибо сыны света догадливей сынов света в роду своем суть’; *nu staua ist þizai manasedai, nu sa reiks þis fairhvus uswairpada* [Ин 12, 31] – ‘ныне суд миру, ныне князь мира изгонится’.

Последний пример примечателен еще и тем, что при эйфемическом обозначении сил, противостоящих Богу и его сыну Христу, имена существительные очень часто сопровождаются детерминантами, причем, в субстантивных словосочетаниях с приименным родительным нередко

оба конституента детерминированы, в то время как в словосочетаниях, которые указывают на лица, предметы или явления, напрямую связанные с царством Бога, артиклеобразные элементы появляются только в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть важность происходящего или особую ценность высказывания, и сопровождают одного из членов именной группы: *amen amen qifa izwis, nibai matjib leik bis sunaus mans jah driggkaip is blop, ni habaip in izwis silbam* [Ин 6, 53] – ‘истинно, истинно говорю вам, если не едите плоть сына Человека, не пьете его кровь, не имеете в себе самих (жизни)’.

Оценка лица или явления как положительного («доброе») или отрицательного («злого») осуществляется самим говорящим, и если слова похвалы или порицания/неодобрения вложены в уста персонажа, враждебно настроенного к Христу и его последователям, то последние для него являются отрицательными лицами, для обозначения которых он использует те же средства. Так, например, в Евангелии от Марка (глава 14, стих 61) один из иудейских священников на допросе перед синедрионом обращается к Иисусу со словами: *bu is Kristus sa sunus bis piubeigins?* – ‘ты ли Христос, сын Благословенного?’. В его устах данный вопрос звучит как оскорбление и издевательство, подобно тому как христиане называют дьявола *sa reiks bis fairhvus*, явно указывая на то, что не признают на Земле власти иной кроме Бога. На этот выпад Иисус отвечает в стихе 62: *ik im, jah gasaihviþ pana sunu mans af taihswon sitandan mahtais jah qimandan miþ milhmam himinis* – ‘я есмь, и узрите сына Человека по правую руку сидящего Власти и идущего с облаками неба’. В следующей главе, в которой описывается суд у прокуратора Иудеи Понтия Пилата, пять раз встречается словосочетание *þiudans Iudaie* ‘царь Иудеев’, в двух примерах оно расширяется детерминантом. В первом случае Пилат обращается к народу со словами: *wileidu fraleitau izwis þana þiudan Iudaie* [Мк 15, 9] – ‘хотите, отпущу вам царя Иудеев?’, т.е., иными словами ‘того, кого вы называете царем Иудеев’, именно так он и уточняет в стихе 12: *þammei qifir þiudan Iudaie*. Сам же прокуратор, спрашивая Иисуса, говорит: *bu is þiudans Iudaie?* [Мк 15, 2] – ‘ты царь Иудеев?’. На кресте распятия же указали Его вину: *sa þiudans Iudaie* [Мк 15, 26] – ‘царь Иудеев’ (в русском языке в этом случае использовались бы служебные частицы *якобы* и *де* с оттенком сомнения при передаче чьих-то слов: *якобы царь Иудеев*). Ниже (стих 32) описывается, как распяты с Иисусом преступники, издеваясь над Ним, говорят: *sa Kristus, sa þiudans Israelis, atsteigadau nu af þamma galgin, ei gasahwaima jah galaubjaima* – ‘Христос, царь Израиля (тот, что Христос, якобы царь Израиля), пусть сойдет с креста, чтобы мы увидели и уверовали’. Наконец, в стихе 39, где описывается смерть Иисуса, сотник, охранявший Его крест, услышал сильный крик и, испугав-

шись, сказал: *bi sunjai, sa manna sa sunus was guþs* – ‘во истину, (сей) человек сын был Бога’.

Апелляция к вниманию получателей речи, настойчивое выделение существительного, иногда подчеркнутое противопоставление лежат в основе употребления *sa, so, þata* и во многих других случаях, например, *sa ist sa arbinumja* [Лк 20, 14] – ‘этот есть наследник!’, *ni þaurbun hailai lekeis, ak þai unhailans* [Лк 5, 31] – ‘не здоровые нуждаются во врачах, а больные’.

Использование артиклеобразных элементов в качестве эмоционально-экспрессивных средств носит, разумеется, весьма условный характер. Мы предполагаем возможность такого употребления, исходя из контекста и материала других древнегерманских языков, и принимаем во внимание тот факт, что один и тот же элемент мог иметь различную функционально-стилистическую нагрузку и эмоционально-экспрессивную окраску в зависимости от коммуникативной установки переводчика, его интерпретации контекста, как и было показано выше. Подобные примеры дает «Беовульф», где артиклеобразные элементы употребляются также нерегулярно и имеют еще более ярко выраженную эмоциональную окраску (см. об этом [Москальская 1977, 251]).

Особо следует отметить роль артиклеобразного элемента как синтаксического средства связи между несколькими предложениями связного повествования, где он соотносит последующее с предыдущим и выполняет, таким образом, анафорическую функцию. Однако он не является при этом маркером определенности называвшегося уже ранее предмета, а выполняет роль синтаксической связки, указывая на смысловую спаянность в сверхфразовом единстве большой протяженности. Так, например, в притче о сотнике [Мф 8, 5-13] композит *hundafaps* ‘сотник’ после первого упоминания дважды повторяется с артиклеобразным *sa* через значительные интервалы текста:

Стих 5: *Afaruh þan þata atgaggandin imma in Kafarnaum, duatiddja imma hundafaps bidjands ina jah qþiands* – ‘Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник, прося его и говоря’.

Стих 8: *Jah andhaffands sa hundafaps qadi: frauja, ni im wairþis ei hrot mein inn gaggais* – ‘Сотник же, отвечая, сказал: господи, я не достоин, чтобы ты вошел под мой кров’.

Стих 13: *Jah qadi Jesus þamma hundafada: gagg, jah swaswe galaubides wairþai þus* – ‘И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе’.

В тех же стихах композит *þiumagus* ‘слуга’ употребляется трижды с притяжательным местоимением, причем дважды сопровождается детерминантом: *sa þiumagus meins* и *sa þiumagus is*.

Детерминант мог находиться не только в препозиции, но и в постпозиции к существительному, и занимать, таким образом, финальную позицию в словосочетании, повышая актуальную нагруженность именной группы. В субстантивных словосочетаниях с примененным родительным в постпозиции подчеркивается при этом признак определяемого существительного, а при препозиции генитива – само ядерное существительное как субстанциальная категория (ср. [Мухин 1964, 68-78; Новикова, 2004, 115, 122]): *wainags ik manna! hvas mik lauseip us bamma leika dauþaus þis!* [Рим 7, 24] – ‘несчастный я человек! кто меня избавит (от) тела смерти!’.

Если артиклеобразный элемент детерминирует существительное-ядро и находится в постпозиции, занимая при этом медиальную позицию в группе, происходит не просто логическое выделение некоего предмета или явления, но читающий или слушающий отсылается к объекту, известному ему из предшествующего контекста или личного опыта. Так, например, в [Ин 7, 19] Иисус, отвечая на обвинения фарисеев в том, что Он творит чудеса в субботу, говорит: *niu Mosez gaf izwis witop? jah ni ainshun izwara taujip þata witop* – ‘разве Моисей не дал вам закон? и никто из вас не выполняет закона’, и далее Он поясняет, что сами фарисеи в субботу обрезают людей, нарушая тем самым установленный и известный всем иудеям закон [Ин 7, 23]: *jabai bimait nimip manna in sabbato, ei ni gatairaidau witop þata Mosezis* – ‘если обрезание принимает человек в субботу, чтобы не нарушался закон Моисея’.

Следует отметить, что выяснением причины постпозиции детерминанта в древних переводных текстах занимаются не только германисты. При анализе церковнославянских литературных памятников, возникших под влиянием греческого оригинала, слависты часто сталкиваются с весьма любопытными фактами. Так, например, Стендер-Петерсен установил, что постпозиция чаще всего наблюдается в связи с вполне определенными категориями слов, прежде всего топографическими и географическими названиями, и артиклеобразный элемент имеет не только демонстративное или анафорическое, но и, как при препозитивном употреблении, некое специальное, уточняющее или отождествляющее значение. Выбор между препозитивным и постпозитивным применением носит скорее стилистический характер: употребление детерминанта в постпозиции имеет целью оказать интимное, личное, эмоциональное действие (ссылку см. [Сване 1958, 154-155]).

Литература

Карпов В.И. Структура, семантика и функции сложных слов и словосочетаний в готском языке (сопоставительный аспект). Дис...канд.филологических наук. М., 2005.

Москальская О.И. Становление категории определенности/ неопределенности. Статья // Историко-типологические исследования германских языков. Фономорфология. Парадигматика. Категория имени. М., 1977.

Новикова М.В. Семантика и форма субстантивно-адъективных словосочетаний в древневерхненемецком. Дис. ...канд.филол.наук. Калуга, 2004.

Мухин А.М. Функциональный анализ синтаксических элементов (на материале древнеанглийского языка). М.-Л., 1964.

Сване, Гуннар. К вопросу возникновения члена в восточной группе южнославянских языков // Scanda-Slavica, Tomus IV. Copenhagen, 1958. P. 149-165.

Heinrichs H.M. Studien zum bestimmten Artikel in den germanischen Sprachen. Giessen, 1954.

Hodler, W. Grundzüge einer germanischen Artikellehre. Heidelberg, 1954.

Sauvageot, A. L'emploi de l'article en gotique. Paris, 1929.

Раздел 2

Стратификация немецкого языка

Л.Б. Кончук

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛИТЕРАТУРНОГО СТАНДАРТА И ДИАЛЕКТА В СФЕРЕ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ

В теории языковых контактов У.Вайнриха контакты диалектов одного языка и литературного языка рассматриваются как одна из разновидностей данного вида взаимодействия, при которой в еще большей степени возможно заимствование, а точнее, взаимопроникновение всех форм. Контакт диалектов с литературным языком или близким к литературному стандарту вариантом осуществляется в тех же категориях, что и языковой контакт: интерференция в области грамматики и словаря, образование контактных языков (обиходно-разговорного языка), функциональная дифференциация кода и т.д. В результате осуществления языкового контакта наблюдается сочетание и взаимопроникновение контрастирующих элементов – диалектной субстанции и литературной нормы. При этом каждая из форм может выступать либо как воспринимающая, либо как воспринимаемая микросистема, поскольку диалектно-литературное взаимодействие представляет собой двусторонний процесс, включающий центробежные и центростремительные силы.

Процесс интеграции форм существования характеризуется в настоящее время, в первую очередь, экстенсивным расширением сферы применения стандартно-языковых (литературно нормированных) средств. Заимствование, обмен языковыми средствами между двумя полярными языковыми типами в целях диверсификации и дифференциации коммуникативных возможностей объясняются, по всей видимости, как потребностями коммуникации, так и социальным давлением языкового стандарта на /базисный/диалект.

В условиях существования дихотомии двух полярных форм проявления немецкого языка основными разновидностями языкового взаимодействия являются контактирование и взаимопроникновение, которые реализуются на основе процессов трансференции и интерференции, интеграции элементов, трансформации (модификации), заимствования («переноса») плана выражения/плана содержания (калькирования), ассимиляции, контаминации (формальной и семантической).

При анализе процессов языкового контактирования во фразеологии в центре внимания находятся собственно фразеологическая, а также лексическая и семантическая трансференция.

Как известно, литературная, диалектная (и обиходно-разговорная) системы являются частными по отношению к общезыковой, т.е. подчиняются архисистеме данного языка. Любой диалект или литературный язык является лишь частной реализацией общезыковой системы. Подчиненность общим законам языкового функционирования обуславливает совпадение основных тенденций развития форм существования языка, а также возможность и неизбежность совпадения отдельных звеньев системы литературного языка с некоторыми диалектными системами, что облегчает процесс влияния литературного языка на диалекты и наоборот.

В рамках социо-функциональной парадигмы языка литературная форма и диалект представляют собой настолько неразрывное единство, что могут быть определены только в соотнесенности друг с другом. Постоянно действующие динамические процессы диалектно-литературного взаимодействия приводят к различным сдвигам и преобразованиям, в первую очередь, диалектной системы в результате давления системы литературного языка как ведущей, доминирующей, более престижной формы. Но и литературный язык, в свою очередь, приобретает диалектные элементы, что способствует дальнейшему обогащению и развитию его функционально-стилистической системы.

Влияние литературного языка на диалект почти никогда не носит характера простого механического вторжения в старую диалектную систему. Оно реализуется через процесс интерференции, при котором происходит не просто заимствование элементов одной системы в другую, а перестройка самой системы, изменение ее типичных моделей и звеньев.

Изменения в словарном составе диалекта поддерживают его функциональную состоятельность и тем самым способствуют как его сохранению, так и обеспечению дальнейшего существования. Пополнение инвентаря выразительных средств диалекта позволяет приспособить эту форму существования языка к новым, современным потребностям коммуникации.

Взаимодействие литературного языка и диалекта, являясь единым и нерасторжимым процессом, в то же время имеет двустороннюю направленность: от диалекта к литературному языку и от литературного языка к диалекту, которая, однако, не уводит развитие «в разные стороны», а преследует один и тот же конечный результат – сближение диалектной и литературной систем. Центробежное движение литературно-нормализованного языка в результате постоянного диалектного воздействия приводит к образованию на периферии «вторичных языковых цен-

тров» (Коготкова Т.С.) на основе диалектов, от которых, в свою очередь, берёт начало встречное центростремительное языковое движение под влиянием литературного языка. Оба процесса «диалектизации» и «олитературирования», в конечном итоге, ведут к сглаживанию, выравниванию, нивелировке диалектно-литературных расхождений, к появлению общих для двух главных форм существования языка элементов.

Влиянием диалектного субстрата на литературный язык обусловлено существование в литературном языке генетически диалектных единиц, которые, проникая в литературные слои, теряют свою локальную и функциональную ограниченность и приобретают свойства наддиалектных языковых элементов. В то же время результатом литературного воздействия на диалект является вытеснение исконных диалектных форм и перестройка старой диалектной системы, т.е. проникновение в диалект наддиалектных элементов, с одной стороны, и сохранение в диалекте языкового инвентаря, лишённого первичных диалектных признаков и имеющего более широкий, стремящийся к наддиалектному, радиус действия, с другой.

Фразеология, в своей ядерной (центральной) части, конституируется единицами экспрессивного характера, употребительными преимущественно в разговорной форме языка, т.е. в устной форме литературного стандарта или в устной разговорной диалектной речи, а также при обиходно-разговорной форме коммуникации. Эти речевые формы имеют много общих свойств: общие целевые установки, особенности протекания коммуникативного процесса, некоторые общие социально-коммуникативные сферы реализации, единые лексико-семантические закономерности и общий словарь экспрессивной лексики и фразеологии. Такая общность создаёт благоприятные условия для взаимодействия фразеологических микросистем разных форм существования языка в пределах единой макросистемы.

Предпосылкой диалектно-литературного взаимодействия в сфере фразеологии является качественная однородность характера понятийного содержания фразеологических значений диалектных и литературных фразеологизмов. Расхождения же обусловлены тем, что денотаты фразеологических единиц литературного языка общеизвестны в национальном или интернациональном масштабе, в то время как диалектная фразеология ориентирована на местные реалии, известные только в пределах данного диалекта или диалектной зоны, т.е. в значительной мере имеет этнографическую окрашенность. По этой причине далеко не все фразеологизмы не только литературного, но и обиходно-разговорного уровней употребляются в диалектах, не находя отклика в системе образных представлений носителей диалекта.

В условиях сохранения диалекта местные специфические фразеологизмы сосуществуют с общенемецкими (литературными), но далеко не все литературные фразеологизмы известны в диалекте ввиду неприемлемости их формы или несоответствия содержания местным представлениям. В последнем случае часто происходит замена компонентов фразеологизма в соответствии с представлениями, более актуальными для данной социальной среды.

Отношения межсистемной фразеологической эквивалентности имеют 3 основных источника: 1) диалектные соответствия возникают на основе или под влиянием фразеологизмов литературного языка; 2) литературные фразеологизмы генетически восходят к диалектным, которые ещё сохранились в диалектном узусе; 3) литературные и диалектные фразеологические эквиваленты являются результатом параллельного развития в разных фразеологических микросистемах на основе общих фразообразовательных моделей с использованием сходного образного материала.

Результатом такого параллельного развития можно считать существование литературного фразеологизма *jmdm. den Haber (Hafer) schwingen* 'jmdn. Prügeln' и вестфальских диалектных выражений *do gaffet lange Haver, et gielt langen Haver, da Miär kri'ett tevi'ell lange Hawer* 'da wird es viel Prügel geben'. В обеих языковых формах фразеологизмы основываются на отождествлении кормления лошадей и побоев.

Сопоставление фразеологизмов, имеющих соответствия в литературном языке и в нескольких диалектах или диалектных областях, т.е. представленных в разнообразных языковых узусах в сходной форме на основе общего образного представления, позволяет выделить следующие виды соотношений:

а) фразеологизм в литературном и диалектном оформлении не обнаруживает существенных расхождений по форме и по содержанию, т.е. его метафорическая основа является для данных языковых форм общей, например: *die Brille suchen und sie auf der Nase haben* 'überaus zerstreut sein' - рейн. *hä sögt singe Brell un hät en (ihn) op der Nas'*; гамб. *he söcht de Brill un het se op de Nes'*.

б) литературный и диалектные фразеологизмы имеют общую образную основу и одинаковую структуру, но разный компонентный состав в результате включения региональных или диалектных лексических вариантов: *den Deckel von den Töpfen heben* – нижненем. *den Deckel von den Pot bören*; шваб. *s Deckele vom Hafe lupfe; durch die Finger sehen* – эльз. *durch die Finger lueje*; рейн. *e guck durch de Finger; das Blatt (Blättchen) hat sich gewendet* – швейц. диал. *'s Blettli het si c'chert*; шваб. *wenn sich 's Blättle wende tät!*; зибенб. *det Bliet hut sich gedreht; am St.Nimmerleinstag* – мекленб. *up den Nüms und Nahrendag*; вост.фризск. *de lütje nümmers-*

dag/lümmelsdag; силезск. *uff a Nimmermirschtag*; рейнско-франкск. *am letzte Nimmerchenstag*; шваб. *am Bempemperlestag, am Lämmwelestag*; *jmdn sticht der Hafer* ‘jмnd. ist (zu) übermutig’ – рейн. *dat Haferkoeche steckt en*; зибенб. *de Höwer kekt en*; шлезв.-гольшт. *em stickt de Hawer*; швейц. диал. *de Hab'r stickt einen*.

В таких случаях метафорическая основа сохраняется, варьируются лишь лексические средства ее выражения. Такие соответствия рассматриваются как вариантно-синонимические ряды в пределах общенемецкой литературно-диалектной фразеологической системы.

в) литературный и диалектные фразеологические соответствия обнаруживают особенности в структурном и компонентном отношениях: *nicht die Bohne* – фальц. *ken hohle Bohn wert*; шваб. *keine schimmelichte Bohne wert*; мекленб. *Dor kihr 'ck mi nich ne Bohn' an* ‘darum kümmerge ich mich nicht’.

Образное представление в таких фразеологизмах конституируется стержневым компонентом, а не совокупным словосочетанием, что обуславливает расхождения в оформлении фразеологизмов.

г) литературный и диалектные фразеологические эквиваленты имеют семантические расхождения, например: *der bohrt nicht gern hartes Holz* ‘er macht sich nicht gern viel Mühe’; *das Brett bohren, wo es am dünnsten ist* ‘sich eine Sache leicht machen’ – шваб. *Brette bohre* ‘sich hart und ausdauernd anstrengen, intensiv arbeiten’; *Hartholz bohren* ‘schwere Arbeit tun’; *um die Ecke sein (gehen)* ‘verschwinden; sterben’ – верхнесакс. ‘im Spiel verloren haben; bankerott sein’; *den Bären machen 'zu* ‘niedrigen Dienstleistungen mißbraucht werden’ – рейн. ‘in einer lustigen Gesellschaft der Ausgelassenste sein’, швейц. ‘er tued beret, er benimmt sich wild, ungezogen’.

Семантическая дивергентность может быть следствием адаптации литературного фразеологизма в диалектах или диалектного фразеологизма в литературном языке, а также результатом параллельного развития свободных словосочетаний на базе одной метафорической модели.

д) между литературным и диалектными фразеологическими соответствиями существуют структурные и семантические расхождения при сходстве образной основы, например: *jмnd. sieht den Himmel (die Welt) für einen Dudelsack an* ‘jмnd. ist nicht recht bei Trost’ - верхнесакс. *jмnd. lebt von der Luft wie ein Dudelsack* ‘jмnd. ist bescheiden und anspruchslos’; сев.нем. *da huckt wie ostpreische Duddelsack* ‘er sitzt steif und hölzern da’; *da es besoffe wie e Duddelsack*; *der hinkende Bote kommt nach* ‘die Wahrheit kommt erst später an den Tag’ – гольшт. *de hinkende Bade kumt achterna* ‘das Unangenehme bleibt nicht aus’; рейн. *de seiht aus, als wenn he os dem henkende Bot gereß wer* ‘keine gute Figur machen’; шваб. *er hinkt wie der Bote aus Lahr* ‘er bringt Unglück’.

В таких случаях сходство обеспечивается общим стержневым компонентом – основной фразеологического значения, а расхождения появляются в результате его различной метафорической /смысловой/ интерпретации.

Приведенные примеры показывают, что в составе общенемецкого и общедиалектного фразеологического фонда возможна семантическая эволюция фразеологизма, поскольку тождественные словесно-образные основы могут по-разному интерпретироваться носителями различных говоров, что обусловлено и собственно языковыми особенностями конкретного диалекта и возможной спецификой его экстралингвистического «фона».

При сосуществовании литературного и диалектных фразеологических соответствий встает вопрос о генетической последовательности или параллельном развитии фразеологизмов, между которыми наблюдается эквивалентность. Далеко не всегда на этот вопрос можно найти однозначный ответ. Чаще всего во фразеологических словарях, содержащих этимологические данные, приводятся сведения о развитии генетически диалектного устойчивого выражения в общеупотребительный фразеологизм литературного или обиходно-разговорного употребления.

Однако и развитие в противоположном направлении представляется весьма продуктивным путем пополнения уже диалектной фразеологии. Многие фразеологизмы, зафиксированные в различные периоды истории немецкого языка в письменных текстах в относительно унифицированной форме, получили широкое распространение в диалектах как в исходном, так и в адаптированном виде. Наиболее значительным воздействием литературной фразеологии оказывается через пополнение фразеологической системы диалекта новыми образными представлениями и метафорическими моделями.

Влияние литературного языка на диалектную фразеологию не ограничивается прямыми заимствованиями фразеологических единиц, не менее существенным оказывается давление лексической системы литературного языка, следствием которого может быть замена одного из компонентов диалектного фразеологизма литературной лексемой. При расширении сферы действия литературного языка в компонентном составе фразеологизмов появляются нетипичные для диалекта, в том числе иноязычные, слова и несоответствующие диалекту формы слов.

С другой стороны, в результате взаимодействия диалектной системы и системы литературного языка происходит перестройка местной диалектной фразеологической системы: 1) прямое пополнение диалектной фразеологии единицами литературного языка, в некоторых случаях ведущее к вытеснению диалектных фразеологизмов; 2) сглаживание диалектных особенностей фразеологизмов, т.е. диалектные дифференциаль-

ные признаки, чуждые литературному языку, утрачиваются под воздействием литературной системы; 3) между исконно диалектными фразеологизмами и литературными заимствованиями развиваются новые отношения, приводящие к лексико-семантическим преобразованиям диалектных фразеологизмов и структурным изменениям внутри диалектной фразеологической системы.

Таким образом, в процессе влияния системы литературного языка на диалектную фразеологию реализуются два основных вида контактирования: заимствование литературных фразеологизмов в диалект, сопровождающееся их ассимиляцией, и интерферирующее воздействие литературной системы на лексико-семантические свойства диалектных фразеологизмов. При этом такие процессы могут иметь характер прямого непосредственного влияния литературного языка на диалектную фразеологию, которое ведёт к развитию вариантности и синонимии в результате субституции компонентов или отдельных элементов, или косвенного опосредованного воздействия, связанного с выравниванием диалектов при центростремительном движении в направлении к литературному языку, которое приводит к утрате фразеологической единицей примарных диалектных признаков и её выходу за узорегиональные рамки.

Диалект, в свою очередь, является одним из главных постоянных поставщиков литературной фразеологии, обогащая её качественно и количественно. В процессе диалектно-литературного контактирования воздействие диалекта на литературную фразеологию осуществляется по двум направлениям: а) система диалекта оказывает интерферирующее влияние на компонентный состав и структурно-семантические свойства фразеологизмов литературного стандарта, проявляющееся в разного рода трансформациях литературных фразеологизмов, а также способствующее развитию их вариантности; б) диалектные фразеологизмы заимствуются в литературную фразеологическую систему, непосредственно пополняя её новыми единицами.

Литературная фразеология черпает в диалектах на протяжении веков и в настоящее время, во-первых, новые фразеологические единицы, во-вторых, через посредство лексической системы – новые конститuentы и элементы, участвующие в лексическом наполнении фразеобразовательных моделей, в-третьих, отдельные структурно-семантические модели фразеологизмов.

Система литературной фразеологии пополняется как за счёт фразеологических диалектизмов, не имеющих в литературном языке коррелятов, так и за счёт эквивалентных образований.

Вместе с тем, обогащение литературного языка на уровне фразеологии сопровождается преобразованиями в отдельных фрагментах его фра-

зоологической системы, при которых ряд единиц постепенно отодвигается к периферии литературного языка, оставаясь достоянием обиходно-разговорных или диалектных форм языка.

Формы реализации этих процессов, а также степень важности и актуальности данной проблемы неодинаковы для разных стран распространения немецкого языка. Большинство генетически диалектных фразеологизмов в составе литературной системы сохраняют черты своего происхождения, связь с народными образными представлениями, с фольклорной основой, а иногда и свою территориальную привязанность.

В то же время своеобразие фразеологии как языкового явления во всех реализациях состоит именно в её способности обобщать жизненный опыт, накопленный поколениями людей в процессе познания окружающей действительности. Универсальность значительного числа фразеологических образов, символов, «метафорических моделей» (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов) нередко затрудняет или исключает возможность определения исходной точки фразеологической единицы, т.е. установление её диалектного или литературного происхождения. Наименьшие сложности в этом плане представляют фразеологизмы, возникшие на основе внеязыковых фактов, реалий и образов, связанных с локальными особенностями материальной и духовной культуры.

Движение диалектных фразеологизмов во фразеологический состав литературного уровня значительно более затруднено, чем литературного фразеологизма в диалектную фразеологию, и имеет много промежуточных ступеней. Роль «фильтра» в этом процессе играют разного рода регионально ориентированные обиходно-разговорные языки.

Из двух групп фразеологизмов, выделяемых в зависимости от происхождения – естественных, отражающих в различных языках и диалектах явления природы, животный и растительный мир, физические и психические состояния человека и т.п., и условных (конвенциональных), обусловленных спецификой национального развития и отражающих культурную ориентацию социума, наибольшие потенции заимствования в литературный язык имеют единицы первой группы, выражающие общечеловеческие представления, а наиболее древними и до сих пор весьма активно употребляемыми являются имеющие преимущественно профессиональное происхождение фразеологизмы второй группы, связанные с крестьянским трудом и бытом, с устаревшими сельскими реалиями.

Процессы возникновения фразеологических инноваций на основе взаимодействия исконной системы диалекта с литературным языком весьма активны как в плане диахронии, так и на современном уровне языкового развития. Фразеология литературного языка является одним из основных источников появления новых фразеологических единиц в диа-

лекте. Дialeкт находится в постоянном поиске всё новых средств выразительности и стремится к концентрации максимума языковых единиц экспрессивно-эмоционального характера. В системе выразительных средств диалекта значительное место занимают экспрессивные фразеологизмы, почерпнутые именно из литературного языка.

Особенно интенсивное обновление лексико-фразеологического фонда одной подсистемы языка на базе другой происходит в ситуации повышенного «межъязыкового контактирования», близкого к двуязычию, как это наблюдается с разной степенью выраженности, отмечается в странах распространения немецкого языка, в особенности в немецкоязычной части Швейцарии, а также в Австрии и в южных областях Германии.

Наиболее активными процессами во фразеологической системе диалекта под воздействием литературного языка являются расширение вариантно-синонимических связей и образование новых единиц по характерным для литературной фразеологии структурно-семантическим моделям.

При существовании синонимических и диалектным и литературным фразеологизмами отдается предпочтение местному, диалектному «свое» и «чужое». Диалектные фразеологизмы составляют конкуренцию литературным синонимам, образная основа которых недостаточно ясна или менее актуальна для психологической установки диалектоносителей.

Сопоставление диалектных и литературных фразеологизмов, находящихся между собой в вариантно-синонимических отношениях, позволяет установить следующие особенности:

а) коннотативное значение диалектных фразеологизмов по сравнению с литературными, как правило, более насыщено (в восприятии носителя литературного языка); их отличает большая степень метафоричности и экспрессивности;

б) диалектные фразеологизмы проявляют тенденцию к большей, в сравнении с литературными, компонентной распространенности, которая обеспечивает наглядность и максимальную выразительность их образной основы;

в) диалектные фразеологизмы стремятся к замене абстрактных понятий более конкретными и актуальными и к преобразованию тех литературных выражений, которым свойственна отвлечённость и недосказанность.

Развитие вариантности является следствием прямого, непосредственного влияния литературного языка на диалектную фразеологию. В дальнейшем возможно проникновение диалектных вариантов во фразеологию литературного уровня национального варианта немецкого языка, т.е. параллельное существование в результате «диалектизации» литературных и диалектных вариантов фразеологических единиц ведёт к пополнению

национального фразеологического состава за счёт диалектно детерминированных вариантов и синонимов. В этом заключается важная роль диалекта как посредника между наднациональным литературным стандартом и системой национального варианта немецкого языка.

Однако наиболее значительным проявлением воздействия литературной системы на диалектную фразеологию представляется то, что литературный язык способствует функционированию механизма воспроизведения и создания фразеологических единиц по общенемецким или универсальным фразообразовательным моделям. В настоящее время продуктивный процесс заимствования литературной фразеологии чисто количественно представляет собой самый важный путь обновления фразеологического состава диалекта в сравнении с другими видами фразеологизации.

Процесс передвижения литературных фразеологизмов в диалект состоит из двух основных этапов, которые одновременно выполняют роль своеобразных фильтров: на начальном этапе освоения фразеологизм проходит через речевое, индивидуальное употребление, которое открывает дорогу в диалектную систему по мере дальнейшей формальной и семантической адаптации и узуализации на втором этапе. При этом путь от периферии к центру фразеологической системы диалекта может быть прямым, или, напротив, весьма извилистым. Подвергаясь в первую очередь формальным преобразованиям, литературный фразеологизм адаптируется и семантически, т.е. на новой для себя диалектной почве испытывает воздействие разного рода ассоциаций.

Ассоциативное переосмысление незнакомой для диалекта формы фразеологизма может стать основой для дальнейших формальных и семантических трансформаций, в том числе на основе использования языковой аналогии, которая лежит в основе явлений народной этимологии, контаминации, а также фразообразования по структурно-семантическим моделям.

Мощное воздействие извне системы литературного языка вызывает внутреннюю ответную реакцию диалектной системы. Однако, в отличие от диалектной лексической системы, перестройка которой сопровождается разрушением первичных диалектных признаков, что превращает её в большей степени в систему полудиалекта или интердиалекта, фразеологическая система сохраняет в целом свою структуру и основные свойства, проявляя большую консервативность и приверженность традициям, стремясь охватить накопленное поколениями фразеологическое богатство.

Второе направление взаимодействия – влияние диалектов на общенемецкий литературный стандарт, чрезвычайно важное в генетическом плане, на синхронном уровне менее значительно, чем влияние литературного языка на диалекты. Система литературного языка отличается

меньшей проницаемостью по сравнению с диалектными системами, что обусловлено более строгой нормированностью литературного стандарта.

Несмотря на это, в современном литературном языке продолжается семантико-стилистическое освоение генетически диалектных фразеологических единиц, сферы их употребления расширяются, при этом для многих из них характерен процесс частичной или полной утраты территориальной маркированности. Более существенным оказывается диалектное влияние на частные фразеологические системы национальных вариантов немецкого языка, специфика которых обнаруживает значительную диалектную детерминированность.

Наиболее важной тенденцией современного развития литературной фразеологии в результате межсистемного взаимодействия представляется то, что вхождение диалектной фразеологии в литературный язык идёт не прямо, не непосредственно, а через посредничество разного рода периферийных сфер и подсистем литературного языка (обиходно-разговорных форм, региональных вариантов литературного языка, социолектов и т.п.).

Многопластовость этих языковых форм выполняет функцию своеобразного фильтра, который «пропускает» далеко не все генетически диалектные фразеологизмы в верхние слои социально-функциональной парадигмы, многие из них, сохраняя территориальную окрашенность, остаются на уровне региональных обиходно-разговорных языков.

В то же время из литературного языка фразеологизмы проникают в диалект чаще всего без посредников в силу доминирования и давления литературного языка, влияние которого не всегда осознаётся носителями диалекта, а сознательное противодействие которому не всегда даёт желаемый результат. Наибольшие шансы на проникновение в литературный язык и на сохранение в нём имеют фразеологические единицы, которые по своему диапазону распространения являются междиалектными.

Таким образом, в результате движения фразеологических единиц в двух противоположных направлениях происходит развитие и пополнение фразеологической системы литературного языка наднационального уровня, микросистем национальных вариантов немецкого литературного языка и частных подсистем диалектов, а также формирование и обогащение промежуточной системы – обиходно-разговорной страты – во всех её разновидностях.

С.И. Дубинин, А.Е. Тетеревенков

ИНТЕРРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Лексическая норма современного немецкого литературного языка представляет собой негомогенный продукт как стихийных тенденций унификации, берущих начало в позднесредневековых территориальных вариантах письменно-литературного языка 15-16 вв., так и дальнейших целенаправленных селективных усилиях нормализаторов. Лексико-семантическая система общенемецкого языка отражает результаты многовековых процессов языкового выравнивания, сочетая исконные элементы, унаследованные от древнейшей дописьменной эпохи, со значительным словарным фондом, ставшим его частью как следствие непосредственных или дистантных языковых контактов в результате этнокультурных, политических и экономических связей.

Отпечаток на лексическую систему общенационального немецкого языка наложила историческая специфика его формирования в отсутствие единственного, диктующего языковые стандарты центра на всём протяжении его истории. Попытки определить ареальную локализацию и социальную базу «непосредственной основы» современного литературного языка привели в итоге к констатации невозможности ограничения одним определённым регионом или социальным стратом [Филичева 1992, 9-10]. Поэтому особую значимость приобретают работы, следующие концепции *полицентричности* становления немецкого литературного языка, в рамках которой все регионы в немецком языковом ареале рассматриваются как участники формирования надрегиональной нормы [Дубинин 2000, 5-11]. Часть из них (восточносредне-, восточноверхненемецкий) являлись ведущими, прочие образовывали периферию процесса унификации, играя менее активную роль в складывании надрегиональной нормы.

Одним из периферийных является ареал распространения диалектов *нижненемецкого* типа на севере Германии. Генетическое родство со средне- и верхненемецким в рамках западногерманской языковой общности исключило «барьер» между ними, а политико-культурное превосходство немецкого юга (особенно в 12-13 вв. и в 16-20 вв.) определило включение северных областей Германии в общенемецкую языковую ситуацию. Одновременно частично общая ареальная база и языковой тип сближают нижненемецкий с нидерландским и с другими «североморскими» языками (фризским, английским). Функционирование нижненемецкого в качестве официального языка Ганзейского торгового союза в позднем Средневековье сопровождалось процессами начальной нормали-

зации его письменной формы, что позволяет говорить о формировании в нижненемецком ареале особого территориального варианта письменно-литературного языка [Сквайрс 1997, 5-7]. Несмотря на влияние южных областей на нижненемецкий ареал со времени его переориентации на франкскую метрополию (5 в.), включение нижненемецкого в функциональную парадигму верхненемецкого периода не правомерно.

Изучение процесса формирования немецкого литературного языка и исследование нижненемецкого на различных этапах его истории долгое время не пересекались. Синхроническое изучение нижненемецких диалектов и исторического развития автохтонного идиома северной Германии было сопряжено с преодолением комплекса «социо-культурной ущербности» по отношению к победившему языку верхненемецкого типа. Идея влияния нижненемецкого на верхненемецкий хотя и была очевидной, но лишь вскользь фигурировала в работах по истории немецкого языка. Длительное контактное взаимодействие нижненемецкого и верхненемецкого литературного языка в диахронии и его результаты в синхронном срезе на современном этапе существования общенемецкого стандарта представляют собой плодотворную основу исследования конвергентного развития двух идиомов. Уникальность этой языковой ситуации заключается в её документированности, в экстралингвистической детерминированности, в изменении социолингвистических параметров использования близко контактирующих языков. Интерес к участию нижненемецкого как периферийного (пассивного) ареала в становлении общенационального немецкого языка начинает оформляться, но исследование данной проблематики пока ограничено частными аспектами анализа языковой системы [Тетеревенков 2002] или роли отдельных субрегионов.

Типологическое и ареальное своеобразие нижненемецкого

В исследовании лексического взаимодействия немецкого литературного языка с автохтонным идиомом северной Германии ключевым является термин «нижненемецкий» как общее наименование языкового феномена, характеристики которого различны в зависимости от рассматриваемого периода, региона, сферы коммуникации. Обозначение «нижненемецкий» для идиома, имевшего распространение в северной части Германии, начиная с эпохи переселения народов, традиционно, но на его неоднозначность указывают многие исследователи [Sprachgeschichte 1985, 1211; Sanders 1985, 21-22]. В традиции рассмотрения нижненемецкого как совокупности диалектов немецкого языка, заложенной в немецкой диалектологической школе, закономерно включение в состав термина элемента «немецкий», поскольку в новое время нижненемецкие диа-

лекты находятся под «кровлей» немецкого литературного языка. Выбор подкрепляется и тем, что наряду с конкурирующими понятиями (в разные периоды истории нижненемецкий называли *sassesch(e) sprake*, *neddersassesch*, *nedderlendesch*, *ostersche sprake*, *Platt*) наименование *nedderdüdesch* с 16 в. употребляется его носителями для обозначения автохтонного идиома [Sanders 1985, 25]. Элемент «немецкий» не передаёт типологического своеобразия нижненемецкого по отношению к общенемецкому, намечая лишь указанием диатопической характеристики «нижне-» его распространение в низменной части севера Германии.

Несмотря на отсутствие эксплицитного разграничения нижне- и верхненемецкого, термин «нижненемецкий» считается наиболее удачным. Использование для обозначения самой ранней письменно зафиксированной формы нижненемецкого «древнесаксонский» идентифицирует этноним и идиом. Современные нижненемецкие диалекты на основании критерия «кровли» включаются в диалектный страт функциональной парадигмы немецкого языка [Филичева 1992, 18]. На основе не совсем точного с позиций типологии термина «нижненемецкий» в диахронии выстраивается логичная модель развития: древнижненемецкий → средне-нижненемецкий → новонижненемецкий [Sprachgeschichte 1985, 1211-1213].

Вопросы о месте нижненемецкого среди соседних германских языков, времени его выделения и ареальной базе в различные периоды остаётся дискуссионным. Так, А.Л.Зеленецкий принимает трёхчастное членение западногерманского единства с сохранением традиционных культовых наименований для лингвистических реалий времени, предшествующего эпохе переселения народов. С образованием племенных союзов внутри этих крупных диалектных ареалов возможно говорить о племенных диалектах. Для последующего периода формирования из племенных диалектов западногерманских языков вплоть до их исторической фиксации он предлагает использовать приставку «пост-» в сочетании с соответствующим этнонимом, например, постфранкский, посталеманский [Зеленецкий 1992, ч. 2, 123-124]. На их основе формируются соответствующие германские языки, этап существования которых до письменной фиксации предлагается обозначать с использованием элемента «прото-», например, протонемецкий. Очевидно несовпадение языковых ареалов, ставших территориальной основой формирования обще- и нижненемецкого, при этом немалую роль в языковом развитии Германии сыграло политико-культурное объединение иствеонов и герминонов (рейнско-везерских и эльбских германцев) в рамках империи франков. В первой половине 6 в. юго-запад современной Германии входил в состав франкского государства и определяющими для развития протонемецкого языкового типа стало

контактное взаимодействие постфранкских и посталеманских диалектов [Зеленецкий 1992, ч.1, 65].

Диалектной базой протонижнемецкого традиционно считались входящие к ингвеонским (североморским) саксонские диалекты, занимавшим в древнезападногерманской языковой общности географически центральное положение. Кроме саксов к ингвеонам (североморским германцам) относились племена англов, ютов и фризов, которые проживали широкой полосой вдоль побережья Северного моря от южной Голландии до устья Эльбы [Бах 1956, 60]. Западное и северное побережье современных Нидерландов населяли племена фризов, которые жили изолированно и неактивно мигрировали, не оказав значительного влияния на развитие протонижнемецкого. Саксы соседствовали также с англами и ютами и участвовали вместе с ними в середине 5 в. в завоевании Британии.

Исследования праязыковых контактов свидетельствуют, что саксонский был не единственным идиомом, сформировавшим диалектную основу протонижнемецкого. Е.Р.Сквайрс доказала на материале ранних изоглосс участие в формировании его ареальной базы восточной части нижнефранкского, поэтому отсутствует резкая граница как между нижнефранкским и саксонским, так и между восточным и западным вариантами нижнефранкского [Сквайрс 1997, 101]. Достаточно условная граница древненижнемецкого. В результате языковых контактов между древнесаксонским и нижнефранкским с 3-5 вв. (в эпоху североморских связей) до начала древнесаксонской / древненижнемецкой письменной традиции (9 в.), формируется идиом, который стал основой возникновения древненижнемецкого. Исследования ареальной базы протонемецкого и протонижнемецкого языков показали, что эти идиомы формировались на различных диалектных основах: соответственно на франкско-алеманнской и на саксонско-нижнефранкской. Нижнефранкский к началу 6 в. обособляется от франкского, переориентируясь на саксонский [Сквайрс 1997, 61, 107].

Диалекты североморских (ингвеонских) племён не повлияли на становление протонемецкого языка. Типологически они ближе друг к другу, чем к иственским и герминосским диалектам, или к языкам северных (скандинавских) и восточных германцев. Однако в связи с центральным географическим положением ингвеонского их в эту эпоху нельзя назвать изолированными. Несмотря на ряд общих черт алеманнского и ингвеонских диалектов, языки североморских и «южных» германцев типологически различны. Диалект саксов был ближе к древнефризскому и англосаксонскому, включаясь в «североморскую» подгруппу западногерманских языков, отличавшуюся рядом фонетико-морфологических особенностей [Зеленецкий 1992, ч.1, 24].

В ходе экспансии на юг и запад саксы к 8 в. достигли границ франкских территорий. К этому времени франкское королевство Меровингов владело огромными территориями в Западной Европе и продолжало завоевания, оказывая всё большее влияние на саксов. Период 5-8 вв. до времени, когда франкское королевство подчинило саксов, стал для них «эпохой южной переориентации» [Сквайрс 1997, 65]. К 9 в. земли саксов были включены в империю Каролингов и на место первых англосаксонских миссионеров пришла целенаправленная христианизация со стороны франков.

Франкское влияние не могло остаться без языковых последствий [Бах 1956, 77-78; Филичева 1992, 84-85]. Этап «высвобождения» протонижне-немецкого из североморских связей и создания совместных фонетических инноваций с древневерхнемецким («франкизация») охватил период 6 - 9 вв. [Сквайрс 1997, 97; Бах 1956, 88]. В это время в древнесаксонский проникают такие слова, как *urdēli* 'приговор' (наряду с дрннем. *dōm*), *sceþino* 'шеффен, судебный заседатель'. Заимствование является практически односторонним и особенно много лексических единиц приходит в сферу языка церкви: *dōþian* 'крестить', *kristinhēd* 'христианство', *diuval* 'дьявол', *kirika* 'церковь' и др. [Sanders 1985, 102]. Однако влияние безусловно доминирующего франкского языка верхнемецкого типа ограничивалось поддерживавшими контакты с франкской администрацией представителями саксонской знати и духовенства, а основная масса саксов использовала местные диалекты, поскольку древнеижнемецких не был един.

Ареал распространения нижнемецкого значительно изменяется с древнейшего периода до наших дней. В эпоху его наибольшего распространения (13-16 вв.) выделяется 4 диалектных субареала: а) *Вестфальский* между Везером и Рейном. В юго-западной его части заметно влияние рипуарского (Кёльн) - проводника верхнемецких элементов в нижнемецкие диалекты. Приграничные диалекты на территории Нидерландов также относят к вестфальскому; б) *Остфальский* между Везером и Эльбой. Юго-восточная часть этой области носит название эльбско-остфальского, который с 15 в. вытесняется среднемецким; в) *Севернонижнесаксонский* послужил основой для среднеижнемецкого варианта письменно-литературного языка Ганзы, чей ареал занимал всё побережье Северного моря. На юге он граничит с вестфальским и остфальским, на севере с фризским и датским, на востоке с мекленбургским колониальным диалектом; г) *Бранденбургский* [Lasch 1974, 13-19].

Современные диалектологи предлагают двухчастную диатопию нижнемецких диалектов [LGL 1980, 458-468, см. **Рис 1.**]: I. Западно-ижнемецкие: а) *Нижнефранкский*, который относят к нижнемецким

диалектам. Он охватывает территорию, ограниченную с северо-запада государственной границей ФРГ с Нидерландами, а с юга изоглоссой maken/machen. На востоке граница с вестфальским диалектом проходит параллельно Рейну (линия Эссен – Вупперталь); б) *Вестфальский*; в) *Остфальский*; г) *Севернонижнесаксонский*, внутри которого выделяются поддиалекты. Так, восточнофризский содержит фризские и голландские элементы, а шлезвигский обнаруживает севернофризские и ютские черты; II. Восточно-нижненемецкие (колониальные) явились продуктом смешения различных диалектов «старых земель»: а) *Мекленбургский* (и диалект Передней Померании) на побережье Балтийского моря от Любекской до Поморской бухты; б) *Бранденбургский* к югу от мекленбургского. На юге его ареал соседствует со средненемецкими диалектами. На востоке естественную границу образует Одер; в) *Среднепомеранский* вокруг Щецина; г) *Восточнопомеранский* вдоль балтийского побережья Польши до Гданьской бухты и нижнепрусский далее до Куршского залива.



Рис. 1. Диатопия нижненемецкой языковой области

За более чем тысячелетнюю историю нижненемецкой границы его распространения претерпели значительные изменения и лишь в т.н. «старых землях», в ареале распространения древнижненемецкого, оно было незначительным. В древнейший период диалектная граница на юге проходила по линии Эссен – Вупперталь – горы Ротхар – Кассель – Айслебен – Мерзебург. На западе линия Зютфен – Девентер – Зволле – Гронинген отделяла древнижненемецкий от древнижнефранкского, где на севере саксы соседствовали с фризами. Языковая граница с датским языком проходила по реке Айдер (Гольштиния). На востоке граница проходила между древнижненемецким и диалектами западных славян (линия Киль – Лауэнбург – Эльба и Заале – Мерзебург) [Goossens 1973, 31-32].

Колонизация восточных земель 12-14 вв. привела к самому значительному расширению нижненемецкого ареала: колонисты принесли на новые территории диалекты родных регионов, а местное население перешло к 15 в. к использованию нового языка переселенцев. Если в колонизации земель к востоку от Эльбы и на южном побережье Балтийского моря принимали участие в основном крестьяне, то в Прибалтику переселенцы прибывали чаще морским путём и их основу составили оседавшие в городах представители высших слоёв (дворяне, купечество). Нижненемецкая колонизация охватила широкую полосу южного побережья Балтики. Её южная граница проходит по линии Мерзебург – Франкфурт на Одере, сужаясь к Гданьску. На востоке Балтийского моря ареал нижненемецкого охватил территории Немецкого ордена: Восточную Пруссию, современные Латвию и Эстонию. На севере языковая граница с вытеснением датского сдвигалась до конца 18 в. к северу по линии Хузум – Шлезвиг. В 14 в. нижненемецкий вытесняет фризский в Восточной Фрисландии [Sprachgeschichte 1985, 1211-1220].

Изменение границ распространения нижненемецкого не повсеместно вело к расширению. В 13-14 вв. в области впадения Заале в Эльбу средненемецкий вытеснил исконный для этих мест эльбско-остфальский диалект нижненемецкого, а в 16 в. образовался средненемецкий эксклав на юге нижненемецкой области. Но самое значительное сокращение территории нижненемецкого было обусловлено возникновением на севере Центральной Европы в 19-20 вв. самостоятельных национальных государств.

Иная ситуация наблюдается в пограничной области между Германией и Нидерландами, где не существовало резкой языковой границы. Делимитация немецких / нидерландских диалектов условна и представляют собой буферную зону с плавным переходом между соответствующими идиомами. Но в приграничных диалектах Нидерландов, которые исторически относятся к нижненемецким, отмечается тенденция к выравниванию под влиянием государственного нидерландского языка.

Нижненемецкий, характеризующийся отличным от верхненемецкого языковым типом, уже с раннесредневекового периода занимал около трети всего немецкого ареала, но до начала активного проникновения языка верхненемецкого типа в северную Германию (16-17 вв.) включение его в функциональную парадигму верхненемецкого не имеет оснований.

С изменением географических границ нижненемецкого коррелирует периодизация его истории, следуя традиционной схеме: древний, средний и поздний (новый) периоды. Многие лингвисты придерживаются термина «древнесаксонский» для обозначения нижненемецкого языка древнейшего периода. Но подчёркивая своеобразие данного языка, он уступа-

ет место более адекватному термину «древненижненемецкий», отражающему временную, пространственную и типологическую характеристики идиома (ср. «средненижненемецкий» для среднего, «новонижненемецкий» для позднего периода).

Древненижненемецкий период охватывает промежуток времени приблизительно с 800 по 1100/1150 гг. Примечательно, что наряду с латинскими рукописями создаются почти исключительно верхненемецкие, поскольку нижненемецкий изначально не мог соперничать с развитым языком культуры немецкого юга. Языковое превосходство юга вынуждало северно-немецких авторов прибегать к его помощи, нередко для того, чтобы быть понятыми большим числом реципиентов текстов.

Средненижненемецкий период разделяется на три этапа: ранний, классический и поздний, временные рамки которых варьируются в пределах 20-30 лет [Goossens 1973, 72-82]. Ранний средненижненемецкий (1200-1370 гг.) характеризуется параллельным существованием письменных традиций на различных территориальных диалектах. Классический средненижненемецкий (1370-1530 гг.) начинается с перехода канцелярии Любека, стоявшего во главе могущественного Ганзейского торгового союза, к составлению документов на нижненемецком. В любекской канцелярии нижненемецкий подвергается определённому нормированию, причём формирующаяся «норма» находила распространение и в устном употреблении. Как язык Ганзейского союза нижненемецкий приобрел статус *lingua franca* по всему региону Северного и Балтийского морей. Поздний средненижненемецкий (1530-1650 гг.) утратил статус письменного языка, сохранив значимость лишь в повседневном общении в форме диалекта.

В *новонижненемецкий* период (с 1650 г.) нижненемецкий продолжает существование только на нижних уровнях функциональной парадигмы, в виде местных диалектов и обиходно-разговорных форм. Как собирательное понятие для обозначения совокупности нижненемецких диалектов широко используется и *Platt(deutsch)* [Sanders 1985, 26-27]. На базе местных диалектов, а не литературной нормы, которая не сложилась, возникает «неодиалектная литература» немецкого Севера в 19-20 вв. Верхний уровень функциональной парадигмы занимает литературный язык верхненемецкого типа, в связи с чем в систему диалектов одного языка стали входить диалекты структурно и генетически отличного идиома.

История нижненемецкого языка представляет собой своего рода кризис, которая достигает высшей точки в эпоху «классического» средне-нижненемецкого. Этот период связан с торгово-политической деятельностью Ганзейского союза, объединявшего многие города, в первую очередь, на севере центральной Европы, и очевидна прямая связь между воз-

вышением и упадком Ганзы и нижненемецкого. В этот период у нижненемецкого были предпосылки развиться в нормированный письменнo-литературный язык со статусом, аналогичным общенемецкому литературному стандарту [Kriegsmann 1990, 68]. Он обнаруживал дифференциальные признаки «предстандарта»: полифункциональность, гомогенность, наддиалектность, обработанность, тенденцию к регламентации [Гухман, Семенюк 1983, 5; Сквайрс 1997, 6]. Но причины лежащие за рамками языковой системы, привели к вытеснению нижненемецкого верхненемецким во всех стратах, кроме диалектного.

При всех языковых различиях уже в древний период носители нижненемецкого отождествляли себя с немецким этносом как его часть. Социально-политические изменения, произошедшие с включением Саксонского герцогства в Римскую империю, определили на столетия вперёд развитие немецкого Севера: нижненемецкий, возникающий внутри древней западногерманской языковой общности на отличной от верхненемецкого ареальной основе, с 16 в. утратил статус потенциального литературного идиома вследствие конкурентной борьбы в полицентричной ситуации сложения общенемецкого национального языка. Сохраняя типологические отличия, нижненемецкие диалекты включились в ситуации доминирования во всех сферах коммуникации верхненемецкого литературного языка в диалектный (низший) страт функциональной парадигмы.

Специфика нижненемецко-верхненемецкого взаимодействия

Максимальный расцвет нижненемецкого языка приходится на 15 в. К этому периоду в его системе представлены подсистемы (страты функциональной парадигмы), выделяемые для развитых национальных языков: *территориальные диалекты* (городские и сельские), *обиходно-разговорный* и *литературный языки* (нижненемецкий вариант письменнo-литературного языка любекского образца), отличающийся определённой степенью нормированности. Каждый из стратов характеризовался особенностями функционирования [Moser 1952, 965].

Территориальные диалекты в этот период представлены говорами «старых земель» и развившимися на их основе колониальными диалектами. На их базе в канцеляриях формируются территориальные «письменные диалекты». В большей части территории влияния Ганзы в «классический» период функции письменного языка выполнял средненижненемецкий язык. В периферийных областях в качестве письменного языка использовались также вестфальский, рипуарский и восточнoсредне-немецкий [Hartweg, Wegera 1989, 29]. В 14-15 вв. с развитием городов на основе диалектов групп переселенцев формируются городские койне, но

для сельского населения локальные диалекты остаются основным средством общения.

Существование средненижнемецкого *обиходно-разговорного языка* лишено прямых свидетельств и является предметом дискуссии. Можно предположить, что разговорный язык на нижнемецкой основе использовался социальной прослойкой крупного купечества, патрициата, ремесленников, но вероятно, что наддиалектный идиом мог широко использоваться всеми слоями населения как средство повседневного устного общения. Первая гипотеза подкрепляется тем фактом, что после вытеснения нижнемецкого из сферы письменной коммуникации роль разговорного языка выполняют местные диалекты и на севере Германии вновь формируется региональный обиходно-разговорный язык на верхнемецкой основе. Т. к. освоение этого идиома для местного населения было эквивалентно «изучению» иностранного языка, с достижением уровня компетенции число локально окрашенных элементов в речи сокращалось по сравнению с регионами, где общенемецкий литературный язык исконно соседствовал с диалектами верхнемецкого типа.

В средненижнемецкий период расширились сферы *письменно-литературного языка*. Его средненижнемецкий вариант возник вследствие унификации и преодоления диалектных различий, а катализатором нормализаторских тенденций стала деятельность Ганзы. Литературная нижнемецкая норма была далека от узуса устного диалектного употребления, во многом основываясь на архаичных и этимологизированных формах, в отличие от фонетического написания раннего этапа средненижнемецкого. Сферами употребления этого идиома были торговля, право, литература, дипломатия, а его носителями - высшие образованные слои общества. Письменным языком севера Германии оставалась латынь, но в конце 13 в. канцелярии перешли на местный язык [Филичева 1992, 120].

Первыми к составлению документов на нижнемецком перешли канцелярии князей, а города отказываются от использования латыни с 14 в. Универсальным средством письменного общения стал средненижнемецкий письменный язык Ганзы, достигший к 14 в. высокой степени единообразия. Функцию письменного языка на севере Германии выполнял и верхнемецкий, т.е. верхне- и нижнемецкий состояли в отношении взаимодополнения, образуя оппозиции: а) *жанровую*: язык художественной литературы - деловой язык; б) *формальную*: поэзия - проза; в) *социокультурную*: язык рыцарства - язык бюргерства [Sprachgeschichte 1985, 996]. Нижнемецкий расширял влияние в незанятыми верхнемецким сферах. Если последний доминировал в придворной поэзии, то нижнемецкий стал языком корреспонденции, делопроизводства и пра-

ва, исторической и религиозно-назидательной прозы, будучи не литературно-эстетическим, а утилитарным идиомом. Между ниже- и верхне-немецким в письменности устанавливаются отношения функциональной диглоссии, где роль престижной языковой формы выполнял верхне-немецкий.

С конца 15 в. лидерство в нижне-немецком ареале переходит от канцелярий к типографиям [см. Рис. 2.], но выдержать конкуренцию внедрившегося в 16 в. в южно- и западно-немецкие печатни восточно-средне-немецкого нижне-немецкого не смог и с 17 в. число нижне-немецких изданий падает.

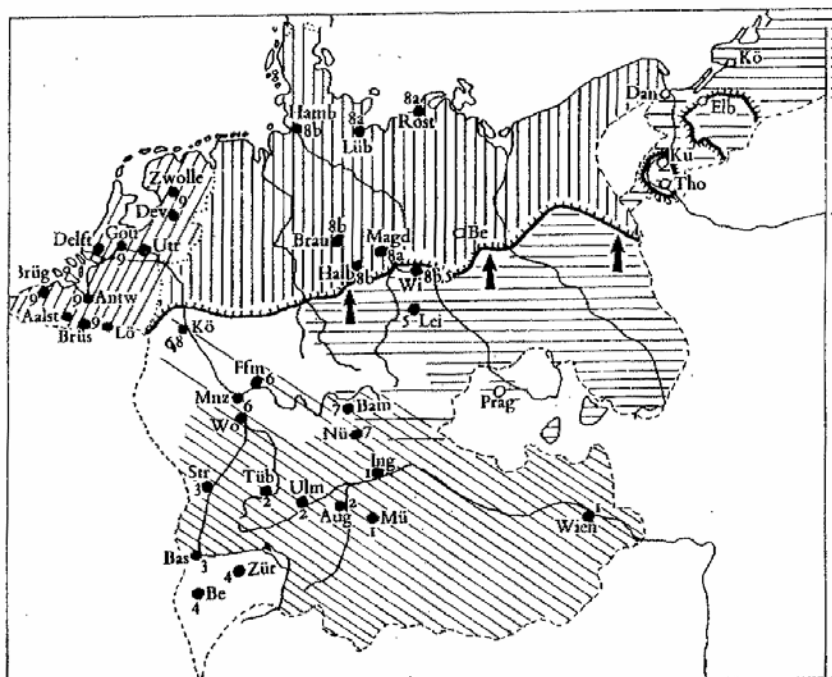


Рис. 2. Печать и территориальные варианты немецкого литературного языка 16 в. ¹

Для нас основным является определение характера существовавшего в разные эпохи взаимодействия двух рассматриваемых идиомов, для чего

¹ Обширная зона нижне-немецкого отмечена вертикальной штриховкой.

возможно использовать термин «языковые контакты», т. е. «взаимодействие двух или более языков, оказывающее влияние на структуру и словарь одного или многих из них» [ЛЭС 1990, 237]. Такого рода контакты возникают благодаря длительному общению носителей контактирующих языков, в котором используются оба идиома (или несколько при многоязычии), и ведут к возникновению в определённом социуме ситуации активного или пассивного двуязычия (многоязычия). В рассматриваемой ситуации имело место «контактное взаимодействие» с двусторонней направленностью влияния идиомов в ходе языковых контактов между нижне- и верхненемецким.

Сфера влияния Ганзы включала не только нижненемецкий ареал, но и всё побережье Балтийского и Северного морей. Крайними точками, обозначающими ее деятельность, были конторы в Лондоне, Новгороде, Бергене и Брюгге. Языки, с которыми активно контактировал нижненемецкий в пору наибольшего распространения (особенно в лексике) это: а) *Нидерландский*: Языковые контакты существовали на уровне диалекта: колонисты из Голландии и Фландрии принесли в новые земли свои диалекты, в связи с чем местная лексика и ономастика имеет многочисленные нидерландские вкрапления. Как язык развитой культуры нидерландский стал также источником заимствований и «проводником» романской лексики в нижненемецкий: это ряд терминов морского дела, торговли [Goossens 1973, 109-110, HNSL 1983, 732-742]; б) *Фризский*: Судьба фризского в рассматриваемом ареале напоминает судьбу нижненемецкого. В Восточной Фрисландии в письменности в 14 в. на смену латыни приходит нижненемецкий, позже фризский был вытеснен и в устном употреблении. Победивший нижненемецкий отмечен рядом фризских черт в лексике. Аналогична ситуация в Северной Фрисландии, где местные диалекты были вытеснены на узкую полосу побережья. Фризские диалекты в процессе языкового взаимодействия были пассивны, находясь под влиянием нижненемецкого [HNSL 1983, 762-780]; в) *Скандинавские* языки подверглись значительному воздействию со стороны нижненемецкого: в определённый период существовала угроза их вытеснения. Доля лексических заимствований в датский и шведский языки по разным оценкам варьируется и доходит до 75 % от всего лексического состава. В то же время торговля Ганзы в скандинавском регионе стала причиной немногих (!) скандинавских заимствований в нижненемецкий [Sprachgeschichte 1985, 1236]; г) *Славянские языки* (особенно западнославянские в зоне восточной колонизации) долго находились в постоянном контакте с нижненемецким, благодаря чему лексическая система нижненемецкого обогатилась славянизмами, некоторые из которых вошли в общенемецкий фонд.

Взлёт нижненемецкого («любекский узус») до уровня языка межнационального общения севера Европы заканчивается в начале 16 в.носителем этого нормированного языка была тонкая прослойка населения: купечество, городские чиновники, канцеляристы (так, в конце 14 - начале 15 вв. купцы составляли в Любеке не более 15 % населения [Никулина 1988, 9]), но в сельской местности в повседневном общении использовался местный диалект. Нормированный средненижненемецкий был распространённым языком письменного междиалектного общения (за пределами Германии и межъязыкового), но не языком разговорным. С захватом его традиционных доменов верхненемецким нижненемецкому осталась лишь сфера повседневного общения на диалекте.

В качестве основных причин упадка нижненемецкого исследователи единодушно выделяют экстралингвистические в их совокупности: резкое изменение геополитической и экономической ситуации в регионе, утрата могущества городов, усиление аристократии, Реформация [Gabrielsson 1983, 120-125] Ганзейский союз был жизненно важным институтом сохранения нижненемецкого, поэтому усиление национальных государств (Дания, Англия, Русь, Швеция, Нидерланды), бравших под контроль торгово-политические отношения на севере Европы, непосредственно отразилось на языке. Ослаблению Ганзы способствовали и внутренние противоречия между входящими в неё городами. Лютеранская Реформация, получив широкую поддержку на севере Германии, поначалу стремилась обращаться к пастве на местном языке, что сказалось на преимущественном использовании нижненемецкого как языка церкви. Но т. к. большинство протестантских священников обучались в верхненемецких университетах, к 17 в. происходит переход на верхненемецкий [Gernentz 1972, 120].

Ограниченность сфер употребления нормированного нижненемецкого языка стала причиной того, что после бурного расцвета в 1350-1500 гг. к началу 17 в. местная письменная традиция обрывается, а верхненемецкий резко усиливает позиции. В 14-15 вв. на его основе развиваются региональные литературные языки (среди них ведущие восточновосточно- и восточносредненемецкий). Последнему была уготована «роковая» для нижненемецкого роль, т. к. он стал престижной формой на всех уровнях. Первыми к использованию верхненемецкого переходят канцелярии князей северной Германии и нижненемецкий при дворе стал считаться невежеством.

Резко сузилось и использование нижненемецкого как языка межгосударственной торговли, дипломатии. Усиление абсолютизма князей, ориентированного на восточновосточно-немецкий, переход в 16-17 вв. городских канцелярий, церкви, книгопечатания к письменному (и отчасти устному) использованию этой языковой формы определило повсеместно

исключительное использование письменно-литературного верхненемецкого. Его распространение в официальных сферах происходило с юго-востока на север и северо-восток в 1550 - 1700 гг. [Gabrielsson 1983, 149].

Как отмечалось, системы нижнее- и верхненемецкого языков изначально характеризуются некоторыми внутривидовыми различиями на всех уровнях языковой системы. Такие языки, между носителями которых взаимопонимание затруднено или невозможно, определяются как *Abstandssprachen*. Данное положение не подвергается сомнению, когда рассматриваются ранний и средний периоды истории нижненемецкого. В новонижненемецкий период (не позже 17 в.) роль письменно-литературного языка на немецком севере переходит к языку верхненемецкого типа. В этой контактной ситуации Х.Клосс определяет нижненемецкий как язык, который воспринимается как квази-диалект (*scheindialektisierte Abstandssprache*) другого, поскольку тот выполняет в ареале роль письменно-литературного языка, т.е. на основе критерия «кровли» (*Überdachung*) [Kloss 1978, 25].

Для рассматриваемой ситуации интеррегионального языкового контакта можно выделить следующие уровни. *Во-первых*, длительное взаимодействие ниже- и средненемецких диалектов в пограничных зонах, причём, роль средненемецкого была активно-экспансивной, «дающей». Тем не менее, нижненемецкий не был исключительно пассивен, а контактирующие с ним диалекты не были абсолютно чужды ему типологически. Можно предположить реальность лексических инфильтраций (проникновений), что «предполагает в качестве необходимого и достаточного условия территориальную смежность и пограничное двуязычие» [Мартинов 1963, 23].

Во-вторых, взаимодействие происходило между экспандирующим восточносредненемецким (позже нормированным немецким литературным языком) и местными нижненемецкими диалектами. Начиная с 16 в., когда восточносредненемецкий вариант письменно-литературного языка начинает вытеснять свой нижненемецкий аналог, и до второй половины 19 в. шла борьба нижненемецких диалектов за выживание. Использование нижненемецкого становится социально дискриминирующим признаком: раздаются голоса за насильственное искоренение местных говоров. В общественной жизни владение верхненемецким становится необходимым, что заставляет местное население осваивать его как «иностранный язык». Возникает смешанный идиом, сочетавший черты верхне- (в большей степени) и нижненемецкого (*Missingsch*). Он изобилует интерферентными, гиперкорректными формами, искажениями, вызванными недостаточной коммуникативной компетенцией говорящих. Вероятно проникновение лексических элементов этим путём [Lüdtke 1998, 24].

В-третьих, вместе с захватом общенемецким литературным языком новых сфер общения, ранее закреплённых за местным диалектом, на его основе с 16-17 вв. формируется северно-немецкий региональный обиходно-разговорный язык. Он занимает среднее положение между литературным языком и диалектами, представляя собой следующий за Missingsch уровень формирования языковой компетенции в немецком литературном языке у носителей нижненемецких диалектов. Обиходно-разговорный язык включил значительное количество диалектных элементов, не вошедших в стандарт. Основным способом обогащения лексического состава литературного языка при этом виде взаимодействия также является лексическое проникновение.

Для языковой ситуации в ареале распространения нижненемецкого установилась следующая тенденция. На начальном этапе верхненемецким владели немногие представители высших образованных кругов общества. Позднее их число росло за счёт увеличения этой прослойки, но подавляющая часть населения северной Германии жила в сельской местности, не сталкиваясь с верхненемецким. В результате причин экстралингвистического характера нижненемецкий вариант письменно-литературного языка к 17 в. уступает позиции верхненемецкому. Поскольку письменная коммуникация благодаря книгопечатанию приобретает особое значение, расширяется сфера функционирования чужого языка, затрагивая большую часть населения. Поскольку взаимопонимание носителей двух рассматриваемых идиомов было затруднено или невозможно из-за языковых различий, это привело к превращению нижненемецкого в показатель ущербности его носителей, а овладение верхненемецким открыло путь к улучшению социального статуса.

Взаимодействие двух рассматриваемых идиомов в ареале распространения нижненемецкого происходило в ситуации диглоссии с развитием из *пассивной* (владение верхненемецким как «иностранным») в *активную* (свободное владение обоими идиомами с их варьированием в зависимости от коммуникативного домена) при доминирующей роли восточно-средненемецкого узуса. «Двуязычие» охватывало широкие массы населения и вело к образованию код смешанных кодов (Missingsch), так и к заимствованию с той и с другой стороны. Необходимость переключения кодов, особенно при недостаточной языковой компетенции, приводило к заимствованию элементов из одного кода в другой. Заимствованные элементы вводятся в код языка, *«um deren Referenzpotential zu erweitern, sie werden als Teil des Systems / Lexikons von Language behandelt, auch wenn deren fremder Ursprung noch transparent ist»* [Lüdi 1996, 242], и служат компенсации дефицита средств выражения, например, отсутствующих в одном из идиомов обозначений реалий. Такое заимствование «предпола-

гает в качестве необходимого условия культурное влияние и экспорт-импорт реалий (новые орудия и средства производства, новые понятия общественной жизни)» [Мартынов 1963, 23]. В условиях становления немецкого литературного языка, распространявшего своё влияние на всю территорию Германии, необходимо возникал именно такой дефицит средств выражения.

Этнополитическая консолидация в Германии сопровождалась языковым выравниванием, осознанным стремлением к формированию единого общенационального языка, что происходило в условиях конкурентной борьбы регионов. В этих рамках имело место «перекрытие» нижненемецких диалектов формирующимся верхненемецким письменно-литературным языком. Его доминирующая роль была следствием взаимодействия неязыковых факторов, спровоцировав изменения во внутриязыковой сфере и определив для нижненемецкого роль пассивного «донора» в формировании общенемецкого лексического стандарта.

Отражение контактного наследия при кодификации лексической нормы

Начало проникновения языка верхненемецкого типа в нижненемецкий ареал в 16 в. совпадает с зарождением тенденций к языковому выравниванию: до этого отдельные территориальные варианты письменно-литературного языка воспринимаются языковым сообществом в значительной мере как равноценные [Hartweg, Wegera 1989, 152]. Межрегиональная коммуникация оказывается возможной благодаря приоритетному стремлению к понятности и толерантности, к вариативности узуса перед чётким следованием локальному употреблению. Немецкий этого периода был «языком без ведущего варианта» и лишь в 16-17 вв. начинается «вертикализация», иерархизация территориальных вариантов немецкого языка, их доминирования в надрегиональной (в перспективе в общенациональной) коммуникации [Reichmann 1990, 141].

Формирование надрегиональной нормы впервые ставит вопрос о соответствии узуса территориальных вариантов потребностям общенациональной коммуникации и образцовом статусе отдельных регионов. Для процесса складывания общенемецкого лексического стандарта особую роль играли лексикографические труды, имевшие цель отразить лексику с точки зрения её значимости для коммуникации в масштабах всего немецкоязычного ареала. При этом «норма складывается как кодификация существующего узуса, но... важнейшим моментом является отбор среди синонимичных вариантов» [Гухман 1959, 172]. В 15 в. намечается тенденция к сокращению числа территориальных синонимов за счёт

дифференциации и конкретизации их значений и фактором, определяющим предпочтительность определённой лексемы для общенемецкого лексического фонда, является поддержка выбора другими ландшафтами.

Печатные немецкие словари появились в конце 15 в., однако лишь в словарях, созданных гуманистами 16 в., натился отход от средневековой ориентации на нужды обучения латыни. В лексикографической работе берёт верх осознанное применение научных принципов, стремление к полному, не привязанному к конкретному тексту охвату лексики. Так, словарь К.Килиана «*Dictionarium teutonico-latinum*» (1574 г.) впервые даёт указание на локальную ограниченность в употреблении лексем, а в его переиздании учтены данные латинско-нижненемецкого словаря Н.Китреуса «*Nomenclator latino-saxonicum*» (1582 г.).

Уже в 17 веке доминирует тенденция к созданию нормативных словарей, включающих лексический инвентарь, общий для всей немецкой языковой области, но учитывающий связи литературного фонда с региональным узусом и диалектами. Так, Ю.Г.Шоттель, несмотря на негативное отношение к диалекту, включает локальную лексику для пояснения литературных единиц (семантика, этимология). Особое внимание уделяется нижненемецкой лексике в силу знакомства с ней Шоттеля как уроженца северной Германии [Tauchmann 1992, 215]. Нижненемецкая и нидерландская лексика особенно последовательно маркируется в словаре К.Штилера (1691 г.). Причина видится в полной утрате нижненемецким статуса письменно-литературного языка к 17 в., благодаря чему нижненемецкая лексика поддавалась идентификации как диалектная. Интересен опыт словаря Й.Л.Фриша «*Teutsch-lateinisches Wörterbuch*» (1741 г.), в котором не только помечены регионализмы, но и дана их этимология.

Ко времени возникновения общенемецких словарей литературного языка (конец 18 в.) литературный «предстандарт» можно считать сформированным. Он нашёл отражение в литературе, преодолевшей региональную замкнутость, и претендуя на распространение во всех коммуникативных сферах. Особенно следует подчеркнуть социальный престиж письменно-литературного языка и основывающейся на нём литературной речи. Доминирующими в его ареальной базе традиционно считаются восточносредне- и восточноверхненемецкий территориальные варианты письменно-литературного языка. Словари эпохи барокко и Просвещения ориентированы еще в основном на верхненемецкий узус, несмотря на программные заявления о равноправии указанных региональных вариантов или предпочтительность восточносредненемецкого.

Итог был подведён в словарях И.К.Аделунга «Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart» (1774-1786 гг.) и И.Г.Кампе «Wörterbuch der deutschen Sprache» (1807-1811 гг.). При кодификации словарного фонда литературного языка в конце 18 в. невозможно было игнорировать сложившийся надрегиональный «предстандарт». Однако вследствие ориентации первого общенемецкого толкового словаря такого типа Аделунга на языковую практику высших образованных слоёв общества Верхней Саксонии (т.е. на восточносредненемецкий территориальный вариант письменно-литературного языка, на Библию Лютера и на язык поэтов и писателей этого региона, таких как Опиц, Флеминг, Логау) его прескриптивно-нормативный замысел не мог быть адекватно воплощён из-за одностороннего принципа отбора лексического материала [Szłęk 1990, 71-72]. Ориентация на узус одного региона была подвергнута критике уже современниками Аделунга (так же как и он уроженцами северной Германии!).

Критерии отбора словарного материала, вынесенного в основу словарных статей, в целом соответствовали программным установкам лексикографа (ср. в предисловии: «Es fielen also alle veraltete, alle provinzielle, und alle niedrige bloß dem Volke eigene Wörter und Ausdrücke der Regel nach von selbst weg» [AD I, 4]). Однако программные установки не отражали фактического разнообразия как локально-диалектных, так и региональных лексических фондов. Это понимал и составитель словаря, широко привлекавший регионализмы в качестве иллюстративного материала. Система помет характеризует включённые в корпус словаря лексические единицы с точки зрения их принадлежности к одному из трёх стилей: высокому, нейтральному и бытовому (сниженному) [Гухман, Семенюк, Бабенко 1984, 228]. Для маркирования нижненемецкой лексики Аделунг вводит пометы *Niedersächs.*, *in Niedersachsen*, или с более точной функциональной характеристикой *im gemeinen Leben Niedersachsens*, если лексема относится к сниженному стилю, в противовес литературным единицам. 54 пометы показывают распространение слова в отдельных регионах (иногда в социальных слоях) северной Германии, например: *bey den bremischen Bauern*. Поскольку одной из целей Аделунга было отграничить «низкие», диалектные слова и провинциализмы, он делает это и с помощью примечаний, в которых указывает на преимущественное региональное использование лексем.

И.Г.Кампе, первый последователь И.К.Аделунга в создании общенемецкого словаря литературного языка, демонстрирует иную позицию по отношению к регионализмам. В свой словарь он включает «das Beste, Edelste und Sprachrichtigste für die allgemeine Deutsche Umgangs- und

Schriftsprache» [С I, VIII]. Система его помет, характеризующих региональное распространение лексики, отличается большей строгостью, чем у предшественника: Кампе даёт также указание на регион распространения лексемы, если она не относится к общеупотребительной лексике. Проведена последовательная дифференциация вошедших в словарь единиц по их стилистической отнесённости и разработана систему помет, служащих этой цели. Так, нижненемецкие провинциализмы снабжены пометами: † - *landschaftliche Wörter*; † - *der gemeinen Schreibart gehörende Wörter*; in N.S. – *in Niedersachsen*. Чётко проявилась нормализаторская концепция Кампе: именно он предложил термин *Umgangssprache* для обозначения подсистемы обиходно-разговорного языка [Гухман, Семейко, Бабенко 1984, 228].

В 19 в. намечается переход от фазы письменно-литературного языка (*Schriftsprache*) к фазе стандартного языка (*Standardsprache*), что для нормативной лексикографии знаменуется переходом от идентификации нормы с определённым региональным / социальным узусом к более высокому уровню обогащения и нивелирования лексического стандарта как «сверхсистемы» литературного языка. Характерной становится экспансия письменной нормы в сферу повседневной устной речи, где ранее доминировали диалект и диалектно окрашенные региональные формы литературного языка. Движущей силой становятся заинтересованные в наличии единой общенациональной нормы языка институты (в первую очередь в области лексики, где региональные различия традиционно сильны) [Wiegand 1986, 28]. Существенным с точки зрения вхождения нижненемецкой лексики в современный лексический стандарт представляется развитие на севере Германии обиходно-разговорного языка верхненемецкого типа как самой распространённой формы повседневной коммуникации.

Словарный состав немецкого языка, как его наиболее открытая и динамичная система, пополнялся и после первых попыток его нормативной фиксации. Это происходит, в частности, за счёт большей ассимиляции разговорной лексики, особенно не имеющей стилистических или узко-территориальных ограничений, от включения которой по большей части отказывался Аделунг. Чаще такого рода лексические единицы представляют собой частотные реалии, феномены локального быта, экспрессивные наименования. Одновременно с этим литературный стандарт охватывает и большинство сфер профессиональной деятельности, что связано с созданием систематизированного терминологического аппарата и с индустриализацией и модернизацией общества. Несомненно, что устоявшаяся система терминов ряда профессий, особенно распространённых в северных регионах Германии (в первую очередь, морское дело), должна была сохранить в своей основе и лексику, характерную для данного ре-

гиона, но чуждую имеющейся уже зафиксированной в общезыковых (не отраслевых!) словарях норме.

Лексикографическая практика 19-20 вв. показала возросший интерес составителей нормативных трудов к регионализмам (также нижненемецким) в корпусе словаря. Расширилась и подверглась унификации система функциональных помет для являющейся общеупотребительной лексики. В рамках общей тенденции к историческому исследованию языковых фактов можно наблюдать стремление лексикографов охватить как можно больший объём лексики (хотя бы в качестве этимологических данных из языков-источников или диалектов). Эта фаза словарей лексического стандарта представлена словарями Фр.Вайганда/Г.Хирта, Г.Пауля и др., современными многотомными словарями [Wiegand 1986, 203-204]. В них можно наблюдать отказ от строго прескриптивных основ формирования литературной лексической нормы, претендующей на этом этапе не только на роль письменного стандарта, но и нормы устной разговорной речи. Так, редакция *DUW* заявляет: «Das große Wörterbuch der deutschen Sprache» erfasst... den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache mit allen Ableitungen und Zusammensetzungen so vollständig wie möglich. Es bezieht alle Sprach- und Stilschichten ein, alle landschaftlichen Varianten... und alle Fach- und Sondersprachen, insofern sie auf die Allgemeinheit hinüberwirken. Besonders berücksichtigt diese Wörterbuch die Umgangssprache...» [DUW, 1-2].

Основой выборки лексического материала, включаемого современными одноязычными словарями немецкого литературного языка, становится не гипотетическая норма, представленная в узусе социального слоя одного региона, как у Аделунга, а действительно употребительная лексика устной и письменной речи. При этом часто включаются и региональная лексика, в частности свойственная лишь речи жителей севера Германии. В современных одноязычных словарях около 10 % регионализмов имеют соответствующую помету и выделяется 3 уровня диатопических маркеров (*standardsprachlich*, *umgangssprachlich*, *mundartlich*), которым для нижненемецкой лексики соответствуют: а) *nordd.*, б) *nordd.ugs.* / *nordd. sal(opp)*, *nordwestd.*, *nordostd.* в) *niederd.*, *meckl.* и т.д. [Niebaum 1984, 327-330]. Словарь *DUW* последовательно различает *niederd.* как этимологическую и *nordd.* как диатопическую пометы, поскольку северонемецкий гетероним иногда имеет не местное происхождение (ср. *kiebig*, *Sonnabend*) и наоборот лексика нижненемецкого происхождения не обязательно имеет ограниченное распространение (ср. *barsch*, *Hafer*, *Hantel*). В разграничении указаний на этимологическое происхождение и регион употребления лексической единицы заключается отличие современного общенемецкого словаря от словарей 18-19 вв. Маркирование с по-

мощью пометы *niederd.* является необходимым условием локальных маркеров *nordd. landsch., bes. nordd.*, что свидетельствует об устойчивой локальной привязке провинциальной лексики к области происхождения даже в рамках литературного стандарта.

Но разграничение указаний на происхождение и распространение лексем проводится не до конца последовательно. Особенно это касается единиц, являющихся результатом аффиксации или словосложения (как продуктивного словообразовательного процесса в немецком языке), при которых этимологические пометы часто отсутствуют. Это в основном вызвано тем, что в образовании нового слова участвуют элементы, различные по географическому происхождению (например, нижненемецкий корень и верхненемецкий/литературный аффикс), но одинаково допустимые в рамках сложившегося лексического стандарта. Диатопическая дистрибуция для лексикографической практики современных общенемецких словарей лексического стандарта имеет приоритет над этимологией слова, несмотря на их взаимосвязь. Это подтверждает тезис, что ориентация литературного языка на диалект носит лишь опосредованный характер.

Только современный обиходно-разговорный язык северной Германии, социальная база которого включает индивидуумов, в разной степени владеющих диалектом, сохраняет связь с местным идиомом. Лексический стандарт лишь вторично идентифицирует, в основном в письменных источниках, просторечные регионализмы и фиксирует их при значительном распространении (например, северно-немецкое приветствие «*Moin-Moin!*») несмотря на употребительность не представлено в толковых словарях, поскольку редко фиксируется в литературе и публицистике).

Лексическая кодификация отражает степень сформированности литературно-языковой нормы в сфере словарного фонда. Понятие нормы связано с взаимосвязанными тенденциями к селективности, регламентации, устойчивости, гомогенности, что определяет её тормозящее воздействие по мере стабилизации, особенно в отношении новаций из региональных вариантов обиходно-разговорного языка и диалектов [Семенюк 1970, 559]. Но «развитие языка не останавливается и после образования национальной нормы, возникают новые формы, старые отступают, и в любой отрезок времени сосуществует некоторое количество вариантов, наличие которых ... не затрудняет коммуникацию внутри всей территории распространения языка, как это имеет место до образования национальной нормы» [Нериус 1979, 245]. Заимствование (инфильтрация) нижненемецких лексических единиц в литературный стандарт из диалектного страта и близкого к нему обиходно-разговорного языка продолжается и после кодификации лексической нормы, хотя показательно сдерживающее воздействие с её стороны.

Литература

- Бах А.* История немецкого языка / Пер. Н.Н.Семенюк. М., 1956.
- Гухман М.М.* От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. М., 1959. – Ч. 2.
- Гухман М.М., Семенюк Н.Н.* История немецкого литературного языка IX-XV вв. М., 1983.
- Гухман М.М., Семенюк Н.Н., Бабенко Н.С.* История немецкого литературного языка XVI-XVIII вв. М., 1984.
- Дубинин С.И.* Немецкий литературный язык позднего средневековья: юго-западный ареал. Самара, 2000.
- Зеленецкий А.Л.* Истоки немецкого языка. Калуга, 1992. – Ч. 1-2.
- ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь* / Ред. В.Н.Ярцева. М., 1990.
- Мартынов В.В.* Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.
- Нериус Д.* К становлению национальной нормы немецкого литературного языка в XVIII веке //Актуальные проблемы языкознания ГДР. М., 1979.
- Никулина Т.С.* Социально-политическая борьба в ганзейском городе в XIV-XVI вв. (по материалам Любека). Куйбышев, 1988.
- Семенюк Н.Н.* Норма // Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. М., 1970.
- Сквайрс Е.Р.* Ареальная база истории нижнегерманского языка Ганзы. М., 1997.
- Тетеревенков А.Е.* Этимологические и функциональные характеристики лексики нижнегерманского происхождения в современном немецком литературном стандарте. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Самара, 2002.
- Филличева Н.И.* Немецкий литературный язык. М., 1992.
- Gabrielsson A.* Die Verdrängung der mittelniederdeutschen durch die neuhochdeutsche Schriftsprache // Handbuch zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft / Hrsg. von G.Cordes und D.Möhn. Berlin, 1983.
- Gernentz H.J.* Das Vordringen des Hochdeutschen in Norddeutschland: ein Beitrag zur Entstehung der deutschen Hochsprache // Arbeiten zur deutschen Philologie VI. Debrecen, 1972.
- Goossens J.* Niederdeutsch: Sprache und Literatur. Neumünster, 1973.
- HNSL – Handbuch zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft* / Hrsg. von G.Cordes und D.Möhn. Berlin, 1983.
- Hartweg F., Wegera K.-P.* Frühneuhochdeutsch. Tübingen, 1989.

Kloss H. Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800. 2. Aufl. Düsseldorf, 1978.

Kriegsmann U. Die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache im Widerstreit der Theorien. Frankfurt/Main, 1990.

Lasch A. Mittelniederdeutsche Grammatik. 2.Aufl. - Tübingen: Niemeyer, 1974.

LGL – Lexikon der germanistischen Linguistik / Hrsg. von H.P.Althaus. Tübingen, 1980.

Lüdi G. Mehrsprachigkeit // Kontaktlinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / Hrsg. von H.Goebel u. a. Berlin; New York, 1996.

Lüdtko H. Die Volkssprachen im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa (mit besonderer Berücksichtigung des Niederdeutschen) // Niederdeutsches Jahrbuch. Neumünster, 1998. № 121.

Moser H. Deutsche Sprachgeschichte der älteren Zeit // Deutsche Philologie im Aufriss / Hrsg. von W.Stammler. Berlin; Bielefeld, 1952. – Bd.1.

Niebaum H. Die lexikographische Behandlung des landschaftsgebundenen Wortschatzes in den Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache // Germanistische Linguistik. Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie IV. Hildesheim; New York, 1984. – H. 1-3/83.

Reichmann O. Sprache ohne Leitvarietät vs. Sprache mit Leitvarietät: ein Schlüssel für die nachmittelalterliche Geschichte des Deutschen? // Deutsche Sprachgeschichte. Grundlagen, Methoden, Perspektiven / Hrsg. W.Besch. Frankfurt a. Main, 1990.

Sanders W. Sachsensprache. Hanesprache. Plattdeutsch. Göttingen, 1985.

Sprachgeschichte: ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung / Hrsg. von W.Besch u.a. Berlin; New York, 1985. – 2. Halbband.

Szłok, S.P. Zur deutschen Lexikographie bis J.Grimm: Wörterbuchprogramme, Wörterbücher und Wörterbuchkritik. Bern; Berlin; Frankfurt a. M.; New York; Paris; Wien, 1990.

Tauchmann Chr. Hochsprache und Mundart in den großen Wörterbüchern der Barock- und Aufklärungszeit. Tübingen, 1992.

Wiegand H.E. Dialekt und Standardsprache im Dialektwörterbuch und standardsprachlichen Wörterbuch // Lexikographie der Dialekte: Beitr. zu Geschichte, Theorie und Praxis / Hrsg. H.Friberthäuser u. a. Tübingen, 1986.

(AD) – Adelung, J.-Chr. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Hochdeutschen. Leipzig, 1793-1801. Bd. 1-4.

(C) – Campe, J.-H. Wörterbuch der Deutschen Sprache. Braunschweig, 1807-1811. Bd. 1-5.

(DUW) – DUDEN Deutsches Universalwörterbuch / Hrsg. und bearb. vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1996.

В.Б. Меркурьева

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЛИЧНОСТИ НОСИТЕЛЯ ДИАЛЕКТА

Изучение языковой личности как теоретической проблемы в отечественной лингвистике связано, прежде всего, с именем Ю.Н. Караулова, который под языковой личностью понимает «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание им речевых произведений (текстов)». [Караулов 1987, 3]. В.И. Карасик уточняет, что языковую личность можно охарактеризовать с позиций языкового сознания и речевого поведения. Языковое сознание опредмечивается в речевой деятельности, которая осуществляется индивидом и обуславливается его социопсихофизиологической организацией (см.: [Карасик 2002, 8]).

Поскольку нас интересует личность носителя диалекта, остановимся, прежде всего, на социолингвистической характеристике диалекта в Германии. Здесь много лет, если не десятилетий, как отмечает У. Аммон, подчёркиваются больше преимущества диалекта, чем его недостатки. У. Аммон приходит к чрезвычайно важному выводу, что положительное отношение к диалекту не исключает ни в коей мере его отрицательной оценки в школе [Ammon 1999, 74]. У. Аммон делает акцент на том, что в Германии, несмотря на «диалектный ренессанс» и восторг от диалекта в семидесятые годы прошлого столетия, трудности учеников, говорящих в семье только на диалекте, в школе не исчезают. Школьники, для которых диалект является родным «языком», испытывают большие трудности при изучении стандартного языка, которые можно сравнить с трудностями при изучении иностранного языка.

В середине XX столетия вследствие распространения радио, телевидения, прессы, службы в армии в других регионах начинается утрата диалекта (в обоих немецких государствах в большей степени, чем в Австрии и Швейцарии). В Германии растёт число родителей, которые воспитывают детей в языковом отношении без регионального компонента.

Означает ли это, что диалект находится перед широкомасштабным коллапсом? Ответ на этот вопрос не так прост, он зависит от многих объективных, а также и субъективных моментов. «Языковая ситуация в различных странах и регионах немецкоязычного ареала характеризуется в лингвогеографическом, социолингвистическом и лингвопрагматическом аспектах крайней неоднородностью, которая, в первую очередь, обусловлена расхождениями в состоянии диалектов и их социофункциональном статусе» [Домашнев, Копчук 2001, 89]. Изменение в употреблении диалекта и переструктурирование диалектного ландшафта на территории Германии в прошедшие столетия было постепенным, медленно протекающим процессом, ориентированным на необходимость ежедневного общения. Средства массовой коммуникации и электронные средства используют, в основном, стандартный язык. Это привело к тому, что сегодня в Германии лишь меньшинство населения не владеет стандартным языком.

В процентном отношении юг остаётся более расположенным к диалекту (*dialektfreundlich*), а север – менее (*dialektarm*). Сильнейшую позицию диалект имеет в немецкоязычной Швейцарии, затем – в Австрии и южном Тироле, самую слабую – на севере Германии: от Вестфалии, южной части нижней Саксонии до Бранденбурга – и в Саксонии. На диалекте говорят 80-90% в Австрии и долинах Альп, 60-80% – в Баварии и Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне, 40-60% – в Северном Рейне-Вестфалии и Берлине [Polenz 1999, 457]. Иными словами, на севере на диалекте говорит половина населения, на юге Германии – две трети или три четверти [Dingeldein 1997, 67]. Язык, наряду с коммуникативной функцией, имеет и вторичную функцию – быть идентифицирующим знаком. Именно этой функцией Х. Дингельдейн объясняет относительно стабильное положение диалекта на юге Германии. По его образному выражению, «значок «диалект» носят с большей гордостью в экономически и культурно развитых регионах», к которым относятся Бавария и земля Баден-Вюртемберг (земли «экономического чуда»), чем в промышленно отсталых регионах [Dingeldein 1997, 67]. Примечательно, что в последнее время берлинский диалект, получивший статус «диалекта столицы», проявляет себя стабильно и экспансивно, как и южные диалекты [Schönfeld 1996, 77; Dingeldein 1997, 67].

Отечественные лингвисты Е.А. Реферовская, А.И. Домашнев, Г.В. Степанов в рамках концепции национальных вариантов выдвинули проблему сознательного фактора и его роли в сохранении и развитии местных форм речи [Загрязкина 1995, 31]. В этой связи мы хотели бы остановиться на личности носителя диалекта, под которой мы понимаем в дан-

ной статье сознательно и бессознательно¹ использующего свой диалект как идентифицирующий знак и гордящегося им носителя любого немецкого диалекта. Как антипод данному явлению можно назвать носителей диалекта, получивших первичную социализацию в диалектной среде, но стесняющихся своего диалекта и вследствие этого его избегающих. Последние составляют скорее исключение из правил, но ради полноты картины они должны быть названы.²

Интересным представляется тот факт, что если социализация ребёнка происходила на диалекте, то человек в течение всей жизни воспринимает диалект своим родным «языком», отсюда – название «Dialektsprache» («диалектный язык»). Примечательно, что местный диалект сохраняется и в языке глухонемых в Германии и поэтому даже сурдоперевод новостей или каких-либо других передач в различных землях отличается и несёт печать местного диалекта [Eine lautlose Sprache 2003, 15].

Сферы диалекта и литературного языка постоянно остаются в ракурсе внимания исследователей. Литературный язык справедливо считается репрезентантом официальной области. Официальная область – то есть государственные учреждения, учебные заведения, пресса, радио, телевидение, церковь – обслуживаются традиционно на всей немецкоязычной территории литературным языком. Такое положение вещей представляется разумным и необходимым в рамках федерального государства, поскольку оно обеспечивает возможность общения и взаимопонимания носителей разных диалектов.

В прессе иногда проскальзывают отдельные диалектные включения, особенно, если тематика статей соприкасается с диалектной: карнавал, местные проблемы, рецензии на постановки пьес, написанных на диалекте и т.д. В некоторых газетах есть локальные страницы на диалекте, которые ведут известные в данном регионе журналисты. Так личность Ёе Людвига, ведущего в *Mainzer Zeitung* рубрику «So sieht's Mainz» на диалекте города Майнца, известна всем в этом городе. Приведём начало его статьи «Что за золотые времена»: «*Kinner, was gehe mir in Meenz für goldene Zeite entgegen! Wer's nit glaabt, soll an alles denke, was uff dene Wahlplakate un Broschüre gestanne hot*» [Ludwig 2004, 13]. Вся статья, посвящённая городским новостям и некоторым языковым проблемам, на-

¹ О роли бессознательного включения диалекта в творчестве драматургов, в частности М. Л. Флейсер, см.: [Rühle 1983, 41].

² Стихотворение на диалекте и об отрицательном отношении к диалекту было включено в одну из анкет, которые приводит Корнелиссен: «*Die platte Sproach witt hock beduet / als plomp, jemeen on ordinäe; / on wer se sprich, su aanjeluet, / als ov he onjebildet wöe*» [Cornelissen 2005, 52]. Диалект охарактеризован здесь как наглый, простой «язык», на котором говорят необразованные люди.

писана на диалекте, а некоторые литературные слова, например, ставшие молодёжным сленгом, «дяди» и «тёти» по отношению к родителям, повсеместное употребление которых критикуется, берутся в кавычки.

«*Mer sollt' halt nur nur vermeide, dass die Pens am End über die Eltern "Onkel" un "Tante" sage*» [Ludwig 2004, 13].

Что касается языка науки, необходимо подчеркнуть, что все монографии и научные статьи пишутся на литературном языке. Заметим, что если во время формирования литературных норм в XVIII веке в деятельности Й. К. Готтшеда как нормализатора преобладала запретительная сторона (он выступал против диалектизмов, архаизмов и целого ряда новых слов) [Семенюк 1996, 35], то в настоящее время сформировавшихся литературных норм характерна определённая лояльность к употреблению диалектных вкраплений даже в столь традиционной сфере применения литературного языка как научный дискурс. Так Георг Корнелиссен, автор книги «*Rheinisches Deutsch*» [Cornelissen 2005] присоединяет к названиям подзаголовков, сформулированных на литературном языке, предложения на диалекте и обиходно-разговорном языке с диалектными включениями, например:

Kabänes, Klaf und Knölchen Dialektreste;

Muss nit de Oma lang machen, jut? Handwerkmeister an der Sieg;

Da is wat meng Lammersdorf 2002;

Dat Wichtige is, dat man jesund is... Reiner Calmund [Cornelissen 2005, 5-6].

Таких примеров очень много в оглавлении, которые затем естественным образом воспроизводятся в тексте научного исследования. Графическое выделение предложения-цитаты перед литературным заголовком маркирует диалектное предложение или словосочетание. Однако в качестве предшествующих заголовку цитат встречаются и предложения на литературном языке, однако таких в данной книге меньшинство.

Если тематика данной книги оправдывает инкорпорирование диалекта в ткань научного сочинения, то следующий пример диалектного вкрапления, включённого в научную публикацию лингвистического содержания, свидетельствует о непреодолимом желании учёного воспользоваться родным диалектом, который точнее и экспрессивнее выражает его мысль. В статье Х. Хекманна критикуется употребление слова *irgendwie* в современной речи немцев. Мы позволим себе полностью привести этот фрагмент научной статьи, которая заканчивается диалектным предложением.

«*Wo man früher schlichtweg bekannte: "Ich fühle", sagt man heute: "Irgendwie fühle ich mich". Das sind zwei Aussagen, die keineswegs dasselbe bezeichnen. Im ersten Fall weiß der Sprecher, dass er fühlt, wenn er fühlt. Im*

zweiten Falle ist er sich dieser Aussage gar nicht sicher. Vor allem glaubt er nicht zu wissen, auf welche Weise er fühlt. Was mit ihm geschieht, vermag er nicht recht zu bestimmen. So läßt er es im Vagen, im Irgendwie: "*Nix Genaues woaß mer net*" (выделено нами курсивом)» [Heckmann 1986, 67]. Автор научной статьи доказывает, что употребление модного словечка *irgendwie* меняет смысл предложения: «Ich fühle» («Я чувствую») – «Irgendwie fühle ich mich». Во втором случае говорящий сомневается в том, что он чувствует. *Irgendwie* означает: в некотором смысле, некоторым образом, как-либо, как-нибудь.¹ Эту неопределённость, шаткость Х. Хекманн подчеркивает диалектным предложением, содержащим двойное отрицание, которое можно перевести следующим образом: «мы не знаем ничего точно». При помощи этого саркастического замечания на диалекте автор научной статьи метко высмеивает бездумное употребление модных слов.

В Баварии, где позиция диалекта особенно крепка, даже научные дискуссии молодые физики и математики ведут на диалекте. Об этом рассказал Георг Рингсвайгель, исполнитель песен на диалекте, в телевизионной передаче «*Nachtcafe-Dialekt*» от 1 июня 2004 года.

При ответах на нашу анкету, которая выставлялась в Интернете по адресу: mailliste@gespraechsforschung.de, на вопрос, при каких обстоятельствах Вы говорите на диалекте, большинство ответило, что на диалекте они обычно говорят в кругу семьи, на семейных праздниках, с родителями, родственниками и друзьями, знакомыми и соседями, при посещении родных мест, в телефонных разговорах с родными и знакомыми, говорящими на диалекте. Переехавшие в другой населенный пункт Германии или уехавшие за рубеж носители диалекта обычно «забирают его с собой» даже в эмиграцию, а не только при переезде внутри страны. Это нежелание расставаться с родным диалектам ни при каких обстоятельствах стало уже традицией. Приведём высказывание Л. Фейхтвангера, датированное ещё 1933 годом: «Hitler hat mir das Bürgerrecht weggenommen, doch nicht wegnehmen konnte er meinen bayrischen Dialekt» [Leopold 1967, 51]. Сегодняшние носители диалекта, переехавшие даже на другой континент, не забывают родной диалект, пользуются им при телефонных разговорах с родственниками и друзьями из Германии и прибегают к нему вновь, когда посещают родные места после долгой разлуки с родиной. Диалект удивительным образом «всплывает» в их сознании, отмечают современные диалектоносители в своих анкетах, а по прошествии нескольких дней они уже говорят на нём, не испытывая никаких затруднений.

Общение со знакомыми на карнавале представляется носителям

¹ Ср.: в русском языке употребление модного словосочетания «как бы» сходно с обсуждаемой в статье Х. Хекманн проблемой.

Кёльнского диалекта особенно важным – zum Karneval (ganz wichtig). На диалекте говорят обычно при встрече и прощании с хорошими знакомыми и (старыми) друзьями. Информанты отмечают, что они общаются обычно на свадьбах и поминках на диалекте, а также на вечеринках и различных союзах и общественных организациях (например, Reitverein), на празднике стрелков в г. Нойсс (in Neuss bei dem Schützenfest), то есть в неформальных ситуациях. Одна женщина призналась, что использует своё знание диалекта при общении со слесарями и мастерами с определённой целью: удачнее сделать ремонт.

Диалектный налёт слышан был в речах многих политиков и писателей: Конрада Аденауэра, Гельмута Коля, Л.Фейхтвангера, Г.Грасса и т.д. Достаточно большое количество респондентов заявляют, что они прибегают к диалекту, когда они ругаются, ссорятся, даже оскорбляют друг друга. Диалект предпочитают и в полном одиночестве, когда его носители находятся в плохом настроении и злятся на что-либо (wenn ich alleine bin und mich über etwas ärgere) или очень радуются. Мелодика диалекта, даже ударения могут выразить большой спектр чувств, в том числе любовь и печаль. Некоторые анкетированные ответили, что они начинают вдруг говорить на диалекте, когда очень устали, а также при эмоциональном возбуждении. Приведём в этой связи слова германиста-профессионала, участника анкетирования, считающего, что никакая другая языковая форма не выражает так непосредственно эмоциональную функцию языка (Keine andere sprachliche Form übernimmt so unmittelbar die emotionale Funktion von Sprache). Другой респондент подтверждает данное высказывание, замечая, что диалект прорывается у него бесконтрольно во время дебатов (unabsichtigt in Debatten).

В Швейцарии, где диалект имеет «сильную» позицию, молодые люди общаются по электронной почте на диалекте. Дитер Штельмахер отмечает, что и носители швабского диалекта в Интернете «plaudern häufig in Dialekt» («часто болтают на диалекте») [Dialekt unter der Lupe 2003, 3].

Можно также выделить группу ответов, в которых отмечается, что диалект используется для того, чтобы разрядить обстановку, посмеяться, разыграть друг друга (gegenseitiges Auf-den-Arm-Nehmen) или рассказать анекдот. Приведём также мнение одного мужчины из Эрпа, который в ответах на анкету другого учёного называет употребление своего Кёльнского диалекта с осознаваемой целью позлить доцента по математике, который никогда не ставил оценку выше «трёх» баллов студентам, употребляющим этот диалект [Cornelissen 2005, 54]. Диалект используют сознательно, чтобы показать комичность ситуации или маркировать юмор (um deutlich zu machen, dass ich scherze). Само употребление диалекта просто может доставлять удовольствие его носителям. Некоторые ин-

форманты в качестве хобби по звучанию диалекта определяют, в какой местности проживает человек, с которым они вступили в общение. Диалект сразу же может стать предметом для разговора, который всегда связан с чем-то личным.

Георг Корнелиссен приводит в своей книге утверждения многих людей, которые назвали переход с литературного языка на диалект как средство ослабления взрывной ситуации или же смогли благодаря обращению к диалекту («Platt») «слоमितь лёд» недоверия [Cornelissen 2005, 25].

Широкое поле деятельности предоставляется носителю диалекта, занимающемуся написанием рекламных текстов. Экспрессивный характер диалектных вкраплений, включённых в литературное окружение, используется рекламодателями для привлечения внимания туристов, покупателей и т.д., всех тех, кому предназначена реклама, например:

Von oben sieht man mehr von *Ländle*.

Одна фирма земли Баден-Вюртемберг использовала даже диалектную транскрипцию в рекламе различных сортов пива [ha'so: ebbes], [toll'subbr], [wa:s willeschme:?), [saugu: ds'pilz]. Обычные бургеры не каждый день сталкиваются с таким написанием слов, поэтому эта реклама привлекала внимание, сначала человек пытался прочитать, а затем уже и покупал продукт необычной рекламы. Цель рекламодателей была достигнута благодаря новому лингвистическому приёму.

Наш опыт личного общения с иностранными гражданами из Германии, Австрии и Швейцарии на международных конференциях, в переводческой практике и в приватной сфере подтверждает факт перехода носителей диалекта при первом удобном случае на родной диалект. Так баварец, мэр города приветствует участников симпозиума на литературном языке. Сойдя с трибуны, он отдаёт распоряжения своим подчинённым уже на родном диалекте. Австрийские специалисты на технической выставке общаются на немецком литературном языке не только с переводчиками, но и другими специалистами из Германии. Однако со специалистами-земляками незамедлительно переходят на родной диалект. Хозяин дома говорит с женой в присутствии иностранцев на литературном языке, а на прогулке, встретив соседей, представляет им гостя из-за рубежа уже на диалекте и обменивается с ними несколькими фразами также на диалекте, извинившись перед гостем, объяснив свой переход на диалект (в том конкретном случае швабский) тем, что с соседями он всегда говорит только на диалекте.

Языковые единицы могут переходить из диалектной системы в литературный язык, это явление называется транспозицией [Санхорова 1992, 10]. Такие диалектные слова как *Samstag*, *Metzger* и т.д. стали частью немецкого литературного языка.

Теперь уже трудно установить, чьей личной заслугой (может быть, менеджера по продажам или рекламе) швейцарское диалектное Müesli¹ проникло в последние десятилетия не только в немецкий литературный язык Германии и Австрии (здесь у него упростилось правописание – Müsli), но и в русский и другие иностранные языки.

Таким образом, конкретная «диалектная картина мира» немцев, швейцарцев или австрийцев накладывается на их литературную картину мира, обогащая её и придавая ей неповторимую самобытность. «Диалектоносите́ль не только предпочтительно пользуется средствами определённых подсистем лексики и фразеологии, словообразовательными ресурсами, отличающимися по своему богатству и своеобразию от ресурсов общеупотребительного языка, он иначе «ословливает» окружающий мир, рисует иную картину бытия, чем носитель литературного языка, опираясь на возможности своего диалекта, и развивая, и обогащая их» [Закуткина 2001, 9].

Писатели, создающие свои произведения на диалекте, проявляющие себя незаурядными личностями, доказали, что диалектная литература не знает тематических границ. Носители диалекта, являющиеся творческими личностями, разрушают общепринятые нормы, внедряют диалект в непривычные сферы употребления, укрепляя тем самым престиж диалекта, благодаря чему происходит отрицание претензий на абсолютность литературных норм.

Подведём некоторые итоги. Диалект является коммуникативным и идентифицирующим медиумом в высокофункциональных основополагающих социальных институтах, таких как семья, родственники, церковная община. У диалектоносителя уровень некомуникативной внутренней речи (мышление, счёт, молитва) остаётся прерогативой диалекта.

Личность носителя диалекта обладает особым мировосприятием, мироощущением, мировидением и миропониманием, а родной диалект является неотъемлемой её частью. Будь носитель диалекта рекламодатель, журналист, учитель, учёный и т.д., он организует свой приватный, учебный и даже иногда научный дискурс таким образом, что его лояльное отношение к диалекту проявляется не только в терпимом к нему отношении, но в неосознанном, или даже вполне сознательном привлечении диалекта и в сферу своей профессиональной деятельности.

¹ Диалектное слово алеманнского происхождения означает блюдо из пшеничных хлопьев, орехов и сушёных (свежих) фруктов с молоком или йогуртом [Variantenwörterbuch des Deutschen 2004, 511].

Литература

Домашнев А.И., Копчук Л.Б. Типология сходств и различий языковых состояний и языковых ситуаций в странах немецкой речи. СПб: «Наука», 2001.

Загряжкина Т.Ю. Французская диалектология. М., 1995.

Закуткина Н.А. Феномен диалектной картины мира в немецкой философии языка XX века. Дис. ...канд.филол. наук.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.

Санхорова Г.Н. Социокультурный аспект регионального французского языка: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. СПб, 1992.

Семенюк Н.Н. Формирование литературных норм и типы кодифицированных процессов // Языковая норма. Типология нормализационных процессов. М., 1996.

Ammon U. Nachbemerung. Wird der Dialekt als Sprachbarriere wiederentdeckt? // Muttersprache, 1999, N1.

Cornelissen G. Rheinisches Deutsch. Wer spricht wie mit wem und warum. Köln: Greven Verlag, 2005.

Dialekt unter der Lupe. Wissenschaftler sehen die regionale Sprache im Aufwind // Schwarzwälder Boote, 2003. 5.03.

Dingeldein H.J. Dialekt als «Stigma», Dialekt als «Waffe». Zu einigen gesellschaftlichen Aspekten und zur Zukunft des Dialektsprechens // Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. Bd. 32. Kulturforschung. Neue Materialien und Berichte. Marburg: Jonas Verlag, 1977.

Eine lautlose Sprache // Lettermag young, 2003, Dezember 04/03. *Heckmann H.* Irgendwie? // Sprach-Störungen. Beiträge zur Sprachkritik. München; Wien: Carl Hauser Verlag, 1986.

Leopold H. Lion Feuchtwanger. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1967.

Ludwig J. Was für goldene Zeite // Mainzer Zeitung, 2004, Samstag, 19.Juni.

Polenz P. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd.III. XIX und XX Jahrhundert– Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1999.

Rühle G. Leben und Schreiben der Marieluise Fleisser aus Ingolstadt // Marieluise Fleisser. Gesammelte Werke. Erster Band. Dramen. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983.

Schönfeld H. Heimatsprache, Proletendeutsch, Ossi-Sprache oder Bewertung und Akzeptanz des Berlinischen? // Von «Buchzulage» und «Ossinach-

weis». Ost-West-Deutsch in der Diskussion. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, 1996. S.70-93.

Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Lichtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2004.

Раздел 3

Норма и варьирование: теория и реализация в языке

Е.Е. Анисимова

О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ НОРМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Важным направлением научной деятельности Н.Н. Семенюк стала разработка теории языковой нормы в отечественном языкознании. Целью настоящей статьи является проследить этапы развития понятия языковая норма в современной лингвистике.

Являясь центральным понятием науки о языке, языковая норма остаётся наиболее сложным и неоднозначно толкуемым языковедами феноменом, интерес к которому то ослабевает, то возрастает по мере накопления знаний о нём. В эволюции учения о языковой норме могут быть выделены четыре основных этапа, соответствующие разным подходам к этому понятию в лингвистике: функциональный подход, теоретически разработанный ещё в 30-ые годы XX века представителями Пражского лингвистического кружка во главе с Б. Гавранekom; системно-структурный подход, представленный в работах Э. Косериу и его последователей и получивший распространение в 50-60-е годы прошлого века; коммуникативно-деятельностный подход, связанный с возросшим в 70-е годы интересом к речевому поведению человека, развитием социолингвистики, теории коммуникации, психолингвистики; коммуникативно-дискурсивный подход, обусловленный сменой научной парадигмы в конце XX – начале XXI века, разрабатываемый в связи с понятиями дискурс, дискурсивная деятельность.

Пражские лингвисты и Э.Косериу рассматривали языковую норму как внутриязыковой феномен, данность функционирующего языка. Так, Б. Гавранек отмечал всеобъемлющий характер языковой нормы, охватывающий как речевую деятельность, так и продукт этой деятельности. Он писал: «Под языковой нормой я понимаю то, что, с одной стороны, обозначается как речевая деятельность (*energeia*), с другой стороны, как продукт этой деятельности (*ergon*), но в данном случае в плане обязательности – обязанности в сфере (*ergon*) для достижения наилучших результатов в сфере (*energeia*)» [Havranek 1964, 414]. Э.Косериу определял сущность языковой нормы, исходя из её соотношения с системой языка, как

систему обязательных реализаций, принятых в данном обществе и данной культурой [Косериу 1963]. Опираясь на функциональный и системно-структурный подходы, Н.Н. Семенюк трактует языковую норму как «совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций элементов языковой структуры, отобранных и закреплённых общественной языковой практикой» [Семенюк 1970, 555]. Выделяя в языковой норме две стороны – реализующую (объективную), определяющую материальную форму знака, и селективную (субъективную), связанную с отбором и распределением нормативных реализаций по разным сферам языка, Н.Н. Семенюк осуществила ряд фундаментальных исследований, посвящённых проблеме вариантности, формированию литературной нормы немецкого языка и его функционированию в историческом аспекте [Семенюк 1967, 1972, 1986, 1990, 1996, 2000 и др.].

Осознание двойственной природы языковой нормы, стремление объединить в данном понятии как его собственноязыковой, так и аксиологический аспект, традиционно разрабатываемый в стилистике и теории культуры речи [Костомаров 1966; Леонтьев 1966, 1969, 1974; Кожина 1977; Солганик 1986; Riesel 1975 и др.], привело к различению в лингвистике языковой нормы в широком и узком понимании [Филин 1976], реализуемой нормы как коррелята системы языка и нормы реализации, распределяющей возможности системы языка по конкретным речевым актам [Каспранский 1976; 1986]. Продуктивным в данном отношении стало выделение двух видов языковых норм – норм системы (*Systemnormen*) и норм употребления (*Gebrauchsnormen*), предложенное Д. Нериусом [Nerius 1980]. В то время как нормы системы абстрагированы от конкретных условий коммуникации, имеют всеобщий характер и достаточно высокую степень облигаторности, нормы употребления зависят от ситуации общения, отличаются вариабельностью и меньшей степенью вариативности.

Коммуникативно-деятельностный подход к языку, интенсивное развитие коммуникативной лингвистики, лингвистики текста дали новый импульс развитию теории языковой нормы. При данном подходе языковая норма предстаёт как коммуникативно-языковой феномен, объединяющий множество норм, отражающих единство и многообразие функционирующего языка [Анисимова 1988]. Научные исследования на этом этапе велись как в плане изучения частных языковых норм, так и разработки типологии языковых и неязыковых норм, выявления их системных связей. Небезынтересным в данном отношении представляется широкое понимание грамматической нормы, предлагаемое Н.В.Пестовой. Грамматическая норма, согласно концепции автора, выступает в своём единстве и множественности, в своих вариантах, регламентирующих не только

формообразование и семантику грамматических форм и конструкций, но и их употребление в разных сферах коммуникации, разных типах текста [Пестова 1986]. В связи с признанием текста основной единицей коммуникации особое внимание языковедов привлекли текстовые нормы, нормы типов текста, получившие в лингвистической литературе различное толкование. По мнению одних лингвистов, текстовые нормы регламентируют способ выражения, присущий той или иной функциональной разновидности языка, тому или иному типу текста [Хованская 1984]. По мнению других, текстовые нормы определяют содержательно-композиционную структуру текста/типа текста [Пеньковский, Шварцкопф 1981], а также такие текстообразующие признаки, как внутренняя связность, модальность, пресуппозиция и т.д. [Пешкова 1990]. В ряде исследований норма рассматривается как имманентное свойство, данность текстового типа. Так, Е. Верлих трактует тип текста как идеальнотипическую норму конституирования текста, определяемую матрицей релевантных (прототипических) признаков содержательного и языкового плана [Wehrlich 1975]. Более широкое понимание нормы типа текста встречается у языковедов, пытающихся раскрыть сущность данного понятия в связи с процессом коммуникации. Так, по мнению К. Эрмерта, тип текста представляет собой исторически сложившуюся «конвенционализированную, нормирующую модель речевого действия», знание которой необходимо для осуществления коммуникативной интеракции [Ermert 1979, 41]. Двойственная природа нормы типа текста как текстовой категории и категории речевой деятельности отмечается Р. Марченко. Тип текста в толковании исследователя является результатом действия одной из коммуникативных норм в определённой сфере общения. Данная норма выступает регулятором тексто- и типообразования и реализуется в виде текстовой нормы [Марченко 1983].

Возросший интерес в лингвистике к речевому общению как разновидности социального взаимодействия обусловил отнесение языковых норм к социальным нормам, регулирующим экспектации коммуникантов [Шибутани 1969], дал импульс к разработке типологии норм, охватывающих как вербальную, так и невербальную сторону коммуникативного поведения. Приведём лишь некоторые из наиболее известных классификаций норм. В классификации К. Глойя, опирающейся на языковые компоненты акта коммуникации, выделяются две группы норм: нормы средств языка и нормы употребления [Gloy 1975]. К первой группе относятся семантические, грамматические, фонетические, орфографические нормы. Вторая группа норм представлена нормами устной и письменной речи, стилистическими нормами, а также нормой речевого действия (Sprachhandlungsnorm). Последняя образует конгломерат из всех назван-

ных норм, она определяет тип речевого действия в коммуникации и регулирует выбор языковых средств для его реализации. На более широкой базе строится классификация норм Б. Гартунга, включающая как языковые, так и неязыковые компоненты акта коммуникации [Hartung 1975]. Учёный вводит понятие «коммуникативно-языковые нормы» (sprachlich-kommunikative Normen), под которыми понимаются «мыслительные установления» (gedankliche Festsetzungen), регулирующие коммуникативную деятельность людей. Данные нормы включают две группы норм: нормы, непосредственно соотносящиеся с речевым произведением (к ним относятся грамматико-семантические нормы и ситуативные нормы (situative Normen)), и нормы, регулирующие условия общения (Normen zur Regelung der Rahmenbedingungen). По мнению исследователя, семанτικο-грамматические нормы и ситуативные нормы противопоставлены друг другу как «нормы правильности» «нормам уместности». При этом ситуативные нормы и диапазон их действия определяются в самом общем виде: начиная от выбора языковых средств, способа их реализации (по признаку устной или письменной формы), использования паралингвистических средств и кончая такими качествами речевого произведения как понятность, деловитость, аргументированность и т.д. Классификация норм А. Едлички соотносится с формами существования языка, а также детализируется применительно к характеристикам текста. Автор различает три типа норм: формационные, коммуникативные и стилистические [Едличка 1988]. К формационным нормам относятся нормы форм существования языка (формаций) – литературного языка, обиходно-разговорного языка, диалекта, данные нормы имеют языковой характер, внутри каждой выделяются нормы соответствующих языковых уровней. Коммуникативные нормы, в свою очередь, имеют как языковой, так и неязыковой характер и связаны с ситуативным фактором. Одним из проявлений этих норм является способ дистрибуции форм существования языка (в том числе их смешение) в разных коммуникативных сферах и ситуациях. Широко толкуются учёным стилистические нормы: они охватывают не только языковые, но и тематические, собственно текстовые и тектонические компоненты речевого произведения. Оригинальной по замыслу, максимально приближенной к конкретным условиям общения представляется классификация Р.Барч [Bartsch 1985], разработанная автором с позиции участия норм в достижении эффективности акта коммуникации. В классификации выделяется два основных вида норм: 1) нормы, определяющие субстанцию и форму средств коммуникации (фонетические, морфологические, синтаксические, графические нормы, нормы использования средств жестикуляции); 2) нормы, регулирующие употребление и интерпретацию средств коммуникации (семантические, праг-

матические, стилистические нормы). В качестве высшей нормы над данными видами норм признаётся коммуникативная норма, обеспечивающая взаимопонимание коммуникантов и существующая в двух своих проявлениях: как коммуникативная норма для адресанта и адресата. Коммуникативная норма для адресанта означает, что производимое им высказывание должно быть не только понято, но и правильно интерпретировано получателем речи. В свою очередь, коммуникативная норма для адресата означает, что его интерпретация речевого высказывания должна максимально соответствовать замыслу адресанта. При этом нарушение двух ранее названных норм (1, 2) допускается коммуникативной нормой, если оно не мешает адекватному восприятию информации, реализации коммуникативного намерения говорящего/пишущего. Между тем соблюдение этих норм не всегда гарантирует достижение высшей коммуникативной нормы.

Разработанные классификации свидетельствуют о стремлении лингвистов исследовать языковую норму во всей полноте явлений, связанных с речевой коммуникацией, вместе с тем излишнее увлечение поведенческим аспектом данного феномена привело в значительной мере к игнорированию его языковой сущности, стиранию границ между языковыми и неязыковыми нормами, что стало предметом острой дискуссии, развернувшейся в 80-х годах прошлого века. Значительный интерес в данном отношении представляет статья Б.Гартунга «Языковые нормы и/или коммуникативные нормы?» («Sprachnormen und/oder kommunikative Normen»), попытавшегося провести более чёткую грань между обоими видами норм [Hartung 1984]. Согласно автору, в основе речевой деятельности как организованного коммуникативного процесса заложено по крайней мере четыре основных требования, имеющих всеобщий характер:

1. Мыслительное содержание общения должно быть вербализовано в соответствии с конвенциями, коллективными представлениями о правильности языкового выражения.

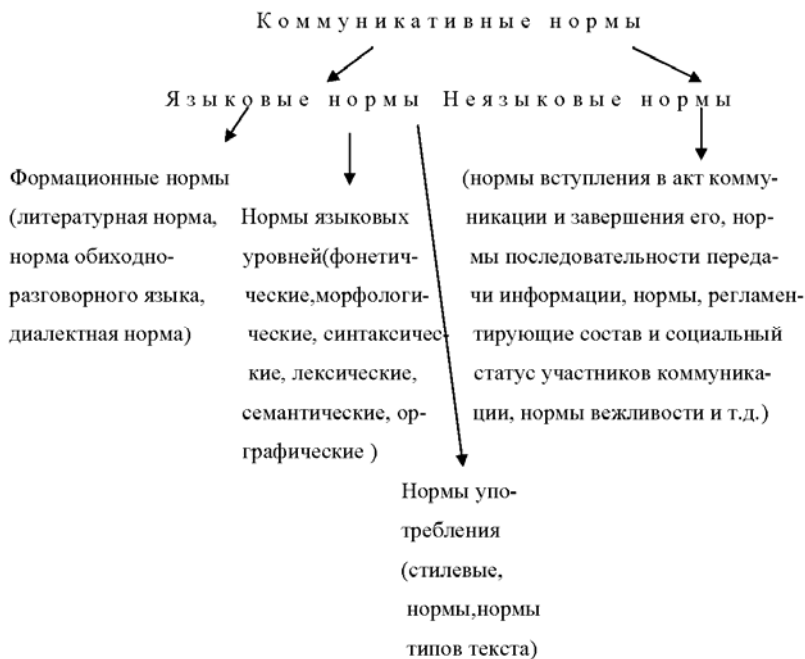
2. Подобные вербализации должны соответствовать задачам коммуникации. В каждой ситуации следует говорить о том, о чём принято говорить в данной ситуации;

3. Наряду с общими ограничениями, накладываемыми на речевое поведение коммуникантов объективным характером решаемых задач, необходимо учитывать коллективные представления относительно преимущественных способов реализации данных задач в соответствующих коммуникативных условиях.

4. Следует принимать во внимание социальные отношения, существующие между коммуникантами в данном социальном коллективе, а также вытекающие из этого последствия.

В то время как первому требованию соответствуют языковые нормы, требования (2, 3, 4) осуществляются посредством особой группы коммуникативных норм или метанорм. Так, например, применительно к научной дискуссии они регулируют ход дискуссии, построение дискуссионного выступления, способы вступления в дискуссию, выражение согласия или несогласия с мнением оппонента, завершение дискуссии и т.д.

В целом принимая данную точку зрения, необходимым представляется уточнение понятия «коммуникативная норма». Так, являясь правилом знакового поведения людей в коммуникативных ситуациях [Соковнин 1974], коммуникативная норма вполне может рассматриваться как родовое понятие по отношению как к неязыковым, так и языковым нормам. В большей детализации нуждается, на наш взгляд, рассмотрение языковых норм. Обобщая существующие классификации и признавая тот факт, что установление и описание коммуникативных норм является сложной и ещё не до конца решённой задачей [Стернин 2000], попытаемся схематично представить нормы, относимые языковедами к основным, регулирующим речевое поведение коммуникантов:



Коммуникативно-дискурсивное направление лингвистических исследований, интенсивно разрабатываемое в конце XX – начале XXI века, потребовало осмысления понятия норма применительно к дискурсу. Как известно, дискурс относится к наиболее сложным и неоднозначно толкуемым понятиям в современной лингвистике [Макаров 2003], поэтому в дальнейшем при его употреблении мы будем придерживаться мнения лингвистов, рассматривающих дискурс широко как речевую деятельность. Так, В.В. Красных пишет: «Дискурс есть вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими планами» [Красных 2003, 113]. Дискурс предстаёт как сложное коммуникативное единство, включающее как процесс порождения и восприятия речевого произведения, так и его продукт, объективируемый в тексте. По отношению к дискурсу норма выступает как коммуникативно-прагматическая норма, представляющая собой сложный, многомерный коммуникативный феномен, проявляющий себя как в конструктивном, так и функциональном планах, обладающий языковой и неязыковой природой. В процессуальном плане под коммуникативно-прагматической нормой мы понимаем правила отбора вербальных/невербальных средств и построения дискурса в типовых ситуациях общения для достижения оптимального прагматического воздействия на адресата. В статике коммуникативно-прагматическая норма выступает как текстовая норма/норма типа текста. Как комплексное понятие коммуникативно-прагматическая норма реализуется в разных аспектах, к ним относятся: 1) внешний аспект; 2) внутренний аспект; 3) интерактивный аспект; 4) культурно-исторический аспект; 5) межкультурный аспект.

1) Во внешнем аспекте проявляется связь коммуникативно-прагматической нормы с типовыми условиями общения. Норма охватывает и регламентирует основные параметры общения: тип ситуации, характер адресанта/адресата, форму контакта между коммуникантами, интенцию, предмет общения и др., образующие экстралингвистическую основу речевого произведения.

2) Во внутреннем аспекте проявляется связь коммуникативно-прагматической нормы с организацией речевого произведения/текста в типовых условиях общения. Норма в значительной степени регламентирует содержательную сторону дискурса (тип передаваемой информации, его тематику, количество сообщаемой информации, её обязательность и устранимость, последовательность её передачи и т.д.), композицию, используемые коммуникативно-речевые формы, отбор языковых средств. По отношению к невербальным средствам (изображению, цвету, шрифту

и др.) коммуникативно-прагматические нормы накладывают определённые ограничения на их использование в разных типах дискурса [Анисимова 2003].

3) В интерактивном аспекте проявляется связь коммуникативно-прагматической нормы с поведением коммуникантов. Выработываясь в процессе социального взаимодействия людей, коммуникативно-прагматические нормы отражают и фиксируют стереотипы производства и восприятия речи в типовых условиях общения, которые получают социальное признание и закрепляются в сознании коммуникантов как правила построения дискурса, а также представления относительно его правильности, уместности и эффективности в данной ситуации коммуникации.

4) В культурно-историческом плане проявляется связь коммуникативно-прагматической нормы с исторической, социальной жизнью общества, его культурой, традициями, мировоззренческими, идеологическими позициями коммуникантов и т.д.

5) В межкультурном аспекте проявляется связь коммуникативно-прагматической нормы с этнокультурным фактором. В коммуникативно-прагматических нормах отражается общее и специфическое в построении дискурса в типовых условиях у представителей разных национальных коллективов.

Все аспекты коммуникативно-прагматической нормы взаимообусловлены и взаимосвязаны друг с другом, обеспечивая единство и целостность данного понятия, позволяя ему выступать в качестве одного из важнейших регуляторов дискурсивной деятельности, факторов обеспечения её эффективности и результативности. В настоящее время перспективным представляется изучение коммуникативно-прагматических норм и их частных реализаций в различных типах дискурса, определение их места и роли в системе коммуникативных норм.

Литература

Анисимова Е.Е. Коммуникативно-прагматические нормы // Филологические науки, 1988, № 6.

Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных языков). М., 2003.

Едличка А. Литературный язык в современной коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. Теория литературного языка в работах учёных ЧССР. Вып. 20. М., 1988.

Каспранский Р.Р. Место теории реализации в лингвистике // Нормы реализации языковых средств: Межвуз. сб. научн. трудов. Горький, 1976.

Каспранский Р.Р. Проблемы нормы и нормативности в языкознании // Проблемы нормы и вариативности в реализации высказывания: Межвуз. сб. научн. трудов. Горький, 1986.

Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1977.

Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 3. М., 1963.

Костомаров В.Г., Леонтьев А.А. Некоторые теоретические вопросы культуры речи // Вопросы языкознания, 1966. № 5.

Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003.

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.

Леонтьев А.А. Речевая деятельность // Основы теории речевой деятельности. М., 1974.

Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003.

Марченко Э.Р. Тип текста как коммуникативная норма (на материале немецкой рабочей песни). АКД. М., 1983.

Пеньковский А.Б., Шварцкопф Б.С. О трёх типах текста-образца // Аспекты изучения текста: Сб. научн. трудов. М., 1981.

Пестова Н.В. Множественность грамматической нормы в современном немецком языке. АКД. М., 1985.

Пешкова Н.П. Тип текста и языковая норма // Нормы человеческого общения: Тезисы докладов межвуз. научн. конференции. Горький, 1990.

Семенюк Н.Н. Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия. М., 1967.

Семенюк Н.Н. Норма // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.

Семенюк Н.Н. Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка. М., 1972.

Семенюк Н.Н. Норма и разные типы дифференциации языка // Общелитературный язык и функциональные стили: Сб. научн. трудов. Вильнюс, 1986.

Семенюк Н.Н. Норма языковая // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Семенюк Н.Н. Формирование литературных норм и типы кодификационных процессов // Языковая норма. Типологизация нормализационных процессов. М., 1996.

Семенюк Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.

Соковнин В.М. О природе человеческого общения. Фрунзе, 1974.

Солганик Г.Я. Общелитературная и функционально-стилевая норма // Общелитературный язык и функциональные стили: Сб. научн. трудов. Вильнюс, 1986.

Стернин И.А. Коммуникативное поведение. Модели описания коммуникативного поведения. Воронеж, 2000.

Филин Ф.П. О языковой норме // Проблема нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976.

Хованская З.И. Стилистика французского языка. М., 1984.

Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.

Bartsch R. Sprachnormen: Theorie und Praxis. Tübingen, 1985.

Ermert K. Briefsorten: Untersuchungen zu Theorie und Empire der Klassifikatoren. Tübingen, 1979.

Gloy K. Sprachnormen I : Linguistische und soziologische Analysen. Bad Cannstatt, 1975.

Hartung W. Zum Inhalt des Normbegriffs in der Linguistik // Normen in der sprachlichen Kommunikation. Berlin, 1975.

Hartung W. Sprachnormen und/oder kommunikative Normen. Deutsch als Fremdsprache, 1984, Jg.21, № 5.

Havranek B. Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur // A Prague school in linguistics. Bloomington, 1964.

Nerius D. Zur Bestimmung der sprachlichen Norm // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1980, Bd.33, № 3.

Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. М., 1975.

Wehrlich E. Typologie der Texte: Entwicklung eines textlinguistischen Textmodells zur Grundlegung einer Textgrammatik. Heidelberg, 1975.

Л.И. Гришаева

О НОМИНАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ И ИХ ВАРЬИРОВАНИИ

Идея вариативности является одной из наиболее продуктивных и фундаментальных языковедческих идей. Значительный вклад в развитие теории вариативности, позволяющей описать закономерности языкового варьирования, функционально-стилистической дифференциации языка и типологии языковых изменений с основополагающими категориями (языковая норма, языковой вариант и др.), гармонично сочетая синхронный и диахронический ракурсы описания языковой системы в целом и отдельных его подсистем, вносят труды Н.Н. Семенюк. В своих исследованиях Н.Н. Семенюк последовательно учитывает интралингвальные и экстралингвальные контексты при описании того, каким образом и для достижения каких целей коммуниканты прибегают к тем или иным языковым средствам, рассматривая употребление их как одну из потенциальных возможностей, зафиксированную в определенном тексте как малом «фрагменте» языковой реальности. Особое внимание Н.Н. Семенюк

уделяет семантике языковых единиц, справедливо полагая, что изучение содержательных аспектов коммуникации не утрачивает своей актуальности при описании различных стадий развития языка как феномена и каждого отдельного языка как вербального кода в определенном лингвокультурном сообществе.

Такой подход, несомненно, продуктивен и перспективен при описании мотивов выбора человеком одного из многочисленных потенциально возможных языковых средств для реализации своей конкретной интенции в актуальных для него коммуникативных условиях.

Решение соответствующей задачи требует, бесспорно, многих усилий и тщательного многоаспектного анализа эмпирического материала, отобранного по ряду критериев. Это связано с тем, что именуется различные элементы внеязыковой действительности: лица, предметы, отношения, признаки, процессы, состояния, элементарные ситуации (=положения дел), более или менее сложно организованные фрагменты внеязыковой действительности, включающие несколько причинно или случайно взаимосвязанных элементарных ситуаций. Для обозначения каждого из элементов реальности язык располагает значительным количеством изофункциональных средств, представляющих собой результат развития и формирования языка, «способного удовлетворить растущие коммуникативные и культурные потребности общества, т.е. выполнить те усложняющиеся прагматические и эстетические задачи, которые перед этим обществом стояли» [Семенюк 1984, 231].

Акт номинации – это не только информационный, но и, без сомнения, одновременно многоступенчатый интерпретативный акт: человек выбирает, какая информация в данный момент ему представляется наиболее значимой для сообщения; он каждым актом своего выбора в пользу того или иного номинативного средства решает, каким образом он **хочет, может, имеет право и будет** воздействовать на своего партнера, чтобы достичь желаемого результата. Естественной основой для этого являются фундаментальные феноменологические свойства восприятия: селективность, субъективность, аффективность, телеологичность, контекстная обусловленность, – которые обуславливают, что один и тот же фрагмент действительности в реальной коммуникации предстает с различных сторон и даже может восприниматься как нетождественный самому себе, ср.: *Хочешь чаю? ≠ Чайку? ≠ А не попить ли нам чаю? ≠ Вам чаю или кофе? ≠ Чай с лимоном или без? ≠ Разрешите предложить Вам чашечку чая. ≠ Чай – лучшее средство от жажды. ≠ В Японии я привык пить чай. ≠ Чай – лучшее лекарство от усталости. ≠ Бальзак в таких случаях пил чай.* и т.д.

Таким образом, очевидно, что акт номинации каждый раз погружен в сложно организованные пространственно-временной, деятельностный и дискурсивный континуумы, которые в значительной мере предопределяют выбор коммуникантом того или иного языкового средства. Однако выбирает коммуникант из некоторого набора средств, который имеется в лингвокультурном сообществе на определенном этапе его развития, и свой выбор каждый из коммуникантов направляет согласно некоторым конвенциональным образцам, освоенным ими в процессе инкультурации и развития своих коммуникативных и ономаσιологических навыков и умений. Подобные образцы можно назвать номинативными и дискурсивными стратегиями [Гришаева 1998, 1999; Гришаева, Цурикова 2003, 20-21, 232-233].

Номинативные стратегии – это наличествующие в лингвокультуре известные (всем) носителям языка планы реализации ономаσιологической деятельности. Их существование проявляется в наличии свойственной конкретной лингвокультуре совокупности способов именования отдельных элементов внеязыковой действительности: предметов, субъектов, живых существ, признаков, качеств, процессов, состояний, действий, ситуаций и т.д. Наличие такого рода совокупности номинативных средств обеспечивает коммуниканту возможность выбора одного из многих изофункциональных средств, адекватных и максимально оптимальных, с точки зрения адресанта, актуальным дискурсивным условиям [Гришаева 1998].

В разных лингвокультурных сообществах складываются свои способы именовать различные элементы внеязыковой реальности, и представители разных культур выбирают разные точки зрения на номинируемую ситуацию. В связи с тем, что такого рода решения и ситуация выбора коммуникантами, как правило, не осознается – за исключением, пожалуй, ситуаций «поиск нужного слова/выражения для экспликации мысли», – а усваиваются по мере развития коммуникативных навыков и умений, носители языка не могут назвать основания для своих предпочтений, однако ясно осознают отклонения от известных им конвенций, ср. фразы типа *Так сказать можно, но не принято. Понятно, но лучше сказать по-другому.*

Анализируя языковые факты такого рода, В.М. Савицкий и О.А. Кулаева обосновывают ими свою концепцию лингвистического континуума, приводя примеры устойчивости в речи ряда фраз. По их мнению, словосочетания и высказывания могут и не обладать системно-языковой устойчивостью: «Однако их нельзя назвать полностью неустойчивыми (переменными). Система английского языка не препятствует конструированию сочетаний *to take books from a library* или *to put a stopping on some-*

body's tooth, а система русского языка допускает построение словосочетаний *заимствовать книги в библиотеке* или *заполнять дуло зуба*. Тем не менее, такие словосочетания в речи, как правило, не возникают; вместо них используются стереотипные формулировки, рекомендованные нормой речи» [Савицкий, Кулаева 2004, 34-38].

Отдельные средства обозначения любого из элементов внеязыковой действительности функционируют и не существуют полностью автономно; коммуникант использует их для реализации своей интенции, аранжируя их тем или иным образом, чтобы обеспечить успех интеракции с партнером. Наличие выбора одной из многих возможностей специфической культурно обусловленной аранжировки средств именовании отдельных элементов внеязыковой действительности (разнообразных предметов, разнородных субъектов, качеств, отношений, признаков, процессов, ситуаций и т.д.), свидетельствует о существовании дискурсивных стратегий [Гришаева 2001; Гришаева, Цурикова 2003; Цурикова 2002].

Примерами существования в дискурсивной деятельности коммуникантов определенных дискурсивных стратегий могут послужить «классические» случаи того, как – коммуникативно неадекватно – реагируют представители русской культуры на английское приветствие *Как дела?*: начинают рассказывать, как обстоят дела на самом деле (обыграно юмористами многократно), или отвечают *Нормально, Ничего, Так себе*. Или же стереотипные суждения представителей других культур о том, что русские якобы невежливы, основывающиеся на таком использовании неродного языка, при котором русские выбирают в качестве средства выражения просьбы императивные предложения – следуя конвенциям своей культуры. Такое положение дел основывается на том, что «язык как важнейший признак человека, несмотря на свою уникальность, является частью культуры и во многих отношениях зависит от последней», поскольку «язык – особенно в его когнитивно-понятийной сфере, в его семантике, – выступает и как одно из важнейших средств фиксации культуры, как способ передачи ее последующим поколениям в составе комплексной лингвокультурной традиции» [Семенюк 1994, 55-56].

Трактовка разнотипных языковых средств с различными лексико-семантическими, словообразовательными, формально-грамматическими свойствами, а также синтаксическими и семантико-функциональными потенциями как изофункциональных [Абрамов 1985] предоставляет исследователю возможность изучать все эти средства на единых теоретических основаниях. Представляется, что первичным средством именовании внеязыковой реальности, если подходить к анализу языковых средств, выполняющих одну и ту же функцию, с онтологической точки зрения, являются обозначения ситуаций.

Основанием для подобной интерпретации является то непреложное обстоятельство, что познанные человеком сведения складываются в различные содержательные комплексы, возникающие в силу разных причин. Б.А. Абрамов подчеркивает: «Наша познавательная-мыслительная и коммуникативная деятельность позволяет предположить, что в нашем сознании существуют семантические образования, своего рода семантические модели, с помощью которых континуум действительности, реальной или фиктивной, т.е. созданной нашим воображением, членится на типизированные элементарные фрагменты, или кадры» [Абрамов 2002, 134].

Следовательно, отдельные лексемы, как они представлены, к примеру, в словарях и как они приводятся в качестве иллюстрации номинативной функции языка и его знаковой природы, – это результат абстрагирующей деятельности человека, который, отвлекаясь от формальных различий и синтаксических функций лексемы, усматривает семантическое тождество и/или родство между отдельными средствами. Ведь по существу единица *стол* представляет собой нечто иное, как инвариант от множества различных форм коммуникативных единиц, в том числе таких, как (*Это будет*) *Стол. Стол? Стол! (Книга лежит) На столе. Под столом.* и т.д. Другими словами, подобные единицы – это только одна из многих потенциально возможных форм предложения как одного из многочисленных способов реализации (семантической и синтаксической) модели предложения, в основе которого лежит пропозиция, отражающая в качестве результата познания константные отношения между функтором и аргументами.

Как и любой иной элемент внеязыковой действительности, элементарные ситуации могут именоваться также по-разному: первичный способ – финитная конструкция различной структуры, вторичные – группы слов разной структуры: субстантивные, адъективные, партиципальные, инфинитивные, а также для некоторых языков и композиты с разнообразной словообразовательной структурой, ср. *Er verhält sich diszipliniert – sein diszipliniertes Verhalten – sich diszipliniert verhaltend – (um) sich diszipliniert (zu) verhalten – sich diszipliniert verhaltender (Junge) – seine disziplinierte Verhaltensweise* и т.д.

Такое номинативное богатство дано человеку для того, чтобы варьировать взгляд на номинируемый фрагмент внеязыковой реальности, оно отражает различия при профилировании информации о воспринимаемой действительности, т.е. для маркирования когнитивных фона и фигуры, для выдвижения в коммуникативный фокус некоторых сведений, представляющихся субъекту восприятия в актуальном акте познания и коммуникации наиболее значимыми. Для профилирования сведений о мире язык располагает различными механизмами вербализации: лексико-

семантическими, словообразовательными, формально-грамматическими, морфологическими, синтаксическими, текстограмматическими (см. подробнее [Гришаева 2001, 34-36]).

Представляется, что набор и номинативных, и дискурсивных стратегий сам по себе может быть для различных культур одинаковым, но внутренняя конфигурация составляющих их компонентов и механизмов вербализации, их системная организация в пределах комплекса названных стратегий, вне всякого сомнения, культурно специфичны. Это доказывается, к примеру, явным различием в способах организации в разных культурах текстов одного и того же типа, порожденных в сопоставимых дискурсивных условиях, ср. способы оформления официального/частного письма в русской и немецкой, английской, французской культурах, организацию коммуникативных событий (приветствие, выражение благодарности, угощение, приглашение на обед и т.д.) одного типа в разных культурах.

Изложенные соображения правомерно верифицировать сопоставлением различных способов именования одного и того же кадра внеязыковой действительности, поскольку «задача выявления <...> функциональных расхождений, безусловно, мало реальна для всей совокупности исторических изменений языка. Но она вполне может быть избирательно реализована в конкретных исследованиях» [Семенюк 2000, 166].

В качестве эмпирии были избраны средства именования деятельности человека. Причин тому несколько: (1) деятельность – одна из ипостасей человека, его неотъемлемая характеристика как субъекта, а его бытие в социуме и мире является ничем иным, как деятельностным континуумом; (2) язык как феномен антропоцентричен и антропоморфен, подавляющее большинство языковых средств относятся к антропосфере, более чем 90% глагольной лексики, обозначающей различные действия, состояния, процессы, являются глаголами антропосферы [Абрамов 1969, 12], т.е. глаголами, позицию синтаксического субъекта при которых замещают разнородные обозначения человека.

На основании критерия изофункциональности были изучены различные способы именования поведения/деятельности человека, а также принципы варьирования соответствующих номинативных средств в разных дискурсивных условиях. При этом принимались во внимание семантико-структурные, референциальные, функциональные и когнитивные особенности анализируемых единиц, и были выявлены семь подгрупп средств, изофункциональных глаголам поведения [Гришаева 1999, 57-59, 64]. Установлено, что объектом номинации предложений с глаголами поведения типа *sich verhalten*, *sich betragen*, *sich benehmen*, *sich aufführen*, *sich gebärden* etc. являлись одно действие/совокупность действий конкретного субъекта/генерализация от совокупности действий для конкрет-

ного субъекта поведения в определенных условиях/совокупность действий как таковая для некоторого социального типа, что в значительной мере обуславливало ономаσιологический потенциал изучаемых единиц.

Специальный анализ позволил выявить 15 типов стратегий при именовании деятельности человека только предложениями с широкозначными дейктическими глаголами поведения и изофункциональными им средствами [Гришаева 1999, 239-246]. Например, тип 1: отглагольное существительное и предложение с глаголом поведения именуют различные совокупности действий; причем первые – разные совокупности действий одного и того же субъекта, а последнее – совокупность действий другого субъекта; тип 6: разные совокупности действий именуются предложением с глаголом поведения, отглагольным существительными, не являющимися номинализацией глагольного предложения, аналитической глагольно-именной конструкцией; тип 15: разные совокупности действий именуются предложением с глаголом поведения и его номинализацией, причем отглагольное существительное образовано от другого глагола поведения:

Тип 1: *Handeln* (1), *Verhalten* (2) – *sich gebärden* (3)

...*Mit dieser Pointe ging sein listig überlegtes Handeln zu Ende. Die Explosion war ziemlich hart verpufft. Aber es war doch immerhin eine gewesen. Was nun folgen würde, das musste sich für Hagedorn wie eh und je wieder aus dem Verhalten der anderen ergeben. Der Stierschädel des Maulhackers war rot angelaufen. Der Mann gebärdete sich, als suche er den Teppich zum Hineinbeißen. Aber er brüllte nicht, und auch der Flaumbart brüllt nicht. Der Flaumbart kümmerte sich um Döppe, der stöhnend aus seiner Betäubung erwachte...* (N.W. Schulz. Wir sind nicht Staub im Wind, S. 391).

Тип 6: *sich verhalten* (1) – *Verhalten* (2), *Verhalten* (2) – *Verhalten zeigen* (3)

...*Die Eltern wollen praktisch, dass sich das Kind wie ein erwachsener verhält, überfordern damit das Kind, sind ungeduldig und bestrafen das Kind für vermeintlich “ungezogenes Verhalten”, also Verhalten, das die Eltern vom Kind erwarten, das es aber auf Grund seines Entwicklungsstandes noch nicht zeigen kann.* (U. Füllgrabe, Kriminalpsychologie, S. 124)

Тип 15: *sich verhalten* (1) – *Gebaren* (1)

...*Vom einfachen Soldaten verlagten wir den letzten Einsatz, und wie verhielt sich ein aktiver Offizier und Regimentskommandeur? Er meldete sich krank, obwohl ihm in den letzten Wochen nichts anzumerken gewesen war. Mir schien das Gebaren meines alten Kameraden als Drückebergerei.* (W. Adam. Der schwere Entschluss, S. 188-189)

Очевидно, что подобный характер использования изофункциональных средств вербализации сведений из одной и той же понятийной сферы может свидетельствовать о, по крайней мере, двух вещах. Во-первых,

адресанту подобные единицы представляются нетождественными и отличающимися, прежде всего, референцией к объекту оценки. Во-вторых, возможность варьирования номинативными способами позволяет адресанту активизировать и тематизировать все более разнообразные сведения, относящиеся к одной и той же понятийной сфере. С точки зрения организации текста, многообразие изофункциональных средств именования совокупности действий человека помогает в развитии коммуникативной перспективы. Так, номинализация предложения с глаголом поведения позволяет тематизировать сведения о совокупности действий как таковой, а использования аналитической глагольно-именной конструкции изучаемой семантики – о вариативности поведения любого субъекта. Кроме того, одновременное функционирование в одном и том же сверхфразовом единстве двух или более глаголов поведения (а также изофункциональных им средств) дает возможности сопоставлять на основании оценки две или более совокупности действий одного или нескольких субъектов, даже если эти действия разведены во времени, см. примеры выше.

Изучение того, как некий фрагмент деятельностного континуума может именоваться в различных условиях, позволяет убедиться, насколько многофакторным является, в конечном итоге, выбор одного языкового средства именования деятельности человека из комплекса изофункциональных. Средства именования одного и того кадра внеязыковой реальности – в анализируемом случае фрагмента деятельностного континуума – могут отличаться друг от друга семантической структурой соответствующих лексических единиц, их синтаксическими характеристиками, а также своими формально-грамматическими и референциальными свойствами, которые и служат основой как для функционального потенциала соответствующих средств, так и для перлокутивного эффекта от их использования в соответствующих дискурсивных условиях. Их сопоставление на единой теоретической основе как входящими в некоторым образом организованный ономаσιологический комплекс позволяет частично выявить закономерную зависимость выбора адресантом средства именования деятельности (см. таблицу 1).

Условные обозначения: + как правило, да; – как правило, нет; (+) скорее, да; (–) скорее, нет; «» несущественно для анализа. Цифрами маркируются различные способы именования деятельности человека в одной и той же ситуации: 1. *Er benimmt sich gut.* 2. *Sein Verhalten ist gut.* 3. *Er ist artig.* 4. *Er zeigt ein gutes Verhalten.* 5. *Er zeigt Würde.* 6. *Er ist ein Anstandswauwau.* 7. *Er blödet.* 8. *Er moralisiert.* 9. *Er schreibt.* Возможности именования кадра внеязыковой действительности при этом, очевидно, не исчерпаны.

Таким образом, очевидно, что для коммуникантов изофункциональные средства не представляются тождественными, и они выбирают номинативные средства в соответствии с тем, как они воспринимают действительность: глобально, нерасчлененно, синтетично или же аналитично, расчленно, «покадрово». Важно подчеркнуть, что в первом случае фрагмент внеязыковой действительности, представляющий собой некоторый комплекс или сумму «кадров», именуется **одной** номинативной единицей=предложением; во втором случае количество номинативных средств=предложений соответствует количеству «кадров», как их воспринимает/интерпретирует субъект познания и коммуникации.

При глобальной номинативной стратегии коммуникант предпочитает единицы широкой семантики, в том числе и предложения с глаголами поведения (*Er benimmt sich wie Weihnachten*) вместо последовательного обозначения составляющих фрагмент кадров внеязыковой действительности (*Er hat uns alle beschenkt: der alten Omi hat er einen warmen Pulli gebracht, seiner Tochter einen neuen Computer und seiner Frau einen schicken Designerring* vgl: *Er hat sich wie Weihnachten benommen* как содержательный эквивалент всему комплексу номинативных средств).

Возможность отразить с помощью языка различия во взгляде на номинируемый фрагмент внеязыковой действительности (или на одну ситуацию) позволяет мыслить в определенный временной промежуток весь деятельностный континуум то как нерасчлененное единство, то как единый комплекс, то как расчлененное единство, то как один из аспектов/видов деятельности одного субъекта, то как одно из действий по выполнению какой-либо деятельности, то как совокупность или последовательность операций по осуществлению некоторого действия. Благодаря этому адресант может в **одной** коммуникативной единице дать **одну** социально значимую оценку **различным** – нередко противоположным – **совокупностям** действий различных субъектов поведения или даже одного и того же субъекта, ср.: *Поведение Маши и Пети в школе было сегодня образцовым* – ср.: *Поведение Маши было образцовым, Поведение Пети было образцовым* независимо от того, какие действия, сколько и в какой последовательности они выполняли в отличие от *Маши рисует хорошо, Петя рисует хорошо*, когда оценка относится только к конкретному виду деятельности, а не к их совокупности.

Анализ причин предпочтения адресантом одного из возможных изофункциональных средств при вербализации сведений из одной и той же понятийной сферы осложняется двумя комплексами проблем. Первый вытекает из сложного, нередко противоречивого, взаимодействия языковых и неязыковых факторов, а также из взаимодействия реального мира и

его рефлекса в концептуальной и языковой картине мира. Второй комплекс проблем связан, с одной стороны, с избытием разнородных изофункциональных средств при именовании деятельности человека и, с другой стороны, с вероятной конкуренцией с ними их контекстуальных синонимов.

Стремление принять во внимание обозначенные проблемы позволяет выделить применительно к совокупности способов именовать деятельность человека специально следующие номинативные стратегии (см. таблицу 2) [Гришаева 1999, 252], использование которых обеспечивается различными механизмами вербализации сведений. Так, при именовании совокупности действий одного субъекта поведения задействованы в том числе и синтаксические механизмы: замещение обстоятельственной позиции при широкозначном, дейктичном глаголе поведения единицами оценочной семантики, ср.: *Er benimmt sich musterhaft/gut/klug; wie toll/verrückt; immer weiser/angemessen; wie ein Elefant im Porzellanladen* etc. (лексико-семантические механизмы: отсутствие в семантической структуре лексемы оценочной семы, наличие семы «произвольная в качественном и количественном отношении совокупность действий одного субъекта»). При стремлении оценить совокупность действий, константную по некоторому признаку, задействованы, прежде всего, лексико-семантические механизмы вербализации сведений – глагол, конституирующий соответствующее предложение, имеет в своей семантической структуре оценочную сему; в силу этого обстоятельственная позиция не входит в структурный минимум соответствующей модели предложения: *Er benimmt sich daneben. = Er benimmt sich schlecht/unangemessen/wider jede Norm/normwidrig*, однако нельзя **Er benimmt sich gut/klug/diszipliniert daneben*; ср.: *Er blödelt = Er benimmt sich blöd/wie blöd/als sei er blöd/ als wäre er blöde/...*

Таблица 2.

Номинативные стратегии адресанта применительно к деятельности человека		
именовать	характеризовать	оценивать
<i>вести себя</i> <i>sich benehmen, sich verhalten, sich betragen etc.</i>		<i>попугайничать</i> <i>nachbeten,</i> <i>nachäffen</i>
<i>двигаться</i> <i>sich bewegen</i>	<i>шляться, пресмыкаться</i> <i>bummeln, kriechen</i>	
<i>говорить</i> <i>sprechen, reden</i>	<i>морализировать</i> <i>moralisieren</i>	
...

Постулирование названных стратегий не вступает в противоречие с выделенными ранее двумя: глобальной и «покадровой»; все отмеченные стратегии находятся друг с другом в отношении комплементарности: предложения, конститулируемые широкозначными и дейктичными глаголами поведения, используются для глобального именованя фрагмента деятельностного континуума, сколько бы действий и какого рода в реальности он ни представлял; предложения, конститулируемые глаголами более конкретной семантики, – для «покадрового» обозначения образующих фрагмент деятельностного континуума ситуаций.

Сделанные наблюдения позволяют прийти к следующим выводам.

Все номинативные стратегии при обозначении кадров внеязыковой действительности можно условно сгруппировать в зависимости от степени детализации при обозначении ситуации в две группы.

В первой группе представлены средства, позволяющие коммуниканту именовать воспринимаемую им действительность нерасчлененно, холистически, когда ему важно сообщить своему партнеру о наличии соответствующего положения дел, не вдаваясь в детали. Одним из примеров, кроме уже описанных номинативных стратегий, может служить дейктическое *это* с разными референтами: субъект, объект, признак, процесс, состояние, положение дел, комплекс ситуаций или анафорическое *это* в разными связями с предтекстом. В этом случае для номинации не существенно, тождественны ли адресант и наблюдатель, воспринимается ли именуемая ситуация «изнутри события» и «извне события», ср. о значимости наблюдателя при выборе языковых средств [Кравченко 1992].

Вторая группа – именование расчлененное, поэлементное, когда коммуниканту важно вычлнить отдельные элементы в кадре действительности и охарактеризовать их детально. В таком случае тождественность наблюдателя и адресанта, восприятие ситуации извне или изнутри является существенным фактором при выборе средства именованя, поскольку от названных факторов зависит результат когнитивной интерпретации воспринимаемой действительности, выбор когнитивных фона и фигуры.

Следовательно, наиболее существенными критериями при осознанном или неосознаваемом решении в пользу той или иной номинативной стратегии являются следующие: (1) глобальное, холистическое, нерасчлененное ↔ расчлененное именование действительности, основывающееся на соответствующей интерпретации деятельностного континуума; (2) восприятие коммуникативного события изнутри ↔ снаружи, вытекающего из того, как мыслит себя в пространственно-временном, деятельностном и дискурсивном континууме адресант; (3) совпадение ↔ несовпадение в одном лице субъекта деятельности, наблюдателя, адресанта/адресата; (4) решение в пользу «именование ↔ именование + вы-

ражение отношения (эмоциональность + ценностность)); (5) предпочтение некоторой дискурсивной стратегии (что нуждается в специальном описании).

Правомочность предлагаемой трактовки вытекает из согласования двух аспектов рассмотрения номинативного богатства языковых средств: синхронного и диахронного. Такие фундаментальные закономерности, как изменения в семантике лексических единиц (расширение ↔ сужение семантики, изменения в степени ее абстрактности ↔ конкретности, наращивание ↔ уменьшение мощности семантического, антонимического, тематического ряда, вызванная социокультурными потребностями более или менее детальная ономаσιологическая «проработка» некоторой понятийной сферы, появление неологизмов ↔ историзмов и т.д.), изменение в продуктивности определенной словообразовательной модели, трансформация лексической семантики в грамматическую, грамматикализация ряда конструкций, развитие новых способов выражения грамматической семантики, лексикализация некоторого до поры имплицитного содержания, варьирование стилистической «локализации» языкового средства независимо от его природы и структурных характеристик и др. Все это в конечном итоге способствует дифференциации языка при его функционировании в определенных дискурсивных условиях и свидетельствует о расширении сферы его функционирования, об усложнении задач, которые призван решать язык, чтобы оставаться эффективным средством коммуникации, фиксации и передачи культурно релевантных сведений от поколения к поколению. Другими словами, формирование, развитие и функционирование языка – и прежде всего литературного языка как одной из ведущих форм существования языка, – рассмотренные как «существенная составная часть общего исторического и культурно-исторического процесса» [Гухман, Семенюк 1983, 5, 8], приводят к варьированию номинативных стратегий.

С этой точки зрения, изучение вероятной специализации номинативных стратегий на те или иные дискурсивные становится новой формулировкой извечных лингвистических задач – объяснить, чем руководствуется адресант, выбирая одно-единственное из многочисленных средств реализации своей интенции, и почему потенциально допустимые системой и структурой языка возможности либо вообще, либо только до поры до времени не находят своего воплощения в языковой практике.

Таким образом, методология Н.Н. Семенюк, разработанная и апробированная в трудах по истории немецкого языка, может быть в этом отношении по-прежнему продуктивной: рассмотрение языковых разграничений разного рода «в качестве **одного из видов варьирования**, свойственного языку и в его системных свойствах, и в его функционировании»

[Семенюк 2000, 4] (Выделено Н.Н. Семенюк. – Л.Г.) позволяет проследить в кажущемся случайным решением в пользу того или иного номинативного средства закономерности, осознаваемые самими коммуникантами чрезвычайно редко. Однако это в конечном итоге такие закономерности, от нарушения которых зависит результат интеракции в целом.

Литература

Абрамов Б.А. О понятии семантической избирательности // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969.

Абрамов Б.А. О функциях, изофункциях, функциональном подходе и функциональной грамматике. // Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.

Абрамов Б.А. Некоторые проблемы семантической интерпретации элементарной ситуации // Номинация. Предикация. Коммуникация. Сб. ст. к юбилею проф. Л.М. Ковалевой. Иркутск, 2002.

Гришаева Л.И. Номинативно-коммуникативная функция предложения с глаголами поведения. Воронеж, 1998.

Гришаева Л.И. Глаголы поведения как семантический класс глаголов антропосферы: когнитивный, семантико-структурный, функциональный аспекты описания (на материале современного немецкого языка). – Диссертациядокт. филол. наук. Воронеж, 1999.

Гришаева Л.И. Перевод как когнитивно-коммуникативная деятельность // Социокультурные проблемы перевода. Вып. 4. Воронеж, 2001.

Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Воронеж, 2003.

Гухман М.М., Семенюк Н.Н. История немецкого литературного языка IX-XV вв. М., 1983.

Кравченко А.В. Вопросы теории указательности: Эгоцентричность. Дейктичность. Индексальность. Иркутск, 1992.

Савицкий В.М., Кулаева О.А. Концепция лингвистического континуума. Самара, 2004.

Семенюк Н.Н. Развитие немецкого литературного языка в эпоху Просвещения (XVIII в.) // М.М. Гухман, Н.Н. Семенюк, Н.С. Бабенко. История немецкого литературного языка XVI-XVIII вв. М., 1984.

Семенюк Н.Н. Нормативность в языке и культуре немецкого барокко. // Литературный язык и культурная традиция. М., 1994.

Семенюк Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.

Цурикова Л.В. Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации. Воронеж, 2002.

Ilo Tapani Piirainen

DEUTSCHE BERUFSBEZEICHNUNGEN IN PRESSBURG/ BRATISLAVA. AUFZEICHNUNGEN IM BÜRGERBUCH DER STADT AUS DEN JAHREN 1700-1767

1. Zur älteren Geschichte von Pressburg/Bratislava

Das Gebiet um das heutige Pressburg/Bratislava, seit 1993 die Hauptstadt der souveränen Republik Slowakei, war bereits seit der Steinzeit besiedelt, bis nachweislich im 5.-2. Jahrhundert v.Chr. sich dort Kelten niederließen. Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen entstand gegen Ende des 2. Jahrhunderts v.Chr. im Gebiet der späteren Altstadt eine bedeutende Siedlung von ca. 20 Hektar Fläche mit einer Akropolis auf dem Burghügel und mit einer darunter liegenden, befestigten Ansiedlung von gut 30 Hektar Fläche [Stefanovičová 1993, 148-157]. In den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts n.Chr. errichteten die Römer am rechten Ufer der Donau einen Gürtel von Militärlagern; zur gleichen Zeit gelangten in das Gebiet auch germanische Stämme der Markomannen und Quaden, die von den Römern bis zum dritten Jahrhundert bekämpft wurden. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches in der Zeit der großen Völkerwanderung kamen vielleicht schon im 5.-6. Jahrhundert Slawen an die Donau. Das eindeutig slawische „Großmährische Reich“ (Velká Morava) dominierte im 8.-9. Jahrhundert das Leben im Gebiet der heutigen West- und Mittelslowakei; gegen Ende des 9. Jahrhunderts war die Sicherheit der Slawen durch Überfälle ungarischer Truppen gefährdet. Nach der Schlacht bei Pressburg/Bratislava im Jahre 907 zerfiel das „Großmährische Reich“; ein großer Teil seiner Gebiete geriet im 10.-11. Jahrhundert unter ungarische Herrschaft [Stefanovičová 1993, 275-323]. Vom 12. Jahrhundert an ließen sich deutsche Siedler (hospites) unterhalb des Burghügels nieder; sie rodeten Land und legten Sümpfe trocken.

Im Jahre 1291 verlieh der ungarische König Andreas II der Ansiedlung am Fuße der Burg die Stadtrechte. Sigismund von Luxemburg, der 1387 ungarischer König wurde, gewährte Pressburg/Bratislava weitere Privilegien und erhob es in den Rang einer königlichen Freistadt. Wegen der durch Hussiten hervorgerufenen Unruhen ließ er die Stadt und die Burg befestigen; zwischen 1423 und 1436 wurde die Burgbefestigung ausgebaut und innerhalb dieser Mauern ein zweigeschossiger Burgpalast errichtet, der die Residenz des ungarischen Königs werden sollte.

Die Privilegien regelten u.a. das Recht zur freien Einwanderung und Niederlassung in Pressburg/Bratislava; dieses Recht war an die Bedingung der Entrichtung des Grundzinses an den früheren Grundherrn geknüpft. Gegen Ende des Mittelalters zog Pressburg/Bratislava besonders bürgerliche

Einwohner — Kaufleute und Handwerker — an. Die Einwanderer waren ganz unterschiedlicher Herkunft; sie kamen aus allen Teilen Österreichs, aus Mähren und Schlesien, aus Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen und Preußen. Neben diesen deutschsprachigen Einwanderern gab es Zuzug aus Ungarn und Polen, sogar aus Italien. Eine besondere Stellung nahmen im 14.-15. Jahrhundert die Juden ein, die in Pressburg/Bratislava ihr eigenes Privilegium erhielten sowie eine Schule und eine Synagoge, ein Bad, ein Tanzhaus, ein Krankenhaus und einen Friedhof unterhielten. Juden wohnten nur ausnahmsweise zwischen Christen; die von Juden entrichteten Steuern trugen zum wachsenden Wohlstand der Stadt Pressburg/Bratislava bei [Ortvan 1893]. Bereits im Stadtprivileg von Pressburg/Bratislava aus dem Jahre 1291 wurde angeordnet, dass die Juden dort — wohl einmalig im spätmittelalterlichen Ungarn — dieselben Vorrechte genießen sollten, die andere Bürger der Stadt erhielten [Horváth 1993].

Von der Zeit der Verleihung des Stadtprivilegs von 1291 kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die Deutschen in Pressburg/Bratislava die zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe bildeten und auch die Verwaltung der privilegierten Stadt in ihren Händen hielten; die Slowaken und die Madjaren bildeten Jahrhunderte lang höchstens ein Drittel der Bevölkerung. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts repräsentierten die Deutschen mit fast 60% in Pressburg/Bratislava die Mehrheit der Stadtbevölkerung; an zweiter Stelle standen die Slowaken mit 22%, dann die Juden mit gut 10% und die Madjaren mit knapp 8%. Nach der Volkszählung von 1930 wurden von den 170.285 Einwohnern von Pressburg 87.117 Slowaken bzw. Tschechen, 41.318 Deutsche, 26.974 Madjaren, 4.835 Juden sowie 10.041 andere erfasst. Die Vertreibung der Deutschen in den Jahren 1945-1946 stellt einen gewaltsamen Wandel in der Bevölkerungsstruktur der Stadt dar [Marsina 1993]. Im Jahre 2005 hatte Pressburg ca. 500.000 Einwohner, zu über 90% Slowaken.

Die Geschichte und die Kultur dieser Stadt, die 1541-1784 die ungarische Landeshauptstadt war und dann zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte, bis sie 1918 an die Tschechoslowakei kam, sind gründlich untersucht und in zahlreichen Veröffentlichungen dokumentiert worden. Besonders zu erwähnen sind die neuen umfangreichen Bände des Jahrbuchs *Bratislava* aus den Jahren 1965-1973, die Gesamtdarstellung über die Geschichte von Pressburg/Bratislava [Horváth, Lehotská, Pleva 1982] und der dokumentarische Bildband von Musik und Hofer (1990).

2. Frühneuhochdeutsche Handschriften in Pressburg/Bratislava

Das Stadtarchiv in Pressburg/Bratislava (Archív mesta Bratislavy) befindet sich im alten Rathaus der Stadt und bewahrt einen großen Teil des Schrifttums, das die Stadtschreiber und Notare im Laufe von Jahrhunderten anfertigten oder

das im Schriftwechsel mit den städtischen Behörden aus anderen Ortschaften nach Pressburg/Bratislava gelangte. Das Archiv ist gut geordnet, die Bestände sind weitgehend inventarisiert; bis jetzt liegen zehn gedruckte Findbücher vor — darüber hinaus besitzt das Archiv eine Reihe von maschinenschriftlichen Verzeichnissen.

Das mittelalterliche Archivgut aus den Jahren 1245-1500 umfasst etwa 165.000 handschriftliche Seiten — im Verhältnis zu anderen europäischen Städten stellt es eine sehr große und wichtige Materialsammlung dar. Das Findbuch über die Urkunden und Briefe aus den Jahren 1245-1500 umfasst 4.219 Nummern, vorwiegend auf Latein verfasste Urkunden, aber auch eine Reihe von deutschsprachigen Texten [Lehotská et al. 1956]. Die Habilitationsschrift von Arne Ziegler beruht weitgehend auf diesen Handschriften und enthält ein Verzeichnis der deutschsprachigen Urkunden mit den jeweiligen Signaturen [Ziegler 2003, 339-384]. Die älteste deutschsprachige Urkunde, Nr. 63, ist nicht genau datiert; sie stammt aus den Jahren zwischen 1334 und 1365 und zwar aus Marchegg an der heutigen österreichischen Grenze. Darin geben der Richter und der Rat der Stadt Marchegg der Stadt Pressburg/Bratislava bekannt, dass aufgrund eines Erlasses des Fürsten Rudolf der ungarische Wein nur durch Marchegg ausgeführt werden darf. Die erste aus Pressburg/Bratislava stammende deutsche Urkunde, Nr. 93, hat das Datum 1. Mai 1346. Jakob Hambat und seine Frau vermieten eine Hälfte ihres Hauses an Nikolaus, den Sohn des Richters Jakob und seiner Frau. Das zweite Findbuch für die Jahre 1501-1563 enthält die Urkunden Nr. 4.220-7.367, zum größten Teil deutschsprachige Handschriften [Horváth 1966]. Das dritte Findbuch erstreckt sich wiederum auf die Jahre 1564-1615 und enthält die Urkunden Nr. 7.379-9.342, ebenfalls weitgehend auf Deutsch, aber neben Latein zunehmend auf Ungarisch [Horváth 1967].

Ein Charakteristikum für die deutschsprachige Überlieferung der Stadt Pressburg/Bratislava stellen die vielen handgeschriebenen Bücher im Stadtarchiv dar. Im zehnten Band der Findbücher werden die Rechnungsbücher der Stadt aus den Jahren 1434-1944 beschrieben. Unter dem Titel *Kammerbücher* liegen unter den Nummern K1 bis K466 insgesamt 466 umfangreiche, handgeschriebene Bücher über den Haushalt der Stadt Pressburg/Bratislava vor; sie erstrecken sich auf die Jahre 1434-1840 [Horváth et al. 1984]. Eine erste Analyse der Kammerbücher des 15. Jahrhunderts hat gezeigt, dass diese für die Geschichte des Frühneuhochdeutschen nicht nur für Pressburg/Bratislava, sondern auch für den gesamten Donauraum von großer Bedeutung sind [Piirainen 1993].

Eine weitere, für die Regional- und Sprachgeschichte wichtige Quelle bilden die Stadtbücher, die unter den Titeln *Actionale protocollum* bzw. *Magistrálne protokol* aus den Jahren 1402-1938 in deutscher Sprache

aufgezeichnet wurden und unter der Signatur I.2.a. nr. 1-221 im Stadtarchiv aufbewahrt werden. Sie beschreiben die wichtigsten Vorgänge in Pressburg in 221 umfangreichen handgeschriebenen Büchern über ein halbes Jahrtausend hinaus und stellen damit im europäischen Maßstab ein einzigartiges Dokument über die Stadt- und Sprachgeschichte dar. Zahlreiche andere handschriftliche Bücher, die im maschinengeschriebenen Findbuch des Stadtarchivs angeführt werden, ergänzen das Bild vom älteren deutschsprachigen Schrifttum in Pressburg/Bratislava [Horváth et al. 1972].

Das *Actionale protocollum* aus den Jahren 1402-1506, das älteste erhaltene Stadtbuch von Pressburg/Bratislava, wurde in Bezug auf ihre Graphemik untersucht [Piirainen 1996a, 1996b]. Es ist ein handgeschriebenes Buch mit einem festen Pappereinband, am Rücken sowie an den Ecken und Rändern mit Leder verstärkt. Es enthält 421 nachträglich nummerierte Seiten; die Blätter aus Papier haben die Größe 330 x 220 mm. Die Eintragungen sind von mehreren Schreiberhänden in einer gotischen Kursive geschrieben worden. Die ersten Blätter sind beschädigt und nachträglich restauriert worden. Der Inhalt des Stadtbuches beschäftigt sich mit Kaufverträgen für Häuser, Weingärten und Grund, dokumentiert Schuldscheine und Pachtverträge sowie Testamente und Erbangelegenheiten. Die Textstücke erstrecken sich selten über mehrere Seiten; sie sind meistens datiert und fangen mit dem Jahr 1402 an. Bis zur Seite 319 werden Eintragungen bis zum Jahr 1451 aufgezeichnet; der Beginn des 16. Jahrhunderts ist nur mit ein paar kurzen Textstücken vertreten. Somit bildet das Stadtbuch eine wichtige Quelle für die Untersuchung des Frühneuhochdeutschen des 15. Jahrhunderts in Pressburg/Bratislava; für die Wirtschaftsgeschichte der Stadt ist es interessant, dass auf den Seiten 335-337 eine Kürschnerordnung aus dem Jahre 1467 verfasst worden ist — sie ist vor etwa 100 Jahren als Druck veröffentlicht worden. Es ist besonders erfreulich, dass der vollständige Text des *Actionale protocollum* jetzt in einer zuverlässigen diplomatischen Edition vorliegt [Ziegler 1999]. Inzwischen konnten die Stadtbücher des 16.-17. Jahrhunderts [Piirainen 1999], die Konzeptbücher ebenfalls aus dem 16.-17. Jahrhundert [Piirainen 2003] und das älteste Wirtschaftsbuch der Stadt aus dem 14.-16. Jahrhundert [Piirainen 2004] untersucht werden.

Die Stadtschreiber nahmen unter den der allgemeinen Verwaltung der Stadt dienenden Amtsträgern einen wichtigen Platz ein. In der Regel waren sie für die Geschäftsführung des Rates und seinen gesamten Schriftverkehr zuständig. Darüber hinaus waren sie Protokollanten des Rates und des Gerichts, hatten Botschaften des Rates zu überbringen und das Archiv zu verwalten. Im Auftrag des Rates legten sie Stadtbücher und andere amtliche Bücher an, die sie laufend führten. Mit der Entwicklung und zunehmenden Differenzierung

innerhalb der städtischen Verwaltung, des Ämterwesens und des anfallenden Schrifttums kam es auch zu einer Spezialisierung der Stadtschreiber.

Das überaus vielfältige Spektrum der Eintragungen, aber auch der Bezeichnungen für Stadtbücher, die im Auftrag des Rates, der Bürgerschaft und des Gerichts geführt wurden, ermöglicht kaum eine allgemein gültige *Stadtbuch-Definition*, es gibt jedoch innerhalb der Forschungsgeschichte eine Reihe von Versuchen, die Vielfalt zu gliedern. Weitgehend durchgesetzt hat sich dabei folgende Einteilung in drei Gruppen:

- 1) Bücher des Rates (Ratsprotokolle, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Privilegien etc.)
- 2) Bücher des Gerichts (Eheverträge, Erbschaftssachen, Testamente etc.)
- 3) Bücher der städtischen Finanzverwaltung (Steuer- und Kammerbücher, Zinsregister, Rechnungsbücher etc.)

Seit fast 100 Jahren gibt es ein Fünferschema von Konrad Beyerle, das innerhalb der Stadtbuchforschung lange Gültigkeit besaß, aber mehrfach kritisiert wurde, da die Bereiche Verwaltung und Finanzen sowie die beiden Gerichtsbereiche kaum eine deutliche Trennung erlauben [Meier, Ziegler 2001, 219-220]:

- 1) Bücher der städtischen Verfassung, des Rechts sowie des Ämter- und Bürgerwesens (Statutenbücher, Kopial- oder Privilegienbücher, Ämter- und Bürgerbücher etc.)
- 2) Bücher aus dem Bereich der städtischen Verwaltung (Ratsbücher, Missivbücher und Deputationsprotokolle, Schadensbücher etc.)
- 3) Gerichtsbücher (Schöffen- und Gerichtsbücher, Strafrechtsbücher wie z.B. Buß- und Achtbücher, Urfehde- und Urgichtbücher etc.)
- 4) Bücher der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Erbe-, Renten- und Pfandbücher, Schuld-, Testaments- und Vormundschaftsbücher etc.)
- 5) Bücher des städtischen Finanzwesens (Bau-, Almend- und Wortzinsbücher, Kämmerei-, Steuer- und Ungeldbücher, Zoll- und Schuldbücher etc.)

[Meier, Ziegler 2001] kritisieren die beiden Einteilungsschemata, da die vermischten Ratsbücher und die späteren, inhaltlich spezialisierten Stadtbücher nicht unter diesen Kategorien subsummiert werden können. Die beiden Autoren drucken im Anhang ihres Beitrags eine Liste von Bezeichnungen ab, die u.U. dem Begriff *Stadtbuch* zugeschrieben werden könnten; eine eindeutige Definition *Stadtbuch* kann auch dadurch nicht gewonnen werden. Für den vorliegenden Beitrag ist es von Interesse, dass das älteste *Wirtschaftsbuch* von Pressburg/Bratislava aus den Jahren 1364-1538 [Piirainen 2004] früher als *Stadtbuch* bezeichnet wurde [Lehotská 1959].

Für alle o. g. Quellen aus dem Stadtarchiv von Pressburg/Bratislava gilt, dass ihre Sprache sich mit dem Frühneuhochdeutschen im geschlossenen

deutschen Sprachgebiet vergleichen lässt. Die neuhochdeutsche Diphthongierung ist überall – sogar im ältesten *Wirtschaftsbuch* aus dem 14.-16. Jahrhundert – konsequent durchgeführt worden. Es treten aber bis 1600 gelegentlich mittelbairische Charakteristika auf. Für mhd. /uo/ wird oft <ue>, *guetes, muetter, brueder* geschrieben. Für mhd. /ü/ treten <ü>, *müglich, gewünschte*, <u> *bürgerlichen, mitbürger, stuckh* und <i>, *glücklich, würdige* auf. Die Nichtkennzeichnung des Umlauts sowie das Zeichen <i> für /ü/, das als Hinweis auf die Entrundung von Vokalen gilt, sind im Ostoberdeutschen weit verbreitete, ebenfalls auf dem Mittelbairischen beruhende Erscheinungen [Piirainen 2003].

Somit lässt sich die Sprache der Pressburger Schriftlichkeit mit der frühneuhochniederdeutschen Schreibsprache im benachbarten Wien vergleichen [Ernst 1994].

3. Einbürgerungsbücher der Stadt Pressburg/Bratislava

In den Beständen des Stadtarchivs von Pressburg/Bratislava befindet sich ein Fonds mit der Bezeichnung *Kniha mešťanov (Buch der Stadtbürger)*. Es sind insgesamt sechs in festem Einband gebundene Bücher aus den Jahren 1630-1870, die die Signaturen I.B.2.e.1 bis e.6 haben. Es handelt sich hier um Personen, die im 17.-19. Jahrhundert die Bürgerrechte erhielten und somit auch die Verpflichtung hatten, Steuern für ihr Eigentum und ihr Einkommen zu entrichten.

Das älteste Buch vom 9. Januar 1630 bis zum 09. April 1683 trägt den Titel *Burger Buech Der Stadt Preßburg ab Anno 1630 in den 9 Aprilis 1683*. Das Papier der Handschrift hat die Größe 310x200 mm; das Buch hat einen Ledereinband und 225 beiderseits beschriebene Blätter sowie ein Namensregister. Die Bürgerrechte konnte man nur auf Antrag und auf die Empfehlung hin erhalten; nur die Söhne einer Pressburger Bürgerfamilie erhielten die Rechte automatisch — sonst mussten zwei namentlich bekannte Bürger für den Antragsteller bürgen. Dies kann durch die folgende Eintragung vom 11. Januar 1630 veranschaulicht werden: *Bürger werden Georg Gaißmüller, Bürgen Michael Sundl vnd Hannß Hirsling. Item Bürger worden, Paul Sabelt, hiriges StadtKindt*.

Im folgenden werden die übrigen fünf Handschriften aus den Archivfonds *Kniha mešťanov (Buch der Stadtbürger)* genannt.

Sign.: I.B.e.2

Bürger=Buch 1700-1767, 169 Blätter. Hier werden in tabellarischer Form Datum, Vor- und Nachname und der Beruf der Antragsteller angeführt. Es werden nicht mehr die Namen der Bürgen genannt. Auf den Blättern 137r-169l findet sich ein alphabetisch geordnetes Register der Namen der neuen Stadtbürger mit der Angabe der betreffenden Seite im Bürgerbuch.

Sign.: I.B.2.e.3

Catalog civium, 147 Blätter, geht nur bis zum Buchstaben V. Es werden keine Jahreszahlen genannt. Es handelt sich offensichtlich um die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Am Ende des Buches findet sich ein alphabetisch geordnetes Register der Namen (nur nach Vornamen) der neuen Stadtbürger.

Sign.: I.B.2.e.4

Burger=Tax 1754-1791, 173 Blätter. Es handelt sich um ein Steuerverzeichnis; es werden der Name und der Beruf sowie der entrichtete Steuerbetrag angeführt. Es finden sich hier viele Beispiele für Berufsbezeichnungen.

Sign.: I.B.2.e.5

Neues Bürger=Buch A(nn)o 1768-1785, 74 Blätter. Es werden das Datum der Verhandlung, der Name und der Herkunftsort des Antragstellers sowie die Namen der Bürgen angeführt. In der rechten Spalte steht der Beruf des Bewerbers. Auf Blatt 54r bis 74r steht ein Register der Namen mit der Angabe des Blattes in der Handschrift.

Sign.: I.B.2.e.6

Bürger= Buch 1819-1870, 78 beiderseits beschriebene Blätter. Am Ende der Handschrift steht ein Index der Namen mit der Angabe des Blattes im Buch. Es werden das Datum, der Name, der Herkunftsort (*von ... gebürtig*), der Beruf, die Religionszugehörigkeit, oft auch das Alter, in der rechten Spalte der Steuerbetrag des Stadtbürgers genannt. Im Register wird auch der Beruf angeführt; die Anfangsbuchstaben B und P der Namen werden zusammen unter B subsumiert.

Diese Einbürgerungsbücher sind für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von Pressburg/Bratislava von erheblicher Bedeutung und enthalten wegen deutscher, slawischer, ungarischer und jüdischer Namen auch für die Onomastik viele Forschungsansätze. Eine genealogische Untersuchung aufgrund von Namen in einem Verzeichnis der Einwohner von Pressburg/Bratislava aus dem Jahre 1624 lokalisiert die Wohnhäuser von Bürger- und Adelsfamilien [Federmayer 2003]. Die gute Quellenlage aus dem Archivbeständen ermöglichte auch die genaue Lokalisierung aller Bezeichnungen für topografische Einheiten einschließlich der alten und neuen Straßennamen [Horváth 1990].

4. Berufsbezeichnungen im Bürgerbuch aus den Jahren 1700-1767

Die o. g. Einbürgerungsbücher der Stadt Pressburg/Bratislava enthalten viele Personennamen; meistens werden der Vorname und der Familienname genannt. Bei der Handschrift I.B.2.e.3 *Catalog civium* aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts handelt es sich um eine Liste der männlichen Personen mit Bürgerrechten. Sie ist alphabetisch geordnet, nennt aber nur die Vornamen und führt keine Berufsbezeichnungen an. Die Nennung ausschließlich von Vornamen ist in der Pressburger Urkunden des 15. Jahrhunderts üblich; dabei

wird aber in der Regel der Beruf angegeben. Für welchen Zweck der *Catalog civium*, der keine Nachnamen und keine Berufsbezeichnungen enthält, angefertigt wurde, ist nicht klar. Die anderen Einbürgerungsbücher enthalten das Datum, den Vor- und Nachnamen und meistens auch die Berufsbezeichnung. In der Handschrift I.B.2.e.4 *Burger= Tax* aus den Jahren 1754-1791 wird auch der Betrag genannt, den der jeweilige Stadtbürger für das betreffende Jahr an Steuern zu entrichten hatte.

Aus der Fülle der Angaben über Namen und Berufsbezeichnungen in den sechs handschriftlichen Büchern in dem Archivbestand *Einbürgerungsbücher* wird im folgenden das *Bürger= Buch* (Sign.: I.B.2.e.2) aus den Jahren 1700-1767 näher untersucht. Nach der Durchsicht der sechs o. g. Handschriften im Stadtarchiv Pressburg scheint dieses für eine germanistische Untersuchung am besten geeignet zu sein: die Eintragungen enthalten für jedes Jahr am linken Seitenrand ein genaues Datum, in der Mitte den Vor- und Nachnamen und am rechten Seitenrand den Beruf des Stadtbürgers. Die Namen der Bürgen, wie sie im ersten Einbürgerungsbuch aus den Jahren 1630-1683 angeführt werden, kommen ab 1700 nicht mehr vor. Die erste Seite der Handschrift trägt in einem großen, deutlichen Duktus die Überschrift *Anno 1700*. Danach stehen die Eintragungen, von denen die folgenden Beispiele genannt werden: *den 8ten Jan(uar): Matthias dornleütner, Weingarths= Mann; den 13ten: Lorencz Pfann, Fleisch(er); den 18ten: Johannes Leczko, Zischmacher; den 3ten Martij: Abraham Schund, Fleisch(er); den 12ten: Johannes Prekopp, Zischmacher; den 2ten April: Michael Husz, ung(arischer) Hutter; dito: Paulus Köszöt, Zischmacher; 16ten April: Stephan Siskosius, Stücker; dito: Johann Turzo, Zischmacher; 19ten April: Joseph Petronij, Handlsmann; 21ten: Franciscus Horvath, Zischmacher; 14ten Julij: Jacob Wiesinger, hiesiger Burgers Sohn*. Schon auf dieser Seite der Handschrift wird deutlich, dass die meisten Bürger einen deutschen Namen hatten. Es treten aber eindeutig ungarische Namen (*Köszöt, Horvath*), slawische Namen (*Husz*, slowakisch „Gans“, *Turzo*, gleich dem Namen einer bekannten Adelsfamilie) und für jene Zeit typische latinisierende Namen (*Siskosius*) auf. Der biblische Vorname *Abraham* ist kein Hinweis auf eine jüdische Herkunft; Juden konnten keine Bürgerrechte erlangen.

Bei den Vorbereitungen für den vorliegenden Beitrag wurden alle Berufsbezeichnungen aus den Jahren 1700-1720 zusammengestellt; die Mehrfachnennungen wurden getilgt, die unterschiedlichen Schreibformen jedoch beibehalten. So gibt es Schreibungen *Apothecker* und *Apotheker*; *Baader, Bader* und *Badenmeister*; *Gärtner, Gärtnermeister* und *Gertner, Gertnermeister*; *Schumacher, Schuemacher, Schuhmacher* und *Schuster, Schusterer* nebeneinander. Die meisten Berufsbezeichnungen entsprechen denen im Neuhochdeutschen; *Stücker* heißt heute *Stuckateur*. Die Bezeichnung

Zischmacher ist unter dem Einfluss des slowakischen Wortes *čičma* „Stiefel“ entstanden, tritt in deutschen Handschriften aus dem Gebiet der heutigen Slowakei häufig auf und bedeutet ‚Schuster für Stiefel‘. Dieser Beruf hatte früher wegen des Militärs eine erhebliche Bedeutung.

5. Ausblick

Pressburg/Bratislava war in der Frühen Neuzeit als ungarische Landeshauptstadt und als Krönungsstadt aller österreich-ungarischen Kaiser eine Stadt mit einem großen politischen Gewicht. Gleichzeitig war es seit dem Mittelalter ein wichtiges Wirtschaftszentrum mit blühendem Handel und Handwerk [Špiesz 2001]. Das Handwerk war vielseitig und entwickelt [Špiesz 1972]; seit dem 15. Jahrhundert organisierten sich die Handwerker in Zünften, die einerseits den Zugang zu dem jeweiligen Berufszweig regelten, andererseits für die gleichbleibende Qualität der Erzeugnisse bürgten. Die meisten bis heute erhaltenen Zunftordnungen der Stadt sind auf Deutsch verfasst worden und stammen vorwiegend aus dem 17.-18. Jahrhundert [Špiesz 1978] aus der gleichen Epoche wie die hier behandelten Einbürgerungsbücher.

Die Vielfalt der Namen und der Berufsbezeichnungen in den Einbürgerungsbüchern von Pressburg/Bratislava konnte im vorliegenden Beitrag nur ansatzweise untersucht werden. Pressburg/Bratislava war bis zum Zweiten Weltkrieg eine Metropole mit Einwohnern mehrerer Nationalitäten; die meisten von ihnen beherrschten zwei oder drei Sprachen. Der Reichtum der Handschriften im Stadtarchiv von Pressburg/Bratislava bietet den Historikern viel Material für die Erforschung der Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung seit dem Mittelalter. Für die deutsche Sprachgeschichte bieten die Quellen Möglichkeiten, Entwicklungstendenzen in der Schriftlichkeit am Rande des geschlossenen deutschen Sprachgebietes, gleichzeitig aber mitten in Europa zu untersuchen.

Literaturverzeichnis

Ernst, Peter. Die Anfänge der frühneuhochdeutschen Schreibsprache in Wien. Wien, 1994.

Federmayer, Frederik. Rody starého Prešporka (Geschlechter des alten Pressburg). Bratislava, 2003.

Horváth, Vladimír. Archív mesta Bratislavy. Inventar listín a listov II (1501-1563) (Archiv der Stadt Pressburg. Findbuch der Urkunden und Briefe II (1501-1563)), 1966.

Horváth, Vladimír. Archív mesta Bratislavy. Inventar listín a listov III (1564-1615). (Archiv der Stadt Pressburg. Findbuch der Urkunden und Briefe III 1564-1615), 1967.

Horváth, Vladimír. Bratislavský topografický Lexikon (Das topografische Lexikon von Pressburg). Martin, 1990.

Horváth, Vladimír. Bratislava's Bauentwicklung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. In: Richard Marsina (Hrsg.): Städte im Donauraum. Bratislava, 1993. S. 90-96.

Horváth, Vladimír et al. Archív mesta Bratislavy. Mesto Bratislava. Inventár úradných kníh 1364-1945 (Archiv der Stadt Pressburg. Stadt Pressburg. Findbuch der Amtsbücher 1364-1945). Bratislava. Inventár kniznych rukopisov AMB (Findbuch der handschriftlichen Bücher im Archiv der Stadt Pressburg, 1972).

Horváth, Vladimír et al. Mesto Bratislava. Inventár účtovného materiálu X. 1434-1944 (Stadt Pressburg. Findbuch des Rechnungsmaterials. X. 1434-1944). Bratislava, 1984.

Horváth, Vladimír/ Lehotská, Darina/ Pleva, Ján. Dejiny Bratislavy (Geschichte von Pressburg). Bratislava, 1982.

Lehotská, Darina. K počiatkom vedenia mestských kníh na Slovensku. Najstarsia Bratislavská mestská kniha (Zu den Anfängen der Stadtbücher in der Slowakei. Das älteste Pressburger Stadtbuch 1364-1538). In: Historické štúdie 5, 1959 - S. 325-347.

Lehotská, Darina et al. Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností (Archiv der Stadt Pressburg. Findbuch der mittelalterlichen Urkunden, Briefe und anderen ähnlichen Schrifttums). Praha, 1956

Marsina, Richard. Pressburg im Wandel der Geschichte. In: Marsina, Richard (Hrsg.): Städte im Donauraum. Bratislava, 1993. S. 10-15.

Meier, Jörg/ Ziegler, Arne. Stadtbücher als Textallianzen. Eine textlinguistische Untersuchung zu einem wenig beachteten Forschungsgegenstand. In: Schwarz, Alexander/ Luscher, L. A. (Hrsg): Textallianzen am Schnittpunkt der germanistischen Disziplinen. Bern u.a. (TAUSCH; 14), 2001. S. 217-246.

Musik, Rudolf/ Hofer, Kurt. Pressburg und Umgebung. Stuttgart, 1990.

Ortvan, Theodor. Geschichte der Stadt Pressburg. Deutsche Ausgabe. Band 2, 2. Abteilung. Pressburg, 1893.

Piirainen, Ilpo Tapani. Die Kammerbücher von Pressburg/Bratislava aus den Jahren 1434-1500. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Kühn, Ingrid/ Lerchner, Gotthard (Hrsg.): Von wyßheit würt der mensch geert. Festschrift für Manfred Lemmer. Frankfurt a. M. u. a., 1993. S. 195-203.

Piirainen, Ilpo Tapani. Das älteste Stadtbuch von Pressburg/Bratislava aus den Jahren 1402-1506. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Neophilologische Mitteilungen 97, 1996. S. 231-237.

Piirainen, Ilpo Tapani. Schreibsprache von Pressburg /Bratislava im 15. Jahrhundert und ihre Beziehungen zum Frühneuhochdeutschen in Wien. In

Gimpl, Georg (Hrsg): Mitteleuropa. Mitten in Europa. Helsinki (=Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa; 14), 1996. S. 239-250.

Piirainen, Ilpo Tapani. Die Stadtbücher des 16.-17. Jahrhunderts in Pressburg/Bratislava. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 100, 1999. S. 67-75.

Piirainen, Ilpo Tapani. Konzeptbücher der Stadt Pressburg/Bratislava. Ein Beitrag zu deutschen Handschriften der Frühen Neuzeit in der Slowakei. In: Greule, Albrecht/ Meier, Jörg (Hrsg.): Deutsche Sprache in der Slowakei. Bilanz und Perspektiven ihrer Erforschung. Wien, 2003. S. 103-112.

Piirainen, Ilpo Tapani. Das älteste Wirtschaftsbuch von Pressburg/Bratislava. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 105, 2004. S. 317-326.

Špiesz, Anton. Remeslo na Slovensku v období existencie cechov (Das Handwerk in der Slowakei im Zeitalter der Zünfte). Bratislava, 1972.

Špiesz, Anton. Štatúty bratislavských cechov (Zunftordnungen von Pressburg). Bratislava, 1978.

Špiesz, Anton. Bratislava v stredoveku (Pressburg im Mittelalter). Bratislava, 2001.

Štefaničová, Tatiana. Najstaršie dejiny Bratislavy (Die älteste Geschichte von Pressburg). Bratislava, 1993.

Ziegler, Arne. Actionale Protocollum. Das älteste Stadtbuch von Bratislava/Pressburg aus den Jahren 1402-1506. Bratislava, 1999.

Ziegler, Arne. Städtische Kommunikationspraxis im Spätmittelalter. Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik. Berlin, 2003.

О.И. Таупова

РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ В МАЛОФОРМАТНЫХ ТЕКСТАХ

При реализации коммуникативно-прагматической вариативности (КПВ) в текстах, в том числе и малоформатных, особым образом используются как разнообразные языковые средства: морфологические, синтаксические и лексические, так и ряд экстралингвистических средств: графическое выделение части текста, параграфирование, схемы, рисунки, разрядка, цвет, расположение текста, заглавные буквы, таблицы, шрифты и т.д. Известное разнообразие форм выражения определенного содержания в текстах обеспечивается прежде всего при помощи изофункциональных средств различных языковых уровней. В результате возникает ряд весьма близких, находящихся

между собой в отношениях частичного варьирования наборов реализаций. Предметом рассмотрения в настоящей статье являются синтаксические средства, участвующие в создании КПВ в современных немецких малоформатных текстах (МФТ).

Любой вид текста – в том числе и малоформатный – характеризуется определенными закономерностями синтаксических отношений, которые (наряду с другими языковыми и неязыковыми явлениями) используются для выражения коммуникативно-прагматической направленности речевого произведения, т.е. его коммуникативной функции. Выбор исследуемых нами текстов основан прежде всего на их общем формальном признаке (краткость), что позволило объединить весьма разнородные речевые произведения (ср. рекламу, прогнозы погоды, кулинарные рецепты, объявления, деловые письма, инструкции и др.), которые выполняют в современном социуме различные коммуникативные функции.

С учетом выполняемых ведущих коммуникативных функций, направленных на регулирование коммуникативного и некоммуникативного поведения адресатов, рассматриваемые нами МФТ подразделяются на два класса текстов, для каждого из которых характерны специфические черты. Преимущественно информирующими являются инструкции, прогнозы погоды, интервью, реклама и кулинарные рецепты, а социально регулирующая функция доминирует в объявлениях, деловых письмах, отдельных законодательных положениях, а также в официальных автобиографиях. Благодаря варьированию – в том числе – синтаксических структур МФТ придаются те или иные коммуникативно-прагматические свойства, благодаря которым они выполняют свое предназначение в социуме.

Категория КПВ непосредственно связана с коммуникативно-прагматической нормой, поскольку именно характеристика вариантов является важным звеном в системе языковых признаков, из которых складывается коммуникативно-прагматическая норма отдельных текстов (о языковой норме см. [Семенюк 1973; 1990; 1994; 1996; Semenjuk 2000, 1750]). В межличностном общении понятие коммуникативно-прагматической нормы объединяет правила построения текстов и использования в них языковых и неязыковых средств в определенной коммуникативной ситуации с определенной интенцией с целью достижения оптимального прагматического воздействия на адресатов. При этом в пределах коммуникативно-прагматической нормы отдельных текстов могут существовать и сосуществовать несколько языковых вариантов, которые подразделяются нами на обязательные (ведущие) и факультативные (второстепенные).

Исследование показало, что синтаксические варианты по-разному распределяются по отдельным МФТ, поэтому между информирующими и

социально-регулирующими МФТ, а также внутри этих групп существуют не только сходства, но и относительно устойчивые различия при использовании ведущих и факультативных вариантов. Инвариантом, т.е. тем общим, что присуще всем конститuentам конкретного вариативного ряда (пары) в синтаксисе МФТ, является денотативное содержание. Изофункциональные языковые средства, выражающие, в известной степени, общее или близкое содержание, различаются оттенками значения (созначениями, коннотациями), что может быть связано, в частности, с лаконичностью или полнотой изложения.

Кроме того, синтаксические средства – наряду с другими языковыми явлениями – на текстовом уровне участвуют в создании двух типов вариативности. Во-первых, вариативность, действующая в текстах, приводит к образованию разных видов (подвидов) текстов, которые используются в различных сферах коммуникации: официально-деловой, деловой, научной, научно-технической, публицистической, юридической, обиходно-бытовой и др. В данном случае представлен первый тип коммуникативно-прагматической вариативности – «внешняя» вариативность, благодаря которой создаются и разграничиваются разные виды (подвиды) текстов, являющиеся моделями речевого поведения [Fix 1997] коммуникантов в социуме.

Отдельные виды МФТ обнаруживают значительную внешнюю вариативность. Так, например, широким диапазоном варьирования обладает вид МФТ «инструкция», который реализуется посредством таких подвидов, как инструкция по эксплуатации бытовых приборов, по применению лекарственных, косметических и моющих средств (ср. немецкие термины *Gebrauchsanweisung*, *-anleitung*, *Bedienungsanleitung*, *-information*). Значительный вариативный ряд присущ виду текста «деловое письмо», ср.: письмо-запрос; письмо-предложение; письмо-заказ; письмо, сообщающее о торжественном открытии фирмы; письмо-объявление о продаже фирмы; письмо, содержащее предложение о сотрудничестве; письмо-требование; письмо-благодарность и т. д.

Рассматриваемые нами объявления представлены такими подвидами, как указывающие (*Zu den Zügen*), предупреждающие (*Achtung. Anhänger schwenkt aus*), запрещающие (*Tiere nicht füttern*) и предписывающие (*Hunde bitte an die Leine nehmen*). Некоторые объявления являются смешанными и содержат не только указание, но и запрет (*Notbremse. Missbrauch verboten*), либо запрещение и предостережение (*Zutritt verboten – Hochspannung – Lebensgefahr!*). Несмотря на то, что рассматриваемые явления включены в группу МФТ социальной регуляции, они занимают, по существу, промежуточное положение, поскольку в основе запрещающих и предписывающих объявлений лежат определенные нормативные докумен-

ты, указывающие объявления связаны преимущественно с бытовым, а предупреждающие – с морально-этическим назначением.

Второй тип коммуникативно-прагматической вариативности можно считать «внутренней» вариативностью, поскольку она действует в самих текстах и реализуется при помощи употребления/неупотребления в них как средств различных языковых уровней, так и некоторых экстралингвистических явлений. На основе внутренней вариативности достигается известное многообразие изложения информации в каждом отдельном МФТ. Поэтому при переходе к изучению текстов необходимо различать распределение отдельных синтаксических вариантов по разным видам текстов (и в этом случае они выступают как дифференцирующие признаки, которые можно лишь виртуально представить себе в одном вариантном языковом ряду) и группы вариантных синтаксических средств, которые реально используются в одном и том же виде или подвиде текста (ср. разные способы выражения побуждения, встречающиеся в одном тексте).

Особенность языка рассматриваемых МФТ состоит в том, что при отборе вариантных форм и конструкций нередко сказывается такое преимущество одной из них, как краткость, сжатость изложения, с которыми связана экономия языковых средств, усилий, времени, а также материальных затрат. Но это, вместе с тем, создает дополнительные возможности и стимулы их варьирования, т.к. отнюдь не исключает в целом ряде МФТ как более сжатого, так и более развернутого изложения одного и того же содержания.

Ведущими синтаксическими средствами компрессии как наиболее рационального способа изложения содержания в МФТ информирующего характера в зависимости от вида текста могут быть распространенные определения (представлены преимущественно в инструкциях к бытовым приборам, кулинарных рецептах, законодательных положениях, реже – в интервью), апозиопезис как способ усечения синтаксической структуры предложения (интервью), приемы номинализации (инструкции и интервью), сегментации (прогноз погоды и реклама), парцелляции (реклама), свободные аппозиции, синтаксические эллипсисы (прогноз погоды, реклама и интервью), конкурирующие с полными синтаксическими конструкциями.

Имеющиеся относительно устойчивые различия в использовании языковых средств внутри МФТ социальной регуляции проявляются, в частности, в том, что краткость изложения, связанная с малоформатностью текстов и текстовых фрагментов, с синтаксической точки зрения достигается в официальных автобиографиях, деловых письмах и указывающих объявлениях при преимущественном использовании приема сегментации, парентезных конструкций в деловых автобиографиях, причастия второго в определительной функции в законодательных положениях, деловых письмах и официальных автобиографиях, реже – при употреблении распространен-

ных групп существительных, инфинитивных групп и оборотов (ср. деловые письма и законодательные положения).

Границы вариативности могут быть размыты (ср. использование приема номинализации: *Bei Abnahme von mindestens 50 Stück könnten wir Ihnen die Hosen für 15 Euro pro Stück abgeben* [Gb]; *Das Nichtbeachten dieser Regeln kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen* [Expressomaschinen. Ga]). Использование как в информирующих, так и социально-регулирующих МФТ номинализации позволяет говорить о широком диапазоне варьирования, измеряемого числом единиц, находящихся в отношениях варьирования.

Селективность коммуникативно-прагматической нормы, которая проявляется при наличии выбора между языковыми вариантами, приводит, в частности, к тому, что из трех возможных способов усечения синтаксической структуры – апозиопезис, эллипсис, парцелляция – в интервью и прогнозах погоды доминирует эллипсис, являющийся наиболее продуктивным средством языковой экономии. Для достижения аналогичной цели в рекламах наряду с парцеллированными структурами (*Teilen Sie Ihr neues Glück mit den anderen. Sofort.* [Sp 14.10.02]) используются эллипсисы и сегментация.

Несмотря на то, что для прогнозов погоды и интервью специфичны эллиптические образования, для обеспечения сжатой подачи информации в этих МФТ может применяться и сегментация. В интервью используется также прием парцелляции, способствующий уменьшению объема предложения. Изолированные от общего высказывания и соответственно пунктуационно оформленные части предложения приобретают особую весомость, они резко акцентированы, что и привлекает внимание реципиентов. В целом краткость и сжатость изложения обуславливают коммуникативную четкость и информативную насыщенность всех рассматриваемых нами видов МФТ.

Сходство между рассматриваемыми нами информирующими МФТ с синтаксической точки зрения состоит в том, что в простых предложениях, употребляемых в инструкциях к бытовым приборам и к лекарственным препаратам, а также в кулинарных рецептах преобладают распространенные определения, которые являются частным случаем препозитивного определения и результатом прагматического переструктурирования синтаксических конструкций. Распространенные определения в информирующих МФТ являются конститuentами вариативного ряда, составными компонентами которого могут быть простые распространенные предложения, либо сложносочиненные (ССП) и сложноподчиненные предложения (СПП). В единичных случаях синтаксическое свертывание

элементарных предложений при помощи причастных соединений в атрибутивной функции используется также в интервью и рекламных текстах.

Необходимость получения адекватной реакции на речевое действие служит предпосылкой появления различных вариантов порядка слов в текстах. В рассматриваемых МФТ выделяются три группы возможных вариантов порядка слов, которые обусловлены вариативностью их коммуникативно-прагматической нормы. В первую группу отклонений от нормативного порядка могут быть включены альтернативные замещения первого места в предложении, во вторую – варианты порядка слов в среднем поле; в третью – изменения порядка следования конstituентов в конце предложения.

На первом месте (*Ausdrucksstellung*), характеризующемся значительным прагматическим потенциалом, в инструкциях, рекламе и объявлениях – в отличие от других МФТ – употребляются глаголы в повелительной форме: *Befragen Sie bitte Ihre Ärztin/Ihren Arzt [Dorithricin. Gi]*. Благодаря выдвиганию на первое место и превалированию императивных конструкций имплицитно выражена уверенность адресанта в истинности сообщаемой информации и, как следствие, предполагается облигаторность выполнения адресатом указанных действий.

Для МФТ не характерно употребление громоздких предложений-скреп, средств форики, поэтому в целях создания связности, а также актуализации различных логико-семантических отношений – противопоставления, пояснения, подчеркивания ограничительного согласия – на первом месте употребляются либо неизменяемые формы сложного глагольного сказуемого, либо простое глагольное сказуемое: интервью (*Protestiert hat er gegen die Veröffentlichung nicht [Sp 23.7.01]*); законодательное положение (*Gewählt werden sollen nur Richter, die...[BVG]*); реклама (*Geschenke sind Botschaften des Stils. Sind Kultur und Kunst [Brigitte 25/03]*); *Ausgerüstet mit der SUPER-LIVE-Batterie und einer neuen Technologie für ultralangen Fotospass [Sp 5.4.04]*); инструкция (*Beruhigt gereizte Lippen auf natürliche Art [Labello Kamille]*).

В том случае, если на первом месте в кулинарных рецептах не используются предложные и беспредложные дополнения, являющиеся абсолютно ведущим типом порядка слов в этом виде МФТ, а также средства форики (союзные наречия *dann, dabei, danach, inzwischen, jetzt, zwischendurch, zuletzt, anschliessend*), которые подчеркивают определенную последовательность действий (*Auf einem Bratrost grillen. Dabei ständig gut gekühlten Wein zugeben*) [Kk], на первое место выдвигаются глаголы в инфинитивной форме: *Herausnehmen* und *in Zucker und Zimt wälzen* [Kk], либо причастия: *Abgekühlt über die Apfel giessen* [Kk].

Одним из ведущих признаков коммуникативно-прагматической нормы прогнозов погоды является использование в начале высказываний обстоятельств места и времени, которые предельно лаконично сообщают реципиентам время и место прогнозируемых природных явлений: *In Spanien viel Sonnenschein, trocken, 25 bis 30 C.* [BZ 178/02]. Вместе с тем в инструкциях к косметическим препаратам в упомянутой позиции помимо обстоятельств места и времени используются обстоятельства образа действия.

Для реализации коммуникативно-прагматической функции инструкций (*Niemals den Wasserkocher ohne Deckel in Betrieb nehmen* [Express-Wasserkocher. Ga]); рекламы (*Nicht selten ist bei Lockvögeln die Leistung leider auch nicht grösser* [Sp 27/01]); интервью (*Nicht für alle ist Platz auf dem Markt* [Capital 4/99]), запрещающих объявлений (*Kein Durchgang. Nicht berühren!*), значительно реже – кулинарных рецептов, содержащих предостережение в отношении технологии приготовления блюда (*Nicht kochen lassen!* [Kk]), первое место в предложении может актуализироваться отрицательным местоимением *kein* в атрибутивной функции, а также наречием *niemals* и отрицанием *nicht*. Отдельные высказывания содержат весьма значительное число запретов, и хотя с логической точки зрения итерация, или повтор отрицания, как модальная категория с различными формами ее языковой реализации проблемы не представляет, для адресата создается известное психологическое напряжение, благодаря которому его внимание заостряется на сообщаемом факте объективной реальности.

Отличие инструкций и формулировок законодательных положений от других МФТ состоит в том, что крайняя левая позиция в них – помимо отдельных лексических единиц – может быть занята группами существительных: *Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird ...* [Gg]; *Zur Unterbrechung des Aufheißvorgangs Ein/Ausschalter in die Ausgangsstellung bringen* [Express-Wasserkocher Tefal. Ga].

При изложении официальной автобиографии в форме таблицы характерным является использование в предполье даты (только год), а затем вербально актуализируется объективная информация о событиях в личной жизни адресанта:

1984 Abitur am Realgymnasium St. Irmengard, Garmisch-Partenkirchen [Engel 1996].

В интервью, кулинарных рецептах, а также инструкциях середина предложений может быть занята так называемыми срединными парентезами, которые содержат дополнительную информацию, либо комментарий адресанта: *Daher sollten das Führen von Fahrzeugen, das Bedienen von Maschinen oder sonstige gefährvolle Tätigkeiten – zumindest während der ersten Zeit der Behandlung – ganz unterbleiben* [Chlorprothixenuraxpharm 50. Gi].

Последнее место в предложении – крайне правая позиция – в зависимости от вида МФТ может иметь весьма различную языковую реализацию. В инструкциях и кулинарных рецептах на последнем месте употребляется, как правило, инфинитивная форма глагола: *Arzneimittel sorgfältig aufbewahren* [Chloroethyl. Gi]. Но если для текстов кулинарных рецептов заполнение последнего места в предложениях инфинитивной формой глаголов является ведущим признаком нормы, то в инструкциях данный вариант встречается реже. В деловых автобиографиях на последнем месте используют, как правило, парентезы, которые содержат дополнительную информацию, ср.: 2004 *Pädagogische Prüfung (Gesamtnote aus Fach- und Pädagogischer Prüfung: 2, 12)* [Engel 1996].

При наличии в предложении глагольно-предикативной рамки определенные компоненты могут быть вынесены за ее пределы. Подобная перестановка, в отличие от перестановки членов предложения в предполье, грамматически не мотивируется. Причины, приводящие в интервью, рекламе и инструкциях к разрыхлению предложенческой рамки, можно считать отчасти явлениями стилистического свойства, однако, как правило, они явно прагматического характера, поскольку при выборе варианта порядка слов существенное значение имеет стремление к достижению простоты понимания. Выносимые за глагольно-предикативную рамку конstituенты предложений содержат, с одной стороны – дополнительную, уточняющую информацию, а с другой – основную. В МФТ прогнозов погоды, инструкций и интервью за пределы предложенческой рамки выносятся предложные группы и сравнения: *In Italien und Malta ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern* [SdZ 30.10.04].

Различия между информирующими и социально-регулирующими МФТ, а также внутри этих групп текстов могут быть обусловлены также особенностями употребления в них структурных типов предложений. Так, простое соположение предложений как один из способов выражения форм связи соответствует коммуникативно-прагматической норме инструкций, прогнозов погоды, интервью, кулинарных рецептов, рекламы, а также деловых автобиографий и объявлений. При этом емкость простых предложений, в связи с использованием, либо неиспользованием в них дополнений, различных обстоятельств (образа действия, места, времени), распространенных определений, однородных членов и т.д., характеризуется значительными колебаниями. Употребление в этих текстах полных синтаксических конструкций, образующих вариативные ряды с синтаксически свернутыми конструкциями, позволяет избежать монотонности, что оживляет повествование в целом.

Для прогнозов погоды, рекламы и интервью специфичны также недвосоставные предложения, выбор которых предопределяется их эмоциональностью

и оценочностью. Благодаря присоединительным конструкциям с союзами *und* и *aber* в информирующих МФТ имитируется естественная разговорная речь.

Одной из причин превалирования простых предложений как средства межфразовой связи в текстах рекламы, реже – в интервью является тот факт, что ССП и СПП графически оформляются здесь как простые самостоятельные предложения, ср.: *Zu allem bereit. Wenn Sie es sind* [Sp 23.7.01]. Но если в том или ином МФТ используются только простые предложения, он или монотонен, или звучит отрывисто. Поэтому замена сложных предложений на простые влияет в целом на получаемый от текста коммуникативно-прагматический эффект.

Известная вариативность структурных типов предложений в рассматриваемых нами МФТ достигается и при использовании гипотаксиса и паратаксиса. Так, практически полный отказ от гипотаксиса наблюдается в прогнозах погоды, деловых автобиографиях, кулинарных рецептах, рекламе и объявлениях, что способствует достижению линейно последовательного развертывания мысли с помощью простых предложений. В текстах рассматриваемых нами объявлений из структурных типов предложений представлены, как правило, только придаточные времени с союзом *bevor*: *Nicht öffnen, bevor der Zug hält* (*An Wagentüren bei der Deutschen Bundesbahn*).

В то же время в социально-регулирующих деловых письмах и законодательных положениях увеличивается доля СПП: вместо широко используемого в прогнозах погоды и кулинарных рецептах паратаксиса здесь употребляется гипотаксис. Использование при организации рассматриваемых текстов СПП объясняется теми коммуникативными возможностями, которыми оно обладает, а именно: помогает полнее и всестороннее охарактеризовать описываемый предмет объективной реальности или какую-либо его часть, а также выражает взаимозависимые сложные мыслительные операции. Синтаксические особенности законодательных положений и деловых писем состоят также в том, что в них – в отличие от других МФТ – используются и развернутые паратактико-гипотактические комплексы, правда, число придаточных в одном цельном предложении этих МФТ не превышает, как правило, трех.

Функционально-коммуникативные типы предложений, отражающие посредством коммуникативной модальности – вопросительной, побудительной, утвердительной, отрицательной – цель, которую ставит перед собой адресант в процессе организации высказывания, представлены в рассматриваемых МФТ неодинаково. Наибольшей вариативностью обладают в этом плане рекламные тексты, интервью и некоторые подвиды деловых писем, в которых используются все коммуникативные типы предложений. Уже в заголовках интервью и реклам наряду с повествовательными предложениями широко употребляются вопросительные и побудительные предложения. Побудительные конструкции придают здесь жи-

вость и эмоциональность высказыванию, передают непосредственность разговорной речи.

Вопросительные предложения являются одним из признаков писем-запросов (*Unter welchen Bedingungen sind Sie bereit, uns Ihre Muster zu schicken?* [Gb] и писем-предложений (*Unser äusserster Angebot sind 250 Sortimente mit 15% Rabatt. Dürfen wir liefern? Wir bitten um Ihre Bestätigung* [Duden 1997]).

Информация, приводимая после подзаголовков в немецких текстах инструкций к лекарственным препаратам, организована преимущественно как квази-диалог, ср.: *Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen? Über das Risiko einer Schädigung beim Kind liegen keine eindeutige Daten vor* [Levomepromazinneuraxpharm 50. Gi]. Аналогичные квази-диалоги с преобладающим неместоименным (общим) вопросом представлены также в рекламах и интервью. Подобная организация текста, для которой характерны доходчивость, выразительность, значительная сила прагматического воздействия на адресатов, не только привлекает их внимание, но и оживляет повествование в целом. Значительно реже употребляются вопросительные предложения в инструкциях к бытовым приборам: они используются, как правило, в разделах, посвященных улучшению гарантийного обслуживания покупателей, ср.: *Haben Sie einen Tip in bezug auf den Gebrauch Ihres Gerätes? Oder eine Regelung für ein Rezept ...?* [Küchenmaschine Moulinex. Ga].

Вместе с тем вопросительные предложения вовсе не свойственны отдельным видам как социально-регулирующих (ср. объявления, законодательные положения и деловые автобиографии), так и информирующих МФТ (прогнозы погоды и кулинарные рецепты). При этом тексты деловых автобиографий, законодательных положений и прогнозов погоды отличаются от других видов рассматриваемых нами МФТ полным отсутствием в них не только вопросительных и побудительных, но и восклицательных предложений. Напротив, для организации (1) инструкций и (2) кулинарных рецептов могут применяться восклицательные предложения, содержащие определенные предостережения: (1) *Das Gerät nicht ohne Wasser betreiben!* [Expressomaschine. Ga]; (2) *Hollendische Sosse lässt sich nicht aufwärmen!* [Kk]. В то же время восклицательные предложения не отвечают прагматическим установкам запрещающих и предписывающих объявлений, поэтому в этих МФТ употребляются, как правило, только повествовательные и побудительные предложения. В объявлениях смешанного типа помимо повествовательных предложений могут использоваться и восклицательные предложения: *Vorsicht! Bissiger Hund.*

Различия между рассматриваемыми МФТ обнаруживаются и при использовании в них прямых и риторических вопросов. Так, в рекламах и интервью

используются не только прямые вопросы, но и риторические, способствующие активизации внимания реципиентов и воздействующие на его эмоциональную сферу. Для создания известного напряжения в рекламах могут использоваться несколько риторических вопросов, стоящих друг за другом. В целом вариативность коммуникативных типов предложений в текстах социальной регуляции – в отличие от информирующих МФТ – представлена незначительно: наиболее часто используемыми в них являются повествовательные предложения.

Проведенное исследование синтаксических вариантов с точки зрения их отбора и распределения по разным видам информирующих МФТ свидетельствует о том, что ведущими языковыми признаками коммуникативно-прагматической нормы синтаксического порядка, определяющими особенности (1) прогнозов погоды, являются простые повествовательные предложения и эллипсисы. К факультативным признакам, создающим варьирование в этом виде МФТ, относятся СПП, бессоюзные ССП и сегментация.

Основными синтаксическими маркерами (2) рекламных текстов являются простые повествовательные предложения, восклицательные и вопросительные предложения, присоединительные конструкции с союзами *und*, *aber*, парцелляция и инверсия. В число факультативных признаков входят побудительные предложения, риторические вопросы, сложные предложения, эллипсисы, сегментация, а также причастие второе в определительной функции.

Совокупность обязательных синтаксических признаков (3) кулинарных рецептов представлена безличными простыми повествовательными предложениями, бессоюзными ССП, инфинитивами и причастиями в определительной функции. В число второстепенных языковых признаков входят побудительные и восклицательные предложения, ССП и СПП, а также парентезные конструкции.

Обязательными синтаксическими признаками (4) инструкций являются простые повествовательные предложения с соответствующим порядком слов. В языковом плане варьирование создается здесь при использовании СПП, в том числе и бессоюзных, причастия второго в определительной функции и, отчасти, зависит от подвида инструкции. Так, в инструкциях к лекарственным препаратам, помимо преобладающих повествовательных предложений, языковыми признаками нормы являются вопросительные и восклицательные предложения, а во всех других подвидах, как правило, только восклицательные предложения.

К обязательным синтаксическим признакам (5) интервью относятся простые повествовательные и вопросительные предложения, инверсия и эллипсис. Варьирование может создаваться здесь восклицательными

предложениями, риторическими вопросами, ССП и СПП, апозиопезисом, парцелляцией, а также причастием в определительной функции.

Основными синтаксическими маркерами социально регулирующих (1) деловых писем являются простые распространенные предложения, прямой порядок слов, распространенные группы существительных, обращения; факультативное использование сложных предложений, паратактико-гипотактических комплексов, вопросительных предложений (письма-запросы и письма-предложения) и причастий в определительной функции.

К обязательным языковым признакам (2) официальных автобиографий относятся назывные повествовательные предложения и парентезы. Языковое варьирование достигается при использовании приема сегментации, а также причастия второго в определительной функции.

В (3) объявлениях превалируют эллипсисы и повествовательные предложения, в отношениях вариативности с которыми – в зависимости от подвида – находятся восклицательные и побудительные предложения и сегментация.

Ведущими языковыми признаками (4) законодательных положений являются простые повествовательные предложения, распространенные определения и причастия в определительной функции. К факультативным признакам с синтаксической точки зрения относятся паратактико-гипотактические комплексы и гипотаксис.

Таким образом, изучение вариативности применительно к тексту связано с выявлением не только сходств, но и различий использования в них тех или иных средств. При помощи категории коммуникативно-прагматической вариативности можно не только охарактеризовать отдельные виды и подвиды малоформатных текстов с точки зрения использования в них языковых и неязыковых средств (ср. вариантность средств языкового выражения в рамках отдельных видов (подвидов) текстов), но и разграничить их (ср. варьирование, создающее разные виды (подвиды) текстов).

Литература

Семенюк Н.Н. Формирование норм немецкого литературного языка первой половины XVIII столетия (на материале периодических изданий): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 1973.

Семенюк Н.Н. Норма языковая // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Семенюк Н.Н. Нормативность в культуре и языке немецкого барокко // Литературный язык и культурная традиция. М., 1994.

Семенюк Н.Н. Формирование литературных норм и типы кодификационных процессов // Языковая норма. Типология нормализационных процессов. М., 1996.

Fix U. Textsorte – Textmuster – Textmuster Mischung. Konzept und Analysebeispiele // Cahier Etudes Germaniques 37. 1997. H. 2.

Semenjuk N.N. Soziokulturelle Voraussetzungen des Neuhochdeutschen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts // Sprachgeschichte. // Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. – 2. Aufl. – 2. Teilband. Berlin; New York, 2000.

Список источников примеров

BVG – Gesetz über das Bundesverfassungsgericht. – Berlin: Bundeszentrale für politische Ausbildung, 2001; *Gg* – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 3. November 1995. – Bonn: Bundeszentrale für politische Ausbildung, 1997.

Ga – Gebrauchsanweisungen: Küchenmaschine Moulinex; Expressomaschine; Express-Wasserkocher Tefal.

Gb – Geschäftsbriefe. – Hamburg: Igor Jurist Verlag, 1997.

Gi – Labello Kamille; Chloraethyl; Levomepromazinneuraxpharm 50; Dorrithricin.

Sp – Spiegel 23.7.01; 14.10.02; 5.4.04; *SdZ* – Süddeutsche Zeitung 30.10.04; *BZ* – 178/02; *Brigitte* 25/03; *Capital* 4/99.

Kk – Kochkunst: Lukullisches von A bis Z. – 7., Aufl. – Leipzig: Verlag für die Frau, 1990.

Duden. Briefe gut und richtig schreiben! – 2., überarb. und erw. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 1997.

Engel U. Deutsche Grammatik. – 3., Aufl. – Heidelberg: Julius Groos, 1996.

Раздел 4

Стилистика: исторический и синхронный аспекты

Н.Н.Германова

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Вопросы исторической стилистики занимают особое место в кругу научных интересов Н.Н.Семенюк. В монографии «Очерки по исторической стилистике немецкого языка», призванной подытожить многолетние исследования в этой области, автор определяет место этой научной дисциплины среди других разделов языкознания, намечая как различия между ними, так и точки соприкосновения. В настоящей статье речь пойдет о взаимодействии исторической стилистики с историей литературного языка. Н.Н.Семенюк затрагивает этот вопрос в главе «Литературная норма, стилистическая вариативность, кодификация». В ней намечен широкий спектр вопросов, в которых интересы исторической стилистики пересекаются с проблемами истории литературных языков. Среди них – вопрос о характере отражения стилистического варьирования в нормативных сочинениях, в частности, о способах фиксации стилистической окраски отдельных языковых единиц в словарях и других нормативных сочинениях, вопрос об опорных для каждого исторического периода коммуникативных сферах и типах текстов и специфике языкового развития в различных функционально-стилистических и коммуникативных разновидностях языка. В итоге Н.Н.Семенюк совершенно правомерно ставит вопрос о «соотнесенности изменений стилистического характера и структурных и функциональных сдвигов в системе и употреблении языка» [Семенюк 2000, 163].

В настоящей статье этот важный общетеоретический вывод будет проиллюстрирован фактами из истории кодификации английского литературного языка XVIII века. Изучение текстов нормативных сочинений, в частности влиятельных риторик этого времени, показывает, что они являются важным источником сведений для изучения картины стилистических предпочтений своего времени. Более того, становится очевидным, что при кодификации литературной нормы соображения стилистического характера нередко ложились в основу отбора языкового материала.

Это обстоятельство не было, как кажется, в достаточной мере замечено и осмыслено историками английского литературного языка, которые при рассмотрении вопроса о том, какие мотивы и типы аргументов ложились в основу отбора языкового материала при кодификации языковых норм, обычно отмечали роль рационалистических соображений, ставивших во главу угла логику и необходимость приведения языка в соответствие с законами рационального мышления. Для подобной трактовки процесса кодификации английского языка в эпоху Просвещения есть, разумеется, весьма существенные основания (см., к примеру, [Германова 2004]). Однако, не только рационализм определял лингвистические предпочтения эпохи Просвещения. Многие рекомендации нормативных сочинений имели под собой эстетическую основу и отражали стилистические предпочтения авторов нормативных сочинений. Это тем более очевидно, если учесть то обстоятельство, что важную роль в кодификации норм английского языка XVIII века играли не только грамматики, но и риторики.

В своих рассуждениях филологи и философы XVIII века часто обращались к категории вкуса. «Эстетический дискурс» составлял важную часть интеллектуальных дискуссий того времени. О природе вкуса писали Д.Юм, Дж. Беркли, Э. Берк, Г. Хоум (лорд Кеймс), Т. Рид, Ф. Хетчесон, Дж.Аддисон и другие. Эмпирицизм британской философии, восходящей к работам Дж. Локка, заставлял британских мыслителей при изучении природы человека не ограничиваться сферой действия разума и создавать более разностороннюю картину деятельности человеческого духа. Как писал автор одной из самых влиятельных риторик XVIII века Х. Блэр, «когда мудрость нашего создателя предполагала, что нечто должно произвести на нас впечатление, он не сводил осуществление своего замысла к усилиям разума... Наилучший слог обращается к ощущению и восприятию и апеллирует к чувству» [Blair 1914].

Впрочем, в рассуждениях британских авторов вопросы вкуса оказывались окрашенными в рационалистические тона: в эстетическом чувстве признавали наличие рационалистического компонента, а рациональное наделялось эстетическими свойствами. Как писал тот же Блэр о достоинствах литературного слога, «любое расположение (слов – НГ), которое отдает должное смыслу и выражает его наилучшим образом, представляется нам красивым... Когда мы дурно выражаем свои мысли, чаще всего причина заключена не только в неумелом использовании языка, но и в ошибочном понимании сущности предмета» [Blair 1814, 188]. Как справедливо заметили авторы «Истории эстетики» К.Гилберт и Г.Кун, «было бы неправильно преуменьшать влияние Локка на Аддисона, Хетчесона, Кеймса, Юма и Берка, но эстетические системы, выросшие с их легкой руки, имели тенденцию возвращаться после короткого независимого пу-

тешества обратно на проторенный путь рационализма XVII века и неоклассического вкуса» [Гилберт, Кун 2000, 251].

Весьма показательна в этом отношении риторика Х.Блэра [Blair 1814]. Эта работа увидела свет в 1783 году. Основанная на лекциях, которые Блэр читал еще в 1762 году, она подвела итог многолетним размышлениям автора. Книга была с энтузиазмом встречена читателями и на долгие годы стала ведущим учебником риторики в британских университетах.

Риторика открывается пространными рассуждениями о природе эстетического вкуса, который должен лечь в основу критических суждений о литературных произведениях. Вкус, по Блэру /который, впрочем, отнюдь не оригинален в своих рассуждениях на эту тему/, основан на чувствах и ощущениях, которые имеют нерационалистическую основу и присущи человеку от рождения. «Структура нашего глаза такова, что заставляет нас воспринимать некоторые модификации лучей света с большим удовольствием, чем остальные», – поясняет Блэр [Blair 1814, 66]. Точно так же человек инстинктивно испытывает удовольствие от пропорциональных и изящных предметов, от созерцания возвышенных картин и т.п. Врожденный характер вкусовых оценок позволяет Блэру говорить о едином вкусе человечества.

Впрочем, врожденный вкус не является безупречным; более того, плохое воспитание, невежество и предрассудки могут его исказить. Поэтому вкус нуждается в воспитании. Это рассуждение позволяет Блэру примирить вкус с разумом: «Хотя вкус, без сомнения, основан на некоторой природной и инстинктивной способности чувствовать красоту, все же разум... приходит вкусу на помощь во многих его операциях и увеличивает его силу» [там же, 16]. «Мы получаем удовольствие благодаря естественному чувству прекрасного. Разум показывает, почему и по каким причинам мы получаем удовольствие», – утверждает Блэр [там же, 20]. Это положение очень важно для Блэра: ведь именно благодаря вмешательству разума удается сформулировать правила хорошего вкуса, которые и являются предметом рассмотрения риторики.

В рекомендациях Блэра рациональное начало тесно переплетается с эстетическим. Главными достоинствами стиля литературного произведения он считает ясность (*perspicuity*) и украшение (*ornament*). Первое требование имеет преимущественно отношение к логике, а второе к традиционным риторическим приемам (стилистическим фигурам речи, т.е. тропам). Характерно, что в соответствии с идеалами эпохи Просвещения на первом месте оказывается задача адекватной передачи авторского замысла. При этом язык рассматривается в духе идей лингвистического скептицизма как достаточно несовершенная семиотическая система, отражающая не только достижения человеческого разума, но и его заблуж-

дения [Германова 2005]. Это осложняет задачу литератора, который вынужден преодолевать сопротивление языкового материала.

Требование ясности уточняется применительно к лексике и синтаксису. Лексика должна отвечать требованиям чистоты (*purity*), уместности (*propriety*) и точности (*precision*). При этом чистота состоит в отказе от устаревших слов, неологизмов и иностранных заимствований, а уместность – в очищении словаря от «вульгарных и низких выражений» и в употреблении «тех слов и выражений, которые наилучший и наиболее устоявшийся обычай связал с выражением тех или иных идей» [Blair, 1814, p. 145].

Говоря об уместности, Блэр не упоминает отдельно об отказе от употребления специальных терминов и профессионализмов, характерных для ремесел и других видов профессиональной деятельности. Другие авторы специально подчеркивают их неуместность в литературном произведении. Кроме сниженной социальной окраски, профессионализмы нежелательны, так как могут иметь узкое значение, не известное носителям литературного языка в целом. По этой причине специальные слова с узким значением желательно заменять подходящим гиперонимом. Это положение, характерное для поэтики неоклассицизма, в британской традиции сформулировал С. Джонсон: «Задача поэта – изучать не индивидуальное, но виды» (цит. по [Adamson 1999, 616]). Впрочем, в эстетике Великобритании это положение, столь характерное для традиции классической литературы Франции, не стало общепризнанным (против него выступал, к примеру, лорд Кеймс). Видимо, по этой причине Блэр обходит молчаливым вопросом об уместности профессионализмов и, шире, слов с узкой семантикой.

Третье правило Блэра – это требование точности. Оно подразумевает отказ от неточных сравнений, излишне смелых метафор, примерных синонимов и небрежных перифраз. «Слова, которые использует автор, могут иметь три недостатка: они могут выражать не ту идею, которую имеет в виду автор, но другую, только схожую с ней; они могут выражать нужную идею, но недостаточно полно или выражать ее одновременно с другими идеями, которые автор не имеет в виду», – так Блэр поясняет проблемы, возникающие перед автором в связи с требованием точности [Blair 1814, 146]. Автору, следовательно, полагалось добиваться однозначного соответствия между содержанием и словесной формой текста, стремясь к изоморфизму языка и мышления. В связи с последним обстоятельством следует отметить большое значение, которое британские филологи придавали выработке четких дефиниций слов. О необходимости такой работы писал еще в XVII веке Дж. Локк. Т. Гоббс уделил проблемам дефиниций специальный раздел в своем монументальном труде

«Основы философии». Появление в 1753 году толкового словаря английского языка С. Джонсона, несмотря на спорность ряда предложенных им дефиниций, стало важной вехой в процессе уточнения лексических значений.

Требования чистоты, уместности и точности четко очерчивали границы словаря литературного произведения. Они отражали литературный вкус своего времени и в большой степени были направлены против предшествующей литературной традиции: для авторов-неоклассицистов были неприемлемы неологизмы Шекспира, архаизмы Спенсера, латинизмы Мильтона. Литературный вкус XVIII века отсекал все лексические «излишества». Как писал Дж. Аддисон, «одна из величайших красот поэзии лежит в использовании такого простого языка, который может быть понят обычными читателями» (цит. по [Adamson 1999, 614]). Не следует, впрочем, забывать о том, что «обычными читателями» для авторов-неоклассицистов были люди их круга, так что это положение отнюдь не содержало призыва использовать сниженную обиходную лексику: речь шла о создании того, что можно назвать «стилем среднего класса», то есть о создании общего стандартного словаря.

В этом отношении стилистические поиски литераторов эпохи неоклассицизма лежали в одном русле с требованиями в области нормализации языка. Как известно, одной из важнейших задач в области создания литературной нормы является разработка словаря литературного языка. Как справедливо отмечает Н.Н.Семенюк, в период становления литературной нормы «большое значение приобретает нейтральное в стилистическом отношении ядро и оттесняются на периферию или вообще за рамки литературного употребления многие территориально, функционально, социально и хронологически маркированные моменты» [Семенюк 2000, 163]. Эстетические и стилистические предпочтения авторов-неоклассицистов в немалой степени способствовали созданию такого нейтрального лексического ядра и ускоряли объективный процесс формирования лексических норм английского языка.

Интересы британских филологов не ограничивались областью лексики. Важнейшей новаторской чертой грамматик и риторик второй половины XVIII века принято считать перенос акцента со слова на дискурс, то есть обращение к проблемам синтаксиса. Учение о предложении занимает важное место в «Кратком введении в английскую грамматику» Р. Лота (1762), «Основах английской грамматики» Дж. Пристли (1761), «Элементах критицизма» лорда Кеймса (1762), «Курсе лекций по элокуции» Т. Шеридана (1763), «Лекциях по риторике и литературе» Х. Блэра (1783, впервые прочитаны в 1762 г.), «Английской грамматике» Л. Маррея (1795).

Эти работы заложили основы синтаксиса письменной речи и привели к более существенному, чем прежде, размежеванию разговорного и литературного языка. Риторика Х. Блэра дает хорошее представление о требованиях неоклассицизма к структуре предложения. Они сводятся к четырем пунктам: ясность и точность; единство; сила; гармония. Требование ясности подразумевает необходимость привести структуру предложений в соответствие с ментальными структурами. Как и в случае с лексикой, язык должен стать прозрачной средой, которая не препятствует передаче мысли. В частности, предлагалось уточнить положение наречий, вводных слов и других «подвижных» компонентов структуры английского предложения и сделать более упорядоченным употребление союзных слов и местоимений. В контексте настоящей статьи особый интерес представляют правила единства, силы и гармонии, поскольку они имеют прямое отношение к соображениям эстетики и стиля. Требование единства предложения означало, что сцена действия в предложении должна меняться как можно меньше. Оно представляло собой, по сути, адаптацию характерного для классицизма требования единства места литературного произведения к материалу предложения. «Предложение может состоять из частей, но эти части должны быть так тесно связаны друг с другом, чтобы произвести на сознание впечатление одного объекта, а не многих» [Blair 1814, 166]. Это требование, в частности, предполагало отказ или, по крайней мере, ограничение использования вводных предложений. Еще существеннее то, что оно отдавало предпочтение периоду в духе Квинтилиана по сравнению со свободным предложением, близким к естественной разговорной речи. Хотя риторика XVIII века, в том числе и риторика Блэра, рекомендовали чередовать длинные предложения с короткими, а периоды – со свободными предложениями, составление периодов, очевидно, расценивалось как особое искусство, которому надо было специально учиться.

Большое значение придавал Блэр и требованию силы (выразительности). Сила предложения достигается «таким расположением и употреблением слов и членов предложения, которые выявят наилучшим образом смысл и придадут каждому слову и каждому члену предложения надлежащий вес и силу» [Blair 1814, 173]. Блэр предлагал освободить предложения от излишних слов и оборотов (перифраз, синонимов, пространных обстоятельств и т.п.): «все слова, которые не важны для значения предложения, наносят ему вред» [Blair 1814, 174]. В этом разделе большое внимание уделяется дейктическим элементам языка, прежде всего союзным словам и частицам. Внимание к связности дискурса признается многими исследователями важнейшей чертой нормативной традиции и литературной практики XVIII века (ср. [Adamson, 1999]). Советы Блэра при-

менительно к вопросам когезии имеют непосредственное отношение к основополагающему требованию ясности (структура предложения должна соответствовать структуре мысли). Однако, как отмечалось выше, ясность в эпоху Просвещения обладала и эстетическими свойствами. Вот характерное рассуждение Блэра, в котором стилистико-эмоциональные соображения выходят на первый план. Речь идет об употреблении предлогов и наречных частиц в конце предложения. Подобный порядок слов очень характерен для живой разговорной речи. Однако, по мнению Блэра, в литературном произведении он нежелателен: «Такая концовка всегда ослабляет предложение, когда мы хотим придать ему достоинство» [Blair 1814, 184]. Так же нежелательно отрывать существительное от предлога: «В этом случае мы испытываем своего рода болезненное ощущение, отвращение, когда две вещи, которые по своей природе тесно связаны, оказываются грубо оторванными друг от друга» [Blair 1814, 175]. При обсуждении союзных слов и частиц Блэр нередко ссылается на их способность придать предложению изящество (*gracefulness*). По его мнению, эти слова являются теми «соединениями или узлами, которые скрепляют все предложение, так что его изящество во многом зависит именно от этих частиц» [там же]. Очевидно, что аргументы, апеллирующие к «силе» и «изяществу» предложения, имеют скорее стилистический, нежели сугубо рационалистический характер.

К аргументам такого рода прибегает не только Х.Блэр. Так, Дж.Кэмбелл, автор другой авторитетной риторики второй половины XVIII века, при обсуждении достоинств различных коннекторов обращается к понятию «живости» (*vivacity*). «Они (различного рода коннекторы – НГ) враждебны живости... Чем менее они бросаются в глаза, тем совершеннее будет соединение частей, тем легче слушатель будет как бы скользить от одного слова, придаточного предложения или члена периода к другому» [Campbell 1849, 401]. На этом основании Кэмбелл критикует громоздкие коннекторы (*because that, while that, since that, whereunto, therewith, whereby* и т.п.). При их употреблении «есть риск сделать предложение утомительным, а выражение вялым. Улучшение в *куса* (разрядка наша – НГ) приводит к тому, что люди стремятся сокращать эти слабые элементы дискурса», – заключает он [там же]. Таким образом, как справедливо заметила Дж.Соренсен, для нормализаторов языка XVIII века правила основывались «не только на авторитете закона и логики, но и на авторитете субъективно переживаемых эстетических эффектов. Акцент на вкусе переносил определение уместности со строгих внешних правил на индивидуальное ощущение правильности» [Sorensen 2000, 141]. К этому следует лишь добавить, что со временем многие нормативные положения,

основанные первоначально на индивидуальном вкусе, приобретали на страницах грамматик и риторик характер «внешних правил».

Так в истории литературного языка факты стиля имеют тенденцию становиться фактами языка, превращаясь в общепризнанные правила, действие которых может сохраняться на долгое время. Стилистические предпочтения той исторической эпохи, на которую пришлось становление соответствующего литературного языка, во многом определяют характер правил и сам образ родного языка, формирующийся в сознании его носителей. Тот стилистический импульс, который получает литературный язык в эпоху его формирования, на целые столетия сохраняет свою силу. Так, литературные языки, сформировавшиеся в эпоху Просвещения, имеют другую систему правил и другой тип обоснования этих правил, нежели языки, сложившиеся в более позднюю историческую эпоху. Таким образом, историческая стилистика в большой мере может быть основанием для периодизации литературного языка и объяснения его неповторимого характера.

Литература

Германова Н.Н. Когнитивные основания британской нормативной традиции (конец XVII - первая половина XIX века) // Вестник МГЛУ, вып. 475. М., 2004.

Германова Н.Н. Философия языка в Великобритании в XVII веке: традиция лингвистического скептицизма // Вестник МГЛУ, вып. 510. М., 2005.

Гилберт К., Кун Г. История эстетики. Книга I - М.: Прогресс, 2000.

Семенюк Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.

Adamson S. Literary Language // Cambridge History of the English Language. vol. III. 1476 - 1776. Cambridge, 1999.

Blair H. Lectures on Rhetoric and Belles-Lettres: in 2 vols. Edinburgh, Wallace, 1814.

Campbell I. The Philosophy of Rhetoric. N.Y.: New York Printing Company, 1849.

Sorensen I. The Grammar of Empire in eighteenth-century British Writing. Cambridge: Cambridge univ. press, 2000.

Р.К. Потапова, В.В. Потапов
О НАУЧНОМ СТИЛЕ С ПОЗИЦИЙ ПРАГМАФОНЕТИКИ

*Дорогой Наталье Николаевне
с глубоким и искренним уважением*

Развитие концепции речеведения применительно к звучащей речи немислимо без глубокого понимания модели речевой коммуникации, где устно-речевая вербалика причудливо сочетается с пара- и экстравербаликой, обусловленной биологическими, этническими, психологическими, физико-физиологическими и ситуативными факторами [Потапова 1997; Потапова 2010; Потапова, Потапов 2006; Potapova, Potapov 2010]. В рамках концепции речеведения изучались и изучаются особенности процессов речепроизводства и речевосприятия, а также интерпретации речевого сообщения, рассматриваемого как компонент акта коммуникации. Основываясь на уточненной модели реальной речевой коммуникации, целесообразно выделять наряду с общими коммуникативными составляющими (адресант, адресат, сверхзадача, мотивация, намерение, вербальное/невербальное кодирование/декодирование сообщения, тактические и стратегические речеповеденческие ходы, оценка ситуации и фоновых факторов, индекс ожидания и др.) такие типично устно-речевые составляющие, как нейровербальное пред- и постпрограммирование сегментных (звуковых, слоговых) и супрасегментных (просодических) квантов в процессах реализации речепроизводства и речевосприятия, а также нейроневербальное (пара- и экстравербальное) пред- и постпрограммирование сопутствующей информации, заложенной, например, в таких невербальных актах речевого поведения, как повторение, контрадикция, субституция, акцентирование, дополнение [Потапова 1986; Потапова 2010].

Изучение специфики устно-речевой коммуникации с учетом всех вышеприведенных факторов представляется архисложной задачей, трудность и масштабность которой возрастает, когда предметом исследования становится не один язык, а сопоставление ряда языков, на материале которых актуализируется то или иное речевое высказывание в акте, в частности, научной устно-речевой коммуникации. Следовательно, обращение к типологии и компаративистике ставит перед исследователями устно-речевой коммуникации целый ряд дополнительных задач, обусловленных спецификой речевого кодирования и декодирования звучащей речи. Задача усложняется по мере включения в предмет исследования все более детальных ракурсов его рассмотрения. И прежде всего такого ракурса, как функциональные стили с позиций *прагмафонетики* [Потапова 1990].

Дальнейшая эскалация трудностей исследования предмета устно-речевой коммуникации связана с фактором межъязыкового и межкультурного характера. Что касается данного фактора, то на сегодняшний день теория проблемы и отчасти прагматика подхода нашли отражение в трудах ряда лингвистов, например, [Стернин 2002; Куликова 2009] и др. Однако, как правило, в этих исследованиях не затронут аспект взаимодействия прагмафонетики и стилистики.

Прежде, чем перейти к сопоставлению фонетических (сегментных и супraseгментных) характеристик спонтанной и квазиспонтанной публичной научной речи в условиях коммуникации «агенса» (докладчик, лектор) – «пациенса» (слушатель/аудитория слушателей)¹ применительно к различным языкам, необходимо остановиться на концептуально важных положениях теории стиля. Так, например, в работах Н.Н. Семенюк предложен целый ряд подходов, относящихся к проблеме стиля в лингвистике. Н.Н. Семенюк подчеркивает, что «вопрос о функционально-стилистическом расслоении литературного языка входит в более общий круг проблем, касающихся изучения разных типов лингвистического варьирования. К числу возможных вариаций относятся территориальные, социальные и функционально-стилистические разграничения. Данные разграничения возникают в языке благодаря воздействию на него различных внешних факторов, связанных с общими условиями существования языка или со специфическими целями его использования в какой-то определенной сфере человеческой деятельности» [Семенюк 1972, 9]. И далее подчеркивается «нетрудно заметить, что перечисленные факторы группируются в два относительно самостоятельных ряда, первый из которых связан с общими условиями существования языка в обществе, а второй – со специфическими условиями и целями его использования в разных коммуникативных сферах... Вместе с тем характер использования языка непосредственно определяется задачами и содержанием к о м м у н и к а ц и и (разрядка наша – Р.П., В.П.), находя выражение в исторически обусловленных, традиционных для данного коллектива формах отбора и группировки лингвистических средств. В соответствии с

¹ В данном контексте мы считаем нецелесообразным применение следующих терминов: «говорящий»/«слушающий», «адресант»/«адресат». Представляется более адекватным использование терминов «агенса», «пациенса», которые обозначают коммуникантов в определенной ситуации, соотносящейся с конкретным действием: лектор – студент(-ы), «докладчик – слушатель(-ли)» и т.д. «Термином «агенса» обозначают одушевленного участника коммуникации, ее намеренного инициатора, который контролирует ситуацию, непосредственно исполняет соответствующее действие и является «источником энергии» этого действия» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990, 17].

различными дифференцирующими факторами могут быть выделены следующие виды языковых разграничений: хронологические, территориальные, социальные и стилистические» [Семенюк 1972, 15].

Нельзя не остановиться еще на одном высказывании Н.Н. Семенюк: «... хронологические дифференциации, отражающиеся в синхронии, могут избирательно охватывать самые различные языковые явления, территориальные – базируются на варьировании фонетических, морфологических и лексических элементов, социальные дифференциации касаются преимущественно лексики и произношения, а стилистические основываются главным образом на количественном и качественном распределении лексем и синтаксических конструкций, частично используя, впрочем, также фонетические и морфологические явления» [Семенюк 1972, 22]. Следует особо подчеркнуть, что в этой многоярусной конструкции определенное место занимает фонетическая составляющая.

Общая теория стилей в лингвистике и, в частности, в германистике активно разрабатывалась на протяжении всего XX века [Брандес 2004; Карасик 2002; Лотман 1977; Маслова 2007; Матвеева 1984а; Матвеева 1984б; Митрофанова 2009; Riesel 1959; Riesel, Schendels 1975; Schmidt, Stock 1977; Schneider 1987]. Постулируется, что лингвистическая стилистика (лингвостилистика) как система включает ряд подсистем, обусловленных способом употребления языка в его звучащей и письменной формах. В рамках лингвостилистики функционируют единицы *микро-* и *макростилистики*, связанные с решением определенных задач коммуникации. Так, для задач микростилистики присущ интерес к функционированию единиц определенных языковых уровней, в то время как для задач макростилистики – интерес к функционированию текста/дискурса в его целостности. При этом в качестве предмета исследования применительно к звучащей речи служат монологи, диалоги, полилоги, т.е. дискурс, связанный с определенными условиями его функционирования, включая как контактное непосредственное общение, так и дистантное опосредованное общение (например, общение по телефону). К последнему типу общения можно было бы отнести и, например, дистанционное обучение в режиме on-line, а также с помощью других средств новых информационно-коммуникационных технологий [Потапова 2005; Кедрова, Потапов, Егоров, Омельянова, Волкова 2009].

Естественно, что исследование в области макростилистики не может не включать анализ единиц микростилистики. Так, например, для изучения устного научного стиля речи привлекаются единицы как макростилистики (заполненные на лексическом уровне и незаполненные паузы, фрагменты сегментации звучащего текста (фоноабзацы), ритмические структуры, ритмические такты), так и микростилистики (отдельные зву-

ки, слоги, звуковые заполнители пауз хезитации на уровне звука или слога, выделенные участки (гласные) фразы и др.). Обычно реализация единиц микро- и макростилистики выступает в сочетании с пара- и экстравербальными средствами коммуникации. При этом резкой границы между микро- и макростилистикой не существует.

Как указывалось ранее, лингвостилистика в отечественном и зарубежном языкознании была, в основном, обращена к письменной речи. И стиль научной речи исследовался, как правило, на материале текстов монографий, статей, опубликованных докладов, рефератов, рецензий, аннотаций, инструкций, комментариев и т.д.

В то же время практически в стороне оставался такой предмет исследования, как звучащая речь применительно к лекциям, докладам, выступлениям в дискуссии, консультациям, участию в семинарах и т.д. Если к тому же учесть оживление в последние годы международных, (и межкультурных) научных связей, тенденцию к получению знаний в зарубежных университетах отечественных студентов и обучающихся в России иностранных студентов, активизации научной и экономической жизни, то становится понятным интерес к проблеме реализации научного устно-речевого стиля в межъязыковом и межкультурном аспектах. И в данном случае на первый план для адекватной интерпретации замысла агенса выходит знание пациентом особенностей устно-речевой актуализации научного текста/дискурса. Именно текста/дискурса в их взаимодействии и цельности, а не в отдельности, так как в любом виде научной коммуникации за любым дискурсом стоит *a priori* текст, соотносящийся с эрудицией, совокупностью профессиональных знаний, упорядоченных в рамках подготовленного ранее текста (текстов).

Необходимо подчеркнуть, что бурное развитие дискурсологии в конце XX и начале XXI веков породило ряд дефиниций термина «дискурс». Однако обсуждение множества подходов к определению этого термина не является задачей настоящей статьи. Вместе с тем, говоря о *научном дискурсе*, можно привести одно из, на наш взгляд, удачных определений: «научный дискурс – коммуникация между исследователями, осуществляемая в печати (статьях, книгах), в устных сообщениях и т.д. Развитие определенной научной дисциплины часто сопровождается и определенными изменениями в характере научного дискурса, например, обогащением или модификацией терминологической базы, а также набора наиболее часто используемых клише и оборотов» [Вспомогательный словарь 2002, 47]. Однако и в этом определении круг коммуникантов ограничен исследователями, что сужает объем самого понятия «научный дискурс».

Особое значение приобретает знание особенностей сегментации и интеграции составляющих устного научного текста/дискурса с учетом об-

щей структуры соотношения категорий формы и содержания. С этой точки зрения мы выделяем следующие признаки научного устно-речевого стиля:

1. Конструктивное единство звучащего научного макровысказывания с учетом соотношения «смысл – текст/дискурс» для агенса и «текст/дискурс – смысл» для пациенса, что дает возможность более полного охвата специфики характера взаимодействия коммуникантов применительно к научному стилю.

2. Структурную композицию научного текста/дискурса, включающую:

- реализацию фатической функции, начального типа,
- постановку проблемы,
- разработку основной темы, включающую последовательность предлагаемого агенсом материала, его теоретическое и практическое обоснования,
- реализацию иллюстрирующей функции,
- реализацию композиционной репризы с необходимыми умозаключениями,
- наличие фатической функции завершающего типа¹.

3. Сегментацию целостной структуры текста/дискурса на тематически дифференцируемые, но конструктивно связанные между собой субструктуры:

- смысловые сегменты: тему, рему,
- содержательные сегменты звучащего текста/дискурса с учетом объема оперативной памяти человека (7 ± 2).

4. Форму подачи звучащего материала применительно к таким разновидностям говорения, как монолог, диалог, полилог.

5. Внешние условия и сопутствующие факторы коммуникации. Архитектоника звучащего научного текста зависит от цели конкретного речевого действия, конкретной ситуации, специфики агенса, специфики пациенса, сверхзадачи реализации речевого действия.

Применительно к реализации единиц речевого производства и речевосприятия картина взаимозависимости отдельных процессов в речевой деятельности определяется наличием цепочки состояний: актуализация

¹ По нашему мнению, в этом отношении структурную композицию устного научного произведения (например, лекции) можно сравнить со структурной композицией музыкальных произведений сонатной формы (увертюры, симфонические поэмы и др.), включающей экспозицию (завязку), разработку (развитие) и репризу (развязку), воплощенных в произведении сюжета. С фатической частью произведения устного научного стиля можно сравнить вступление (и код) в музыкальном произведении.

«смысл → текст/дискурс» → последовательность акустических знаков → сегментация потока акустических знаков → избирательная интеграция акустических знаков → результирующий акустический продукт → восприятие результирующего акустического продукта → сегментация акустических знаков → избирательная интеграция акустических знаков → интерпретация текста/дискурса → актуализация «текст/дискурс – смысл».

Применительно к научному стилю звучащей речи вышеприведенная последовательность состояний имеет особое значение, так как от личности и степени эрудиции агенса зависит полноценная реакция пациента (аудитории, отдельных репрезентантов этой аудитории).

Естественно, что при этом особое значение приобретает дискурсивная компетенция пациента. На различие в понимании коммуникативной и дискурсивной компетенций указывает Ю.М. Казанцева [Казанцева 2002, 77-78], в чем мы с автором абсолютно согласны. При этом особо выделена классификация компонентов коммуникативной компетенции [van Ek 1987, 8-9]:

– лингвистическая компетенция – способность порождать и интерпретировать связанные высказывания в соответствии с правилами образования и употребления языковых средств;

– социолингвистическая компетенция – умение учитывать характер коммуникативной ситуации и осуществлять осознанный выбор языковых средств, стиля изложения в зависимости от ролей коммуникантов и коммуникативной интенции;

– дискурсивная компетенция – способность использовать адекватные стратегии при порождении и интерпретации текста, владение средствами обеспечения связности высказывания;

– стратегическая компетенция – способность использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации возможных сбоев в коммуникации, обусловленных недостаточной сформированностью перечисленных ранее умений;

– социокультурная компетенция – знание социокультурного контекста и его влияния на выбор и коммуникативный эффект используемых языковых форм;

– социальная компетенция – способность адекватно использовать социальные стратегии для достижения коммуникативных целей.

Далее Ю.М. Казанцева замечает следующее: «Если проанализировать сформулированные составляющие коммуникативной компетенции в их взаимосвязи, становится, на наш взгляд, очевидным, что именно *дискурсивная компетенция*, направленная на порождение и интерпретацию текста, является всеобъемлющей, поскольку остальные уровни описывают

умения, отражающие предпосылки для порождения и интерпретации текста в составе дискурса» [Казанцева 2002, 78].

Таким образом, дискурсивная компетентность на базе отдельных дискурсивных компетенций является, по нашему мнению, одним из важнейших факторов результативности акта коммуникации в рамках научного межъязыкового и межкультурного общения применительно к устно-речевому научному стилю.

Ранее указывалось на наличие ряда видов реализации устно-речевого научного дискурса в акте коммуникации. Из всех перечисленных видов более-менее исследованной с позиций прагмафонетики является лекция, где реализация сегментных и супraseгментных характеристик для различных языков как универсальна с учетом факторов публичности, квазиспонтанности и обращенности, так и уникальна с учетом личности агенса, степени его подготовленности, специфики отбора языковых средств в процессе говорения, индивидуальности соотношения вербальных, пара- и экстравербальных средств с учетом *ratio* и *emotio* ($ratio \geq emotio$; $ratio \leq emotio$). Немалую роль играет также контактоустнавливающий фактор со стороны агенса по отношению к пациенту.

Приведем несколько примеров на материале русского, английского и немецкого языков. Применительно к русской устно-речевой научной коммуникации особое значение приобретают, например, следующие признаки: интонационное членение устной научной речи как текстообразующий фактор, разные типы произнесения (полное, неполное), акцентное выделение [Борисенко 1985; Николаева 1985; Скорикова 1985]. При этом особое внимание уделяется сегментации звучащего научного текста/дискурса, соотношению синтаксического и интонационного типов членения высказывания в устной научной речи, ритмико-мелодическому построению, интонационным ориентирам, акцентному подчеркиванию, интонационному обособлению компонентов высказывания, параллелизму мелодического оформления частей высказывания, ритмически сбалансированным построениям речевых сегментов [Скорикова 1985, 203-243]. Спонтанность и монологичность устной научной речи сопряжена с другими жанрами публичной спонтанной адресованной речи (большая дробность членения, вторичность синтаксического показателя для членения, первичность ситуативно-смыслового фактора и др. [Скорикова 1985, 211]). Согласно В.В. Борисенко, для устной научной речи характерны как замедление, так и ускорение темпа произнесения, что связано со степенью информативности высказывания или его частей [Борисенко 1985, 248-285]. Сопоставление ускоренного и замедленного типов произнесения в русской устной научной речи на материале публично адресованного речевого дискурса помогло выявить наличие ряда функций: контраста,

выделенности, снятия информативности, указания на предшествующий сегмент высказывания, привлечения внимания, передачи сильной позиции во фразе, имитации «разговорности» [Борисенко 1985, 284-287].

Для актуализации всех вышеперечисленных функций служит реализация супraseгментных характеристик (например, мелодики, темпа, громкости, ударения, пауз). При этом, как совершенно справедливо отмечает автор, характеристики информативны не сами по себе в их абсолютных значениях, а лишь в соотношении друг с другом¹. Мы абсолютно согласны с мнением автора, согласно которому для иноязычной и инокультурной аудитории релевантно знание целого ряда супraseгментных особенностей устного монологического научного дискурса «... необходимо особое внимание к супraseгментным единицам фонетики и правилам их соотношенности друг с другом и стоящей за ними информации. Скорость восприятия текста у иностранца будет еще меньше, чем у слушающего текст на родном языке, и, значит, в речи должны быть зоны меньшей информативности, которые допустимо прослушать, и должны быть сигналы голоса, сообщающие о таких зонах. Следовательно, контрастность устной научной речи необходимо считать положительным фактором этой речи, помогающим ее восприятию, а наличие трех разных типов произношения в устной научной речи следует признать обязательным условием такой контрастности» [Борисенко 1985, 291].

Говоря о функциях акцентного выделения применительно к устной научной речи, Т.М. Николаева подчеркивает, что «функционирование акцентных выделений в устной научной речи определяется двумя аспектами самого устного выступления: задачей формирования такого устного связного текста, который был бы доходчиво донесен до аудитории, и задачей воздействия на аудиторию (в этом последнем устная научная речь сходна с любым публичным выступлением). Обе задачи неотделимы друг от друга» [Николаева 1985, 298-299]. Представляя модель функционирования подчеркиваний в устной научной речи, автор подробно исследует три аспекта: выделенность служебных и знаменательных слов, формирование «опорных точек» в устной научной речи и квалификативные функции устной научной речи.

К ряду явлений в сфере словесной просодии, связанной с лексической спецификой научной речи, обращается также О.Ф. Кривнова, говоря о

¹ В связи с этим отрадно то, что автор стоит на позициях школы В.А. Артемова, возглавлявшего кафедру психологии и лабораторию экспериментальной фонетики и психологии речи МГПИИЯ им. М. Тореза в 50–70 гг. прошлого века и проповедовавшего во всех своих трудах значимость относительных, а не абсолютных значений основных физических характеристик речи (см., например, [Артемов 1956] и др.).

ритмическом словаре и ритмоударной форме синтагмы в устной научной речи [Кривнова 1982а; Кривнова 1982б; Кривнова 2005].

На материале английской устной речи применительно к жанру лекции следует привести некоторые результаты исследования [Давыдов, Рубинова 1997], цель которого заключалась в анализе ритма английской речи. Рассматривая «лекционный регистр», авторы останавливаются на анализе акцентных моделей английского языка с второстепенным ударением в пре- и постпозиции, а также на проблеме изохронности речи и варьировании акцентных моделей. Параллельно анализируются темп произнесения и изменение мелодики. Исследуя материал с помощью перцептивно-слухового метода, авторы пришли к выводу, что «... даже на сравнительно ограниченном материале выявляется тенденция к изменению акцентных моделей под влиянием фразового ритма в зависимости от положения в синтагме. Наиболее уязвимым с этой точки зрения является срединное положение в синтагме ...» [Давыдов, Рубинова 1997, 47]. И далее «в целом можно утверждать, что в лекционном регистре, действительно, происходит максимальная реализация словарных акцентных моделей, или же другими словами, словарные акцентные модели достаточно адекватно отражают реальную картину функционирования многосложных многоударных слов в речи...» [Давыдов, Рубинова 1997, 48].

Достойным упоминания представляется экспериментально-фонетическое исследование английской публичной монологической речи, обращенной к одному и к группе лиц [Новицкий 1977]. Несмотря на то, что материалом исследования послужили английские официально-деловые, а не научные монологи, представляется целесообразным остановиться на результатах данного исследования, которые могут быть экстраполированы в некоторой степени на плоскость фонетической природы английской устной научной речи. Более того, при проведении исследования учитывались также и социальные факторы: наличие/отсутствие авторитета для пар коммуникантов по отношению друг к другу. Данный социальный ракурс применительно к устному научному стилю присутствует имплицитно, однако устная научная речь для жанра «лекция» предполагает лишь одну оппозицию: агент как авторитетное лицо и пациент как лицо (группа лиц), стоящая на более низкой социально-статусной ступени хотя бы с учетом отсутствия необходимых знаний. Автор в ходе перцептивно-слухового и акустического видов анализа выделяет следующие параметры: тональный регистр, тональный диапазон, типы предшكال, типы шкалы, типы терминального тона, типы максимальных интервалов понижения и повышения тона, скорость изменения максимальных тональных интервалов, степень выделенности слогов, громкость, динами-

ческий диапазон, среднеслоговая интенсивность, типы пауз с перерывом в фонации, среднеслоговая длительность [Новицкий 1977, 49].

«Исходя из данных сопоставительного анализа, позволивших выявить комплекс просодических признаков ситуативных и позиционных типов устной официально-деловой английской монологической речи, к разряду ядерно дистинктивных признаков на перцептивном уровне следует отнести темп речи, рекуррентность типов воспринимаемых пауз с перерывом в фонации, характер членения на синтагмы, ритмическую организацию, тональный диапазон и регистр, рекуррентность тональных типов участков синтагм. На акустическом уровне – типы максимальных интервалов понижения и повышения тона, локализацию максимальных и минимальных значений частоты основного тона, среднеслоговую интенсивность и длительность» [Новицкий 1977, 55-56].

В качестве примера экспериментально-фонетического исследования лекторской речи на материале немецкого языка следует привести результаты анализа фоностилистической организации немецкой лекторской речи, проведенного под руководством и при участии Р.К. Потаповой [Жакиева 1987, 1-22]. Следует остановиться на некоторых наиболее интересных результатах, полученных нами ранее и нашедших подтверждение в более поздних исследованиях. В качестве основного предмета исследования использовались фонограммы оригинальных лекций, в естественных аудиторных условиях прочитанных высококвалифицированными специалистами ряда университетов Германии. В исследовании решались такие задачи, как: определить влияние дидактической установки, наличия/отсутствия письменной опоры и степени выраженности письменной опоры на интонационную организацию лекторской речи; установить участие и роль средств интонации в смысловом подчеркивании, выделении существенной информации; выявить просодические средства сегментации речевого потока; описать паузацию, темп, мелодику, акцентуацию и шкалу громкости лекторской речи; определить характер соотношения в функционировании вербальных и невербальных средств.

За минимальную единицу исследования был принят фонетический абзац (фоноабзац), представляющий собой относительно законченный смысловый фрагмент, синтаксическую и интонационную целостность, объединенную единой микротемой.

В качестве основных делимитативных признаков при определении границ фоноабзацев рассматривались: на семантическом уровне смена микротемы, на интонационном уровне – максимально длительная пауза, замедление темпа речи, максимальное понижение частоты основного тона, сужение диапазона частоты основного тона. Общее время звучания фонограмм с лекционным материалом равнялось 45 часам.

Непосредственным объектом исследования послужили фоноабзацы, взятые из лекций, и соответствующие инициальной (введению), медиальной (основной) и финальной (заключительной) частям лекторского текста.

Таким образом, материалом для исследования послужили аутентичные лекции, их фоно- и видеограммы, а также вторичные тексты лекций, полученные в результате прослушивания фонограмм и их перевода в письменную форму. При отборе экспериментального корпуса учитывалось качество магнитофонной записи, что диктовалось пригодностью материала для дальнейшего акустического анализа. Последнее проверялось с помощью предварительного прослушивания и визуального анализа звучащих текстов лекций на экране монитора компьютера.

В проведении слухового анализа, который является одним из основных компонентов экспериментально-фонетических исследований, принимали участие носители языка и фонетисты с многолетним опытом аудирования. Задача аудиторов-носителей языка состояла в том, чтобы на основе слухового восприятия интонационных структур определить жанровую принадлежность научной речи, предложенной им для прослушивания. Аудиторский анализ, проведенный фонетистами, состоял из последовательных серий: собственно слухового анализа, аудиторского анализа с опорой на графическую основу, анализа фоно- и видеограммы (аудиовизуального анализа).

Исследование проходило поэтапно. На первом этапе аудиторы определяли общие особенности функционирования просодических параметров, их участие в подчеркивании (выделении) важных смысловых центров, интонационную специфику при наличии/отсутствии письменной опоры и степени фонетической выраженности по шкале: речь с максимальной (полной) опорой, речь с минимальной (частичной) опорой и свободная, несвязанная письменным конспектом речь, речь при отсутствии опоры; анализировались обращенность речи с учетом признаков: обращенная, мало- и необращенная речь, а также степень интонационной выразительности речи: выразительная, менее выразительная и невыразительная речь.

На втором этапе аудиторам наряду с фонограммой лекций были предложены их письменные корреляты. Иными словами, перед аудиторами стояли задачи, связанные с сегментацией речевого континуума, разметкой места и длительности пауз, выявлением наиболее важных по смыслу слов и обозначением их иерархии по выделенности, разметкой движения частоты основного тона и определением темпа речи.

Последующие этапы исследования были объединены под общим названием «аудиовизуальных». Задача испытуемых на этих этапах заключалась

в выявлении невербалики: участия и роли коммуникативно оправданных кодифицированных знаковых жестов, а также в установлении связи между интонационными и невербальными средствами¹ коммуникации.

Включение в исследование невербальных средств обусловлено тем, что непосредственность коммуникации создает благоприятные условия не только для слухового, но и для зрительного восприятия, что способствует в свою очередь тому, что учебный материал передается не только вербально, но и при помощи дополнительных невербальных средств. Для проведения аудиовизуального анализа были использованы видеозаписи лекций, полученных с помощью видеомagneтофона «Sony». С целью предупреждения наложения зрительных образов на заранее созданный слуховой образ визуальный анализ был проведен через месяц после проведения перцептивно-слухового анализа. На первом этапе была проанализирована фонограмма лекции. Задача аудиторов состояла при этом в определении того, достаточно ли подчеркнуты основные смысловые блоки в лекции. Необходимо было также отметить обращенность речи к слушателям и по возможности назвать причины, вызвавшие паузы гезитации. На втором этапе была проанализирована видеогрaмма лекции. В задачу аудиторов входило выявление и разметка в письменном тексте лекции слов, словосочетаний, сопровождаемых жестом, а также выявление случаев совпадения функции интонационных и невербальных средств, то есть установление параллелизма в их функционировании и описание коммуникативно оправданных жестов².

Применительно к сегментации немецкой лекторской речи были получены следующие данные: вследствие спонтанности порождения речи-мысли (по Щербе) в условиях непосредственной коммуникации, непрерывности и квазиспонтанности речемыслительного процесса, определенного дефицита времени, предназначенного для формирования смысла и преобразования его в звучащий текст, построения речи путем ассоциативного нанизывания отдельных высказываний, как правило, в потоке речи реализуются синтагмы, различающиеся как по своей слоговой длине, так и по синтаксической наполненности (полные и неполные). Вместе с тем неполные синтагмы не характеризуются интонационной завершенностью и не нарушают поэтому интонационную целостность фоноабзаца.

Кроме того, было выявлено, что различные позиционно обусловленные фоноабзацы лекций характеризуются различным характером сегментации речевого потока. Так, например, в инициальной части лекции пре-

¹ Подробнее о соотношении вербалики и невербалики в немецко-русской коммуникации см. в: [Потапова, Потапов 2008; Potapova, Potapov 2010].

² О соотношении вербалики и невербалики см. [Потапова 1997; Потапова 2010].

обладают короткие синтагмы (61%), состоящие из 4-5 слогов; в основной медиальной части имеют место длинные синтагмы, состоящие из 8 и более слогов (37%), в 31% случаев – чередование длинных и коротких синтагм и лишь в 15% имеют место короткие синтагмы. Финаль лекции характеризуется относительно равномерным распределением синтагм различной длины: в 24% случаев отмечены короткие, в 31% – длинные и в 33% – чередование коротких и длинных синтагм.

Приведенные данные можно соотнести с особенностями психолингвистического поведения индивида: начало публичного порождения «смысл–текст/дискурс» сопряжено с процессом «конструирования» целого с опорой на более дискретные смысловые «кирпичики» речевого высказывания, середина (разработка темы) – с опорой на более сформировавшиеся смысловые блоки и, наконец, конечная завершающая часть – с опорой на равномерно уравнивающие друг друга, использованные ранее смысловые конструкции.

Сегментация речевого континуума может осуществляться всеми средствами интонации [Потапова 1983]. Однако в лекторской речи в качестве основного средства сегментации выступает пауза, как заполненная, так и незаполненная. В экспериментальной фонетике пауза определяется как перерыв в звучании, фиксируемый падением среднего звукового давления до нуля на минимальном временном отрезке [Drommel 1974]. В лекторской речи паузы бифункциональны, то есть они выполняют как связующую, так и делимитативную функции. В ходе исследования были определены частотность пауз, коэффициент паузации, средняя длительность пауз разного ранга и их распределение в различных композиционных частях лекторской речи. О паузальной насыщенности лекторской речи свидетельствует изменение значения коэффициента паузации, который определялся по формуле:

$$K_p = \frac{t_{\Sigma 1}}{t_{\Sigma 2}},$$

где $t_{\Sigma 1}$ – означает суммарную длительность звучания текста, включая паузы (в мс); $t_{\Sigma 2}$ – суммарную длительность звучания текста, исключая паузы (в мс); их соотношение характеризует коэффициент паузации – K_p . При беспазуальной реализации высказывания этот коэффициент будет равен единице. При паузальной насыщенности K_p возрастает [Блохина, Потапова 1977; Блохина, Потапова 1982; Потапова, Блохина 1986]. При определении K_p были получены данные, свидетельствующие о паузальной насыщенности немецкой лекторской речи (K_p = от 1,3 и до 1,7). В отношении распределения пауз в различных композиционных частях лекторской речи установлено следующее: 40% от общего количества пауз

локализовано в инициальной, 35% – в медиальной и 25% – в финальной частях лекторской речи, что не противоречит законам построения звучащего текста/дискурса. Что касается рангового распределения пауз выявлено относительно равномерное распределение коротких пауз, то на всех анализируемых участках, то есть по 33% в каждой композиционной части лекции. Отмечалось небольшое уменьшение процентного содержания пауз средней длины в финали. Другими словами, в инициали паузы такого рода имеют место в 35% случаев, медиали – 33% и в финали – в 32% случаев. Длительные паузы распределены в лекторской речи следующим образом: в 37% случаев в финальной, в 35% – в инициальной и в 28% – в медиальной частях. Средняя физическая длительность коротких пауз составляет 260 мс: средних – 600 мс, длительных – 880 мс, сверхдлительных – 1700 мс.

В ходе данного исследования было выявлено, что в немецкой лекторской речи имеют место всевозможные виды пауз, то есть различные с учетом функционального назначения (синтаксические, несинтаксические, то есть паузы хезитации), локализации (межфразовые, межсинтагменные, внутрисинтагменные) и длительности.

Немаловажное значение для слухового восприятия при оптимизации понимания имеет адекватно «отрегулированный» темп речи. Как в отечественной, так и в зарубежной фонетической литературе существуют, как известно, разные методы исследования темпа, различные дефиниции темпа речи, его различная градация.

В настоящем экспериментально-фонетическом исследовании мы исходили из трехступенчатой градации темпа (замедленный, средний, быстрый). В качестве минимальной единицы измерения скорости произнесения рассматривается слог. Для определения темпа лекторской речи мы обратились к аудиторскому и акустическому видам анализа. По данным перцептивно-слухового анализа темп лекторской речи был отмечен в 51% случаев как замедленный, в 35% – как средний и в 18% – как быстрый. В композиционных частях лекторской речи отмечено ускорение темпа речи по мере приближения к концу лекции. Так, например, в начале лекции быстрый темп речи имеет место в 12%, в середине – в 29% и в конце – в 59% случаев. В отношении среднего темпа речи наблюдается иная картина: процентное содержание воспринимаемого на слух среднего темпа речи в инициали 39%, в медиали 32% и в финали 29%. К концу лекции происходит постепенное уменьшение речепроизводства в среднем темпе. Наибольшим замедлением темпа речи характеризуется медиальная (основная) часть лекции, где реализация замедленного темпа речи отмечена в 39% случаев. Замедленный темп речи имеет место в инициали в 35% и в финали лекции – в 26%. Таким образом, реализация замедлен-

ного темпа характеризуется почти равными значениями для инициали и медиали и меньшими значениями – для финали. Логично предположить, что выявленная тенденция, повторяющаяся на всем анализируемом материале, также отражает процесс компоновки речи-мысли во времени: от вхождения в процесс – через «разработку темы» в середине процесса – к полному завершающему финалу процесса¹. Что касается фактора «стабильность/вариативность» темпа лекторской речи, то в 80% случаев темп речи был определен как вариативный.

Данные перцептивно-слухового анализа нашли подтверждение при проведении акустического анализа, в ходе которого определялись следующие темпоральные особенности лекторской речи: суммарная длительность фонации, включая паузы: суммарная длительность фонации без пауз, общий и относительный темп речи. Установлено ускорение относительного темпа речи по сравнению с общим темпом речи на 62%, что в свою очередь еще раз свидетельствует как о паузальной насыщенности лекторской речи, так и о специфичности ее темпоральной организации.

Исследование особенностей акцентуации в лекторской речи основано на трехступенчатой градации в соответствии с классификацией Э. Зиверса [Sievers 1901]. В ходе проведенного анализа получены следующие данные: в лекторской речи в 66% случаев имеет место среднее, в 23% – сильное и в 11% – слабое ударение. Сильное ударение в большей степени представлено в финали лекции (38%), в инициали и медиали сильное ударение характеризуется одинаковой величиной.

Использование ударения средней степени отмечено в инициали лекции (38%), в финали – (34%). Несколько уменьшено процентное содержание среднего ударения в медиали лекции. Преобладание средней степени ударения в лекторской речи обусловлено, по нашему предположению, как стилистической принадлежностью (нейтральностью речи), так и ее дидактической маркированностью.

Результаты эксперимента по выявлению степени вариативности, равномерности и контрастности акцентного выделения свидетельствуют о том, что большей вариативностью акцентного выделения характеризуется инициаль лекции. В медиальной части лекции акцентное выделение отмечено в 48% как равномерное, в 44% – как контрастное. Такое противоречие можно, вероятно, объяснить тем, что регулярное контрастное подчеркивание на протяжении продолжительного сообщения создает впечатление монотонности. Контрастное акцентное выделение обнару-

¹ С нашей точки зрения, реализация темпа в данном случае аналогична реализации темпа в музыкальных сонатных формах: ввод темы в среднем-среднезамедленном темпе, разработка темы в среднем-среднеубыстренном темпе, завершения темы – в убыстренном, реже в среднезамедленном темпе.

жено в финальной части лекции в 35%, в инициали – в 26%. Итак, для дидактически маркированной нейтральной с позиции стилистической принадлежности лекторской речи характерна в основном средняя акцентная выделенность. Большой вариативностью акцентного выделения характеризуется инициальная часть лекции, во время которой лектор устанавливает контакт с аудиторией, излагает в общих чертах тему предстоящей лекции.

Речевая мелодика, по определению О. фон Эссена [von Essen 1957], физически мотивированное, выразительное, объединенное в единство, и таким образом выполняющее организующую функцию движение основного тона. Мелодика речи теснейшим образом связана с семантикой, прагматической установкой говорящего, с видом речи и речевой деятельностью. Как известно, мелодика выполняет в речи самые различные функции, но одной из основных ее функций является объединение отдельных частей текста в единое целое. Традиционно в немецкой фонетике различают три вида мелодики: терминальную, прогрессиентную и интеррогационную, которая от автора к автору терминологически варьирует. В последнее время в связи с интенсивным обращением к исследованию звучащего текста наблюдается более детальное изучение каждого из видов мелодики. Вследствие этого исследователями установлена возможность сочетания восходяще-нисходящего, нисходяще-восходящего и других конфигураций тона внутри одного вида мелодики. В исследованиях при изучении интонации используется как традиционный контурный, так и вертикальный уровневый методы анализа, так как «ни контурный анализ, ни уровневый методы анализа просодических единиц, взятые в отдельности, не могут способствовать адекватному описанию просодии» [Daneš 1960].

При вертикальном методе анализа мелодики различают от 2 до 7 уровней. Мы исходим из традиционной трехступенчатой градации уровней, то есть для сопоставления высотной реализации частоты основного тона в различных композиционных частях лекторской речи частотный диапазон делится на три уровневые зоны: высокую, среднюю и низкую. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для лекторской речи характерно использование среднего диапазона голоса (64%). Использование широкого диапазона голоса отмечено в 21%, случаев, узкого – в 15 %. Значительная величина использования широкого диапазона голоса отмечена в финальном и инициальном фоноабзацах лекторской речи. Расширение диапазона голоса в заключительной части обусловлено, вероятно, стремлением лектора придать заключительным выводам особую значимость путем модуляции основного тона. Расширение и сужение диапазона основного тона в финали имеет место в 38%.

Результаты анализа мелодики позволяют говорить о том, что в лекторской речи наиболее употребительным является простой ровный тон, который отмечен в 54%. Второе место занимает восходящее движение тона, использование которого обнаружено в 24%. Преобладание ровного тона в речи лектора обусловлено, по-видимому, стилистической принадлежностью лекции. Частотность восходящего тона в лекторской речи связана, очевидно, свободным характером изложения мысли, непрерывностью речемыслительного процесса. Употребление сложного тона в инициальной и финальной частях лекторской речи вызвано стремлением лектора придать своей речи более непринужденный а к т и в и р у ю щ и й характер.

В тесной взаимосвязи с другими параметрами интонации находится громкость речи, которая была определена в рамках традиционной трехступенчатой градации, то есть как сильная, средняя и малая. В результате исследования установлено преобладание в лекторской речи средней громкости речи (75%), использование малой громкости речи отмечено в 18% и сильной громкости – в 7%, что позволяет сделать вывод о том, что специфическое экстралингвистическое окружение, относительно небольшой состав аудитории, стилистическая принадлежность лекции являются причиной преобладания средней громкости речи. Наибольшей вариативностью громкости речи характеризуется финаль; напротив, наименьшей вариативностью громкости – медиаль лекции. Первая обусловлена, вероятно, стремлением лектора привлечь внимание слушателей к основным выводам лекции, вторая – продолжительностью данной части лекции.

Таким образом, результаты анализа сегментных и супraseгментных средств на материале немецкого и русского языков свидетельствуют об их комплексном участии в формировании устного научного текста/дискурса. Выявлены их тесное взаимодействие, взаимообусловленность, различная сочетаемость, вариативная степень «активности» одного и того же параметра в соответствующих композиционных частях лекторской речи, что обусловлено фактором информационной насыщенности текста, а также психолингвистическими особенностями построения публичного звучащего текста/дискурса.

В исследовании рассматривалась не только текстоорганизующая функция интонации, но и функция подчеркивания важных смысловых блоков. По широко распространенному мнению, подчеркивание (выделение) важной информации осуществляется, главным образом, выделительным ударением, которое в зависимости от преобладания интеллектуального или эмоционального аспектов подразделяется на логическое и эмотивное. Мы исходим из предположения о том, что в качестве средства

подчеркивания могут быть использованы все просодические средства. Результаты перцептивно-слухового анализа подтвердили наше предположение о комплексном участии интонационных средств в подчеркивании, выделении важной информации. Наибольшей активностью среди них характеризуется темп, громкость и мелодика. Отмеченное варьирование средств интонации как внутри той или иной части лекции, так и с переходом от одной части лекции к другой, применение всех интонационных параметров в качестве средства подчеркивания являются как бы особым лекторским приемом, устраняющим монотонность, однообразие речевого континуума.

По определению степени обращенности лекторской речи были выявлены следующие закономерности: во-первых, как наиболее обращенные отмечены, главным образом, свободно изложенные лекции; лекции с частичной (минимальной) опорой на письменный текст были охарактеризованы как менее обращенные; лекции с полной (максимальной) опорой на письменную основу были отнесены к категории необращенной речи; во-вторых, из композиционных частей лекторской речи наибольшей обращенностью характеризуются инициальные фоноабзацы, максимально свободные от письменного текста. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что степень обращенности лекторской речи зависит как от свободного или связанного с письменным текстом характера речи, так и от композиционной структуры текста. Кроме того, существует определенная взаимосвязь между наличием/отсутствием письменного текста в качестве зрительной опоры агенса и интонационной выразительностью речи.

Как отмечалось выше, аудиовизуальный анализ включал несколько этапов. На первом этапе по данным анализа фонограмм без зрительной опоры для пациента при восприятии происходит ориентация на исключительно слуховые стимулы. Отсутствие визуального канала осложняет восприятие материала в целом. При исключительно слуховом восприятии стимула нарушается принцип параллелизма обработки информации. Известно, что одним из очевидных объяснений способности мозга избирательно воспринимать разнообразную информацию является наличие процесса параллелизма обработки стимулов. Для более полного эффекта распознавания объекта необходимо подключение информации других видов модальности. Результаты проведенного на втором этапе аудиовизуального анализа свидетельствуют о том, что жесты используются агенсом для выделения, подчеркивания существенной информации, оптимизации коммуникации в целом.

Относительно локализации жестов в речевом потоке установлено, что жесты могут накладываться как на сегментный и супraseгментный ряды,

так и на перерывы в звучании. Так, например, акцентные выделения, подчеркивания, указания, вопрос, со- и противопоставления сопровождаются кроме соответствующего интонационного оформления жестикуляцией. Жесты, сопровождающие вербалику, относятся к числу дублирующих жестов. Третью часть жестов составляют жесты подчеркивания, и менее трети – жесты перечисления. Указательные жесты сопровождают указательные местоимения. Лектор может также указать на себя, на слушателей, на какой-то предмет. Более важное в смысловом отношении сопровождается интенсивным, менее важное – соответственно менее интенсивным жестом. Результаты аудиовизуального анализа лекторской речи позволяют сделать вывод о том, что непосредственный характер общения, относительная стабильность аудитории создают благоприятные условия для использования в ней всех средств выразительности, включая коммуникативные жесты, которые дополняют реализацию текста/дискурса, способствуют оптимизации коммуникации и воздействия на аудиторию.

Таким образом, в формировании дидактически мотивированной лекторской речи принимают участие как вербальные, в частности, супrasegmentные параметры просодии, так и невербальные (жестикуляция) средства, которые своеобразно варьируют в зависимости от информационной насыщенности текста/дискурса и его композиционной структуры. О специфике восприятия вербалики и невербалики в акте коммуникации применительно к носителям немецкого языка см. [Потапова, Потапов 2008; Potapova, Potapov 2010].

Особую область изучения устной научной речи образуют различные средства обращенности (апеллятивности). Применительно к немецкому тексту/дискурсу данная проблема, в основном, разрабатывалась с учетом различных языковых уровней за исключением фонетического [Анисимова 1994; Митрофанова 2009], который нуждается в отдельном глубоком и детальном изучении. Есть примеры анализа звучащей монологической речи в сопоставительном аспекте, например, на материале немецкого и русского языков, однако без выделения в качестве специального предмета анализа феномена обращенности [Зубченко 2010].

Все вышеприведенные аргументы в пользу выделения звучащей научной речи как объекта и предмета исследования в области фоностилистики, коммуникативистики и речеведения убеждают нас в том, что проблема специфики речевой деятельности применительно к научному тексту/дискурсу для всех жанровых разновидностей не утратила своей привлекательности, тем более в сопоставительном аспекте с учетом факторов межъязыковой и межкультурной коммуникации.

В заключение хотелось бы обозначить ряд основных направлений в процессе дальнейшего изучения устно-речевой научной коммуникации:

– устно-речевая научная коммуникация и проблема внутреннего структурирования текста/дискурса;

– устно-речевая научная коммуникация и проблема зависимости фонетических характеристик текста/дискурса от индивидуальных особенностей агенса/пациенса;

– устно-речевая научная коммуникация и проблема частной и общей языковой типологии;

– устно-речевая научная коммуникация и проблема ее соотношения с другими видами публичной обращенной речи, в частности, с риторикой;

– устно-речевая научная коммуникация и проблема соотношения *ratio/emotio*;

– устно-речевая научная коммуникация и проблема ее места в общей структуре прагафонетики с учетом факторов речевого воздействия;

– устно-речевая научная коммуникация и проблема соотношения вербальных, пара- и экстравербальных средств;

– устно-речевая научная коммуникация и проблема интерлингвистики;

– устно-речевая научная коммуникация и межкультурное общение.

Литература

Анисимова Е.Е. Коммуникативно-прагматические нормы немецких апеллятивных текстов. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1994.

Артемов В.А. Экспериментальная фонетика. М., 1956.

Блохина Л.П., Потапова Р.К. Методические рекомендации: методика анализа просодических характеристик речи. М., 1977.

Блохина Л.П., Потапова Р.К. Методика анализа просодических характеристик речи. М., 1982.

Борисенко В.В. Разные типы произношения в устной научной речи // Современная русская устная научная речь: Общие свойства и фонетические особенности. Т. 1. Красноярск, 1985. С. 248-285.

Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004.

Вспомогательный словарь // Русакова М.В. Психоллингвистика: Вступительные лекции. СПб., 2002. С. 47.

Давыдов М.В., Рубинова О.С. Ритм английского языка. М., 1997.

Довгалева И.Ю. О фоностилистической дифференциации монологических высказываний научно-делового стиля (на материале современного немецкого языка) // Экспериментальная фонетика. Сб. науч. статей / Отв. ред. К.К. Барышникова. Минск, 1976.

Жакиева К.Р. Фоностилистическая организация лекторской речи в современном немецком языке (экспериментально-фонетическое исследование). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.

Зубченко М.В. Структура спонтанного звучащего тематически организованного монолога (на материале русского и немецкого языков). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2010.

Казанцева Ю.М. Дискурсивные стратегии как лингводидактическая проблема // Реализация междисциплинарной парадигмы в различных типах текста. Вестник МГЛУ. Вып. 465. М., 2002. С. 75-87.

Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 2002.

Кедрова Г.Е., Потапов В.В., Егоров А.М., Омельянова Е.Б., Волкова М.В. Компьютерные сетевые технологии в обучении лингвистическим дисциплинам (инновационные учебно-научные Интернет-порталы по русской фонетике) // Речевые технологии. 2009. № 1. С. 32-42.

Кривнова О.Ф. Ритмика фонетического слова в разных видах прозаической речи // Всесоюз. школа-семинар АРСО-12. Тезисы докладов. Киев, 1982а. С. 244-245.

Кривнова О.Ф. Ритмо-ударная форма синтагмы в научном тексте // Просодия текста: Тезисы научно-метод. конф. М., 1982б. С. 149-152.

Кривнова О.Ф. Научная речь как объект и материал фонетического исследования // Тр. межд. конф. «Функциональные стили звучащей речи». МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2005. С. 74-78.

Куликова Л.В. Коммуникативный стиль в межкультурном общении. М., 2009.

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990.

Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории // Уч. зап. Тартус. гос. ун-та. Вып. 422. Тарту, 1977. С. 55-61.

Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. М., 2007.

Матвеева Г.Г. Актуализация прагматического аспекта научного текста. Ростов-на-Дону, 1984а.

Матвеева Г.Г. Проблемы прагматики научного текста (на материале русского и немецкого языков). Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Ленинград, 1984б.

Митрофанова Т.А. Обращенность как прагмалингвистический феномен в институциональном дискурсе (на материале немецкого языка). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009.

Николаева Т.М. Функции акцентного выделения в устной научной речи // Современная русская устная научная речь: Общие свойства и фонетические особенности. Т. 1. Красноярск, 1985. С. 293-329.

Новицкий С.А. Роль стилеобразующих факторов в формировании просодической структуры официально-делового монолога (на материале английской устной речи) // Романское и германское языкознание. Вып. 1: Вопросы экспериментальной фонетики и прикладной лингвистики. Сб. науч. статей / Отв. ред. К.К. Барышникова. Минск, 1977. С. 48-56.

Потапова Р.К. Система делимитативных средств звучащего текста // Звучащий текст / Отв. ред. Ф.М. Березин, Р.К. Потапова. М., 1983. С. 22-60.

Потапова Р.К. Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.

Потапова Р.К. Фонетические средства оптимизации речевого воздействия // Оптимизация речевого воздействия / Отв. ред. Р.Г. Котов. М., 1990. С. 199-210.

Потапова Р.К. Паралингвистика. М., 1997.

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. 4-е изд. М., 2005.

Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. 4-е изд., доп. М., 2010.

Потапова Р.К., Блохина Л.П. Средства фонетического членения речевого потока в немецком и русском языках. М., 1986.

Потапова Р.К., Потапов В.В. Язык, речь, личность. М., 2006.

Потапова Р.К., Потапов В.В. Восприятие эмоционального поведения иноязычных и инокультурных коммуникантов // Фонетика и нефонетика. К 70-летию С.В. Кодзасова. М., 2008. С. 602-616.

Семенюк Н.Н. Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка. М., 1972.

Скорикова Т.П. Интонационное членение устной научной как текстообразующий фактор // Современная русская устная научная речь: Общие свойства и фонетические особенности. Т. 1. Красноярск, 1985. С. 203-243.

Стернин И.А. Проблемы описания национального коммуникативного поведения // Русское и немецкое коммуникативное поведение. Вып. 1. Воронеж, 2002. С. 4-7.

Daneš F. Sentence intonation from a functional point of view // Word 16. 1960. P. 34-54.

Drommel R. Die Sprechpause als Grenzsignal im Text. Göppingen, 1974.

Potapova R.K., Potapov V.V. Deutsche und russische kommunikative Sprechfähigkeit. Köln; Weimar; Wien, 2010.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. Moskau, 1959.

Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. Moskau, 1975.

Schmidt W., Stock E. Rede – Gespräch – Diskussion. Grundlagen und Übungen. Leipzig, 1977.

Schneider W. Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde. Hamburg, 1987.

- Sievers E.* Grundzüge der Phonetik. Leipzig, 1901.
van Ek J. A. Objectives for foreign language learning. Vol. II: Levels. Strasbourg, 1987.
von Essen O. Allgemeine und angewandte Phonetik. 2 Aufl. Berlin, 1957.

Е.Б. Яковенко

БИБЛЕЙСКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ГЕРМАНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

История переводов Библии на немецкий язык насчитывает без малого 1300 лет. В Германии и, шире, в немецкоязычном ареале переводы Священного Писания появились очень рано, вместе с распространением христианства, и успешно развивались в последующие эпохи.

Было бы, однако, большим преувеличением говорить о непрерывности немецкой библейской переводческой традиции, вернее, о преемственности библейских переводов. Переводы Средневековья, предреформационных лет и Реформации, не говоря уже о переводах двух последних столетий, создавались на принципиально различной основе и имеют немного общих черт. Было бы также неверно отождествлять, начиная с XVI века, немецкую Библию исключительно с именем Лютера, хотя именно его деятельность в значительной степени предопределила развитие библейского перевода в последующие столетия.

Многообразие библейских переводов позволяет разработать их типологию, в основу которой могут быть положены различные факторы как языкового, так и неязыкового характера. Вплоть до XX века эпоха создания перевода остается важнейшим фактором, определяющим остальные характеристики переводного текста (источники, направленность, стиль и т.д.).

Итак, с точки зрения эпохи создания немецкие переводы могут быть систематизированы следующим образом:

– ранние переводы Библии VIII-XII вв. (главным образом переложения отдельных книг Библии в стихах или прозе, реже подстрочные или близкие к подстрочным переводы, выполненные исключительно с Вульгаты);

– переводы XIII-XV вв. (эпоха позднего средневековья и преддверие Реформации), выполненные также с Вульгаты, в целом несовершенные, но подготовившие почву для переводов эпохи Реформации;

– переводы, созданные во время Реформации или несколько позже, ставшие символом самой эпохи (XVI в. – начало XVII в.), в дальнейшем неоднократно корректировавшиеся и переиздававшиеся (речь идет в

первую очередь о Библии Мартина Лютера);

– переводы XVII в. – 1-й пол. XIX в., в большинстве своем выполненные в подражание Лютеровской Библии или (в католицизме) воспроизводящие Вульгату;

– современные переводы (со 2-й пол. XIX в. до наших дней), представляющие все разнообразие переводческих подходов к Библии.

Первые частичные переводы Библии на древневерхненемецкий и древнесаксонский языки относятся к VIII-IX вв. и принадлежат к древнейшим памятникам немецкого языка. Сюда относятся в первую очередь, так называемые «Монзейские фрагменты» Евангелия от Матфея (ок. 748 г.), выполненные на рейнскофранкском диалекте с элементами баварского; «Немецкий Татиан» – перевод «Диатессарона» Татиана, выполненный в Фульде на восточнофранкском диалекте в 830 г. (рукопись содержит латинский текст и идущий параллельно перевод); «Евангельская гармония», выполненная ученым монахом и поэтом Отфридом на южнорейнскофранкском диалекте между 863 и 871 гг. Стихотворными переложениями являются древнесаксонская поэма «Хелианд» («Спаситель») (IX в.) и «Старонемецкая Книга Бытия», иначе называемая «Венское Бытие» – памятник, созданный во 2-ой половине XI века на баварско-алеманнском диалекте.

В XI в. Ноткером были переведены Псалтирь, Песня Песен и книга Иова (перевод последней утерян). Виллирам из Эберсберга (XI в.) также переложил Песню Песен. В XII в. известны и подстрочные (интерлинейные) переводы, например, Виндбергская Псалтирь (1187 г.).

Всего же за эпоху средневековья до нас дошло 817 рукописных переводов Библии на различные диалекты древневерхненемецкого и древнесаксонского языков, из них 43 представляют полный текст Библии, около 600 – полный текст Ветхого Завета или отдельные его книги, 165 – текст всего Нового Завета или его некоторых частей. В средние века имели также широкое хождение стихотворные переложения Библии, библейские парафразы, в том числе известная «Библия для бедных» (Armenbibel).

Более серьезные и полные немецкие переводы Библии возникают в XIV в. К 1343 г. относится Евангелие М.Бегейма из Халле, в 1350 г. полностью переведен Новый Завет – т.н. Аугсбургская Библия, и приблизительно 1400 годом датируется еще один Новый Завет из Богемии – Codex Triplensis.

Изобретение книгопечатания способствовало появлению новых переводов Библии. Крупным центром книгопечатания был Аугсбург: там были изданы 9 из 14 долютеровских печатных Библий. Первой полной печатной Библией на немецком языке стала Библия И.Ментелина (1466 г.),

в ее основу легла рукопись конца XIV в. Среди наиболее важных переводов Библии того времени следует назвать, наряду с Ментелиновской Библией, издания И.Пфланцманна (1473 или 1475 г.); Л.Цайнера (1475 или 1476 г.) и А.Кобергера (1483 г.). Все эти переводы очень близки и основываются исключительно на Вульгате, представляя собой образцы подстрочного перевода. Между 60-ми гг. XV в. (началом книгопечатания) и 1522 г. (выходом Лютеровского Нового Завета) насчитывается 14 изданий Библии на верхненемецком и 4 – на нижненемецком. Таким образом, к началу Реформации уже был накоплен опыт перевода Священного Писания на немецкий язык, и для Лютеровской Библии была уже подготовлена почва.

Работа над немецким переводом Библии была начата Лютером в 20-е годы XVI века. Новый Завет был выпущен им в 1522 г., затем стали выходить отдельные книги Ветхого Завета и, наконец, в 1534 г. Библия вышла в полном составе. Чрезвычайно важен тот факт, что Лютер, стремясь создать перевод, противопоставленный Вульгате, использовал принципиально другие источники: для ветхого Завета – древнееврейский текст 1494 года издания, для Нового Завета – 2-е издание греческого текста, подготовленного Эразмом Роттердамским. В качестве дополнительных источников Лютер использовал Септуагинту, Вульгату и латинский перевод Сантеса Панино. Существенную помощь ему оказывали его соратники Филипп Меланхтон и Ауругаллус (Маттеус Гольдханн).

В одно время с Библией Лютера выходили и католические переводы: Новый Завет Х.Эмсера (1527), полная Библия Иоганна Дитенбергера (1534), построенная на тексте Эмсера, Лютеровском Ветхом Завете, анабаптистском переводе и Цюрихской Библии; Библия И.Экка (1537). Все они уступали Лютеровской Библии, популярность которой была очень высока. «За пять лет, с 1518 по 1523 гг., было напечатано больше немецких книг, чем за предыдущее столетие (от изобретения книгопечатания и до 1518 г.), причем из 1446 немецких книг, изданных за эти пять лет, 556 принадлежали Лютеру» [Гухман 1959, 123].

Лютер не переставал совершенствовать свой перевод в течение всей жизни. В 1545 г. Г.Биндзаль и Г.Рименер издали его Библию с последней авторской правкой; в 1546 г. вышло посмертно еще одно издание с поправками, внесенными Лютером до 1545 г.

Перевод Библии, предпринятый Мартином Лютером, составил огромный шаг вперед в деле перевода Священного писания на национальные языки. Он оказался резко отличным от предыдущих переводов как с точки зрения первоисточников, так и с точки зрения стиля и языка.

Деятельность Лютера, безусловно, не сводима к одному переводу Библии. Известна его роль в закреплении языковых норм того периода:

«Языковое влияние Лютера непосредственно связано с его реформаторской деятельностью. Победа реформации означала одновременно победу того варианта литературного языка, который был представлен произведениями Лютера. <...> Благодаря Лютеру [восточносредне немецкий] вариант литературного языка был поднят до уровня наддиалектной нормы» [Гухман 1959, 158].

Говоря о следе, оставленном Лютером и другими выдающимися реформаторами в истории немецкого литературного языка, Н.Н.Семенюк указывает, что «отношение личности к языковой традиции должно в принципе рассматриваться в двух аспектах. Первый из них связан с анализом разнообразных причин, определяющих характер индивидуального языкотворчества и его отношение к уже существующей языковой традиции. Второй – определяется влиянием личности на последующее языковое развитие, ее ролью в создании новой или преобразовании старой традиции. При этом определяющим моментом для судьбы отдельных авторов и их произведений нередко оказываются не только характер созданных ими текстов, но и разнообразные внешнеисторические обстоятельства. Среди последних важную роль играет отношение общества к личности автора, его роль для истории и культуры последующих поколений» [Семенюк 2000, 74].

Отношение общества к Лютеру не было однозначным. Реформация, означавшая по сути религиозный раскол страны, привела к появлению как тысяч сторонников, так и тысяч противников Лютера, и его имя часто связывалось с социально-политическими процессами, в которых он не принимал прямого участия, но которые стали следствием его реформаторской деятельности. Но при всем этом вклад Лютера в распространение Библии на немецком языке неоспорим. Библия Мартина Лютера получила широчайшее распространение в немецкоязычных странах. Лютеровский перевод оказал огромное влияние на распространение протестантизма не только в Германии и Швейцарии, но и в скандинавских странах.

В течение XVI в. Библия Мартина Лютера была практически единственным немецким протестантским переводом, но уже с XVII в. в тех частях Германии, где победила Реформация, по ее образцу стали возникать новые переводы. Это «Хернборнская Библия» Иоганна Пискатора (1602-1604), которая стала официально использоваться с 1648 г., переводы И.Крелля и И.Штегмана (1630), И.Зауберта (1665), Триллера (1703), Н. фон Цинцендорфа (1727), «Берлебургская Библия» И.Г.Хауга (1726-1742), «Вертхаймская Библия» И.Л.Шмидта (1735). Представляет интерес «Вандбекская Пентапла» (1710) – издание, содержащее пять католических и протестантских переводов: К.Уленберга, Мартина Лютера, Иоган-

на Пискатора, И.Г.Рейца и перевод на нидерландский язык.

Несмотря на значимость Библии Мартина Лютера и ее практически повсеместное распространение в Германии, новые переводы не переставали появляться и на протяжении XVIII-XIX вв. В этот период выделяются переводы И.-А. Бенгеля (1735), И. Михаелиса (1769-1783), К.Ф.Барндта (1773), В. де Ветте (1809), Х.фон Вунзена (1858-1869), К. фон Вайцекера (1882), Э. Кауча (1894), «Эльберфельдерская Библия» (1871) и др., а также католический перевод Й.Ф.Аллиоли (1830-1832). Сама Библия Мартина Лютера издавалась на протяжении XVII-XIX вв. с незначительными исправлениями, главным образом орфографического характера.

Первая половина XX в. отмечена в немецкой библеистике появлением переводов таких авторов, как Ф.Э.Шлахтер (1905), Л.Альбрехт (1920), Г.Менге (1923), А. Шлаттер (1931), В.Михаелис (1934-1935), Ф.Пфеффлин (1939), Л.Тимме (1946) и др. Поскольку католическая традиция также сильна в Германии, следует упомянуть и авторов немецких католических переводов XX в. Это Б.Шефер (1901), И.Никель – А.Шульц (1912), Ф.Фельдман – Г.Херкенне (1923), Э.Кальт (1935), Ф.Нёчер (1947), Ф.Тильманн (1931), В.Лаук (1935), А.Викенхаузер – О.Кус (1938), находившиеся в сильной зависимости от Вульгаты, но использовавшие также и оригинальные (древнееврейские и греческие) тексты.

В XX в. текст Библии Мартина Лютера постоянно подвергался переизданиям и правкам. После переиздания 1912 г. Лютеровский текст Нового Завета перерабатывался трижды только во второй половине XX в.: в 1956, 1975 и 1984 гг. Поправки в текст Ветхого Завета были внесены в 1964 г., в 1970 г. в ряд изданий добавлены второканонические книги. Редактирование текста Библии Мартина Лютера выполнялось в двух Германиях раздельными комиссиями, образованными Евангельской церковью ГДР, Евангельской церковью ФРГ и Объединенными Библейскими Обществами. После объединения страны эта работа приобрела совместный характер.

Редактирование Лютеровского текста имело своей целью приблизить первоначальный текст к современному читателю, прояснить смысл устаревших слов и выражений, устранить неточности, допущенные как самим Лютером, так и авторами последующих правок. Максимум лексических и грамматических трансформаций приходится на последнюю редакцию 1984 г. Грамматические трансформации сводятся главным образом к перестановке членов предложения, замене одних временных форм глагола другими при сохранении плана высказывания (так, в Лк 1:52-53 употребленный первоначально перфект заменен презенсом, тогда как в греческом тексте стоит аорист), использованию синонимичных синтаксических

конструкций (например, замене придаточного цели инфинитивным оборотом). Лексические трансформации более интересны. Они представляют собой:

– синонимическую замену: *sich vorsetzen* (редакции 1534, 1545 и 1912 гг.) – *sich vornehmen* (редакция 1984 г.), аналогично *wunderlich* заменяется на *wunderbar*, *Erde* – на *Boden* и др.;

– устранение избыточности: *ein schön weib von angesicht – ein schönes Weib, an der haut seines fleischs – an seiner Haut, du wirst schwanger werden im leibe – du wirst schwanger werden*;

– замену простого глагола его префиксальным производным: *gehen – herabgehen*; возможно и обратное: *ertragen – tragen*;

– устранение метонимии: *eine Handvoll – eine hand*, почти повсеместная замена личным местоимением сочетания слова *Seele* с притяжательным местоимением: *meine Seele – ich (mich, mir), deine Seele – du* и т.п.;

– замену устаревшего и/или стилистически неприемлемого слова его современным нейтральным эквивалентом: *weib – Frau, Same – Nachkommen, Geschlecht* или *Kinder, gebenedeiet – gelobt*.

В целом же перевод Библии, выполненный Лютером и его соратниками, оказался настолько точным, что потребовал лишь отдельных исправлений. Многие места (как правило, наиболее часто цитируемые) дошли до наших дней в почти неизменном виде. Так, текст отрывка из Нагорной проповеди (Matt. 5:3-10) 1534 г. совпадает с текстом 1984 г., за исключением порядка слов в 3-м и 10-м стихах.

Сопоставив издания Лютеровской Библии 1534, 1545, 1912 и 1984 гг., можно утверждать, что перевод, созданный Лютером, оставался в значительной степени неизменным до 1912 г. Пересмотры и исправления приблизили текст к современному языку, но не исказили его сути. Переиздание 1984 г. было более радикальным и в какой-то мере отдалило перевод от оригинала, сделав его более вольным.

В течение XX-го столетия также переиздавались другие вышедшие ранее переводы Библии, в т.ч. «Цюрихская Библия» (1524-29 гг., переиздана в 1931 г.), «Эльберфельдерская Библия» (1871 г., переиздана в 1975 г.) и др.

XX век отмечен в Германии, как и во всем мире, резким увеличением числа библейских переводов и разнообразием переводческих концепций. Новые библейские переводы создаются в русле уже сложившихся подходов, подтверждая общие тенденции современного библейского перевода. В основе разработанной нами типологии современных библейских переводов, которая может быть применена и к немецким переводам, лежит ряд экстралингвистических и лингвистических факторов: конфессиональная направленность; источники, лежащие в основе перевода; харак-

тер предполагаемой аудитории; собственно характер перевода, т.е. соответствие его оригиналу [Яковенко 2007, 38-40]. Эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены: конфессиональная направленность требует выбора определенных источников, а характер ожидаемой читательской аудитории определяет свойства самого перевода.

С точки зрения конфессиональной направленности среди немецких переводов Библии различаются католические и протестантские переводы. Ранее в их основе лежали принципиально разные источники (Вульгата, с одной стороны, и древнееврейские и греческие тексты, с другой). В настоящее время это различие в какой-то степени стерлось, так как авторы современных католических переводов обращаются, помимо Вульгаты, к первоисточникам. Среди наиболее известных немецких католических переводов следует назвать «Иерусалимскую Библию» («Jerusalem Bibel», 1968 г.) – аналог известного французского перевода – и «Einheitsübersetzung» (1972 г.) – перевод, единому тексту которого должны следовать все немецкие диоцезы, откуда его название.

С точки зрения предполагаемой читательской аудитории различаются переводы, назначение которых универсально, и переводы, предназначенные для определенного круга лиц: специалистов; взрослых, начинающих изучать Библию; детей; лиц, приступающих к изучению Библии на неродном языке и т.д. В переводах, предназначенных для взрослых, которые только приступают к изучению Св. Писания и (часто) испытывают определенные сложности с немецким языком, наблюдается наибольшее число отклонений от лексико-синтаксической организации оригинала.

С точки зрения характера самого перевода (и это, очевидно, наиболее важный признак) различаются несколько типов переводов. Чаще всего противопоставляются собственно библейский перевод и парафраз [Margot 1979], или же дословный перевод и смысловой [Перевод Библии 1990]. При более детальном рассмотрении выделяются неприемлемые для широкого читателя переводы (буквальный, вольный) и приемлемые (умеренно буквальный, идиоматический) [Бикман, Келлоу 1994]. Я. де Ваард и Ю.Найда различают подстрочный, буквальный, ближайший естественный, адаптированный, культурно реинтерпретированный переводы Библии [Ваард, Найда 1998]. В числе буквальных переводов находятся, в частности, «Эльберфельдерская Библия», переводы Э.Кауча, К.Вайцекера, «Иерусалимская Библия». Лютеровская Библия в редакциях вплоть до 1912 г. является умеренно буквальным (по терминологии Я. де Ваарда и Ю.Найды – ближайшим естественным) переводом, а редакция 1984 г. обнаруживает уже признаки вольного перевода. К вольным библейским переводам может быть отнесен целый ряд современных немецких переводов, в которых наблюдаются замена перевода пересказом,

структурное и смысловое упрощение, использование современной лексики и элементов разговорной речи. Это «Das Neue Testament in der Sprache von heute» Ф.Пфедфлина (1939 г.), Новый Завет в переложении Й.Цинка (1965 г.), «Neue Welt» (1971 г.), «Die Gute Nachricht für Sie. Das Neue/Alte Testament in heutigem Deutsch» (Новый Завет – с 1968 г., Ветхий Завет – с 1982 г.), «Hoffnung für alle» (Новый Завет – с 1983 г., Ветхий Завет – с 1996 г.), «Neues Leben» (Новый Завет – с 2001/02 г., Ветхий Завет – с 2006 г.), «Bibel in gerechter Sprache» (2006 г.), «Basisbibel» (2006 г.). Интересно, что перевод «Gute Nachricht für Sie» был выполнен первоначально на весьма упрощенном языке в духе английского перевода «The Good News Bible», но затем все же скорректирован и приближен к литературному немецкому языку.

Таким образом, библейский перевод в Германии развивается в соответствии с общими направлениями, но сохраняет при этом национально-специфичные черты. Неблагоприятные тенденции в библейском переводе, развившиеся в полную силу в англоязычных странах (замена полноценного перевода парафразом, структурное и смысловое упрощение, создание новых переводов для отдельных социальных, национальных, расовых групп населения, доведенное до абсурда применение принципа политкорректности языка, использование стилистически сниженной лексики, иронически-фамильярный тон) присущи немецким переводам Библии в гораздо меньшей степени. Создатели современных немецких переводов, имея перед собой высочайший образец переводческого искусства – Лютеровскую Библию, следуют, насколько это возможно, принципам точности и естественности перевода.

Литература

Бикман Д., Келлоу Д. Не искажая слова Божьего. Принципы перевода и семантического анализа Библии. Пер. с англ. СПб., 1994.

Гухман М.М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. Ч.2. М., 1959.

Перевод Библии. Введение в принципы перевода. Сост. К.Барнуэлл. Пер. с англ. Burbach; Holzhausen, 1990.

Семенюк Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.

Яковенко Е.Б. Homo biblicus. Языковой образ человека в английских и немецких переводах Библии (опыт концептуального моделирования). М., 2007.

Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bdn. 17., völlig bearb. Aufl. Bd.2. Wiesbaden, 1967. S.679-680.

Handbuch zur Bibel. Wuppertal; Schweiz, 1975.

Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Aufl. Bd.2. Freiburg, 1958. S.401-410.

Luther M. Ein Sendbrief von Dolmetschen / Hrg. von E.Arndt. Halle/Saale, 1968. S.32.

Margot J.-C. Traduire sans trahir. La théorie de la traduction et son application aux textes bibliques. Lausanne, 1979.

Meyer Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bn. Bd 4. Mannheim; Wien; Zürich, 1992. S.110-117.

The New Encyclopædia Britannica. Macropædia. 15th ed. Chicago, Auckland, London et al. Vol. 2. P. 196.; Vol. 14. P. 916-919.

The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford, 1977.

Wörterbuch des Christentums. Gutersloh; Zürich, 1988.

М. Н. Славятинская

СТЕРЕОТИПНОСТЬ, ТРАДИЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО (ЕЩЕ РАЗ О ЯЗЫКЕ ГОМЕРА)

С поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» (прибл. VIII в. до н.э.) начинается отсчет времени существования и древнегреческой, и, в целом, европейской художественной литературы. Между тем их утверждение в качестве эталона вовсе не было единовременным: оно происходило постепенно, а в центре эллинского мира, Аттике, лишь при Солоне (ок. 640-560 гг. до н.э.) и Писистрате (ок. 600-528 гг. до н.э.).¹

¹ «Совершенно реальным кажется сведение античных источников о том, что Солон был первым из афинских деятелей, который учредил систематическое исполнение поэм Гомера в Афинах, на Панафинейских празднествах. В этом направлении, очевидно, определенные меры были приняты и при Писистрате. Ему сравнительно поздние источники приписывают объединение разрозненных гомеровских песен. Сейчас трудно спорить о том, сколь значительной была деятельность Писистрата или его т.н. комиссии редакторов. Можно отметить лишь то, что знакомство с гомеровским эпосом в Аттике приняло широкий и основательный характер лишь после Солона и Писистрата, что именно после них появляются в аттическом искусстве чисто гомеровские мотивы и сюжеты. Также совершенно реальными кажутся и те античные сведения, согласно которым гомеровские поэмы были распространены в других частях Греции сравнительно раньше. Так, например, Плутарх рассказывает о том, что Ликиург во время своего пребывания в Азии «впервые познакомился с поэмами Гомера, вероятно, сохранившимися у потомков Креофила, и найдя, что в них, кроме рассказов, доставляющих удовольствие и развлечение, заключено много чрезвычайно ценного для воспитателя и государственного мужа, тщательно их переписал и собрал, чтобы увезти с собою. Какая-то смутная молва об этих произведениях уже распространилась среди греков, а не-

В каком-то отношении этот процесс можно сравнить с освоением текста Ветхого Завета, с его постепенным переводом на греческий язык (*Παλαιά Διαθήκη*, Septuaginta) и постепенным, на протяжении веков, усвоением и осмыслением. Конечно, различие здесь в том, что последний текст есть создание многих людей на протяжении многих веков, чего никак нельзя сказать о поэмах Гомера.¹

Тем значительнее представляется деятельность создателя гомеровского текста, который содержал в себе столь глубинные смысловые структуры, выявляемые вплоть до последнего времени, и такие особенности словесной организации, которые сделали его эталоном на все времена.

В течение долгого времени разгадываемые «тайны» гомеровского текста (его содержания и его языка) побуждают вновь и вновь возвращаться к его анализу, с целью понять тот «скачок», который сделала тогда неясная и почти безымянная догомеровская словесность. Априорно можно утверждать, что здесь мы встречаемся с особым творческим актом, с особым пониманием цели создаваемого текста и его словесного воплощения. Думается, что в данном случае полезно обратить внимание на то, как объясняет современная наука сам факт творческой деятельности человека.

Анализируя суть творческого процесса в мышлении, Н.П.Бехтерева пишет: «В человеческом мышлении и в его аналогах у животных, особенно у последних, легко завоевывают себе место стереотипы. Да и жить они существенно помогают: не надо каждый раз заново решать стандартные задачи. Стереотипное мышление – базис для нестереотипного, как бы высвобождение для него пространства и времени. Но если стереотипное мышление – уже решенная мыслительная операция, нестереотипное – решение по большему или меньшему количеству известных опорных данных, то что такое внезапное понимание, озарение – творчество?»

Внезапное понимание и озарение все же предполагают знание, может быть, не всегда полностью осознаваемое. А как мозг помогает, хотя – в историческом масштабе – многим, но все же одновременно лишь отдельным людям видеть мысленно и реализовывать в делах то, что в действи-

многие даже владели разрозненными их частями, занесенными в Грецию случайно, но полное знакомство с ними впервые произошло благодаря Ликургу». [Гордезиани 1978, 350].

¹ Не затрагиваем здесь имеющую огромную научную литературу проблему авторства текста в древности, его сохранности и передачи. См. об этом, например, в статье С.Д.Серебряного «О некоторых аспектах понятий «автор» и «авторство» в истории индийских литератур (с обширной библиографией)» [Серебряный 1979, 150-182].

тельности исходно не существует: создавать «Сикстинскую мадонну» и собор Парижской Богоматери, предсказывать полеты «из пушки на Луну», формулировать «формально абсурдную» теорию относительности? «Мозг легко берет на вооружение стереотипы, базируется на них для обеспечения следующего уровня деятельности и в то же время, пока может, пока есть богатство, борется с монотонностью» [Бехтерева 2007, 69-70].

Становится понятной суть творческой направленности Гомера прежде всего в организации содержания поэм – отталкивание от стереотипов. Заведомо известно, что и до Гомера существовали многочисленные эпические повествования, в том числе и, по всей вероятности, о Трое. Однако уже Аристотель (384-322гг. до н.э.) увидел совершенно новый подход Гомера в построении содержания поэм.¹

Это мнение разделяют и исследователи Нового времени, отвергавшие идею постепенного («покусочного») создания текста поэм и не сомневавшиеся в изначальной целостности «Илиады» и «Одиссеи». А исследователи нашего времени обнаруживают новые, нетрадиционные, явно индивидуальные черты в трактовке истории и в форме ее изложения Гомером.²

Анализ логики в изложении эпизодов «Илиады» и анализ явно наблюдающейся «геометрической» симметрии в ее композиции мы нахо-

¹ «Фабула бывает едина не тогда, когда она вращается около одного [героя], как думают некоторые: в самом деле, с одним может случиться бесконечное множество событий, даже часть которых не представляет никакого единства. Точно так же и действия одного лица многочисленны, и из них никак не составляется одного действия. Поэтому, как кажется, заблуждаются все те поэты, которые написали «Герacleиду», «Тесеиду» и тому подобные поэмы: они полагают, что, так как Геракл был один, то одна должна быть и фабула. Гомер, как впрочем выгодно отличается [от других поэтов], так и на этот вопрос, по-видимому, взглянул правильно, благодаря ли искусству, или природному таланту: именно, творя «Одиссею», он не представил всего, что случилось с героем, например, как он был ранен на Парнасе, как притворился сумасшедшим во время сборов на войну, - ведь нет никакой необходимости <или> вероятия, чтобы при совершении одного из этих событий совершилось и другое; но он сложил свою «Одиссею», а равно и «Илиаду», вокруг одного действия, как мы его [только что] определили» [Аристотель 1957, 8].

² «Мы сделаем попытку показать, каким образом способы моделирования истории, присущие эпическому канону, в «Илиаде» и примыкающей к ней «Одиссее» подчиняются формам видения той же истории, более изощренным, непредсказуемо индивидуальным и в то же время понятным и увлекательным для гомеровских слушателей» [Гиндин, Цымбурский 1996, 11].

дим в работах В.Шадевальдта и Р.В.Гордезиани [Schadewaldt 1975; Гордезиани 1978].

Однако при определении творческого начала при всей убедительности в композиции «Илиады» и «Одиссеи» и неразрывной прилаженности друг к другу отдельных эпизодов поэм всегда остается возможность утверждать, что эта стройность есть результат длительной работы над текстом поэм безымянных рапсодов, комиссии Писистрата, александрийских ученых.

Индивидуальность аэда, именно как поэта (творца, сотворителя), видимо, можно обнаружить только в языке, но сделать это, располагая лишь начальным текстом, без каких-либо предшествующих текстов, сложно даже для текстов Нового времени. И намного сложнее анализировать текст, сотканный, по убеждению многих последователей Пэрри и Лорда, из стереотипных фольклорных формул, анализируя язык, утвержденный многовековыми традициями. Однако хотя сторонники Пэрри-Лорда [Parry 1972] и утверждают, что в описании некоторых эпизодов мы можем найти до 90% формул, к интуитивным сомнениям добавляется тот факт, что с позиции указанной теории был проанализирован не весь текст поэм, а начальные песни «Илиады» и «Одиссеи» [Тронский 1973, 145].

Помимо формул в языке Гомера, конечно же, есть и метрические, и фонетические, да и просто языковые табу. Так, разветвленная парадигма очень частотного у Гомера слова ἄνῆρ «муж, мужчина» построена на двух основах (ἄνερ- / ἄνδρ-), от которых в любом падеже употребляются параллельные формы. Но в род.п. мн.ч. фиксируется только форма ἄνδρῶν, хотя форма ἄνέρων прекрасно встраивается в дактилический гексаметр после предшествующего долгого слога. С другой стороны, мы имеем два фонетически близких слова Φοῦβος «Феб» (эпитет Аполлона) и φόβος «страх». Свойственное эпическому языку окончание род.п. ед.ч. -οιο скорее подходило бы к имени бога. Однако в поэмах употребляется только Φοῖβου (ср.: было бы Φοῖβοιο), но φόβοιο и φόβου. О сходных проблемах говорил много позже Цицерон в трактате «Брут»: «И все-таки некоторые порицают это, запоздало пытаюсь исправлять нашу старину. Так, вместо “*deum atque hominum fides*” они говорят “*deorum*”. Думается, что они не позаботились узнать, позволяет ли это обычай? Так, даже названный нами поэт, которому случалось делать и такие необычные стяжения, как “*patris mei meum factum pudet*” вместо “*meorum factorum*” или “*texitur, exitium examen rapit*” вместо “*exitiorom*”, не сказал в одном месте “*liberum*” (как мы обычно говорим “*cupidos liberum*” или “*in liberum loco*”), но выразился во вкусе этих господ: “*Neque tuum umquam in gremium extollas liberorum ex te genus...*” и точно так же: “*namque Aesculapi liberorum*”. Мне известно, какая форма правильна; тем не менее, в одних

случаях я говорю, как позволяет обычай, безразлично “pro deum” или “pro deorum”, а в других случаях непременно “trium virum”, а не “virorum”, и “sestertium, nummum” вместо “sestertiorum, nummorum”, ибо здесь обычай не допускает колебаний» [Цицерон 1972].

Что касается языка поэмы, то здесь мы обнаруживаем у Аристотеля упоминание о внешней форме (удлинение или укорочение) слова или об эпических синонимических рядах лексем (о сочетании обычных/необычных слов, глосс).¹

Новое время изобилие гомеровской лексики и вариативность словоформ во многом объяснялось требованиями метрики и глубокой традицией [Chantraine 1958, passim]. Постепенно углублялся и уточнялся семантический анализ лексики и грамматических категорий. Но вопрос о смысле употребления лексем и словоформ остался нерешенным: диктуется ли выбор вариативной словоформы содержанием данного эпизода; какими сколько-нибудь связывающими коннотациями обладает данная лексема или словоформа.

Между тем поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» дают столь обширный языковой материал, что мы можем вычленить именно гомеровскую ποιησις (творческое действие) по отношению к словоформам. Так, не анализируя здесь употребление многочисленных форм от упомянутой лексемы ἄνθρωπος «муж, мужчина», отметим хотя бы следующее: «Одиссея» начинается со слов ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα «мужа воспой мне, богиня (муза)», а по отношению к Терситу употреблена только форма от основы ἄνερ-. Можно возразить, что поэт не мог начать дактилический гексаметр с ā-, но вспомним, что, оплакивание Гектора Елена начинает с обращения: αἶνερ, где ā имеет, конечно же целью сделать обращение более эмоциональным. В то же время ст.2 в «Илиаде» именно с целью усиления ставит на первое место экспрессивно удлиненную форму с βύλομενῃν

¹ «Достоинство словесного выражения – быть ясным и не быть низким. Самое ясное выражение, конечно, состоит из общеупотребительных слов, но оно низко. Примером служит поэзия Клеофонты и Сфенела. Благородное же и не затасканное выражение есть то, которое пользуется необычными словами. А необычным я называю глоссу, метафору, удлинение и все, уклоняющееся от общеупотребительного. Но если кто-нибудь сделает такую всю речь, то получится или загадка, или варваризм. (...) Следовательно, должно как-нибудь перемешивать эти выражения: одно, как глосса, метафора, украшение и прочие указанные виды, сделает речь не затасканной и не низкой, а слова общеупотребительные [придадут ей] ясность. Весьма немало способствуют ясности и благородству выражения удлинения, сокращения и изменения слов: именно [такое слово], уклоняясь от обычного, звучит иначе, чем общеупотребительное, и потому делает речь не затасканной, а вследствие общения с обычной [формой] останется ясность» [Аристотель 1957, 22]

«гибельный (гнев)». Поэт совершенно точно употребляет формы от разных основ, использует эпическое растяжение, нужный ему порядок слов.

* * *

Снова и снова возвращаться к анализу языка Гомера побуждает то обстоятельство, что лингвистическая наука лишь постепенно решала вопросы – а) связанные с архаическим восприятием языка вообще и греческого в частности, б) с изучением особенностей греческого языкового сознания.

а) Архаическое восприятие языка характеризует прежде всего его материализованное восприятие. Этому способствовал в первую очередь исключительно устный характер реализации текста, позволявший воочию наблюдать «рождение» звука и текста. Материализованность слова подчеркивалась в эллинском мире неразрывной связью слова с музыкальным сопровождением и с танцевальными движениями.

Однако даже в чисто фольклорном творчестве тексты на исторические темы (былины, исторические баллады) всегда составляли особый жанр словесности, в котором превалировало слово. А материализованность в восприятии его заставляла физически ощущать изменения в его звучании (длине, тембре, сочетаемости с другими словами). Можно вполне обоснованно предположить, что не только разнозвучащие слова-синонимы, но и разнозвучащие дублетные словоформы воспринимались как разные слова, и если они не имели четких различий в значении (грамматическом или лексическом), то, по всей вероятности, сопровождалась в сознании слушателей разными коннотациями.

б) Одной из самых важных категорий эллинского языкового сознания является категория «логоса». Этого понятия еще не знает Гомер. У Гомера λόγος употребляется лишь два раза и оба раза в значении «слово, предшествующее некую цель». В «Илиаде» (XV, 393) Патрокл утешал речами (ἐΰτερτε λόγους) раненого Эврипила, в «Одиссее» (I, 56) Калипсо очаровывает Одиссея ласковыми и хитрыми речами (в переводе В.А.Жуковского «коварно-ласкательными»).

Но уже у Гераклита (рубеж VI-V вв. до н.э.) Логос есть философская категория, а, следовательно, его сложное значение должно было начать формироваться много раньше. Можно предположить, что именно с Гомера и начинается то неразрывное единство слова/мысли, которое составля-

ет одну из самых примечательных черт древнегреческого языкового сознания.¹

Индивидуальную «работу» Гомера с синонимическим рядом, сложившимся задолго до него, можно проиллюстрировать на примере употребления в поэмах трех этнонимов греков, которые позволяют наблюдать их как целостный словесный микромир: и лексику, и грамматику, и просодию. Причиной сохранения указанных этнонимов считается только их метрическая неравноценность, в силу которой они вошли в греческий поэтический язык и удержались в гомеровском эпосе [Ebeling 1885, 167; Тронский 1973, 3]. Признавая релевантность метрических различий для употребления данных этнонимов, добавим, что все слова поэтического греческого языка должны рассматриваться не только с метрической, но и – шире – с просодической точки зрения, т.е. с позиции не только количественного, но и тонового рисунка слова, всей стихотворной строки и примыкающих строк. Просодический рисунок слова являлся в поэтическом языке особой эстетической ценностью, поскольку он, позволяя разнообразить мелодику стиха, усиливал его эмоциональное воздействие. Именно тоновые различия могли быть одной из причин включения в этнонимы греков названия «аргивяне», так как два других этнонима отличаются друг от друга лишь долготой и краткостью второго слога

¹ «Небывалое явление из области античной философии. Оказывается, греческий термин «логос» совершенно в одинаковой степени относится как к мышлению, так и к языку. С одной стороны – это «мысль» и все связанные с ней категории мысли (понятие, суждение, умозаключение, доказательство, наука и вообще любая мыслительная категория). С другой же стороны, «логос» - это «слово» и все связанные со словом категории (язык, речь, разговор и все грамматические категории). В Европе нет другого такого языка, в котором мысль и ее словесное выражение обозначались бы совершенно одинаково. Конечно, греки очень любили чистую мысль, еще дословную или бессловесную, но она была для них только предварительной и необходимой абстракцией для того, чтобы с привлечением и всех других сюда относящихся абстракций в конце концов получить логос как нечто цельное. Древние греки прославились также и своей бесконечной любовью к слову, к разговорам, ко всякого рода спорам, доходившим до бесконечных прений и даже болтливости. Но эта любовь к словам была только одной частной областью их общего мировоззрения, для общего же мировоззрения мысль и слово были одно и то же. Но тут уже ясно, что такая словесная мысль всегда была образной, картинной, как бы смысловым изваянием обозначаемых мыслью вещей, а соответствующим образом понимаемое слово всегда необходимо оказывалось мыслительно насыщенным и как бы словесным сгустком мысли. Тут-то и коренится тот стихийный греческий материализм, о котором мы часто говорим, но который редко представляем себе в подлинно греческом и, я бы сказал, в художественно-изваянном виде» [Лосев 1990, 31-32].

(ср. Ἀχαιοί, Ἀργεῖοι, Δαναοί). Ср. также оппозицию этнонимов, обозначающих противников греков: Τρῶες – Δάρδανοι.

Общеизвестно, что в поэтическом тексте значимы все аспекты фонетической структуры слова, в том числе и его звуковой состав. Античные авторы оставили много высказываний, свидетельствующих о попытках даже семантизировать отдельные звуки и оценить их не только с акустической, но и с эстетической стороны, что, несомненно, явилось следствием пристального изучения соотношений звука и значения в греческой поэзии. Появление нескольких названий для обозначения главных воюющих племен диктовалось, видимо, и необходимостью акустического разнообразия. В противном случае повторение одного и того же названия сотни раз намного затруднило бы ту тонкую звуковую аранжировку, которая свойственна поэзии, особенно в архаические периоды ее существования, когда восприятие акустической стороны стиха было гораздо более обостренным, чем позднее. В частности, именно с акустической стороны должны, видимо, оцениваться некоторые гомеровские формулы, содержащие этнонимы греков. Так, формула Ἀργείων ἡγήτορες при обращении к вождям всех ахейцев помимо тех причин, о которых будет сказано ниже, возможно, вошла в гомеровский язык в силу своей акустической организации (повторение звуков *z-p-e*).

Однако сколь ни значима в поэтическом устно исполняемом произведении фонетическая структура слова, главным объектом исследования должна быть семантика слова, тем более, что речь идет о мертвом языке и о его фонетике, в том числе и поэтической, можно судить лишь приблизительно. Многочисленные исследователи гомеровского эпоса не отмечают каких-либо семантических различий у рассматриваемых этнонимов и указывают только на некоторые особенности употребления этнонима «ахейцы»: он более частотен, и при нем употребляются те эпитеты, которые характеризуют внешность греков (пышнопоножные, густоволосые, блестящезвзорые, меднобронные) [Гордезиани 1978, 173]. Однако то, что при этом этнониме обнаруживается больше эпитетов с конкретным значением, неудивительно: более частотный этноним, естественно, употребляется с большим числом эпитетов, а, следовательно, и с более разнообразными по конкретности/абстрактности эпитетами: при названии «ахейцы» встречается 15 эпитетов, из них 5 вышеприведенных с конкретным значением и 10 эпитетов с абстрактным значением типа «могучие», «воинственные» и т.п.; при названии «аргивяне» отмечено только два конкретных эпитета «меднохитонные» и «копейщики», при названии «данайцы» – 7 эпитетов (3 с конкретным значением и 4 с абстрактным). Таким образом, имеет основание и утверждение, обратное приведенному выше: при этнониме «ахейцы» употребляется большее число эпитетов с

абстрактным значением. Обращает на себя внимание и тот факт, что при втором этнониме употребляется минимальное количество эпитетов, хотя он гораздо частотнее названия «данайцы». Это может свидетельствовать либо о его позднейшем вхождении в эпический язык, либо о его более узком значении.

При анализе имени собственного, в том числе этнонима, в поэтическом тексте необходимо по возможности точно определить денотативный и ассоциативный слои в его значении. Относительно первого отметим следующее. Как известно, эпос есть отражение истории, но в своеобразном преломлении эпического историзма, который представляет собой стадию, следующую за мифологическим историзмом, и притом стадию, не преодолевшую предшествующую, а вобравшую ее в себя, в результате чего эпический историзм неизбежно объединяет и реальные и мифологические события и персонажи, не отделяя их друг от друга. Такой тип историзма является основой для появления в эпическом повествовании, по крайней мере, двух типов названий: реально-исторических и мифологических. Три этнонима греков действительно обнаруживают тесное переплетение реальной и мифологической истории. В последние десятилетия исследователей интересовала главным образом реальная историческая основа этих этнонимов, что было связано с важными открытиями (историческими, археологическими, лингвистическими) в районе Эгеиды. В настоящее время возникновение гомеровских этнонимов (в самом общем виде) объясняется следующим образом. Этноним «аргивяне» произошел от названия догреческого пеласгического города Аргос. Этноним *данайцы*, по всей вероятности, связан с названием племени *дануна*, обитавшего в середине II тыс. до н.э. в Юго-Восточной Анатолии. Греческая мифология так объясняет сближение значений этих двух этнонимов. Данай, эпосим данайцев, потомок Зевса, правил в Ливии. Когда сыновья его брата Египта разрушили его царство из-за того, что он не отдал им в жены своих дочерей, Данаю с дочерьми пришлось бежать на Балканский полуостров, в Арголиду, родину его прабабки Ио. Названием же собственно греческих племен был только этноним «ахейцы», обозначавший первоначально жителей государства Аххиява, которое в середине II тыс. до н.э. существовало в Малой Азии, вероятно, рядом с Хеттским царством. Таким образом, в значении трех этнонимов греков вскрываются и различные реально-исторические события и их мифологическая интерпретация.

Но исследователи эпоса, и греческого, и германского, и индийского, не раз говорили о том, что, какие бы исторические напластования ни обнаруживались в тексте, эпическое произведение в основном едино и именно таким и воспринималось аудиторией [Лосев 1960, 172-174; Гуревич 1978, 122; Гринцер 1974, 173-174]. Значит, при всей диахронической

несовместимости рассматриваемых этнонимов их употребление должно быть подчинено единой поэтической задаче. Отметим, что как самостоятельные, а не эквивалентные этнониму «ахейцы» названия «аргивяне» и «данайцы» широко употреблялись на протяжении всей истории Эллады. Напомним хотя бы трагедию Эсхила «Просительницы», в которой как раз и рассказывается о прибытии Даная с дочерьми в город пеласгов Аргос и о последующих событиях, в результате которых царь Аргоса был убит и правителем города стал Данай. Поэмы Гомера явились результатом длительного исторического развития греческой поэзии, а потому все три этнонима греков, несомненно, были отягощены самыми разнообразными ассоциациями (историческими, семантическими и чисто языковыми: фонетическими, морфологическими и синтаксическими), которые, видимо, и использовались поэтом. Ведь даже в самих поэмах название города Аргоса звучит 30 раз в «Илиаде» и 17 раз в «Одиссее», упоминается аргивянка Елена; Зевс, желая позлить свою супругу, тоже называет ее аргивянкой за помощь Агамемнону.

Исследование многочисленных контекстных ситуаций показало, что этноним «аргивяне» действительно имеет прежде всего самое прямое значение «жители, воины Аргоса», а тем самым «подданные Агамемнона». Так, прорицатель Калхант собираясь открыть причину гнева Аполлона, обращается к Ахиллу с просьбой защитить его от Агамемнона, потому что он, Калхант своими словами разгневает мужа, который «полностью властвует над всеми аргивянами и которому повинуются ахейцы» (Ил. I, 78-79). Видимо, не случайна формула, которой Агамемнон в «Илиаде», Нестор в «Одиссее» удерживают воинов: «сдержитесь, аргивяне, не стреляйте, юноши ахейские» (Ил. III, 82). Вполне естественно обращение сначала к племени, стоящему во главе войска, а затем уже к остальным воинам. Не случайно Парис, желая сразиться один на один с каким-либо врагом, вызывает на поединок аргивян (Ил. III, 19); не случайно для Гекубы и троянских женщин те, кто пришел разрушить их город из-за аргивянки Елены, именно аргивяне. Не случайно Агамемнон перед поединком Париса и Менелая говорит: «Если Менелай убьет Париса, пусть троянцы отдадут нам Елену, заплатят за оскорбление чести аргивян» (Ил. III, 287).

Таким образом, во многих стихах название «аргивяне» употребляется в прямом значении и является лишь относительным синонимом названий «ахейцы» и «данайцы». Но вполне естественно, что название главного племени может употребляться метонимически для обозначения всего войска. При этом контекст показывает, что такое метонимическое употребление часто сопровождается переакцентуацией в значении: аргивяне – зачинатели похода на Трою, а, следовательно, они лучшая, храбрейшая

часть войска, и именование всех ахейцев аргивянами есть именование торжественное, поднимающее все остальные племена до уровня главного и храбрейшего. Поэтому во многих случаях аргивяне – это лучшие из ахейцев либо ахейцы в минуты проявления их храбрости или мудрости. Именно поэтому формула торжественного обращения к самым почитаемым ахейцам включает в себя этот этноним: «предводители аргивян и старейшины» (Ил. П, 79 и др.).

Отметим также, что употребление этнонимов «ахейцы» и «аргивяне» диктовалось и синтаксическими особенностями архаического языка, не обладавшего развитой категорией личного местоимения 3-го лица, но избегавшего по стилистическим соображениям повторения рядом одного и того же слова. Так, в «Одиссее» (X,15) Эол слушает рассказы «об Илионе, кораблях аргивян и возвращении ахейцев». Но снова отметим, что стихи подобного рода часто строятся так, что этноним «ахейцы» употребляется в нейтральном смысле, а «аргивяне» – в контексте, говорящем о мужестве, стойкости, мудрости тех же самых ахейцев. Так, в «Илиаде» (V, 497-498) «троянцы издали боевой клич и встали напротив ахейцев, аргивяне же ждали, плотно сомкнувшись и бесстрашно».

Что касается этнонима «данайцы», то анализ всех контекстов, в которых употребляется этот этноним, показывает, что, как правило, здесь речь идет или об ахейцах в их отношении к богам, жрецам, прорицателям, или о самых героических ахейцах, или обо всех ахейцах в самые героические минуты. Афродита, например, жалуется матери, когда ее, пытавшуюся вынести из сражения сына Энея, ранил в руку Диомед: «Это уже не ахейцы с троянцами, а данайцы с богами сражаются» (Ил.V, 378-379). В «Одиссее» этноним «данайцы» употреблен 13 раз в весьма точном значении – только по отношению к героям, сражавшимся под Троей и либо павшим там, либо претерпевшим позднее злые беды (кроме IV, 278).

Показательно употребление этого этнонима в песни «Подвиги Агамемнона» (Ил. XI). В первых трехстах стихах этой песни этнонимы греков распределены следующим образом. Зевс посылает богиню вражды к кораблям ахейцев (XI, 3). Вражда вдохновляет ахейцев на битву (XI, 11). Пробуждается Агамемнон и обращается с призывом к аргивянам (XI, 15). В его устах такое обращение весьма уместно, поскольку он басилевс аргивян. Агамемнон надевает доспехи, которые когда-то подарил ему правитель Кипра Кинир, когда услышал, что ахейцы собрались плыть в Трою (I, 21). Начинается битва ахейцев и троянцев (I, 70). Долго нет перевеса ни на той, ни на другой стороне, и, наконец, своей доблестью данайцы прорывают фаланги троянцев (I, 90). Только тут, в момент превращения ахейцев в героев, появляется этот этноним. Далее Агамемнон

руководит битвой, называя воинов то аргивянами (I, 154), то данайцами (I, 165), но, заметим, не ахейцами. Покидая поле битвы из-за раны, он снова обращается к данайцам с призывом продолжать битву (I, 275), называя их «предводители аргивян и старейшины» (I, 276). Но Зевс помогает троянцам, и, поняв это, Гектор кричит: «Зевс дарует мне славу, направим же коней на данайцев» (I, 290). Одного за другим поражает врагов Гектор, причем из перечисления видно, что это не простые ахейцы, а их вожди. Контекст здесь настолько ясно подсказывает, что под словом «данайцы» подразумеваются самые лучшие из ахейцев, что Гнедич, в переводе которого при передаче этнонимов чаще всего нет соответствия между русским и греческим текстом, переводит название «данайцы» так: «сих поразил он *ахейских вождей именитых*».

Примечательно и употребление этих этнонимов в «Илиаде» (IV, 257-264), когда Агамемнон, обращаясь к царю критян Идоменею, говорит ему: «Чту я тебя выше всех *данайцев* и на войне, и в другом деле, и на пиру, когда лучшие из *аргивян* смешивают вино в кратерах, и уж если и другие *ахейцы* пьют на пиру, то твой полный кубок, как и мой, стоит для питья». Как мы видим, употребление этнонимов именно в таком порядке точно обосновано семантически, а не только метрически и ясно обнаруживает поэтическую значимость установленных значений, на основе которых поэт и строит приведенную градацию.

В качестве подтверждения своих наблюдений над значением трех этнонимов греков в поэмах Гомера (ахейцы – все греческое объединение под Троей, самый нейтральный из этнонимов; аргивяне – либо непосредственные подданные Агамемнона, либо «героические ахейцы»; данайцы – ахейцы, имеющие отношение к божествам либо по ситуации, либо по своим качествам) рассмотрим их употребление целиком в первой и последней песнях «Илиады», которые избраны для анализа в целях подтверждения объективности приведенных выше наблюдений.

В I песни 4 раза встречается этноним «аргивяне», 9 раз – «данайцы», 37 – «ахейцы». Таким образом, маркированными являются, как и можно было ожидать, первые два этнонима, но из них этноним «данайцы» вопреки ожиданию более частотен. Название «аргивяне» встречается в следующих контекстах: в упоминавшихся уже словах Калханта, боящегося рассердить мужа, который властвует над аргивянами (I, 79); в словах Агамемнона, который требует трофея взамен Хрисеиды, чтобы не остаться ему одному из аргивян без дара (I, 119); в рассказе о первой стреле Аполлона, летящей в аргивян (ст. 382); в речи Одиссея, который передает Хрису слова Агамемнона (I, 445). Таким образом, в I песни аргивяне – подданные Агамемнона, главные виновники войны (почему именно в них

и летит прежде всего стрела Аполлона) или все ахейцы через восприятие Агамемнона.

Этноним «данайцы» употреблен в контекстах, где действуют жрец Хрис (I, 42, 456), прорицатель Калхант (I, 97, 109), Аполлон (I, 444), Гера (I, 56), а также в торжественной клятве Ахилла Калханту (I, 87, 90). Лишь один раз в словах Нестора нет прямых указаний на «божественный» или торжественный план, но мы можем легко предположить торжественность и экспрессию в словах мудрого старца (I, 258). Оговорим, впрочем, что, как в любом произведении, в поэмах Гомера несомненно существуют и нейтральные контексты, допускающие в принципе употребление любого этнонима.

Еще более четким оказывается употребление исследуемых этнонимов в последней песни, рассказывающей о выкупе тела Гектора и о его погребении. Здесь этноним «аргивяне» также встречается 4 раза, и притом только тогда, когда ахейцы изображаются с позиции троянцев. В стихе 168 троянские женщины оплакивают своих близких, павших от рук аргивян; в стихе 298 Гекуба говорит Приаму, что не пустит его к аргивянам, если Зевс не даст ему провожатого; в стихе 779 Приам побуждает троянцев рубить лес для погребения Гектора и не бояться аргивян; в стихе 393 Гермес говорит Приаму, что он видел, как Гектор разил аргивян. Этноним же «данайцы» употреблен всего 3 раза в «божественном» контексте: в стихе 295 Гекуба призывает Приама молиться Крониду, чтобы тот послал птицу в знак того, что Приам может безопасно идти к кораблям данайцев; в стихе 313 супруги молят об этом Зевса; в стихе 338 Зевс приказывает Гермесу сопровождать Приама к данайцам.

Добавим, что и морфологические формы анализируемых этнонимов лишний раз подтверждают установленное различие в их значении. Наиболее четко маркированное по значению и употреблению название «данайцы» встречается лишь во мн. числе и в том единственном падеже, который позволяет различать поэтические и регулярные формы, а именно в дат. падеже мн. числа: он употребляется только в форме, характерной для греческой поэзии – с окончанием *-οἰσι*. От этнонима «аргивяне» есть и форма жен. рода – «аргивянка», а в дат. падеже он 61 раз встречается в форме на *-οἰσι*, но 7 раз имеет форму на *οἰς*. Этноним «ахейцы» встречается по 2 раза в ед. числе в муж. и жен. роде, т.е. имеет наиболее разветвленную парадигму, а в дат. падеже мн. числа употребляется почти одинаково в обеих формах (13 раз в форме на *-οἰσι* и 10 раз в форме на *-οἰς*).

В заключение можно сказать, что проведенный анализ свидетельствует о том, что появление в гомеровском языке синонимического ряда для обозначения греков есть явление, обусловленное не только стремлением к созданию фонда метрических дублетов. В значении этнонимов гоме-

ровских греков должно было непременно присутствовать своеобразное взаимопроникновение божественного и человеческого, что составляет основу гомеровского эпоса и выражается противопоставлением этнонимов «ахейцы», «аргивяне», с одной стороны, и «данайцы» – с другой. Напомним также о сходном противопоставлении этнонимов «троянцы» – «дардане», где второе название, также употребляемое метонимически для обозначения всех троянцев, и притом только в случаях торжественного обращения к ним, сразу вызывает представление о сыне Зевса Дардане, основателе одного из городов Трояды.

Три этнонима греков были также немаловажным средством в создании эпического пространства и времени, заставляя слушателей постоянно представлять себе объединение греков и как нечто единое, и как нечто дискретное, как действующее на земле и как некоторым образом причастное к миру небожителей, воплощающее эпическое время как совокупность времени и реального, и мифологического. Данный синонимический ряд был не случайно использован Гомером: его семантическая многомерность позволяла с различных сторон изображать одно и то же ахейское войско.

Хотя проанализированный синонимический ряд был известен и до Гомера, но конкретное распределение в тексте, точная и тонкая связь (в большинстве случаев, хотя есть и нейтральные контексты) со смыслом текста, не могли быть созданием «общего разума» и фольклора. Это есть тончайшая и точнейшая работа индивидуальной творческой личности, главной заслугой которой явилось создание «логоса».

Таким образом, при наличии значительного количества стереотипных формул и при соблюдении традиций фольклорно-эпического (или прото-литературно-эпического) языка мы наблюдаем не просто индивидуальный (что было и ранее), но творческий подход и в организации содержания, и в организации языка. Случайно или нет, именно в УШ в. до н.э. была востребована самостоятельная творческая мысль? Какими обстоятельствами в развитии эллинской цивилизации можно объяснить этот «скачок» к высокому индивидуальному творчеству? Исследователи приводят много фактов, говорящих о том, что послемикенское время (XI-IX вв. до н.э.) вовсе не было «темными веками», как их часто называли, противопоставляя «греческому чуду» последующих веков. В эти века продолжалось непрерывное развитие и экономики, и религии, и искусства.

В рассматриваемый период греческая мифология достигла своего расцвета, постепенно объединив возрожденные домикенские, микенские и различные новые (в том числе восточные) культы. Снова распространяются древнейшие хтонические, связанные с культом земли (от греч.

χθών «земля») культы Деметры, Гермеса, Артемиды, которые возникли еще в домикенское время. На основе сочетаний различных мифологических представлений возникали новые культы (например, Афродиты). С X в. до н.э. широкое распространение получает культ Зевса Олимпийского, с IX – культ молодого божества Аполлона. О резко возросшей религиозно-мифологической деятельности свидетельствует большое число местных и панэллинских святилищ, создававшихся с X в. до н.э.

Об устанавливаемых в это время тесных контактах с восточным миром свидетельствует не только мифология, но и другие факты. Уже античные комментаторы обращали внимание на миф о Беллерофонте у Гомера (Ил., VI, 155-206): сын коринфского царя Главка Гиппоной, убив коринфянина Беллера (отчего получил свое имя: букв. «убийца Беллера») бежал в Аргос к царю Прету (Пройту), который, желая от него избавиться, отослал его к своему зятю ликийскому царю Иобату, снабдив дощечкой со знаками, которые мог прочесть только Иобат: Прет повелел убить Беллерофонта. Античные схолиасты (Schol. II. VI, 168) считали эти знаки египетскими иероглифами, современные ученые видят в них хеттские иероглифы или знаки линейного письма Б. Как бы то ни было, здесь получило отражение тот факт, что во времена, гораздо более ранние, чем гомеровское время (VIII в. до н.э.), греки использовали какой-то вид письменности. К VIII в. до н.э. относятся первые сохранившиеся греческие надписи, что говорит о довольно длительной письменной традиции. Видимо, в «темные века» греки были уже знакомы и с разными видами семитского письма, которое они стали постепенно приспосабливать для передачи звуков греческой речи.

IX в. до н.э. – время становления и расцвета нового стиля в греческом искусстве – геометрического стиля, резко отличавшегося от пышного, декоративного и во многом реалистичного крито-микенского искусства. Геометрический стиль вместо прежних ярких красок и растительного орнамента использует простейшие элементы (треугольник, крест, зигзаг, меандр), разделяемые на пояса четкими линиями. Этот стиль получил особое развитие в Аттике, где на афинском акрополе были найдены так называемые дипилонские вазы (по названию одного из районов Афин). Период стабилизации в расселении греческих племен (X-IX вв. до н.э.) был и временем установления межплеменных связей на всех уровнях (политическом, культурном и языковом), что подтверждает греческое искусство, которое, спустя некоторое время, приобрело общезеллинский характер.

Приведем здесь выводы, сделанные известным российским историком Э.Д.Фроловым: «...опираясь на приведенные материалы и соображения, можно постулировать прежде всего сравнительно раннее распростране-

ние в послемикенской Греции новой алфавитной письменности – не с VII столетия, как полагали в свое время радикальные последователи Ф.А.Вольфа, а с IX, а, может быть, даже и с конца X в. до н.э. Соответственно и сложение, и запись героического гомеровского эпоса могут быть уверенно приурочены к традиционному временному моменту – к рубежу IX-VIII вв. Далее можно констатировать несомненное лексическое богатство официального политического языка греков в так называемое архаическое время, что видно даже в сравнении с языком ранней лирики. Во всяком случае, если последняя демонстрирует изощренную лексику этического и социального порядка, то документальные материалы содержат богатые россыпи лексики политической, изобилующей специальными терминами для понятий государства, гражданства, различных институтов, правовых норм и ситуаций и т.п.

Наконец, опираясь на эти доставляемые эпиграфикой данные и впечатления, можно заключить о сравнительно высоком уровне политической жизни греков уже в VII в. до н.э. Соответственно радикальные сдвиги в социально-экономической и политической сферах, обусловившие рождение у греков новой классической цивилизации, – а под этими сдвигами мы понимаем возникновение городов, формирование государственных структур, складывание гражданских общин полисного типа, – следует отнести не к рубежу VIII-VII или даже VII-VI вв., как это делают скептики, вроде Г.Берве и Ч.Старра, а гораздо ранее, к рубежу IX-VIII вв. Только тогда нам будет понятен тот документальный взрыв, тот наплыв эпиграфических материалов, который с первого взгляда столь неожиданно является в VII столетии до н.э.» [Фролов 1997, 230-231].

Думается, можно утверждать, что период VIII-V вв. до н.э., называемый «греческим чудом», был подготовлен предшествующим периодом активного изменения основных принципов человеческой деятельности – переходом от поступательно-традиционной к творчески-преобразовательной деятельности под влиянием новых социально-психологических изменений, которые создавал нарождающийся полис. Как известно, греческий полис явился совершенно уникальным социальным образованием, стимулировавшим творческие способности граждан полиса, поскольку именно яркие индивидуальности (поэты, стратеги, архитекторы и др.) определяли место данного полиса в эллинском мире. Вероятно, именно этими обстоятельствами и объясняется творческий «взрыв» эпической словесности – появление поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Поэты догомеровского времени, по всей видимости, были еще в такой большой степени зависимы от фольклора, от его устоявшихся формул, от его тысячелетиями создававшихся стереотипов в построении и исполне-

нии текста, что их произведения, хотя и отмечавшиеся как индивидуальные (ср. сохранившиеся имена Мусея, Орфея, Лина и других поэтов), резко не выделялись на фоне всей остальной устной словесности. Гомер явился особой творческой личностью, поставившей своей задачей уйти от механическо-метрико-стереотипных принципов сотворения текста и по возможности придать смысл всем его элементам и прежде всего главному – языковому выражению.

Не настаивая на абсолютной правомерности сопоставления разновременных и разнообъектных наблюдений, все же сошлемся еще раз на наблюдения Н.П.Бехтерева и попытку объяснения такого человеческого феномена, как творчество, хотя окончательно понимание природы творчества, по ее же признанию, могут дать только совместные работы физиологов мозга и психологов. «Магия творчества в обществе – прорыв к новой истине сквозь устоявшиеся знания. Физиологически – это процесс, развивающийся при преодолении и переориентации детектора ошибок (из противника в помощника), создание и воссоздание «своего» эмоционального фона. У творчества свое, только ему присущее состояние, «свои» эмоции, «своя» детекция ошибок. В свободном полете творческой мысли индивидууму-творцу надежно служат различные, в том числе и преобразованные механизмы мозга. Творчество, преобразуя мир, своим базисом имеет творчески преобразованный мозг человека.

Будущее исследователей творчества – в руках психолога, который поможет с помощью рационального эксперимента расшифровать то, что сейчас может обозначаться лишь как физиологические механизмы магии творчества. Естественно, с помощью физиологов» [Бехтерева 2007, 366].

Литература

- Аристотель.* Об искусстве поэзии. Пер. Апелльрота В.Г. М., 1957.
Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.-СПб., 2007.
Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996.
Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978.
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. М., 1974.
Гуревич А.Я. Пространственно-временной континуум «Песни о Нибелунгах» // Традиции в истории культуры. М., 1978.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. М., 1990.
Серебряный С.Д. О некоторых аспектах понятий «автор» и «авторство» в истории индийских литератур // Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979. С.150-182.

Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973.

Фролов Э.Д. Греческий полис в отражении древнейших эпиграфических документов // *Μνήμη χάρις*. *Philologia classica*, вып. пятый. СПб, 1997. С.213-233.

Цицерон М. Три трактата об ораторах. Брут. М., 1972.

Chantraine P. Grammaire homerique. P., 1958.

Ebeling H. Lexicon Homericum, I. Lipsiae, 1885.

Parry A. Language and characterization in Homer. // *Harvard Studies in classical Philology*, Cambridge (mass.), 1972, vol.76.

Schadewaldt W. Der Aufbau der Ilias. Frankfurt-am-Mein, 1975.

Н.Н.Трошина

СТИЛИСТИКА И АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Расширение и обогащение наших знаний о естественном языке в значительной степени определяется тем, что с развитием лингвистики формируются новые парадигмы языкознания, т.е. системы основных концептуальных установок, в рамках которых рассматривается сам феномен языка и исследуются его единицы. Современный этап развития языкознания характеризуется тесным переплетением дескриптивной, системной, функциональной, коммуникативной, прагматической, психолингвистической, текстоцентрической и других парадигм языкознания, констатируют В.И.Шаховский, Ю.А.Сорокин и И.В. Томашева [Шаховский, Сорокин, Томашева 1998, 3]. Таким образом, к настоящему моменту в языкознании сложилась ситуация, которая справедливо может быть квалифицирована как полипарадигмальная [Малинович 2003, 8]. Большинство перечисленных парадигм объединяются в антропологической лингвистике. Ее базовыми понятиями являются человек и естественный язык в их объективно существующей взаимосвязи: «...человек вне языка не существует, язык вне человека может существовать только как исторический памятник. При помощи языка человек картирует не только окружающий мир, но и себя в этом мире» [Малинович 2003, 20]. Язык не может быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользователем. Становление антропологической лингвистики свидетельствует о смещении фокуса лингвистических исследований в направлении от «язык в человеке» к «человек в языке». Перестановка составляющих этой диады имеет принципиально важное значение не только для теории языка, но и для новых поисков манифестации мира человека в языке [там же, 11].

Антропоцентрический подход к языку предполагает признание присутствия «в его системе, структуре, функционировании и эволюции носителя языка как субъекта речи, восприятия, познания, мышления, сознания, поведения, деятельности и культуры», подчеркивает Н.К.Рябцева в монографии «Язык и естественный интеллект» [Рябцева 2005, 10]. Эта концепция близка к теории языковой личности, предложенной Ю.Н.Карауловым, в рамках которой под языковой личностью понимается «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определенной целевой направленностью» [Караулов 1989, 3]. Теория Ю.Н.Караулова позволяет рассмотреть во взаимодействии четыре фундаментальные свойства личности: 1) как средоточия и результата действия социальных законов; 2) как продукта исторического развития этноса; 3) как индивидуума, мотивационные установки которого принадлежат к психической сфере; 4) как создателя и пользователя знаковых образований [Караулов 1986].

Антропоцентрический подход к языку в контексте полипарадигмальности современного языкознания означает усиленное внимание к функциональному, коммуникативному и прагматическому аспектам изучения языков, что позволяет сделать вывод об усилении роли и значения стилистических исследований, справедливо замечает Н.Н.Семенюк [Семенюк 2000, 8]. Действительно, именно *лингвостилистические* характеристики устных и письменных текстов, порождаемых человеком в процессе речевой коммуникации, подтверждают справедливость широко известного высказывания: «Стиль – это человек». Поэтому современная стилистика сосредоточила основное внимание на «стилистическом аспекте речевых произведений как единиц коммуникации в их дискурсивном (ситуация, цели, концепты, фоновые знания и пр.) и собственно текстовом (языковые средства и их конфигурации, вербальный контекст, стратегии декодирования) планах» [Наер 2005, 3]. Стилистические характеристики текста играют основную роль в осмыслении коммуникативных процессов, регулируемых обратной связью, подчеркивает также Ю.А.Сорокин [Сорокин 1985, 59].

Здесь необходимо отметить большую эвристическую ценность концепции Н.Н.Семенюк о необходимости интенсификации исследований в области исторической стилистики: «... при историческом аспекте изучения текстовой и стилистический анализ самым непосредственным образом связаны хотя бы уже потому, что стилистическая атрибуция явлений может основываться лишь на сопоставлении употребления этих явлений

в различных текстах» [Семенюк 2000, 41]. Автор подчеркивает, что языковые характеристики текста могут быть в полной мере выявлены и адекватно интерпретированы лишь в результате изучения прагматических по своему характеру функций текста – коммуникативных и культурных [там же, 35].

К стилю как к сложному свойству текста подходит и Б.Ю. Городецкий. Суть стиля исследователь видит в «особой стратегии отбора определенного множества языковых средств из потенциально возможных» [Городецкий 2005, 28]. В «Стилистическом словаре русского языка» также указывается, что «стиль творится и выражается в речевой деятельности, в процессе употребления языка и запечатлевается в тексте» [Стилистический энциклопедический словарь 2003, 511].

Итак, именно исследование стилистических изменений речевой коммуникации, проводимое в последовательно сменяющихся культурных контекстах, может дать адекватную картину развития человеческой коммуникации на естественном языке.

Будучи носителем языка и субъектом всех процессов, связанных с речевой деятельностью, человек участвует в них *эмоционально*. Непременное участие человеческих эмоций в процессе познания объективной действительности и в вербализации результатов этого познания традиционно подчеркивалось во многих философских, психологических и лингвистических исследованиях. Так, Ш.Балли указывал во «Французской стилистике», что «наша мысль постоянно и непреднамеренно добавляет к малейшему восприятию элемент оценки. Конечно, эта тенденция, присущая нашей природе, отражается и в языке. Проявлением этой тенденции в речи и является экспрессивная доминанта» [Балли 1961, 183]. Этой точке зрения было созвучно мнение Г.В.Колшанского о том, что «говоря о предметном мире языкового содержания, безусловно, необходимо включать сюда и все объекты интроспекции (эмоции, психические состояния), поскольку они в этом случае также становятся объектом по отношению к познавательной деятельности» [Колшанский 1976, 10]. Восприятие, сенсомоторика, когнитивия, память и эмоции – вот те механизмы, с помощью которых человек порождает и запоминает образ окружающего мира, пишет современный немецкий исследователь З.Шмидт [Schmidt 1994, 114]. Чувства человека, его действия и общение определяются теми возможностями, которыми он располагает как член общества, носитель языка и определенной культуры.

Поскольку эмоции накладывают свой неизгладимый отпечаток на все результаты человеческой деятельности, а язык «упаковывает эти результаты в свои формы, то он «упаковывает» в них и этот эмоциональный

отпечаток, который также неповторим, пишет В.И. Шаховский [Шаховский 2002, 3]. Как отмечает Е.С.Кубрякова в книге «Части речи в ономаσιологическом освещении», при этом «слова светятся отраженным светом вещей» [Кубрякова 1978, 3]. Этот «отраженный свет вещей», эмоциональное значение слов, которые изучаются лингвистической стилистикой и именуются стилистическими значениями, являются результатом эмоционального освоения человеком соответствующих фрагментов действительности. По своей природе стилистическое значение может быть охарактеризовано как значение абсолютное, так как оно характеризуется регулярностью и соотносится с определенными сферами познавательной деятельности человека.

Лингвистический статус абсолютного стилистического значения обоснован в трудах отечественных лингвистов И.Р. Гальперина [Гальперин 1976] и Э.Г. Ризель [Riesel, Schendels 1975; Ризель 1980]. Как указывал И.Р. Гальперин, значение может иметь в большей или меньшей степени субъективно-оценочный характер, с одной стороны, и выделительно-познавательный, – с другой. В качестве первого признака появляется эмоциональный компонент семантической структуры слова, а в качестве второго – денотативное значение слова. Таким образом, возникают эмоциональные значения, которые могут сопровождать предметно-логические значения слова, а могут быть и самостоятельными значениями.

Антропоцентрический подход к языку основывается на признании конгруэнтности, т.е. соответствия, «некоторого условного параллелизма. ... Это соответствие не может быть прямым, явным, эксплицитным и однозначным, но оно, тем не менее, не может не существовать по определению» [Рябцева 2005, 10]: ведь все «субъектные роли» носителя языка (см. выше) аккумулируются в интеллекте. Поэтому данные естественного языка представляют собой важнейший источник сведений о естественном интеллекте. Логично предположить, что данные о стилистическом потенциале языка (языковых единиц и текстов) с его «способностью содержать и передавать информацию *неявно* – имплицитно, «невербально», недискурсивно» [там же, 35] могут сообщить многое о таких специфических явлениях, как взаимодействие эмоций и интеллекта, национальная и культурная ментальность и т.д.

Литература

Балли Ш. Французская стилистика / Пер. с французского. Долинина К.А. - М., 1961.

Гальперин И.Р. О принципах семантического анализа стилистически маркированных отрезков текста // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

Городецкий Б.Ю. Коммуникативные аспекты стилистики // Стилистика и теория языковой коммуникации. Тез. межд. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. МГЛУ И.Р.Гальперина (20-21 апреля 2005). М., 2005.

Караулов Ю.Н. «Четыре кита» современной лингвистики, или предпосылки включения «языковой личности» в объект науки о языке: (От содержания науки к ее истории) // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке: Сб. науч. тр. АН СССР. Центр. Совет филос. (методол.) семинаров при Президиуме АН СССР; отв. ред. Володин Э.Ф., Нерознак В.П. М., 1986.

Караулов Ю.Н. Предисловие: Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989.

Кошанский Г.В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

Кубрякова Е.С. Части речи в ономаσιологическом освещении. М., 1978.

Малинович Ю.М., Малинович М.В. Антропологическая лингвистика как интегральная наука // Антропологическая лингвистика: Концепты, категории. М., Иркутск, 2003.

Наер В.Л. Стилистика и вопросы языковой коммуникации // Стилистика и теория языковой коммуникации. Тез. межд. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. МГЛУ И.Р.Гальперина (20-21 апреля 2005). М., 2005.

Ризель Э.Г. Стилистическое значение и коннотация // Лингвистические проблемы текста. М., 1980.

Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. М., 2005.

Семенов Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.

Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1985.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Под ред. М.Н. Кожинной. М., 2003.

Шаховский В.И. Эмоциональная / эмотивная компетенция в межкультурной коммуникации: (Есть ли неэмоциональные концепты?) // Аксиологическая лингвистика: Проблемы изучения культурных концептов и этносознания. Волгоград, 2002.

Шаховский В.И., Сорокин Ю.А., Томашева И.В. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы: (Межкультурное понимание и лингвоэкология). Волгоград, 1998.

Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. Moskau, 1975.

Schmidt S. Kognitive Autonomie und soziale Orientierung: Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Frankfurt a.M., 1994.

Раздел 5

Историческая социолингвистика

Б. П. Наумов

БАЛКАНО-РОМАНСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ АРЕАЛ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ*

В романском языкознании является общепринятым выделение таких подгрупп языков и диалектов, как иберо-романская, галло-романская, итало-романская, ретороманская и балкано-романская. Основания для разграничения соответствующих ареалов могут быть самыми разными: наличие структурной и генетической общности (действительной или мнимой), контакты в пространстве и социуме, общность исторических судеб языковых коллективов. Постепенно в романистике, в результате углубленного анализа прошлых и современных языковых состояний и ситуаций, выработалось представление о значительной доле условности, с которой выделяются перечисленные выше подгруппы, сохраняющие в основном *пропедевтическую* ценность, как способ упорядочения романского языкового материала, характеризуемого высокой степенью пространственной вариативности.

Сказанное относится прежде всего к балкано-романской подгруппе романских языков, так как спорно уже само название данного ареала, в котором объединяются, с одной стороны, вымерший далматинский, арумьинский, меглено- и истрорумынский, которые действительно бытовали и бытуют на территории Балканского полуострова. С другой стороны, располагаются румынские диалекты вместе с румынским литературным языком, на которых говорят к северу от Балкан, на левом берегу Дуная. Неточным представляется и наименование «восточнороманская подгруппа» в связи с известным делением романского ареала в целом на Западную и Восточную Романию, которое в конце концов оказалось несостоятельным, ибо основывалось всего лишь на нескольких фонетических и морфологических признаках. Объединение в одну восточнороманскую подгруппу языков и диалектов Италии и Балкан, какими бы структурными аргументами и доводами из области исторической социолингвистики оно ни подкреплялось, признано устаревшим. К восточнороманской подгруппе ныне относят только северо- и южнодунайские идиомы (румьинский, арумьинский, меглено- и истрорумынский), а далматинский, как и

* К сожалению, Б.П. Наумов ушел из жизни до публикации этой статьи.

разнообразные идиомы Италии, в соответствии с общим характером их внутренней структуры, объединяются с идиомами Западной Романии [Репина, Нарумов 2001, 682]. Таким образом, возникает проблема определения места далматинского в кругу романских идиомов, ибо, будучи балканским языком в географическом отношении, он имеет очень мало общего с другими романскими идиомами, бытующими в данном ареале. Более того, исследования последних десятилетий, прежде всего хорватского романиста Ж. Мулячича, поставили под сомнение целесообразность выделения далматинского как *единого языка*; в лучшем случае можно говорить лишь о существовании далматинского ареала, в котором функционировали весьма отличные друг от друга языковые образования.

Напротив, румынский ареал в широком смысле слова, охватывающий как северо-, так и южнодунайские идиомы, всегда наделялся, особенно в трудах румынских ученых, значительным структурным единством, что позволило выдвинуть тезис о существовании в настоящее время в Восточной Романии только одного языка – румынского, понимаемого как язык-класс, как совокупность всех романских идиомов, продолжающих функционировать на этой территории, в то время как далматинский прекратил свое существование примерно к середине XIX в. Однако существует и другая точка зрения, согласно которой в Восточной Романии выделяется до пяти языков: румынский, арумынский, меглено- и истрорумынский, а также молдавский. Такой разнотой в мнениях обусловлен особой сложностью социолингвистической истории румынского ареала; следует учесть, что он никогда не находился в границах единого государственного образования и никогда не покрывался одним литературным языком. Однако, несмотря на существование в течение ряда веков отдельных государственных образований (Валахии, Молдовы и Трансильвании), в них все же сформировалась единая культурно-языковая общность, ставшая в середине XIX в. основой и государственного объединения, хотя и не сразу и не до конца осуществленного. За пределами этой общности остались южнодунайские идиомы; что же касается Бессарабии и Приднестровья (входящих ныне в состав Республики Молдова), то там в течение нескольких десятилетий обсуждалась проблема формирования особого литературного языка, отличного от румынского литературного языка.

В дальнейшем мы будем оперировать понятием балкано-романского языкового ареала как условным обозначением совокупности упомянутых выше идиомов, включая далматинский, памятуя при этом о его неточности в географическом отношении, а также понятием восточнороманского ареала, в котором объединяются только северо- и южнодунайские идиомы.

В прошлом выделение больших подгрупп романских языков и диалектов, обозначенных в начале статьи, было основано прежде всего на предположении о существовании особых типов народной латыни (иберийской, галльской, итальянской). Однако детальный анализ социоллингвистических процессов заставил отказаться от упрощенного представления о существовании «общих» языков, промежуточных между латынью и романскими языками, ибо романизация каждого географического региона и дальнейшая эволюция местных вариантов латыни представляли собой длительный процесс, нередко связанный с перемещением в пространстве масс романоязычного населения и с взаимными контактами романских лингвем. Поэтому можно сказать, что эволюция от латыни к романским языкам и диалектам представляет собой *непрерывный*, но не *линейный* процесс, и нынешние романские идиомы не являются *непосредственным* продолжением латыни соответствующей местности. В этом отношении балкано-романский ареал можно считать особенно показательным; он представляет собой «мобильный континуум» [La romanità balcanica 1992, 102], причем, в отличие от других романских ареалов, он никогда не характеризовался пространственной непрерывностью, то есть представлял собой *дисперсный* ареал.

Данное обстоятельство не позволяет постулировать существование единого типа балканской, или восточной, латыни, который можно было бы назвать протоязыком по отношению к далматинскому, румынскому и прочим балкано-романским идиомам [Репина 1983, 98]. Об этом свидетельствуют прежде всего глубокие структурные расхождения между далматинским, с одной стороны, и прочими балкано-романскими идиомами, с другой; единичные фонетические схождения между ними можно считать случайными (ср. пример, которым оперирует Э. Петрович для демонстрации совершенно разной грамматической структуры румынского и далматинского: лат. *filius vicini* – далм. *el fel' del vičain* – рум. *fiul vecinului* ‘сын соседа’ [Petrović 1970, 56]). Однако и история романизации соответствующих областей показывает, насколько разными были протекавшие в них демографические и социально-культурные процессы, не позволившие сформироваться единому типу языковой структуры. Румынские и хорватские романисты постепенно пришли к убеждению, что на Балканах существовали две сильно романизованные области: побережье Далмации и берега Дуная в его нижнем течении, причем эти области были изолированы друг от друга горной местностью, которую предположительно населяли нероманизованные предки албанцев [Petrović 1970, 58–59]. Условия романизации этих двух областей были весьма различными, и на Балканах изначально существовали две основные разновидности латыни – приморская и континентальная; из первой разновидности

развились далматинские идиомы, из второй – собственно восточнороманские. Поэтому такие термины, как «балкано-романский» и «балканская латынь» следует понимать как обозначение не одного (прото)языка, а разных языковых вариантов, развивавшихся в разных условиях [Muļjačić 2000, 14].

В «Основах балканского языкознания», подготовленного петербургскими романистами, отмечается перспективность точки зрения, согласно которой Далмация представляла собой самостоятельный очаг романизации на Балканах. Поэтому далматинский как совокупность романских говоров адриатического побережья вряд ли мог иметь какое-либо отношение к «дардано-романскому» очагу как основе румынского [Степанова, Сухачев 1990, 257]. Н.Л. Сухачев, упоминая «лакуну романизации», выявленную А. Филиппиде, указывает на отсутствие непосредственных связей между двумя очагами романизации, поскольку прямой выход из Далмации во внутренние области Балканского полуострова был затруднен; он полагает, что к балкано-романским языкам далматинский может быть отнесен только по своему местоположению, но не по типу языковой структуры, и данные этого языка не могут быть использованы для реконструкции балканской латыни или «(прото)балкано-романского» [Сухачев 1990, 131, 138], который, как некое языковое единство, никогда не существовал.

Далматинский язык известен нам в основном в вельотском варианте (о. Велья или Крк), зафиксированном итальянским исследователем М. Бартоли в конце XIX в. на основе опроса последнего его носителя Антонио Удины [Bartoli 1906]. Ж. Муляич, проведя огромную текстологическую работу по выявлению далматинизмов в документах, составленных на латинском, венецианском, итальянском и хорватском языках, предпринял попытку реконструкции, хотя бы в общих чертах, языковых ситуаций и состояний прошлых веков. В результате он пришел к убеждению, что невозможно говорить о едином далматинском языке. Речь далматинцев не смогла консолидироваться в единый язык по причинам экстралингвистического характера: 1) поскольку единого далматинского государства никогда не существовало, каждый далматинский город имел свою языковую историю и далматинский в действительности был представлен рядом языковых типов; 2) наряду с предполагаемыми различиями в качестве латыни, лежащей в основе тех или иных вариантов, важнейшим фактором дифференциации явились процессы венецизации и хорватизации далматинской речи, обусловленные тем, что далматинские города, за исключением Рагузы/Дубровника, находились в прямой зависимости от Венецианской республики и от венгерско-хорватской короны; эти процессы в отдельных ареалах протекали по-разному и в разное вре-

мя и обусловили возникновение качественно различных идиомов, лишь по географическому признаку объединяемых в один язык [Muĵaĉić 2000, 171–172].

Тем не менее, основываясь на данных исторической фонетики, то есть используя внутривидовый критерий, Ж. Мулячич посчитал возможным выделить три далматско-романских языка: северный далматинский, рагузанский и так называемый лабеатский, включавший диалекты, которые были распространены на юге Далмации и на севере современной Албании [Muĵaĉić 2000, 326]. Одновременно он выдвинул гипотезу о существовании в далматинском ареале сублимированных форм речи, по крайней мере устных, которые выполняли функцию образцового языка в соответствующем ареале по отношению к локальным формам речи; эти языки были названы им «средними», так как они занимали промежуточное положение между низшими формами и высшими, каковыми были латынь, венецианский, итальянский, хорватский. Мулячич выделил три или четыре таких языка, статус которых, разумеется, остается совершенно гипотетическим. В целом исследования Мулячича показали отсутствие языкового единства в далматинском ареале, обусловленное действием социоллингвистических факторов, которые не позволили осуществить «центрирование» далматинской речи и сформировать единую наддиалектную норму. В условиях многоязычия далматинские идиомы приобрели контаминированный характер и в основном вышли из употребления уже к XVI в., и лишь на о. Велья романская речь продержалась до XIX в.

Если идею о существовании единой балканской латыни в наше время поддерживают немногие исследователи, то постулирование общерумынского языка-основы пользуется популярностью среди румынских лингвистов. Это связано со стремлением представить восточнороманский ареал в виде *одного* языка – румынского, который в лингвогеографическом аспекте мыслится как совокупность четырех диалектов – дакорумынского (на территории Румынии), арумынского, меглено- и истрорумынского. Именно идея единства румынского языка во времени и пространстве, утверждение о «замечательном единстве фонологической и морфосинтаксической системы и основного словарного фонда» [Caragiu 1995, 407] неизбежно приводят к постулированию существования в прошлом общерумынского языка-основы, который получил в румынистике различные наименования: *străromână* ‘праарумынский’ в Клужской школе, *româna (primitivă) comună* ‘(первоначальный) общерумынский’ в Бухарестской школе. Понятию первоначального румынского (*le roumain primitif*) дал жизнь выдающийся румынский языковед С. Пушкариу, который определял его как реальный язык, на котором говорили предки дакорумын, арумын, меглено- и истрорумын до того, как были прерваны их взаимо-

связи [Pușcariu 1937, 65]. Это понятие играет центральную роль при определении статуса балкано-романских идиомов, о чем прямо заявил И. Котяну: для того чтобы романские идиомы Балкан и Истрии можно было считать (историческими) диалектами одного языка, необходимо постулировать наличие некоего языкового единства в прошлом, которое позволяло бы считать южнодунайские идиомы, наряду с дакорумынским Румынии, диалектами единого румынского языка [Coteanu 1959, 8; Coteanu 1961, 115].

Относительное структурное единство восточнороманского ареала, позволяющее считать все бытующие в нем идиомы вариантами единого языкового типа, получает разнообразные объяснения социолингвистического характера. Наиболее интересным из них является, по нашему мнению, объяснение С. Пушкариу. Он считал, что языковое единство древних румын следует обосновывать не наличием «колыбели» румынского языка, то есть очень ограниченного пространства, на котором первоначально проживали предки румын, не легкостью коммуникации, которая в действительности была затруднена, особенно в горной местности, а отсутствием сложной политической организации и городских центров. Если бы на Балканах сохранились древнеримские города и провинции, как это произошло в Западной Европе, то ныне мы бы имели несколько балкано-романских языков. Именно по причине отсутствия собственных государственных образований христианское население, разбросанное на обширной территории, смогло сохранить более единый язык, чем, например, население Италии, которое было разделено на мелкие группы, объединенные общими интересами вокруг соперничавших друг с другом городских центров [Coteanu 1959, 22–23; Pușcariu 1943, 411, 446].

Единство балкано-романского ареала и в прошлом, и в настоящем усматривается также в сохранении его жителями этнонима ROMANI > общерум. *rumăni > рум. români, арум. ar(u)mâni, rumăni, rămăni, истрорум. rumeri [Caragiу 1995, 405; Russu 1981, 237]. Тот факт, что этноним ROMANI сохранили все носители балкано-романских идиомов, кроме мегленорумын, для М. Караджиу Мариоциу является веским аргументом в пользу признания их национального и языкового единства; этот этноним дали себе сами румыны, поскольку они, якобы, имели четкое представление о своем романском происхождении. Тем не менее, учитывая приведенные выше соображения С. Пушкариу, наличие единого этнонима никак нельзя считать аргументом в пользу существования на Балканах единого румынского языка и единого румынского народа, рассеянного по территории нескольких государств, на что указывает, в частности, Б. Э. Видос: именование романского населения Балканского полуострова об-

щим и неопределенным в географическом (добавим: и в политическом) отношении термином ROMANI является следствием длительного отсутствия у этого населения государственных образований и значительных городских центров, к которым они могли бы быть «приписаны» и от которых они могли бы получить более однозначные этнонимы и лингвонимы [Vidos 1975, 301].

Как бы то ни было, по мнению виднейшего специалиста по истории румынского языка Г. Ивэнеску, румынский язык на начальном этапе своего развития существовал в виде ряда сельских говоров, близких друг к другу, поэтому только в данном романском ареале можно постулировать наличие единого исходного языка – первоначального румынского [Ivănescu 1980, 284]. Таким образом, румынское языкознание существенно отличается от других отраслей романистики, поскольку только в нем постулируется существование промежуточного общего языка, которое обосновывается аргументами не только структурного, но и социоллингвистического характера.

Важно подчеркнуть, что первоначальное единство восточнороманского ареала (не исключаяющее, впрочем, ранних диалектных различий) в той или иной степени поддерживалось и в дальнейшем, поскольку для этого ареала были характерны постоянные миграции романоязычного населения, приводившие к контаминации разных лингвем. Однако, как и балкано-романский ареал в целом, восточнороманский ареал лишен пространственного континуума; арумынский, меглено- и истрорумынский функционируют в отрыве от румынских диалектов Румынии, объединяемых в дакорумынский ареал; в отличие от последних, южнодунайские идиомы не взаимодействуют с литературным румынским языком, не подчинены ему функционально. Тем не менее большинство румынских лингвистов, проецируя былое языковое единство на современную ситуацию и отвлекаясь от факта пространственной и функциональной изоляции этих идиомов, все же считают их диалектами румынского языка, ставя акцент на структурные схождения с диалектами Румынии и на отсутствие у них собственной литературной нормы. Лишь А. Граур [Graur 1956], И. Котяну [Coteanu 1959] и немногие другие лингвисты, используя функциональный критерий подчинения, обосновали возможность считать три южнодунайских идиома отдельными языками.

А. Граур [Graur 1960, 311] также высказал мнение о возможности признания молдавского в качестве пятого восточнороманского языка, поддержав тем самым точку зрения советских романистов (в частности М. В. Сергиевского [Сергиевский 1959]), которые считали целесообразным культивировать особый литературный язык, отличный от румынского. Однако в действительности молдавский так и остался «языком-

проектом», ибо молдавские лингвисты на практике придерживались румынской литературной нормы, допуская незначительное количество молдаванизмов в фонетике и грамматике; молдавская же лексика не может считаться дифференцирующим фактором, так как она имеет широкое хождение и в Румынии. Верный анализ языковой ситуации, сложившейся в Молдавской ССР, литературный язык которой фактически оказался идентичным румынскому, дали в свое время Б. И. Ваксман [Ваксман 1983, 38, 40–41] и итальянский лингвист К. Тальявини [Tagliavini 1969, 361].

Итак, исторический анализ разнообразных социолингвистических ситуаций, сложившихся на Балканском полуострове и к северу от него, не позволяет говорить о балкано-романском ареале как о социолингвистическом единстве, как о ряде языковых состояний, сформировавшихся в некой коммуникативной общности, ибо последней никогда не существовало. Отсутствие структурных сходжений между далматинским и восточнороманскими идиомами не позволяет говорить и о чисто лингвистическом их единстве. Что же касается количества выделяемых языков и распределения между ними диалектов, то здесь наблюдается большое разнообразие мнений, связанное не только с научными, но и с идеологическими установками исследователей; в целом можно утверждать, что, как и в других отраслях романского языкознания, социолингвистические критерии признаны ведущими, хотя и не отменяющими действие внутрилингвистических критериев.

Литература

Ваксман Б. И. Языковая характеристика и статус восточнороманских языков. Калинин, 1983.

Репина Т. А. О далматинском языке и его месте в группе романских языков // ВЯ, 1983. № 6.

Репина Т. А., Нарумов Б. П. Далматинский язык // Языки мира: Романские языки. М., 2001.

Сергиевский М. В. Славяно-молдавские этюды. М., 1959.

Степанова Л. Г., Сухачев Н. Л. Далматинский язык // Основы балканского языкознания. Ч. 1. Языки балканского региона. Л., 1990.

Сухачев Н. Л. Румынский язык // Основы балканского языкознания. Ч. 1. Языки балканского региона. Л., 1990.

Bartoli M. Das Dalmatische. Wien, 1906. Bd. 1–2.

Caragiu Marioțeanu M. Rumänisch: Areallinguistik I. Dakorumänisch // Lexikon der Romanistischen Linguistik. Tübingen, 1995. Bd. III.

Coteanu I. Criteriile de stabilire a dialectelor limbii romîne // Limba romînă, 1959. № 1.

- Coteanu I.* Elemente de dialectologie a limbii române. București, 1961.
- Graur A.* «Dialectele» limbii române // *Limba română*, 1956. № 4.
- Graur A.* Studii de lingvistică generală. București, 1960.
- Ivănescu G.* Istoria limbii române. Iași, 1980.
- La romanità balcanica* // Actes du XVIII^e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Tübingen, 1992. T. 1.
- Muljačić Ž.* Das Dalmatische: Studien zu einer untergegangenen Sprache. – Köln; Weimar; Wien, 2000.
- Petrovici E.* Studii de dialectologie și toponimie. București, 1970.
- Pușcariu S.* Études de linguistique roumaine. – București, 1937.
- Pușcariu S.* Die rumänische Sprache: Ihr Wesen und ihre volkliche Prägung. – Leipzig, 1943.
- Russu I.I.* Etnogenesa românilor: Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică. București, 1981.
- Tagliavini C.* Le origini delle lingue neolatine: Introduzione alla filologia romanza. Bologna, 1969.
- Vidos B.E.* Handbuch der romanischen Sprachwissenschaft. München, 1975.

О.А. Радченко

ЯЗЫК И РАСА: НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА В ПЛЕНУ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА

Поиски критериев объективности в лингвистической историографии подобны созерцанию танца Саломеи, запасшейся тысячей обманчивых покрывал. Желанное падение очередного покрывала сменяется явлением нового, еще более загадочного, а наблюдатель продолжает испытывать то радость от скорого познания истины, то разочарование и усталость.

Однако подобный путь искания истины все же более научен, чем оставленная нами в прошлом манера предсказывать состояние здоровья пациента по его отражению в зеркалах, в особенности если этот пациент ничем не болен, а зеркала ему подносит идеологизированная критика. Все это в полной мере касается истории развития лингвистической мысли в специфические времена и в специфических странах, примером чему может служить философия языка в Германии периода Третьего рейха. Исследование этой темы осуществляется в отечественной лингвистике с начала нового столетия, и ему приходится напряженно искать пути объективации своих методов. Не желая затрагивать все аспекты этой темы, хотелось бы все же коснуться основного вопроса лингвистических дискуссий того времени в германском языкознании: соотношения языка и

расы. Злободневность именно социолингвистических дискуссий обнаруживается, правда, не только в 1930-1940-х гг. Однако лишь в начале 1970-х гг. Н.Н.Семенюк отмечает, что «соотнесенность языкового членения и социальной дифференциации общества понимается уже гораздо менее упрощенно, и на первый план все отчетливее выдвигается социальная функция, а не социальная соотнесенность той или иной формы существования языка с определенными общественными слоями» [Семенюк 1972, 69]. Путь от первоначальных социальных упрощений до более объективного представления о том, что является первичным в бытовании языка и человека – духовное или биологическое начало – оказался достаточно длительным и сложным.

Некоторые социологи обнаруживают ростки расовых идей еще в рассуждениях Аристотеля (384г. до н.э. – 322г. до н.э.) о физической и духовной неполноценности «варваров» и оправданности рабства; эту точку зрения отвергал Платон (428 или 427 до н. э. – 348 или 347 до н. э.). Ш.Л. де Монтескьё (1689-1755) пытался выявить связь между темпераментом и климатом, в котором живет конкретная раса; Д. Юм (1711-1776), И. Кант (1724-1804) и И.Г. Гердер (1744-1803) восхваляли «врожденное своеобразие», причем Гердер приводит в качестве обоснования его существования географические факторы [Hertz 1931, 459].

Ограничимся одним определением расы, которое приводит видный немецкий социолог Ф.Хертц (1878-1964) в связи с довольно примечательным анализом состояния расовой проблемы в Германии на тот момент: «Слово “раса” обозначает прежде всего сообщество, объединенное общим происхождением, решающие особенности которого передаются по наследству и которое образует подразделение “вида”. Точного определения дать невозможно. К тому же мнения о количестве и разграничении человеческих рас существенно расходятся» [Hertz 1931, 458-459]. Собственно значение для лингвистики расовая теория приобретает только тогда, когда предполагается, что физическим различиям соответствуют также различия эмоционально-духовного свойства, причем теории, отстаивающие подобные идеи, могут быть чисто объяснительными или приобретать черты оценочной апологетики.

История борьбы этих двух подходов прослеживается вплоть до начала 19 века. В «Четвертой речи к немецкой нации» И.Г.Фихте (1762-1814) дает, к примеру, анализ различных факторов, изменения которых существенно повлияли на судьбу древних германцев: «Из этих изменений первое, смена родины, совершенно неважно. Человек быстро приживается под любым небом, и народное своеобразие, вовсе не меняющееся под влиянием места проживания, наоборот, влияет на него и приспособливает его к себе. И различия в воздействии природных условий невелики в тех

краях, где обитали германцы. Так же мало следует обращать внимание на то обстоятельство, что в захваченных странах германское население смешалось с прежними жителями... так что ни одному из сложившихся на основе германских племен народов не было бы ныне легко доказать большую чистоту своего происхождения перед другими народами. Но значительнее, и, как я полагаю, полной противоположностью меж германцами и прочими народами германского происхождения является второе изменение — языковое; при этом не важны... ни особенный характер сохраненного данным племенем языка, ни характер воспринятого от другого племени языка, но лишь то, что в одном случае было сохранено собственное, а другом — принято чужое; не важно и происхождение тех, которые продолжают говорить на исконном языке, но лишь то, что этот язык использовался непрерывно, причем в гораздо большей степени люди формируются языком, чем язык людьми» [Fichte 1808, 314]. Как видим, фактор происхождения Фихте безразличен, он попросту ненаучен.

Несколько позднее В. фон Гумбольдт (1767-1835) утверждал: «То, что языки распределены среди рода человеческого не в соответствии с расами и даже не в соответствии с нациями, и что по этой причине, исходя из единства языка, не обязательно можно заявлять о единстве происхождения, само бросается в глаза. Исторические события могут передавать нациям различного происхождения одни и те же языки, и наоборот» [Humboldt 1827-1829, 196]. В каком же смысле Гумбольдт упоминает происхождение как одну из важнейших сил формирования нации, наравне с языком? По-видимому, ответ кроется в трактовке единства человеческой природы: «Каким различным не был бы человек по росту, цвету, физическому строению и чертам лица, духовные задатки его те же самые... Язык же целиком происходит из духовной природы человека. Даже разница в органах речи, о которой, впрочем, насколько мне известно, никогда не утверждалось в связи с различными расами, могла бы вызвать лишь несущественные своеобразия, ибо то, на чем основана артикуляция, также имеет совершенно интеллектуальную природу. Определенное национальное своеобразие готтентота впечатывается, конечно, и на его языке, и поскольку все в человеке взаимосвязано, то и всеобщая негритянская природа обладает своей, только не вычленимой конкретно, долей участия в этом. Если бы раса создавала необходимое основание для разделения языков, тогда языки народов одной расы должны были бы обязательно отличаться от языков народов другой расы общим своим строением, а это совершенно не так» [Humboldt 1827-1829, 196-197].

Взаимосвязь расы и нации для Гумбольдта заключается в наличии некоего «национального габитуса», передающегося по происхождению и меняющегося при смешении с другими нациями. Этот габитус Гумбольдт

считает тесно связанным с расовыми признаками, которые, правда, все же имеют очень нечеткий характер и позволяют говорить лишь о различных степенях физического родства всех наций на земле [Humboldt 1827-1829, 200]. В данном случае остается лишь снисходительно отнестись к антропологической наивности Гумбольдта, заявляющего чуть ниже: «Можно с неопровержимой уверенностью полагать, что если взять человека в его высших проявлениях в интеллектуальности и ощущениях, поэзии и искусстве, то только белый цвет кожи может быть предназначенным его роду; не потому что он самый прекрасный, ведь это дело вкуса, но потому что его ясность и прозрачность позволяют любое малейшее выражение и потому что он допускает смешения и нюансы, в то время как черный цвет есть исчезновение всякого цвета» [Humboldt 1827-1829, 201].

В целом же Гумбольдт отвергает всяческую взаимосвязь между языками и цветом кожи [Humboldt 1827-1829, 202], признавая гораздо большее влияние на язык со стороны течения времени, смены мест проживания и смешения народов [Humboldt 1827-1829, 292]. Более того, «язык обладает также способностью отчуждать и поглощать и возвещает самим собою о национальном характере, даже в людях различного происхождения» [Humboldt 1830-1835, 171], ведь, «интеллектуализируя человека вплоть до достижимой для него точки, язык все более вытесняет темную сферу неразвитого ощущения. Тем самым языки приобретают сами, будучи инструментами этого процесса, столь определенный характер, что характер нации можно лучше выявить на основе характера языка, чем из обычаев, привычек и поступков этой нации» [Humboldt 1830-1835, 171].

Противоположным суждением можно считать выступление Э.М.Арндта (1769-1860) против «бастардизации народов»: «Ни полководье сокровищ и богатств, ни опасности пышности и вожделений, проявляющиеся в нашем потомстве, не воздействуют столь смертельно на благородный народ, как слишком сильное смешение с чужими, из-за чего в конечном итоге все инстинкты и задатки этого народа становятся тщеславными, поверхностными, дикими и дисгармоничными, а все те глубинные силы и добродетели души, из коих изначально произрастают и только и могут произрастать все великое и божественное, а также политическое достоинство и божественная свобода, исчезают» [Arndt 1934, 114]. Вполне логично в этом свете его выступление против «Пан-Европы»: «Господь противопоставил народы друг другу, с тем чтобы каждый из них своим образом был великолепен и целостен и посредством формирования и развития своего своеобразия становился еще великолепнее и прочнее»; поэтому «тот, кто все народы Европы даже самыми мягкими и любезными средствами объединяет в одно государство под

одним скипетром и одной конституцией и затем также смешивает и связует обычаи, языки и людей различных стран многообразнейшим и пестрейшим способом, тот вызывает низкопробный всемирный потоп на нашем континенте», а именно тем, что подобное смешение привело бы к появлению абсолютно аморального поколения без любви, умеренности и сердечности, со смятенным и беспокойным разумом, готового служить всем порокам и всем тиранам [Arndt 1934, 153].

Мнение влиятельного интерпретатора Гумбольдта Х. Штайнтала (1823-1899) о взаимосвязи расы и языка также ясно выражено: «То, что раса воздействует на язык как искусственное творение, исключено. Раса обладает только антропологическим, но не этнологическим значением. Язык (в общем смысле) и народ могут быть, напротив, взаимосвязаны; но народ в целом является праисторическим продуктом, в котором слились выявляемые лишь в редких случаях элементы. Народный характер, национальность, можно обнаружить в языке как действенный и как полученный в результате воздействий элемент» [Steinthal 1876, 49]. В этой связи и на вопрос о том, сопоставимо ли языковое и расовое родство народов между собой и не образуют ли народы, языки которых произошли от одного языка-основы, одну общую расу, Штайнталь отвечает отрицательно, приводя в качестве подтверждения расовое различие финнов и лапландцев, говорящих на языках одной семьи [Steinthal 1876, 50]. Из двух феноменов — языка и расы — большее постоянство приписывается Штайнталем вслед за современной ему наукой языку [Steinthal 1876, 51], в то время как «по новейшим данным вряд ли какой народ сформировался не путем смешения разнообразнейших элементов. Народ — это не просто разросшееся естественным путем вследствие избыточной рождаемости человеческое стадо, а в конечном итоге — результат многообразных связей, перемещений, делений и новых смешений. Поэтому трудно говорить об о д н о й расе одного народа» [Steinthal 1876, 52]. Весьма важен еще один вывод, которым завершает Штайнталь свои размышления: «Судя по опыту, расовые признаки исчезают или умеряются лишь в результате физического смешения; отказ от собственного языка и восприятие чужого языка, вероятно, совершалось в праисторические времена Бог знает сколько раз, по причинам превалирования кого-либо или вследствие насилия, нужды или любви» [Steinthal 1876, 52].

К началу 20 века противостояние расовой и языковой теории народа характеризуется практически победой второй. Приведем, краткое замечание, сделанное «мимоходом» Ф. де Соссюром (1857-1913) в «Курсе» и характеризующее его точку зрения на данную проблему: «Французское слово *idiome* в значении “(конкретный) язык” хорошо подчеркивает характер языка как отражения специфических черт определенного обще-

ственного коллектива (греч. *idi-oma* уже означало “особый обычай”). В этом заключена верная идея, переходящая, однако, в заблуждение в том случае, если рассматривать язык как признак уже не народа, а расы, в том же смысле, как цвет кожи или строение черепа» [Соссюр 1977, 226]. Как видим, приверженность идее идиоэтничности, духовной неповторимости каждого языка соседствует с отвержением языка как расового признака.

Это характерно и для американского языкознания первой половины 20 века. Так, рассуждения Э. Сепира (1884-1939) по вопросу о расе достаточно категоричны: «Коль скоро мы проникнемся твердой уверенностью в том, что раса — в единственном вразумительном, а именно биологическом смысле этого термина — в высшей степени безразлична к истории языков и культур, что эти последние не более объяснимы непосредственно на почве расы, нежели на основе физических и химических законов, мы тем самым встанем на такую точку зрения, при которой окажемся совершенно недоступны таким мистическим лозунгам, как славянофильство, англосаксонство, тевтонство или латинский гений» [Сепир 1993, 186]. Рассуждения Сепира касательно Германии уже в 1921 г. совершенно явно обнаруживают его отрицательное отношение к попыткам увязывать язык и расу: «Основная масса говорящего по-немецки населения (центральная и южная Германия, немецкая Швейцария, немецкая Австрия) принадлежит вовсе не к высокой, белокурой, длинноголовой “тевтонской” расе, а к более низкорослой, более смуглой, короткоголовой альпийской расе, хорошими представителями которой являются также жители центральной Франции, французские швейцарцы и многие из западных и северных славян» [Сепир 1993, 188]. Однако и Сепир касается возможности взаимосвязи «темперамента» расы и языка; причем под «темпераментом» расы он разумет «лишь сумму навыков, осуществление традиционных идеалов поведения», в целом «нечто в высшей степени неуловимое» [Сепир 1993, 192] и потому не связанное никак с языком. Отношение Сепира к восхвалениям достоинств нордической расы было резко отрицательным, о чем свидетельствует целый ряд статей и рецензий, которые он публикует в 1925 г. в связи с распространением идей «расовой гигиены» в академических кругах Европы и США.

В Германии начала века проблема взаимосвязи языка и расы пока еще не стоит так остро [Puschner 2001]. Так, К. Фосслер (1872-1949) заявляет: «Чаще всего духовное родство кажется обусловленным физическим, так что единство расы совпадает в общем и целом с единством языка. Однако нельзя забывать, что и даже антропологически весьма отличному человеку может быть дано охватить духовное своеобразие чужого народа, симпатизировать ему, участвовать в нем и говорить на его языке так, как будто он представитель этого народа. Духовное и расовое сходство, однако,

непрестанно ограничивается индивидуальными различиями конкретных людей, т.е. частично упраздняется» [Vossler 1904, 92] (о позиции Фосслера в период национал-социализма см. [Радченко 2007]).

Проблема *языка как сущностного признака расы* начинает волновать научные круги Германии только в начале 1920-х гг., когда впервые появляются работы в русле «расовой теории языка», в частности, брошюра М. Вундта (1879-1963), сына великого В.Вундта (1832-1920), «Что значит ‘расово-этническое?’» («Was heisst völkisch?»). В этой брошюре Вундт формулирует позднейшее положение национал-социалистского «языковедения»: «Язык является действительно голосом крови, определяется в своем звучании и временном параметре кровью. Кровное сообщество создает языковое сообщество» [Wundt 1924, 17].

Однако не Вундту принадлежит «заслуга» создания теории, признающей наличие особых духовных качеств у различных рас и наделяющей эти качества оценочной характеристикой. Собственно отцами теории духовного своеобразия рас (в частности, нордической расы) стали граф Ж.А. де Гобино (1816-1882), автор «Эссе о неравенстве рас» (1853), связывавший судьбы народов с их расовыми особенностями (в качестве высшей расы Гобино провозглашал «германскую»), а в двадцатые годы в Германии об этом же писали Э.Баур, Э.Фишер, Фр.Ленц, В.Шайдт и особенно зять композитора Р. Вагнера Х.С.Чемберлен (1855-1927), автор скандального памфлета «Основы девятнадцатого столетия», оказавшего большое влияние на националистические круги Германии и даже, судя по его воспоминаниям, на самого кайзера Вильгельма II [Hertz 1931, 460].

Сущность этой концепции состоит в признании врожденных, глубоко коренящихся и статичных физических и духовных различий между человеческими расами, обуславливающих вражду и ненависть между ними; одной, предпочитаемой, расе, происходящей вдобавок от совершенно особых предков (согласно *принципу полигенизма* – гипотетической множественности первоисточников существующих рас), приписываются выдающиеся творческие качества, гениальность и талант, в то время как прочим отказывают даже в способности перенимать чужую расовую культуру. Ассимиляция рассматривается такими теориями как путь к дегенерации и крушению культуры; ценные расы видятся как продукт многовекового естественного отбора и суровой борьбы за существование, а для сохранения подобных рас признается необходимым систематическое истребление всех неполноценных ее представителей [Hertz 1931, 461–462]. В языковедении сторонником полигенизма и подобного оценочного отношения к связанным с конкретными расами языкам являлся автор «Очерка языковедения» М. Мюллер (1823-1900), признававший нормой индоевропейские языки и считавший прочие примитивными.

Эти идеи были восприняты национал-социалистическими лингвистами. Образцом их рассуждений можно считать работы Г.Р.Ф. Банница фон Бацана (1904-1950), который отмечает: «Следует особо изучить языковое сообщество в каждом случае с точки зрения его соотношения с расовым, кровным сообществом», причем он согласен с Вайсгербером в том, что народ закрепляет в языке опыт своего тысячелетнего труда, но «не “всякий” человек способен пробудить в себе то исконное воспоминание (Urginneung) о рождении и развитии его языкового сообщества, но лишь тот, чье расовое наследие предков простирается до сотворивших язык отцов далекого прошлого» [Bazan 1935, 421]. Так что «действительное растворение в другом языковом сообществе возможно лишь тогда, когда даны кровные предпосылки. Так это произошло в Германии с многочисленными гугенотами, чехами и поляками, чье кровное сопереживание, усиленное вскоре восприятием немецкого наследия предков, было основано на расовом родстве» [Bazan 1935, 424]. В этом свете Бацан рассматривает частный случай — немецкоязычных евреев — как «немецко-еврейское языковое лжесообщество» (Scheinsprachgemeinschaft), противопоставляя его «истинному языковому сообществу», в которое входят, однако, не все пользователи данного языка: «В то время как одни культивируют его как свое лучшее наследие, другие позаимствовали его на время, не будучи способными когда-либо стать правомочными собственниками» [Bazan 1935, 424]. Вывод Банница фон Бацана таков: «При сегодняшнем состоянии расовой науки языковое сообщество нельзя рассматривать более без расового фона. Существует истинное языковое сообщество, несущее на себе народную целостность. Но к нему относятся не все те, кто пользуется языком. В то время как одни культивируют его как лучшее наследие, другие позаимствовали его на время, не будучи способными стать когда-либо правомочными владельцами» [Bazan 1935, 424].

Подобные взгляды приобретают к 1934 г. характер официальной доктрины. Так, смысл отношения к иноязычным народам в рамках национал-социалистического государства наиболее ясно выразил Г. Гиммлер, утверждавший: «Наша задача состоит не в том, чтобы германизировать в старом смысле слова восточную Европу, то есть привить живущим там людям немецкий язык и немецкие законы, а в заботе о том, чтобы на востоке жили только люди действительно немецкой, германской крови» (1942).

Между тем, уже в начале 30-х гг. у серьезных исследователей расы в Германии не вызывало сомнения, что наследственность затрагивает лишь элементарные задатки, но никак не гениальность или талант [Hertz 1931, 464]. Один из крупнейших авторитетов в области немецкой социологии в 20-х гг., М. Х. Бём (1891-1968), отмечал, что «в Европе нет чистых в ра-

совом отношении народов, но современные нации суть результаты смешений, которые во многом еще не завершились» [Böhm 1923, 24-25]. Бём противопоставляет расу, основанную на общем происхождении (что ему, как и Ф.Маутнеру (1849-1923), представляется утопией), народу, который «на любом клочке земли объединяет различные расы» [Böhm 1932, 257-258]. Даже в 1934 г. находятся ученые, заявляющие, что «ныне бесперспективно стремление выявить хоть какую-либо взаимосвязь между языковой семьей и расой» и что «пока невозможно с уверенностью приписать какой-либо широко распространенной расе определенный языковой тип»; более того, «распространение языковых особенностей по всей земле оставляет, правда, открытой возможность модифицирующего воздействия расового характера на языковой строй в некоторых отношениях, однако в общем и целом особенности языков определяются другими факторами» [Korrelmann 1934, 120].

Это мнение вполне подкрепляет точку зрения современных Бёму лингвистов, не увлекавшихся идеями нацизма, например, известного философа К.Штаффенхагена, (1885-1951) полагавшего, что именно неспособность присовокупить к каждому государству по расе привела к тому, что разнообразные расовые элементы внутри одного народа принято характеризовать как «созидательные составляющие» [Stavnhagen 1929, 493]. Между тем, расовые признаки не являются признаками сообщества, а социология, построенная на биологических принципах, рискует пройти мимо важнейших феноменов социальной жизни, каковым является народ — чисто социальное образование [Stavnhagen 1929, 494]. Штаффенхаген выдвигает в качестве собственно определяющего признака «тотального традиционного сообщества» скрывающуюся в языке передачу всех и всяческих ценностей и одинаковое эмоциональное отношение всех членов этого сообщества ко всем ценностям [Stavnhagen 1929, 511, 519], понимание своей целостности в этом восприятии интенциональном мире ценностей. Если же такое отношение связывает членов сообщества лишь относительно определенных ценностей, то речь идет о «партикулярном сообществе» [Stavnhagen 1929, 511]. Штаффенхаген задает также вопрос, «не формирует ли традиция, то есть историко-духовный фактор, своеобразие групп людей намного сильнее, чем общее происхождение; не действует ли традиция как (ре-)детерминирующий расу фактор (*rasseprägend*, *~umprägend*)» [Stavnhagen 1929, 589]. Основываясь на своих наблюдениях, он склонялся к тому, чтобы ответить на этот вопрос в целом утвердительно. Он приводит следующее примечательное наблюдение, сделанное им в ходе многочисленных зарубежных поездок: портье в гостиницах, лондонские брадобреи, рижские продавцы газет без единого слова опознавали немцев самого разнообразного происхождения. Но в то же время он заявляет, что

«необходимо прежде ощутить себя сообществом общего происхождения либо членом тотального сообщества, чтобы смочь воспринять данный язык как родной» [Stavenhagen 1929, 593].

Напротив, философский подход к этой проблеме допускает наличие некоей коллективной общности, основанной на общности происхождения, однако все же «общность духа перекрывает общность крови» [Hartmann 1933, 180]. Немецкие исследователи приводят в этой связи неоднократно слова ориенталиста П. де Лагарде (1827-1891): «Немецкая сущность заключается не в крови (Geblüt), а в духе (Gemüt). Среди наших великих мужей Лейбниц и Лессинг, наверняка, являются славянами по своему происхождению, Гендель как сын солевара из Галле — кельт. Отец Канта был шотландцем, и все же кто будет порицать их как не-немцев? Кто станет порицать нас, если мы отнесем их к образцам немецкой сущности?» [Schmidt-Rohr 1932].

Но все же не следует упускать из вида ряд фактов, которые могут осветить проблему «язык и раса» в неожиданном ракурсе и могут оправдать в каком-то смысле сторонников идеи «чистая раса — чистый язык». Так, О. Рехе (1879-1966) по этому поводу отмечает, что взаимосвязь языка и расы в современном мире обнаруживает какие-угодно модификации и вариации, однако: 1) в мире все же существуют народы, обладающие чистыми расовыми признаками и говорящие на исконных языках, например, скандинавские; отсутствие чужого расового и языкового влияния на них в исторической перспективе позволяет заключить, что они являлись и создателями своего языка; 2) всякий народ, перенимая другой язык, обязательно меняет его, причем, как в отношении выбора лексики, как и в фонетическом отношении в связи с особенностями их речевого аппарата, следовательно, и о периоде создания исконного языка конкретной расово-гомогенной группой можно утверждать, что она приспосабливала его под свои особенности, как физические, так и духовные (эстетические представления, мыслительные способности, духовную подвижность, культурные потребности; поскольку и сам процесс формирования конкретной расы возможен только в условиях географической и иной изоляции от других расовых элементов, то и язык этой расы будет огражден от влияния других языков; в результате раса неизбежно создаст себе такой язык, который будет выражать ее самую сущность, соответствовать ее духу и телу, так что одна раса, по мысли Рехе, не может создать несколько языков, различных в типологическом отношении; 3) язык не является, таким образом, случайным продуктом, но есть органически выросшее целое, причем в условиях формировавшейся в изоляции гомогенной в расовом отношении группы с ее особыми задатками и процессами отбора, и тем самым он являлся «непосредственным плодом физической и духовной

предрасположенности» конкретной расы; так что «изначально раса и язык совпадали безо всяких исключений», поэтому, невзирая на последующие процессы смешения рас и языков, язык остается «выражением расовой души» [Reche 1927, 260-261]. На этом фоне уже не кажутся абсурдными рассуждения редактора журнала «Слова и вещи» в 30-40-х гг. Х. Гюнтерта о конкретных расовых корнях второго передвижения согласных.

В противовес этой расово ориентированной этнологии в Германии было создано *культурно-антропологически ориентированное направление* (Ф.Гребнер, Б.Анкерманн, В.Фой, В.Шмидт). Именно патеру В. Шмидту (1868-1954) принадлежит тонкий анализ современных ему расовых теорий, приведший его к тому выводу, что эти теории фактически объявляют о своей неспособности описать процесс возникновения расы и те факторы, которые определяют такой процесс [Schmidt 1927, 8]. Более того, Шмидт глубоко убежден как человек верующий, что душа есть индивидуальное творение Господа, создаваемое им всякий раз заново и не имеющее никакого отношения к паравариациям и наследственной массе; в этой связи он решительно отрицает существование «расовой души» [Schmidt 1927, 16]. Он также иронизирует над сторонниками «чистоты расы», для коих представляется нонсенсом нордическая душа в остическом теле, ибо они объявляют, что всякая духовность обусловлена кровью (расой), так что «такая нордическая душа просто повисла бы в воздухе и ей недоставало бы физической основы, которая несла бы ее в себе и с которой она могла бы вместе действовать» [Schmidt 1927, 26]. Расовую наследственность Шмидт ограничивает индивидуальной и семейной наследственностью и только физическими признаками [Schmidt 1927, 54]. Что же до нордической расы, то, по мысли Шмидта, имеющиеся данные позволяют считать, что эта раса — не самая древняя в мире и не единственная раса, на формировании которой сказалась наследственность «господствующих и ведущих за собой народов» [Schmidt 1927, 58].

Тем не менее, влияние «исследований» расы на научные круги Германии ощущается уже в середине двадцатых годов. Пока это влияние воспринимается как анекдот; то, что скоро все серьезно изменится, еще не просматривается. Остановимся же на влиянии «расовой идеи» на ситуацию в языкознании Германии.

К моменту прихода к власти национал-социалистов в германском языкознании уже вполне господствовало новое линвофилософское течение – неогумбольдтианство, оформившееся в начале 20-х гг. как попытка дать новую интерпретацию идеям В. фон Гумбольдта о гносеологической уникальности каждого языка (Й.Л.Вайсгербер, Й.Трир, В.Порциг, Х.Бринкманн, Г.Шмидт-Рор, Ф.Штро и др.). Это направле-

ние не могло оставить без внимания столь серьезный вопрос, как соотношение языка и расы, т.е. роль духовного и физического начала в формировании человеческого коллектива.

Уже на переломе 1931/1932 гг. Ф. Штро (1898-1969) указывает: «Он (родной язык) обладает такой силой, чтобы реализовать сообщество на расовой основе, сделать людей, обладающих расовыми способностями к формированию сообщества, действительными членами сообщества» [Stroh 1931/1932, 229]. Подобный симбиоз расы и языка использует для своих конструкторов и О. Дизель (1889-1970): «Исходя из рас, нельзя установить народ и его этнический состав, превалирование со-общественного столь же важно. Расы можно поставить только рядом с другими влияниями, рядом с духом, историей, ландшафтом, но не следовало бы при этом недооценивать расу; ведь без сомнения расовое наследие соучаствовало в народе и этническом составе, то явно, то неявно» [Diesel 1934, 17-18]. И такое соположение расы и языка при ясном признании первенства языкового фактора в формировании этноса для того периода не единично. Дизель же недвусмысленно определяет мощь этого фактора: «Язык как духовный феномен, как духовный процесс способен преобразовать один народ в другой. Язык обладает невероятнейшей властью над душевной жизнью человека. Если дети воспитываются на чужом языке, то они усваивают его способы выражения и мимику, его суждения и движущие силы индивидуальной психической жизни, так и их душа преобразуется» [Diesel 1934, 22].

Несколько иначе аргументирует Г.Шмидт-Рор (1890-1949), отвечая на вопрос, чем же являются немцы и в чем заключается их самобытность, поначалу заявляет: «Как различия в физическом строении людей без сомнения объясняются, исходя из их расовых задатков, так в высшей степени вероятно, что и их душевное и духовное отличие сильно определяется унаследованной кровью. Однако же удобство этой объяснительной параллели приводит, пожалуй, слишком часто к переоценке расовых сил» [Schmidt-Rohr 1917, 27]. Уже на этой ранней стадии он ставит вопрос о том, учатся ли изучающие немецкий язык одновременно мыслить и чувствовать по-немецки, «насколько негры, говорящие по-немецки, являются немцами», и может ли портиться язык оттого, что он заимствуется другими народами и расами [Schmidt-Rohr 1917, 27]. Считая, что духовные и душевные состояния народов обусловлены языком и расой одновременно (!), он все же отдает предпочтение языку как «более значимому и существенному фактору» [Schmidt-Rohr 1917, 27]. Негры, воспринимающие немецкий язык в колониях Германии, испортят, по его мнению, язык не больше, чем гамбургские портовики, ибо всякий подъем и падение языка связаны с духовной прослойкой в немецком народе и ее прилежностью в

культивировании языка. Позднее он приводит вначале всю гамму тех сил, которые обычно в разных сочетаниях используются в качестве объяснения такой самобытности (язык, раса, обычаи, культура, история), а затем отвергает расу как созидательный принцип применительно к немецкому сообществу. Шмидт-Рор, таким образом, трактует язык как силу, создающую групповую душу народа [Schmidt-Rohr 1932, 8], вызывающую в данном конкретном случае у данного конкретного народа чувство гордости; но «эта гордость демонстрирует нам, к вящему смущению, что нельзя, с одной стороны, утверждать о духовном отцовстве я з ы к а, а с другой стороны, — одновременно определять сущность народа исходя из р а с ы, и что далее нельзя говорить о “народе” как данной посредством я з ы к а групповой личности, если национальные цели видятся в рамках исторически возникшего г о с у д а р с т в а» [Schmidt-Rohr 1932, 11].

Что же формирует народ как единство? «Будучи языковым сообществом, группа людей является чем-то е д и н ы м, невзирая на то, что совершенно различные расы принципиально способны участвовать в этом сообществе, с точки зрения единых формирующих дух и эмоции сил, которые воздействуют, способны воздействовать на всех разных по своей одаренности членов группы» [Schmidt-Rohr 1934b, 411]. Расовые задатки оставляют, по мысли Шмидт-Рора, лишь некое довольно малое пространство для вариаций послеродового развития, хотя раса и обладает известной «пластичностью», объясняющей физическую разницу между народами, родственными по кровному происхождению. Но раса не представляет собой как таковая действительно «групповую личность» (присутствующую в языковом народе), «раса как таковая не является даже симбиозной группой, не говоря уже о том, чтобы она была сообществом» [Schmidt-Rohr 1932, 222-223]. Дело в том, что упомянутая групповая личность выявляется в мире культуры, общественной жизни, отношения к определенным ценностям, а вовсе не в «находящемся на ином сущностном уровне биологическом мире естественных необходимостей» [Schmidt-Rohr 1932].

Что же до группового характера расы, то она «в лучшем случае представляет собой к л а с с м н о г и х с о о б щ е с т в, способных вырасти на одной и той же расовой почве», «класс тех реальных личностей, которые развивались на ее почве как творения сообщества с его культурной жизнью, и среди этих творений языковые народы суть важнейшие с точки зрения формирования личности» [Schmidt-Rohr 1932, 242]. Другие сообщества, способные произрасти на одной и той же расовой почве, — не связанные с языком прочие культурные сообщества, территориально-климатические сообщества, государства, конфессиональные

группы, классы — не играют, по взглядам Шмидт-Рора, столь решающей роли при формировании личности [Schmidt-Rohr 1932, 244, 248, 251, 258, 262, 265].

Шмидт-Рор действует гораздо решительнее многих современников, когда разбирается во взаимосвязи языка и расы. Он вступает в открытую полемику с национал-социалистическими лингвистами в 1932 году: «Мы отрицаем самым решительным образом справедливость того воззрения, что существуют языки, “соответствующие сути” рас (arteigene Sprachen), кровно связанных народов, формам духовности предков. Это воззрение есть ничто иное, как льстящее своим авторам произвольное изобретение, служащее определенным целям»; к примеру, «из шотландцев и ирландцев, которые являются по своим внутренним языковым “задаткам” кельтами, могут выйти лучшие англичане, даже великие английские поэты» [Schmidt-Rohr 1932, 193]. Какие же цели преследует, по мнению Шмидт-Рора, национал-социалистическая идея языка как «эманации расы»? Следуя законам времени и жанра, Шмидт-Рор прямо заявляет: «Это учение о наследственном характере народа используют враги нашего народа... Добрых немецких этнических братьев, родителями которых были венгры или поляки, чехи или евреи, оно сделало бы немцами второго сорта, немцами, которые лишь “используют” свой родной язык, но не “выражают себя” в нем. В действительности же эти немцы несут в себе судьбу той же человеческой группы, что и мы, все прочие немцы» [Schmidt-Rohr 1932, 193]. В этой же связи он резко осуждает антисемитизм, считая его явлением, способным поставить под сомнение становление немецкой нации: «Нордические бредни, антисемитская клевета суть ныне те силы, которые в совершенно особой степени мешают тому, чтобы наш бедный, окруженный тысячей серьезных опасностей народ осознал свою истинную беду и решительно и объединенными, направленными на одну цель усилиями приступил к спасительному труду. Нордические бредни и антисемитская клевета особенно мешают тому, чтобы из нашего спящего или раздираемого саморазрушительным безумием народа вышла единая, бодрая нация» [Schmidt-Rohr 1932, 303]. Признаком времени можно считать и заявление Шмидт-Рора о том, что «немецкий народ, став нацией, сможет построить блистательный рейх» [Schmidt-Rohr 1932, 314].

Из такой трактовки сущности расы и извлекает Шмидт-Рор ответ на вопрос, существуют ли «языки, адекватные сущности расы». Ответ Шмидт-Рора: нет, не существуют, а возникновение литературных языков теперешних европейских народов нельзя ни при каких обстоятельствах и никоим образом объяснить на основе «расовых судеб» [Schmidt-Rohr 1932, 233]. В частности, в Европе расы и языки практически нигде не совпадают. Вообще языки «путешествуют совершенно беззаботно по грани-

цам рас, следуя собственным законам своей культурной силы, они сплавляют в себе расы, они отдают части населения другим языкам в зависимости от культурно-политической силы народов, но не рас. “Чистые” расы с “адекватными их сущности языками” — даже если бы они когда-либо существовали — с неизбежностью раскололись бы на языки и диалекты по собственному закону в с я к о й языковой жизни» [Schmidt-Rohr 1932, 234].

Человеческие расы представляют собой «понятийные образования, возникшие благодаря человеческому произволу, имеющие, пожалуй, мыслительно-экономическое значение, но ввергающие в опасное заблуждение, а) если при этом утверждается о прочной связи определенных эмоционально-духовных признаков ценностного характера с определенными физическими признаками как о правиле в собственном смысле слова, данном фактически, и б) если одна раса считается “чистой” и уже тем самым высококачественной, а другая — “смешанной” и тем самым неполноценной» [Schmidt-Rohr 1932, 242]. Шмидт-Рор формулирует принципиальный вывод о связи языка и расы следующим образом: «Каждому, кто готов отказаться от расхожих предрассудков, станет вполне ясно, что в б о л ь ш о м н а р о д е сливается воедино нечто в е с ь м а ч у ж д о е д р у г д р у г у и разное по своему к р о в н о м у п р о и с х о ж д е н и ю и племенной принадлежности... Более того, с одной стороны, мы обнаруживаем т у ж е расу в различных народах и, с другой стороны, всякий е д и н ы й к а к т а к о в о й народ основан на нескольких, совершенно отличных друг от друга расах», так что «непредубежденному мыслителю придется осознать, что не являющийся в расовом отношении единым “н а р о д” есть социальное образование, иное по сути и по рангу, нежели “р а - с а”» [Schmidt-Rohr 1932, 209]. Это различие он иллюстрирует, вводя понятия «физического отцовства» и «духовного отцовства» — двух миров, существующих по своим собственным законам и не совпадающих друг с другом; то же мнение, что «несоединимое возможно соединить», по его мысли, коренится в унаследованных предрассудках и эмоциях.

Сомнения вызывает у Шмидт-Рора сам характер расы как коллективного образования, в особенности еще и потому, что к началу 30-х гг. никакого «серьезного учения о расовой душе с достоверными результатами» еще не сложилось, а одна из задач нашумевшей книги Шмидт-Рора «Язык как создатель народа» состояла как раз-таки в том, чтобы доказать, что «его и быть не может» [Schmidt-Rohr 1932, 211]. Окончательно: «народ не является расовым единством» [Schmidt-Rohr 1932, 210].

В этой связи Шмидт-Рор неустанно взывает к властям не дать «расовому бреду» одержать верх над рассуждениями о превалировании духов-

ного, ибо этот расовый бред есть ничто иное, как «биологический расовый национализм, раскалывающий этнос» [Schmidt-Rohr 1933b, 150].

При этом некая взаимосвязь между языковым сообществом и физическими особенностями людей, входящих в него, кажется Шмидт-Рору реальной; он приводит в качестве примера исследования, которые пытались доказать, что разным диалектам одного и того же языка соответствуют разные черты лица, связанные с конкретными произносительными особенностями. Шмидт-Рор соглашается с тем, что «чужая кровь вносит особую окраску в немецкое мышление, но именно из этого выросло в нашем немецком народе столь богатое многообразие... Целые племена были переплавлены посредством чужого языка, несмотря на их кровное отличие, в чужом народе. “Германокровные” лангобарды стали итальянцами, а славяне на востоке и юго-востоке Германии и поныне становятся немцами» [Schmidt-Rohr 1934b, 411]. На некоторые уступки расовой теории он, правда, идет, заявляя, что «выражающиеся в конкретном языке духовные и психические особенности сильно обусловлены расовой предрасположенностью группы людей, говорящих на этом языке», хотя «именно многообразие рас и расовых массивов сплавляется в наших европейских народах в единое целое и сообща трудится над формированием объективного культурного феномена, объективного этнического феномена языка» [Schmidt-Rohr 1933a, 85]. Именно это позволяет Шмидт-Рору в 1933 году (!) говорить о «братской этнической сплоченности со всеми другими немцами, в том числе и ненордическими» [Schmidt-Rohr 1933a, 85].

Точку зрения Шмидт-Рора поддержал целый ряд других неогумбольдтианцев. В начале 1930-х гг. в процессе формирования фронтов в философии и антропологии в связи с понятием расы складываются два течения и внутри неогумбольдтианства — *глоптоцентрическое* (Вайсгербер, Трир) и *националистическое* (Шмидт-Рор). Необходимо отметить, что оба направления поначалу находились в конфронтации с нарождающейся идеологической доктриной национал-социалистского «языкознания». Столкновение с основанным на подобных идеях «языковедением» было неизбежно, и 1933 год можно считать подготовительным этапом, в течение которого происходило размежевание между неогумбольдтианцами и сторонниками расовой детерминированности языка.

Глоттоцентризм мы обнаруживаем, к примеру, у Ф.Панцера (1870-1956) в его ректорской речи, где Панцер лишает естественные предпосылки народного сообщества всякого значения, ибо поначалу детерминирующая сила народной традиции ослабляется коммуникациями и экономикой, «общая раса не реализована как естественная предпосылка ни в одном из крупных современных народов», а обычаи и жизнь в границах одного государства также утрачивают свое значение [Panzer 1926, 4]. Для

Панцера единственной непреходящей основой всякого этнического единства является язык, который есть «выражение и творение того народа, носителем которого он является, зеркало его своеобразия и закрепление его картины мира», ибо «он живет, когда личные его носители умирают поколение за поколением; так он становится передатчиком этнического и естественным воспитателем его духа» [Panzer 1926, 8]. В этой связи Панцер приводит сравнения языков с фильтрами, пропускающими только определенные элементы из потока мировой сущности, а также с «очками определенной шлифовки и определенного цвета, через которые он рассматривает происходящее в мире» [Panzer 1926, 9].

Анализируя этот процесс, близкий к неогумбольдтианству А.Бах (1890-1972) пытается найти умеренное истолкование взаимосвязи расы и языка: «Мы считаем недоказанным, даже невероятным, что звуковая эволюция немецкого языка должна увязываться с расовыми условиями... Другие языковые явления, напротив, по-видимому, связаны с ними. Вспомним заложенные в темпераменте и тем самым в расах народа звуковые факты, то есть темп и ритм речи, звуковое оформление предложения, затем лаконичность, скупость в выражении, с одной стороны, и словесный шквал, словоохотливость, с другой стороны, что, впрочем, переводит нас уже в сферу, лежащую за пределами чисто звукового. Прежде всего, значимой является, вероятно, о д а р е н н о с т ь преобладающей в этом народе и определяющей его в целом расы, с точки зрения его языка. Безусловно, умственно высокоодаренный и волевой народ заложит в своем языке иную по объему и глубине картину мира, чем народ, в бытии которого над разумными и волевыми началами превалируют чувственные» [Bach 1934, 286]. В качестве примера мира Бах называет француза, «при всей восторженности, всем задоре, всем чувстве внешнего блеска все же настроенного сильно и односторонне на логико-рациональное», поляка, «в свою очередь имеющего чувственную основу», и немца, в котором «рациональные и эмоциональные черты пришли в большее равновесие, чем в названных народах»; основания для подобных утверждений он находит в аналогичной разнице между картинами мира французского, польского и немецкого языков [Bach 1934, 287].

Й.Л.Вайсгербер (1899-1985) рассматривает вопрос о соотношении языка и расы не просто в форме «как воздействует племя, раса на язык», а в форме «не обладает ли язык, в свою очередь, гораздо большим значением как условие этих взаимосвязей» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 165]. Он категорически отвергает попытки вывести происхождение языка из биологических условий [Weisgerber 1934a, Teil 2, 166] либо вывести своеобразие племени и в особенности диалекта из наследственной передачи одинакового рода предрасположенности членов племени, «более того, оказалось,

что передаваемые по наследству задатки, заложенные в жизненных условиях человеческих сообществ такого порядка, и общее духовное достояние неразделимо сливаются и взаимопроникаются» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 169]. Что же касается духовного своеобразия биологически взаимосвязанных групп, то здесь Вайсгербер предпринимает следующий путь рассуждений: «Раса и язык в исторически фиксируемое время не совпадают... Языковые границы никогда не являются границами расы и наоборот... У нас нет никаких оснований, позволяющих нам проследить языковой тип во временном и пространственном отношении до времен предположительного формирования расового своеобразия этих населений» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 171]. «Тем самым на наш вопрос, взаимосвязан ли мир конкретного языка с расовыми предпосылками, следует ответить отрицательно» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 171]. Того же мнения придерживается Вайсгербер и в рассуждениях о судьбах индоевропейских языков и говорящих на них народов: «Помехой является здесь во многом привнесение расовых вопросов: индоевропейской расы, совершенно очевидно, еще не существовало в эпоху “разделения языков” и даже задолго до нее» [Weisgerber 1930, 573]; более того, в развитии и распространении народов, говорящих на индоевропейских языках, этим последним принадлежит бесспорная заслуга [Weisgerber 1930, 574].

Весьма примечательны рассуждения Вайсгербера о взаимосвязях духовных задатков расы и внутренней формы языка: «Биологические данности и законы формирования расы недостаточны, чтобы участвовать в качестве решающего фактора в формировании языка. Очевидное влияние расы на язык вообще еще не доказано. Во многих сферах влияние расы вообще исключено» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 179]. Вместе с тем, Вайсгербер не желает отрицать всякой взаимосвязи между расой и языком, обращая внимание на «долю участия языка в создании расы», на законы развития языка, не совпадающие с законами расовых судеб, и особенно на многочисленные разновидности расовых фактов в исторической реальности. Область языка не подчиняется «простому и сплошному развитию естественнонаучной формы», в нем действует особый закон духа; этот закон «накладывает свой отпечаток на форму человеческой жизни, надстраивает и формирует те возможности, что заложены в данном духовно-физическом отрезке развития» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 179]. Вывод, к которому приходит Вайсгербер накануне нацистского прихода к власти: человек не является творцом языка ни как конкретное существо, ни в его семейной совокупности, ни в его кровной взаимосвязи; более того, «сведение картины мира языка к задаткам биологически взаимосвязанной группы людей всегда будет разбиваться о тот факт, что я з ы к — не величина природного мира, а форма проявления духа. Как таковая

он есть историческая величина и подлжит условиям, которые имеют важнейшее значение для развития и осуществления духа» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 180]. Подобное отношение к проблеме расово обусловленных задатков у Вайсгербера вынужденно изменится к 1934 г., когда он уже будет говорить о процессе изучения человеком родного языка и усвоения им языковой картины мира в связи с «развитием его способностей и наследственных задатков» [Weisgerber 1934b, 361]. Правда, и тогда он отдаст предпочтение духовным наследственным задаткам, передаваемым с родным языком [Weisgerber 1934b, 362].

Этот переход в область политики все же сближает Вайсгербера с Х.Фрайером (1887-1969), выдвинувшим в 1933 году понятие «политического народа». Однако подобный переход означает для Вайсгербера путешествие в слишком опасную и скользкую зону: народное сообщество определяется им как «сообщество, создаваемое тем же языком внутри области расово родственных людей» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 228], хотя это понятие и не является ключевым в его теоретическом здании. В том же месте он отвергает наделение естественно-научного понятия расы элементами эмоционально-духовного порядка [Weisgerber 1934a, Teil 2, 229] и одновременно считает, что «и для языкового сообщества справедливо то, что его члены в общем подпадают под понятие расово родственных людей», но «все же это понятие не так однозначно, чтобы не возникало разночтения во мнениях о его толковании, и здесь становится заметно, что идея расы по своей сути более преследует цель отсева и отбора, а идея языка выдвигает на передний план цель сообщества» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 230]. В этой цепочке размышлений очевиден поиск основного различия между двумя конкурирующими концепциями, и выбор в пользу языка как духовного и соединяющего начала подкрепляется дальнейшим размышлением Вайсгербера о целесообразности внесения естественно-научного понятия расы в действительность исторического процесса, в результате чего ему видится лишь одно — «разрыв тех со-общественных образований, которые мы обнаруживаем и признаем в народах», поэтому использование понятия расы должно быть ограничено, чтобы «не дать возобладать сомнительным последствиям идеи отбора» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 231].

В качестве очевидного примера Вайсгербер привлекает проблему полноценного участия носителей языка в языковом сообществе. Такое участие, конечно же, невозможно во всех конкретных случаях в силу разницы в жизненном пути, опыте, задатках и пр. Однако среди всевозможных возражений наиболее примечательным кажется Вайсгерберу то, что языковое сообщество может включать людей, не входящих никоим образом в народное сообщество [Weisgerber 1934a, Teil 2, 232]. Возражение про-

тив этого тезиса, выдвигавшееся Банница фон Бацаном касательно евреев в Германии («языковых попутчиков»), резко расходится с приведенным выше определением народного сообщества (язык создает это сообщество из расово родственных людей), то есть, по мысли Вайсгербера, не может и быть таких членов языкового сообщества, которые не являлись бы членами народного сообщества. Если же какая-то группа людей, использующая данный язык, внутренне не принадлежит к языковому сообществу, потому что ей закрывают полный доступ к языку и к осуществлению языкового сообщества причины народного или расового характера, как о том заявляет Банница фон Бацан, то следует назвать те совершенно особые условия, при которых подобная ситуация вообще возможна! Мнение же Вайсгербера на этот счет ясно — таких условий не может быть: «Даже те, кто сам себя исключает из народного сообщества, не признавая этос совладения, не желая взять на себя заложенные в языковом сообществе связи, обязанность участвовать в решении заложенных в языковом сообществе задач, все равно остаются во власти законов и целей языкового сообщества» [Weisgerber 1934a, Teil 2, 233]¹.

Именно с 1934 г. главным различием между народом и языковым сообществом Вайсгербер считает наличие в народе «более глубоких условий», как то: «кровной связанности, единообразия задатков и жизненного пространства» [Weisgerber 1934c, 241]. Казалось бы, почва для обвинений его в соглашательстве с режимом имеется. В действительности же все работы Вайсгербера 1933–34 гг. представляют собой скорее имплицитное продолжение научной дискуссии с национал-социализмом, и эта дискуссия не прерывалась именно благодаря избранной Вайсгербером тактике «идеологических заклинаний»: цитаты из работы фюрера приводятся во избежание политических преследований. При всем этом лишь в одной работе

¹ В критической литературе мы обнаруживаем одно особенное замечание, касающееся Вайсгербера: в докладе 9.02.34 г. он, якобы, «раньше, чем другие рататели языка и без явного внешнего давления» делает поворот в сторону национал-социализма [Simon 1979, 160], причем его определение взаимосвязи языка и расы отличается от соответствующих размышлений национал-социалистических языковедов лишь относительно деловым тоном. Вместе с тем, Вайсгербер и Шмидт-Пор объединяются этими критиками под титулом «представителей сторонников ориентированного на язык, игнорирующего или уничтожающего расовую идею национализма» [Simon 1979, 159]. Противопоставим этому точку зрения Т. Штехе из его критической статьи против неогумбольдтианцев образца 1933 г.: «Шмидт-Пор существенно расширяет те результаты исследований, которые изложил в своей вышедшей в 1929 г. книге “Родной язык и формирование духа” лингвист проф. Вайсгербер. Однако эта книга является чисто научной и не содержит нападок на расовый вопрос; эти нападки связал с данной теорией лишь Шмидт-Пор» [Stechе 1933, 230].

Вайсгербера мы читаем об «активном сотрудничестве в деле обновления народа, к которому нас всех призвал фюрер» [Weisgerber 1935, 252].

Позднее, анализируя ситуацию середины 1930-х гг., Вайсгербер определил в качестве сердцевины конфликта с расовыми фанатиками вопрос о членстве евреев в немецком языковом сообществе: «И здесь обращается внимание расовых фанатиков на то, что их (направленные против евреев) аргументы разрушают почву для правового положения (и немецких) меньшинств; им следовало бы подумать о том, есть ли такая формулировка (против евреев), которая не выдавала бы одновременно миллионы (в том числе немецкоязычных) меньшинств произволу». Это было сказано так ясно, как это было только возможно, и каждый мог это понять. То, что это было понято, показывали реакции из партийных кругов: к титулам “враждебная народу языковая философия” добавились другие типа “ползучее языковедение” и т.п. [Weisgerber 1964, 7]¹.

Как же проходит эволюция Шмидт-Рора после 1933 г.? Между радикальным Шмидт-Рором 1932–1933 гг. и Шмидт-Рором 1934 г. поначалу не обнаруживается особенно глубокой пропасти. «Не только осознание нашей кровной связи и происхождения столь необходимо, но и осознание более духовных истоков нашей особой этнической сущности... Но как из конкретного человека по его предрасположенности получается принадлежащая к конкретному народу реальная личность, зависит весьма существенно еще и от послеродовых, этнических воздействий. К кровной предрасположенности добавляется еще и язык как сущностно формирующее условие. В нем из множества заложенных способностей возникает единство возможностей (Leistungen), единство духовных достояний, единство народа. Он одновременно является силой (Macht), передающей последующим поколениям достояния народа», — пишет Шмидт-Рор, совершенно отчетливо указывая теперь на «кровную предрасположенность» и язык как на два по меньшей мере равноправных фактора формирования народа [Schmidt-Rohr 1934b, 409].

¹ Справедливости ради, следует заметить, что еще Штайнталь считал антисемитизм весьма распространенным в германской науке предрассудком и цитировал в связи с этим пренебрежительное суждение Канта о Маймониде «с его поправками к критической философии (в коих евреи любят упражняться, с тем чтобы напустить на себя важный вид за чужой счет)» [Steinthal 1879–1880, 193]. Штайнталь обнаруживает у Канта и другие антисемитские размышления в «Антропологии» и «Религии в границах чистого разума» [Steinthal 1879-1880, 204-205]. Эндемический «благостный катарсис» такого рода (Штайнталь) был чужд Вайсгерберу совершенно. Наоборот, известен факт, что Вайсгербер отказался при переиздании своих работ в период нацизма исключать работы еврейских ученых из библиографии или помечать специальным значком эти работы.

Но последующий переход Шмидт-Ропа на позиции расового детерминизма ошеломляет своей скоростью: «Без сомнения, особость нашего языка соопределяется в существенной мере расой. Язык не только создатель, но и творение... Если мы посмотрим на народную целостность как нечто совокупное, то язык, во всяком случае, является намного более творением, сущность которого определяется расой. С точки зрения конкретного человека же, язык является в значительно большей степени творцом, ибо множество заложенных в нем духовных сил объединяющего многие расы народа мощнее, чем особая предрасположенность конкретного человека» [Schmidt-Rohr 1934b, 409]. К примеру, «нордические нижнесаксонцы и восточноэльбский немец видят мир при всех племенных различиях тем же этническим образом, они видят его в свете немецкого познания мира, в то время как столь же нордический англичанин судит о нем с точки зрения английского мировосприятия (Welterleben)» [Schmidt-Rohr 1934b, 411]. Поэтому «нельзя ни при каких обстоятельствах за расой забывать о значении языка как обуславливающей единство народа передающей единый дух народа силы», поскольку «немецкий народ все-таки состоит из представителей множества рас и расовых смесений, которых связывает лишь общий язык» [Schmidt-Rohr 1935, 218].

Метаморфоза Шмидт-Ропа, однако, еще только начинается; в своих рассуждениях он еще не окончательно отошел от гумбольдтианства, ссылается на Гердера, Гумбольдта и Фихте и даже довольно неортодоксально отзывается о расовой предрасположенности человека: «Есть много условий, при которых мы осознаем, что только одна наша немецкая кровь, которую мы по-новому и глубоко полюбили, не достаточна для того, чтобы сделать нас немцами и оставить нас немцами» [Schmidt-Rohr 1934b, 411]. Он даже призывает вообще отказаться от понятия «раса», заменив его понятием «кровь», поскольку «всякая попытка... определить превосходство или неполноценность, рассматривая внешние признаки или, что было бы еще показательнее, иноэтнические имена как признак этнической неполноценности всего человека, есть прегрешение перед нашим народом» [Schmidt-Rohr 1934a, 322]. Характерно, что такая позиция Шмидт-Ропа совпадает с предостережениями ведомства по просвещению в области этнической политики и расовой гигиены против «ненормальных явлений типа расового высокомерия, семейственных умствований и белокурой мании» [Schmidt-Rohr 1934a, 322]! Годом позже он уже не будет испытывать ни малейшего сомнения в том, что «обладающая своеобразием, своей ценностью кровь, раса являются важнейшим из всех условий особого развития конкретных народов. Слишком долго мы грешили против этого вывода» [Schmidt-Rohr 1935, 217]. Однако ситуация довольно серьезно меняется к 1939 году. В работе «Об общественной действен-

ной силе языка» Шмидт-Рор отмечает уже, что «первый и основной уровень всякого сохранения этнической (*völkisch*) сути и этнического бытия есть кровь, второй — язык народа» [Schmidt-Rohr 1939c, 7]. Статья, где он развивает свое новое положение о языке как *втором уровне сохранения народа*, предваряется хвалебным отзывом руководителя политикорасового ведомства НСДАП Гросса, что дает право думать о «реабилитации» Шмидт-Рора и в глазах правящей партии. Гросс пишет в своей преамбуле: «Автор нижеследующей статьи из двух частей — языковед и в течение многих лет вследствие обширных публикаций считался — особенно за рубежом — противником немецкой расовой идеи. Нижеследующие рассуждения показывают, что автор осознает ныне значение крови и расы столь же хорошо, сколь и ранговое соотношение, в котором находятся расовые и культурные ценности. Я приветствую публикацию статьи как доказательство того, что в духовном мире Германии все яснее выступает единое воззрение во всех областях и во все более значительной мере растворяются противоречия вчерашнего дня в единстве сознающего значение расы общего воззрения» [Schmidt-Rohr 1939a, 201]. Не вызывает никакого сомнения, что переход Шмидт-Рора на позиции национал-социалистского языкознания рассматривается Гроссом как большая победа последнего именно потому, что вместе с Шмидт-Рором этот переход совершило целое крыло неогумбольдтианцев.

Шмидт-Рор, в частности, утверждает, что «все, что высказывается о сущности языка, проистекает из расы как важнейшей среды порождающих язык сил» [Schmidt-Rohr 1939b, 265]. Поэтому, говоря о различных угрозах, которым подвергается в данный момент немецкий народ, он отмечает, наряду с падением рождаемости, «угрозу на уровне крови», ибо «не все равно, какая кровь формирует плоть народа. Немецкая этническая личность и присущие ей культурные возможности зависят как от здоровья и высоты возможностей немецкой крови, так и от ее особо личностно сформированного расового своеобразия» [Schmidt-Rohr 1939a, 201–202]. Таким образом, «если бы немецкий народ был подорван изнутри неграми и монголами, а немецкая кровь смешалась бы с чужой, то от этого изменился бы духовный облик немецкого народа, его культуры и языка» [Schmidt-Rohr 1939a, 202].

Однако гораздо большую опасность, по мысли Шмидт-Рора, представляет собой явление *реэтнизации* (*Umvolkung*), не имеющее непосредственного отношения к расовым процессам. Реэтнизация, или смена этнической принадлежности, происходит, как пишет Шмидт-Рор, к примеру, в результате брака с представителем другого народа, который может и не быть расово чуждым немецкому. Если такой брак заключается с представителем другого европейского народа, то такая реэтнизация не означает

воздействия на расу потомства, поскольку «европейские народы, среди которых живет немецкий народ, содержат в себе те же расовые признаки, что и немцы, но в ином соотношении генов» [Schmidt-Rohr 1939a, 205]. Реэтнизация происходит, таким образом, в «физически не изменившихся людях», в которых все же «что-то меняется», а именно: «их духовное своеобразие (Artung), их этническая принадлежность», и это изменение наступает не где-нибудь, а на уровне языка: «Язык есть собственно тот уровень, на котором происходит реэтнизация. Он есть явная или тайная цель всех мер во всех сферах жизни» [Schmidt-Rohr 1939a, 205]. Здесь Шмидт-Рор делает важную оговорку, ограничивающую степень его возврата к прежним взглядам: «Этим фактом еще не сказано, что, к примеру, язык один только и является признаком этнической принадлежности, и подлинность немецкой крови (Deutschgültigkeit des Blutes) должна быть присоединена к нему. Далее, существуют, конечно, и такие группы населения, в которых этот основной случай не имеет места и где стремление к своей этнической принадлежности, без сомнения, следует оценивать выше, чем даже язык» [Schmidt-Rohr 1939a, 206]. Вывод: «Там, где, как в центральной Европе, народы происходят из области тех же рас, что и немецкий народ, там язык чаще всего не только является признаком народной принадлежности, но зачастую и формирующей конкретного человека в народном духе силой» [Schmidt-Rohr 1939a, 206]. Таким образом, Шмидт-Рор проводит решительную *ревизию закона языкового сообщества*, отходя от опоры на язык как единственную характеристику народа.

Этот отход сопровождается окончательным отказом от прежней конфронтации с расовой идеей: «Раса есть, по сравнению с языком, более глубокая, более исконная сила. Тем самым охарактеризовано соотношение расы и языка друг к другу в его существеннейшей черте. Особая сущность, особая личность, особый характер языка самым тесным образом обусловлены прежде всего расовой особенностью создателей этого языка, унаследованными вместе с их кровью физическими и духовными способностями и задатками. Но обратное не имеет места. Язык не влияет никак на особые задатки и способности расы. Соотношение творца и творения здесь строго односторонне. Только раса является творцом, а язык есть лишь творение — с точки зрения расы. Раса — изначально более глубокий слой человеческого сущностного склада, нежели язык. Ведь все, что высказывается о сущности языка, проистекает в конечном итоге из расы как самой главной среди сил, созидающих язык» [Schmidt-Rohr 1939a, 205]. Язык выступает теперь как модификатор возможностей, предоставляемых расой, язык «предпринимает скачок из реальности, данной вместе с расовыми задатками возможностей духовного развития, в одну единствен-

ную, а именно одну определенную, этнически-историческую реальность (Wirklichkeit)» [Schmidt-Rohr 1939b, 267].

Для принадлежности к определенному народу, по мысли Шмидт-Пора, совершенно несущественна государственная принадлежность, поскольку «не являющиеся “живущими в рейхе немцами” граждане Словакии, Америки являются для нас немецкими этническими “товарищами”» [Schmidt-Rohr 1939b, 269]. И все же в числе детерминантов этнической принадлежности в первую очередь он называет «дородовой брак, данный в крови и расе склад способностей и задатков» и лишь затем «послеродовое наследие», когда «немец должен принять духовную форму немецкого мировидения (Weltschauweise)», и отход Шмидт-Пора от неогумбольдтианцев не может завуалировать даже указание на то, что «ни то, ни другое нельзя опустить» [Schmidt-Rohr 1939b, 269], или на то, что «необходимо как можно скорее признать необходимость сохранения народа путем сохранения языка, поскольку ныне происходящие процессы ретнизации необратимы» [Schmidt-Rohr 1939b, 270].

Последующее развитие взглядов Шмидт-Пора показывает еще более серьезный отход от первоначального проекта: в работе «О языковой идее в военное время» он добавляет к тезису о языке как втором уровне сохранения народа тезис о языке как *первом уровне этнического самоутверждения* для немцев, проживающих вне рейха и «охваченных чужими народами» [Schmidt-Rohr 1940, 145]. Говоря же о понятии народности (Volkstum) сформированном в эпоху Наполеона в период осознания этнической глубины языка, он окончательно порывает с Фихте, ибо тот «резко отвергал расу как силу, созидающую народ», в современный же Шмидт-Пору период односторонность понятия языкового народа, за которое так ратовал Фихте, односторонность государственного мышления времен Бисмарка «преодолены», так что «в естественном, осмысленном порядке на благо нашего народа ныне закреплено соотношение рангов расы, государства и языка между собой» [Schmidt-Rohr 1941, 15].

В целом же сопоставление тех выводов, к которым пришли неогумбольдтианцы к концу войны, обнаруживает крах радикального крыла и переход его в основных вопросах на позиции национал-социализма, а то время как умеренное крыло (и прежде всего Вайсгербер) попыталось под покровом идеологических заклинаний сохранить идею превалирования языка над прочими признаками сохранения народа. Вайсгерберу удалось спасти свое направление от полного разгрома и даже привести его к успеху в послевоенное время в ходе создания обновленной концепции языкового сообщества.

Крах нацизма в Германии означал одновременно отказ от связанных с ним парадигм в научной сфере, но не победу научных аргументов в споре

между расово-ориентированной и глоттоцентрической философией языка в Германии. Эта ситуация весьма сходна с падением марксистского языкознания вместе с распадом СССР [Радченко 2004] и, видимо, останется одним из интереснейших объектов историографии лингвистики, поскольку ни одна концепция в науке не поддается отмене в силу политического решения, она будет ждать своего часа и, несомненно, однажды вновь обнаружит себя на новом витке развития лингвистики.

Литература

Семенюк Н.Н. Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка. М., Наука, 1972.

Радченко О.А. Антагонизм универсалистического и идиоэтнического переходов в современной философии языка в России и Германии // *Paradigmaty filozofii jazyku i teorii teksta*. Slupsk, 2004.

Радченко О.А. У истоков идеалистической нефилологии: Карл Фосслер и его школа // Фосслер К. Эстетический идеализм. Избранные работы по языкознанию. Серия "История лингвофилософской мысли". М., Эдиториал-УРСС, 2007.

Сенур Э. Избранные труды по языкознанию и кльтрологии. Пер. с англ. под ред. и с предисл. проф. А.Е.Кибрика. М., Прогресс, Универс, 1993.

Соссюр Фердинанд де. Труды по языкознанию. М., Прогресс, 1977.

Arndt, E.M. Deutsche Volkwerdung. Sein politisches Vermächtnis an die deutsche Gegenwart. Kernstellen aus seinen Schriften und Briefen. Hrsg. v. C. Petersen und P. H. Ruth. Breslau, Hirt, 1934.

Bach A. Deutsche Mundartforschung, 1934.

Banniza von Bazan H. Sprache und Rasse im Völkerschicksal // *Rasse 2*, 1935. S. 218-222.

Böhm M. H. Europa irredenta. Eine Einführung in das Nationalitätenproblem der Gegenwart. Berlin, Hobbing, 1923.

Böhm M. H. Das eigenständige Volk. Volkstheoretische Grundlagen der Ethnopolitik und Geisteswissenschaften. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1932.

Diesel E. Vom Verhängnis der Völker. Stuttgart, Cotta, 1934.

Fichte J. G. Reden an die deutsche Nation (1808) // Fichte J.G. Sämtliche Werke. Bd. VII, Berlin, Veit, 1846. S. 264-508.

Hertz F. Rasse // Vierkandt A. (hrsg.) Handwörterbuch der Soziologie. Stuttgart, Enke, 1931. S. 458-466.

Humboldt W. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (1827-1829) // Werke, hrsg. v. A. Leitzmann, Bd. VI, Berlin, Behr, 1906. S. 111-303.

Humboldt W. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes (1830-1835) // Werke, hrsg. v. A. Leitzmann, Bd. VII, 1, S. 1-344.

Koppelman H.L. Rasse und Sprache // Internationales Archiv für Ethnographie 32, 1934. S. 107-120.

Panzer F. Volkstum und Sprache. Rektoratsrede, gehalten bei der Stiftungsfeier der Universität Heidelberg am 22.11.1926. Heidelberg, Diesterweg, 1926.

Puschner U. Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich: Sprache — Rasse — Religion. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2001.

Reche O. Rasse und Sprache // Süddeutsche Monatshefte (München), Bd. 24, 1927. S. 258-261.

Schmidt W. Rasse und Volk. Eine Untersuchung zur Bestimmung ihrer Grenzen und zur Erfassung ihrer Beziehungen. München, Verlag Kösel und Pustet, 1927.

Schmidt-Rohr Georg. Unsere Muttersprache als Waffe und Werkzeug des deutschen Gedankens. Jena, Diederichs, 1917, 51 S. (Tat-Flugblätter 8).

Schmidt-Rohr Georg. Die Sprache als Bildnerin der Völker. Eine Wesens- und Lebenskunde der Volkstümer. Jena, Diederichs, 1932. (2. Auflage "Mutter Sprache. Vom Amt der Sprache bei der Volkwerdung", 1933).

Schmidt-Rohr Georg. Rasse - Sprache - Volkstum // Nordische Stimmen (Erfurt) 3, 1933a. S. 84-86.

Schmidt-Rohr Georg. Sprache oder Volkstum? - Sprache und Volkstum! // Deutsche Rundschau 59, H. 5, Juni 1933b. S. 146-152.

Schmidt-Rohr Georg. Rasse und Sprache. Eine Entgegnung // Zeitschrift für Deutschkunde 48, 1934a. S. 318-324.

Schmidt-Rohr Georg. Volkstumserhaltung durch Spracherhaltung // Muttersprache 49, 1934b. S. 409-413.

Schmidt-Rohr Georg. Schule und Muttersprache // Hiller F. (Hrsg.) Deutsche Erziehung im neuen Staat. Berlin, Leipzig, Verlag v. Julius Beltz, 1935. S. 216-224.

Schmidt-Rohr Georg. Die zweite Ebene der Volkserhaltung // Rasse, H. 3 und 4, 1939; Muttersprache 54, 1939a. S. 201-207.

Schmidt-Rohr Georg. Rasse und Sprache // Muttersprache 54, 1939b. S. 265-270.

Schmidt-Rohr Georg. Von der gesellschaftlichen Wirkekraft und der Weltläufigkeit der deutschen Sprache // Muttersprache 54, 1939c. S. 6-10.

Schmidt-Rohr Georg. Vom Sprachgedanken in Kriegszeiten // Muttersprache 55, 1940. S. 145-147.

Schmidt-Rohr Georg. Die Stellung der Sprache im nationalen Bewußtsein der Deutschen // Jahrbuch der deutschen Sprache 1, 1941.S. 12-15.

Steinthal H. Dialekt, Sprache, Volk, Staat, Rasse // Festschrift für Ad. Bastian, Berlin, Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1876. S. 47-52.

Steinthal H. Über religiöse und nationale Vorurteile // Deutsche Revue (Berlin), 4. Jg., Bd. 1, H. 2, 1879/1880. S. 189-206.

Stavenhagen K. Volk und Muttersprache // Nation und Staat 3, 1929/1930. S. 491-524, 584-598.

Stroh Fr. Sprache und Volk // Hessische Blätter für Volkskunde, Bd. XXX-XXXI, 1931/32. S. 229-248.

Simon G. Materialien über den Widerstand in der deutschen Sprachwissenschaft des Dritten Reichs: Der Fall Georg Schmidt-Rohr // Simon G. (Hrsg.) Sprachwissenschaft und politisches Engagement. Weinheim und Basel, Beltz, 1979. S. 154-205.

Steche T. Volk, Nation, Rasse und Sprache // Völkische Kultur (Dresden), 1933. S. 228-230.

Wundt M. Was heißt völkisch? Langensalza, 1924.

Weisgerber Johann Leo. Indogermanen // Sachwörterbuch für Deutschkunde. Hrsg. v. Walter Hoffstätter, Ulrich Peters. Band 1. - Leipzig, Berlin, Teubner, 1930. S. 573-574.

Weisgerber Johann Leo. Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur. - Heidelberg, Winter, 1934a.

Weisgerber Johann Leo. Die Sendung der deutschen Sprache für die Volksgemeinschaft// Die deutsche Schule (Hannover) 38, 1934b. S. 357-365.

Weisgerber Johann Leo. Der Beitrag der Sprachforschung zur Volkswissenschaft // Volksspiegel (Muenchen) 1, 1934c. S. 237-244.

Weisgerber Johann Leo. Hier fälschte und verleumdete W. Boelich zum anderen Mal. Essen, <Selbstverlag>, 1964.

Vossler Karl. Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Heideelberg, Winter, 1904.

*Н.С. Бабенко***РАННЕЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ГЕРМАНИИ И ЕГО РОЛЬ В
РАЗВИТИИ ФОРМ КОММУНИКАЦИИ***

Выдающаяся роль книгопечатания как нового медийного средства единодушно признается современной историографией [Hartweg 1985; Гуревич 1990]. Расхождения возникают именно в оценке конкретных процессов, протекавших под влиянием книгопечатания, и их последствий.

Книгопечатание с самого начала своего существования представляло собой сложное, многоаспектное и весьма мощное по силе воздействия явление. Благодаря сугубо техническому новшеству оно стало катализатором многих последующих системных преобразований и изменений в разных сферах – культурной, социальной, идеологической, коммуникативно-информационной, языковой [Giesecke 1998, 21].

«Изобретение и распространение книгопечатания ознаменовало революцию в средствах социальной коммуникации, в области диффузии и циркуляции достижений культуры и, в конечном итоге, в структуре общественного сознания, поскольку внедрение грамотности приводило к глубоким изменениям последнего. Человек в недрах устной культуры и человек в условиях культуры книжной являют собой два глубоко различных типа личности. Ориентация на слуховое восприятие сменялось частичной переориентацией на восприятие визуальное, которое дает более стабильную основу для социального поведения. Человек в меньшей мере зависит от случайных слухов <...>, от капризов собственной и чужой памяти» [Гуревич 1990, 331].

1

Сильным фактором влияния книгопечатание стало не сразу, поскольку лишь постепенно вокруг этого технического новшества складывался комплекс явлений, связанный с его освоением для медийных функций. Постепенность этого процесса отчетливо демонстрирует история книгопечатания в Германии, где первые печатные книги появились в середине XV века, но лишь к середине XVI века, т.е. почти через 100 лет после своего изобретения, книгопечатание приобрело устойчивое культурное значение и влияние. Вместе с тем именно на данном отрезке времени особенно отчетливо проявились наиболее существенные, модернизационные, аспекты этого «технического» феномена и обнаружались основ-

* Статья выполнена в рамках программы фундаментальных исследований секции языка и литературы ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации».

ные направления его воздействия в разных, нетехнических, сферах эволюционного развития общества (ср. эволюцию в понимании Ю.С.Степанова [Степанов 2004, 49 и след.]).

Немецкая письменность и до изобретения книгопечатания обладала сильными традициями и развивалась довольно интенсивно, распространяя и усиливая свое культурное влияние в различных сферах. Стимулами этих процессов выступали в разные периоды такие явления, как возникновение городской культуры (социально-исторические изменения), переход на бумажные носители и изобретение очков (технологические новшества). Примечательно, что значение раннего книгопечатания было не столь велико для популяризации чтения, равно как и его влияние на процессы исторического развития языка. Вместе с тем в истории немецкого языка роль раннего книгопечатания прежде несколько преувеличивалась. Состояние письменной культуры в Германии XV века не дает достаточных оснований говорить о том, что книгопечатание быстро и заметно изменило традиционные медийные инструменты и возможности популяризации чтения. В XV веке всего лишь 7% книг издавалось на немецком языке, а большинство ранних печатных книг, в том числе и Библия, служили нередко знаком престижа состоятельных людей, часто не умевших читать. Первпечатные книги были настолько дорогими, что и в XVI веке охотно продолжали переписывать книги, считая этот способ распространения экономически менее затратным. Таким образом, в XV веке книгопечатание играло маргинальную роль в процессах «узуализации» письма; оно еще не могло активно вовлекать в письменную культуру новые слои читателей.

Медийный фактор действовал в иной причинной связи: читательская экспансия, ставшая реальностью к 1400 году, оказалась причиной технического изобретения Гутенберга, а затем уже книгопечатание стало продвигать отбор, стандартизацию и передачу знания, т.е. развивать современные формы знания.

В годы Реформации и Крестьянской войны книгопечатание оказалось политически актуальным и общественно значимым медийным средством, вовлеченным в социальную и идеологическую борьбу. Однако этот опыт (с 1517 до 1530) еще не мог вызвать сильные качественные сдвиги в самом книгопечатании как способе существования информационного пространства: книгопечатание должно было постепенно соединиться с иными процессами – коммуникативными, социальными, прагматическими, экономическими.

Книгопечатание выявило определенное драматическое противоречие нового времени: смелость технической мысли, неограниченность возможностей ее материального воплощения как «чуда божественной муд-

рости» [Гухман 1959, 69], с одной стороны, и неконтролируемый характер последствий этого технического изобретения для коммуникации, с другой.

Принимая во внимание важность радикального изменения материальной базы и структуры деятельности при переходе от рукописной книги к печатной, необходимо отчетливо представлять себе наиболее важные аспекты развития коммуникации в период раннего книгопечатания, поскольку именно в этот период отдельные процессы, в том числе и языковые, проявлялись с особой интенсивностью как следствие изменений в формах, условиях и задачах коммуникации.

Вхождение нового технического средства в коммуникативное пространство культуры, обретение печатным словом своих функций происходило не столько путем прямого вытеснения рукописной традиции из сферы продуктивной деятельности, сколько в результате развития качественно новых коммуникативных условий, стимулировавших взаимосвязанные процессы – продуцирование печатной книги и потребление печатной продукции. Следует подчеркнуть, что книгопечатание выступало частью городской культуры и с самого начала было связано с коммерческой инициативой, так что все успехи и неудачи в этой сфере деятельности, особенно в первые десятилетия распространения книгопечатания, оказывались зависимыми от экономического эффекта, который постепенно становился влиятельным фактором развития языка и культуры.

Технические возможности книгопечатания оказывали сильное влияние на многие процессы, сопровождавшие смену медийных средств. Среди них наиболее значимыми представляются следующие моменты:

– постоянный прирост печатной продукции, которая в 1525-1530 гг. превысила количество книг, опубликованных в предшествующие 50 лет;

– селективный отбор рукописных текстов для их печатного тиражирования (первая книга на немецком языке автора современника появилась в 1494 г.; это был «Корабль дураков» С.Бранта);

– изменение формата книги: отказ от фолиантов в пользу малоформатных изданий и оформление титульной страницы (первый титул датируется в Германии 1484 годом);

– усиление конкуренции между книгопечатными центрами и борьба за книжный рынок; популяризация и распространение новых жанровых форм текста, например, школьных драм или листовок-диалогов (в период между 1521 и 1525 годами появилось свыше 50 сочинений в форме диалогов);

– наконец, активизация процессов продуцирования текстов (Textbildung, термин Г.Веллмана: [Wellmann 1990]) разного назначения как

условие реализации общественных запросов читателей, а также личных интенций и амбиций авторов.

2

В истории культуры случаются значимые совпадения событий, которые оказывают сильное и устойчивое влияние сразу на нескольких направлениях развития исторических процессов в разных областях. Изобретение книгопечатания в Германии было событием исторически независимым от множества других событий. Оно могло произойти и в другой европейской стране (известно, что Гутенберг должен был вскоре после испытания своего изобретения покинуть Германию). И действительно, книгопечатание довольно быстро стало общеевропейской технологической новинкой, которая распространялась в отдельных регионах с разной степенью интенсивности, но последствия этого процесса довольно быстро стали очевидными.

Книгопечатание хронологически совпало с периодом переустройства культурной сферы, с усилением цивилизационных процессов в конце Средневековья [Гуревич 1990, 325]; оно значительно усилило позиции письменности в ее конкуренции с традицией устных форм культуры. Книгопечатание укрепляло культуру образованных слоев общества и увеличивало отрыв культуры церковной и светской элиты от народной культуры.

Появлению книгопечатания в Германии предшествовали события с очень широким диапазоном влияния на развитие разных сфер и форм жизни. К 1500 году на немецкоязычных территориях существовало 15 университетов, в функционировании которых большую роль играли учебники, практика переписывания и исправления учебных материалов, их продажи и получения в краткосрочное пользование. Все университетские циклы обучения в рамках семи свободных искусств, а также каждая из специализаций – теология, философия, право, медицина – опирались на тексты специального назначения (Fachprosa), которые были представлены разными жанрами и предопределяли развитие более поздних форм научного и технического языка.

До 1500 г. книгопечатание в значительной степени блокировало развитие «современных» литературных форм; раннее книгопечатание пропитывало на уже существовавших ресурсах письменности – переводы, обработка текстов, адаптация – и лишь постепенно осваивало новые формы текстов, созданные специально для печатного издания; в период между появлением книгопечатания в середине XV века и кануном Реформации $\frac{3}{4}$ всей типографской продукции составляли религиозные сочинения. До Реформации Библия была редкостью даже в руках духовен-

ства. На протяжении XVI века она выходит на первое место среди печатных изданий [Гуревич 1990, 333-334]. Реформация и Крестьянская война значительно ускорили процесс соединения книгопечатания с изменениями в коммуникативной сфере и в функциях отдельных форм существования немецкого языка. Именно в листовках периода Реформации книгопечатание продемонстрировало свою оперативность и реальный потенциал как новое медийное средство с безграничными возможностями.

Не менее важными оказались и другие последствия возникновения новых медийных возможностей. Благодаря книгопечатанию происходило постепенное разрушение монополии на информацию, которой обладали феодальные и сословные инстанции [Polenz 1991, 146]. Довольно рано, в 1502 году, за сто лет до появления первых регулярных газет в Германии (1607 г.), в городах начинают распространяться печатные листовки (*Neue Zeitungen*), которые сообщают о разных событиях – без комментариев, без агитации, анонимно, чтобы избежать цензуры. Политические листовки (*Flugschriften*) 1520-25 годов также распространялись помимо и вопреки информационной идеологии официальной власти, а для реципиентов, среди которых была значительная часть пассивных слушателей, эта печатная продукция производилась в особенно привлекательных формах, сочетавших визуальный ряд с текстами рекламного характера на титульной стороне. В ранних видах публицистических текстов учитывался преимущественно полу-устный (*semi-oral*) способ функционирования и восприятия печатных текстов, когда чтение листовки происходило публично, в присутствии некоторого числа слушателей, не владеющих грамотой, но выступающих активными потребителями печатной продукции. Процент грамотного населения в Германии XVI века был невелик – всего около 5%, однако число реципиентов печатных текстов оценивается величиной, во много раз превышающей число грамотных людей [Engelsing 1973, 33].

Книгопечатание в Германии соединилось в начале XVI века с процессом политической борьбы эпохи Реформации и Крестьянской войны [Гухман 1959; 1974]. Оно очень быстро обнаружило свои возможности и достоинства и стало основным способом обеспечения оперативной политической публицистики, которая была открыта для воплощения в печатной форме разнообразных коммуникативных действий аргументативного и персуазивного характера: обоснование, оправдание, требование, призыв, жалоба, упрек, полемика. В разнообразной по содержанию и стилистической обработке печатной политической публицистике доминировала стихия языка повседневного общения [Гухман 1974].

Появление книгопечатания усилило и цензуру книжной продукции, ее лицензирование. Тем самым цензура определяла не только допустимые

границы содержания, но и устраняла чрезмерное влияние устных форм языка на печатный текст [Polenz 1991, 144, 145].

Письменность как существенная форма городской культуры приобрела в Германии XV века особенно важное значение. Оно усиливалось многообразными процессами в сфере культуры, социальных отношений, для которых развитие новых медийных технологий играло не последнюю роль (ср. замену пергамента бумагой для рукописных текстов, изобретение очков). В городах книгопечатание обслуживало некоторые сферы повседневной жизни; разнообразные тексты утилитарного характера развивали полифункциональные свойства немецкого языка как средства наддиалектной коммуникации и информации, востребованной в условиях городской жизни – таковы календари, жития святых, сочинения нравоучительного и благочестивого содержания, астрологические сведения и т.п.

3

Первопечатники и территориальное варьирование литературной разновидности языка – особая проблема в условиях Германии XV-XVI веков. Первые печатные грамматики немецкого языка воплощали не только новую идею описания своего языка, но и наилучшим образом демонстрировали существование локальных письменных традиций, которые ко времени их создания уже закрепились в печатных изданиях; их авторами являлись базельский учитель и литератор-протестант Иоганн Кольрос (автор учебного пособия «Enchiridion» 1530), Валентин Икельзамер (автор первой немецкой грамматики 1532), позднее Клайус (автор грамматики на базе лютеровской Библии 1578), страсбургский нотариус Олингер с грамматикой 1573 [Гухман 1984, 83].

Отчетливую территориальную принадлежность обнаруживают и многочисленные двуязычные словари XV, начала XVI века, появление которых связано с постепенным вытеснением латыни из разных сфер и распространением немецкой письменности в среде образованных людей [Гухман 1959, 99]. Появление в середине XVI века одноязычных немецких словарей (словарь Малера 1561 г.) отчетливо демонстрирует развитие приемов лексикографической обработки слов без помощи латыни и осознание возможностей самого немецкого языка как интерпретационного средства [Wellmann 1990, 266].

Книгопечатание в Германии на начальных этапах своего существования причудливым образом накладывалось на собственно языковые процессы, протекавшие в разных регионах распространения немецкого языка, прежде всего на уровне территориальных вариантов литературного языка; оно усиливало влияние традиций отдельных вариантов литературного языка друг на друга на всех уровнях языковой системы [Гухман

1959, 116 и след.]. Не останавливаясь подробно на языковой ситуации в Германии XVI века, следует упомянуть о сложной комбинации тенденций общего характера (движение к наддиалектной общенемецкой форме языка) с особенностями языковых ситуаций в наиболее значимых (статусных), с точки зрения развития письменно-литературной формы языка, регионах; таковыми являлись юго-восток, юго-запад, восток средней Германии, нижненемецкие области [Гухман 1959].

В середине XVI века книгопечатание во многом отражало существование горизонтальных связей между отдельными вариантами письменно-литературного языка, их взаимодействие и конкуренцию, обусловленные политическими, идеологическими и культурными процессами и событиями XV-XVI веков. Нормализационные процессы протекали еще довольно медленно и не вполне отчетливо. В деятельности печатников отражалась тенденция к распространению и закреплению «общенемецкого языка» (*Gemeines Deutsch*) как наддиалектной формы сначала юго-восточного образца (до начала XVI века как символ «имперской канцелярии», сохранявшей престиж на юго-западе вплоть до Аугсбургского мира 1550 г.), а затем восточнореднемецкого образца («протестантский» вариант, «язык Лютера»). Само понятие *Gemeines Deutsch*, возникшее до появления книгопечатания (первое употребление зафиксировано в 1464 г.), по сравнению со словом *Muttersprache* (его появление датируется 1524 г.) не отличалось единством понимания и оценивалось представителями местных письменно-литературных традиций по-разному: 1) немецкий язык в его противопоставлении латыни и другим иностранным языкам; 2) «простой/понятный» язык, отличающийся от сложного канцелярского языка и языка переводов; 3) престижная наддиалектная форма. Именно в последней трактовке термин *Gemeines Deutsch* мог иметь к книгопечатанию прямое отношение, поскольку этот пункт актуализировал статусные оценки, отражавшие возможное влияние книгопечатников на выбор письменно-литературной традиции и следование ей. Либо, напротив, ориентацию на местный письменно-языковой узус (ср. устойчивость нижненемецкого как территориального варианта литературного языка и открытость для интерференции юго-западных областей при одновременно весьма критическом отношении к влиянию извне [Дубинин 2004, 79-80]).

Книгопечатание само по себе не могло ускорить процессы языкового выравнивания под знаком *Gemeines Deutsch*, поскольку преобладающим было горизонтальное варьирование литературно-письменных идиомов. Складывание единого литературного языка и формирование его норм сопровождается активизацией разного рода социальных диалектов [Яр-

цева 1969, 224] и тем самым – процессами усиления социальной стратификации языка, которая подвижна в большей мере, чем территориальная.

Кроме того, эти процессы формируют иной тип отношений между отдельными разновидностями языка: территориальное варьирование, преобладавшее в начальной и средней фазах развития литературной формы языка (горизонтальное членение), сменяется варьированием с вертикальным типом отношений. В результате процесса вертикализации отношения между отдельными сосуществующими разновидностями языка с их пространственными, ситуативными, социальными и прочими признаками, образующими систему противопоставлений «понятный/непонятный», «сравнимый по употреблению/отличный от него», оказались ориентированы на дихотомию «возвышенный/повседневный», «правильный/неправильный» и прежде всего «высокий//низкий», что повлекло за собой смену вектора языковых изменений. «Высокий» – сфера прежде всего письменного (печатного) литературного языка как ведущей формы существования языка. Таким образом, книгопечатание служило базой и условием быстрого продвижения спонтанных процессов в сторону нормализации литературного языка, а также расширения прагматических стимулов развития языка, в результате более значимой становится сознательно обусловленная деятельность носителей языка, направленная на изменение качественного состава, а также функциональных возможностей литературного языка.

Процессы выравнивания и стандартизации немецкого языка могли стимулироваться в том числе и вполне прагматическим желанием печатников сбывать свою продукцию за пределами своего региона (ср. книжные ярмарки во Франкфурте на Майне с 1552 года). Так, на ярмарке 1565 года по документам было продано 23 наименования книг в количестве 2650 экземпляров 107 покупателям из 45 немецких и 5 зарубежных городов [Hartweg 1985, 1422]. Тем самым чисто коммерческий интерес мог стимулировать процессы сознательного выравнивания языка и его нормализацию. Исследования последних лет показывают, что этот процесс был чрезвычайно сложным, противоречивым и неоднонаправленным: довольно длительное время существовали значительные вариантные колебания в текстах разных региональных изданий, и общая тенденция к выравниванию проявлялась в XVI веке в весьма специфических формах, если дифференцировать регионы, издательства (*Druckeroffizinen*), труд печатников, корректоров и наборщиков, авторов, тип изданий и цель издания. Существующие на этот счет многочисленные высказывания и оценки самих современников также весьма разнородны и противоречивы. Они все лишь подтверждают мысль о глубине преобразований, их постепенности, зависимости от множества прямых и косвенных факторов

внешнего влияния, а также о нетривиальности проблем, которые приходилось решать не одному поколению. Важно также подчеркнуть общественное внимание к этой стороне развития языка в условиях книгопечатания, дискурсивную активность причастных к данным процессам представителей самых разных слоев общества [Wolf 1993].

Масштабы влияния печатников на авторский текст весьма наглядно демонстрирует сравнение рукописного и печатного текстов известного в XVI веке описания путешествия Ульриха Шмидла (1554). «Переделке» с позиций иного социального стандарта рукописный текст подвергся на всех уровнях языка: в печатном варианте проведена графемная унификация, генитивные группы доминируют над предложными, формы конъюнктива замещаются модальными глаголами, пассивные конструкции образуются с глаголом *werden*, а не с глаголом *sein*, паратактические структуры преобразуются в гипотактические [Hartweg 1985, 1425]. В целом печатный текст воспроизводил не только фактическую информацию, но он становился носителем обработанной с определенных статусных позиций языковой формы.

4

Прогресс, связанный с книгопечатанием, очевиден по всем направлениям развития общества, культуры и языка. Последствия этого технического изобретения столь велики, что оно стало вехой в разделении Средневековья и Нового времени. Вместе с тем само существо процессов, инициированных книгопечатанием в разных сферах, все еще не в полной мере освоено теоретически, хотя фактологический материал в германистике представлен довольно полно и тщательно обработан для описания разных аспектов истории, культуры и языка XV-XVI веков [Hartweg 1985].

В современных исследованиях развитие книжной культуры в ее движении от рукописной формы к печатной предстает как сложный процесс изменения в информационных системах и в их связях со средой, продуцирующей и потребляющей знания в виде книг (ср. с идеей «третьего мира» К.Р.Поппера – мира знаний [Степанов, 1997, 347]). В этом ключе выполнена серия публикаций М.Гизеке, германиста по образованию, предложившего свою модель изучения феномена, известного под названием «книгопечатание» (Buchdruck).

Согласно М. Гизеке, появление книгопечатания изменило тип информационного поведения общества. При этом новые технические возможности издания и тиражирования идентичных текстов предполагали и увеличение объема рукописной работы, которая по необходимости предшествовала типографской обработке текста: в письменной культуре

предыдущих эпох не продуцировалось так много «ручных» текстов, как в эпоху печатной книги.

С точки зрения развития информационных систем, новые технические средства обеспечивали запуск информации одновременно на множество потребителей, и современники Гутенберга были свидетелями такого явления, как ускорение информационного обмена. Появление книгопечатания воспринималось большинством одобрительно и с пониманием того, что данное изобретение обеспечивает знанию «вечную сохранность» и выполняет просветительские функции. «Похвала книгопечатанию» стала формой общего признания [Giesecke 1993, 330].

Внедрение и распространение новой книжной культуры не было бы столь быстрым и успешным, если бы распределение информации подчинялось правилам средневекового образца, когда отсутствовал свободный рынок и рукописные книги были предметом привилегированного, эксклюзивного, сословного владения и пользования. Изобретение книгопечатания сделало книгу заурядным товаром, который, как всякий товар, для своего продвижения нуждался в рекламе.

Поэтому печатные книги начала XVI века часто содержат обращение не столько к читателю, сколько к покупателю как лицу, обладающему денежными средствами [Giesecke 1993, 331].

В XVI веке письменная культура, которая в значительной степени обслуживала специализированные сферы коммуникации и была включена в иерархию институциональных органов (городское и надрегиональное управление, структуры религиозно-духовной бюрократии, цеховые инстанции), существовала параллельно с началами печатной культуры, которая несла иные принципы производства, передачи и функционирования информации.

М.Гизеке говорит о появлении в информационных каналах наряду с институциональными сетями, имевшими иерархическое строение, экономических связей рыночного типа, имевших лучеобразное строение относительно центра, который образовывала вся печатная продукция. После закрепления такого рода новых информационных сетей традиционные формы коммуникации в институциональных сферах также претерпели изменения. Монах Лютер мог напрямую обратиться к Папе с помощью своих листовок, публикация которых не требовала прохождения по длинной иерархической лестнице [Giesecke 1993, 333]. Сокращение путей прохождения информации и реструктурирование коммуникативных сетей стало возможным только благодаря книгопечатанию, которое преодолевало всякого рода контроль и весьма оперативно обслуживало многообразные интересы общества. Вполне закономерными были в

связи с этим попытки католиков ограничить книгопечатание и ввести цензуру [Wiesinger 1999, 8].

Типографический способ представления информации способствовал постепенному выходу из интерактивного режима общения в условиях устной коммуникации, при котором текст для реципиентов воспроизводился разного рода посредниками (представителями духовенства, чтецами, актерами-потешниками и т.д.), и концентрации усилий на чтении для себя, для собственного обучения. Поэтому уже самые ранние типографские издания предназначались для индивидуального овладения знаниями без помощи наставника (например, книги по обучению счету, вокабулярии, грамматики, руководства по обучению письму).

По мере развития у печатной книги такой самообучающей функции, когда она больше не предназначалась для бимедийной коммуникативной ситуации с участием посредника-толкователя текста, постепенно менялась сама организация текста, подчиненного целям ясного и доступного для всех изложения содержания. Для этого недостаточно было дополнить старые тексты необходимыми разъяснениями. Требовалась работа по воплощению знаний в новых текстовых формах, обращение к иным, чем в прежней иерархической системе связей стратегиям представления содержания, ориентированным в большей степени на социальные нормы, а не на спонтанные повседневные (уличные) коммуникативные ситуации или на сугубо корпоративные (конфессиональные, административные, цеховые, региональные и т.д.) правила.

Распространение книгопечатания не может быть сведено к простому увеличению грамотности общества, за счет чего, как часто считают, и обеспечивался круговорот и количественное приращение печатной продукции. Не менее важным было влияние книгопечатания на стандартизацию способов получения знания и его представление в тексте для прямой передачи этой информации читателю. М. Гизеке говорит о естественной связи книгопечатания с перестройкой программы информационного обеспечения общества в целом (сравнимых с действием современных технологий), ориентированного на визуальное восприятие информации, зафиксированной в книге как самостоятельном медиуме [Giesecke 1998, 440].

Печатная книга способствовала развитию иного, чем в христианской культуре Средних веков типа знаний – более рационального и объективного: наряду с познанием как религиозным откровением, исходящим непосредственно от Бога, и авторитетным словом известных личностей развивается представление об ином источнике знания – через собственный опыт (*Ich will aber von Unbekanntem nichts schreiben* – из книги по ботанике Иронима Бока 1539 г.Страссбург) (цит. по: [Giesecke 1993, 340-

341]). Эти два источника «истинного знания» долгое время сосуществовали, демонстрируя раздвоенность познания, и лишь в специализированной прозе XVI века по предметным областям (например, по ботанике, геометрии, грамматике и т.д.) эта раздвоенность преодолевается в результате признания того, что информационным источником может служить собственное восприятие, собственный опыт.

Однако отход от догматического представления о божественном происхождении любой информации (и, следовательно, от средневековой информационной сети в виде дерева) сделал актуальными новые проблемы легитимизации знаний авторов, которые писали с целью издания своих книг (и потому считали себя «свободными», не связанными строгой иерархией). Несмотря на то, что в предисловиях к книгам XV-XVI веков сохраняются и даже умножаются частые апелляции к цитатам из Библии как явление, связанное скорее с идеологическими моментами, прагматические мотивы легитимизации публикаций сводились все же к иным аргументам, а именно: к указанию на то, что тексты служат «общей пользе», в которой заинтересован «простой человек» и «вся немецкая нация». Тем самым и коммуникативная система общества стала мыслиться как целое, в котором естественным образом представлены и отдельные элементы, продуцирующие знание. Осознание авторами книг себя как «самодостаточных» творцов новых знаний становится особенно очевидным в предисловиях к изданиям специальной лиретикулы XVI века.

В новых коммуникативных условиях при развитии действенных инструментов и мотивов познания Лютер оказался исторически наиболее дальновидной личностью, способной оценить преимущества новых медийных средств: его ориентация на письменную форму, но не на рукописный, а на печатный текст была также важным компонентом идеологической борьбы и усиления влияния его учения. Не случайно в протестантизме утратили свое значение некоторые коммуникативные формы, как, например, устная проповедь [Giesecke 1993, 344].

В сфере специальных знаний, представленных довольно разнообразными направлениями в сфере практической деятельности людей, после появления печатных изданий также наметились некоторые изменения, указывающие на процессы социализации знаний и их расширения за счет продуцирования комбинированных текстов, а также «оязыковления» (*Versprachlichung*) знаний, умений и опыта, ранее хранивших в устной (профессиональной) традиции и доступных узкому кругу лиц. Книгопечатание в связи с этим становилось не формой сохранения знаний, а способом его расширения, верификации и вхождения в конкурентную среду.

Книгопечатание существенно изменило соотношение между такими медийными коммуникативными формами, как устный и письменный

язык. Однако, как считает М.Гизеке, влияние на язык было связано не столько с этим обстоятельством, сколько с совокупностью множества новых условий и факторов, сопровождавших именно типографический способ производства текстов, в том числе тирожирование текстов и рыночные способы их распространения.

Печатная книга становится, таким образом, фактом и способом коммуникации, включаясь в информационные процессы благодаря своим особым свойствам.

Книгопечатание подтолкнуло рефлексию, связанную с оценками языка в аспекте его нормативных признаков, прежде всего орфографического облика печатных текстов, отличавшихся в XVI веке сильным разнообразием в графике, что впоследствии выразилось в довольно длительном сохранении устойчивых форм графического варьирования. Важным моментом является то обстоятельство, что орфография до XIX века разрабатывалась на базе печатных книг как явление типографической сферы, а не письменности в целом.

Техника книгопечатания мыслилась ее изобретателем как способ механизации мануальных действий, результаты которых были не всегда безупречными в смысле *ars artificialiter scribendi* [Giesecke 1998, 135]. В отличие от рукописной практика печатания была более пригодна для стандартизации внешнего облика текста и придания ему гармонии и соразмерности, чего невозможно было достигнуть через попытки улучшения ручных технологий (ср. введение каролингского минускула как в высшей степени «стандартизованного» кода).

В действительности процессы стандартизации языка и его орфографии лежали за рамками собственно технических возможностей книгопечатания. В известной мере эти процессы продвигались усилиями издателей, и прежде всего корректоров как составной части сложной системы типографической деятельности. Но уже в самом процессе книгоиздания можно обнаружить много фаз, где могла происходить самокорректировка (т.е. орфографическая правка) текста. Однако работа корректоров в типографической системе XV-XVI веков была обусловлена многими факторами, в том числе и наличием локальных языковых традиций, а также характером языковых черт авторской рукописи, особенно если автор был выходцем из других регионов. Вопрос, в чем заключалась роль корректора и что подлежало корректированию, имеет для начальных этапов развития книгопечатания свою специфику [Гизеке 1998, 115 и сл.].

Историко-лингвистический подход к изучению результатов изобретения книгопечатания, который давно практикуется историей немецкого языка, весьма продуктивно дополняется и расширяется исследованием

начальных этапов книгоиздательской деятельности как процесса изменения информационных систем. Общий итог исследовательских усилий в освещении проблем развития раннего книгопечатания в Германии может быть сформулирован в следующих тезисах: книгопечатание

- укрепляло письменную культуру и служило, в том числе, целям демократизации знания;
- ускоряло развитие объединительных тенденций в литературной форме языка на всех уровнях системы и выступало эффективным способом трансляции идеи, воплощенной в понятии *Gemein Deutsch*;
- усиливало процессы функционализации текстов и дифференциации их потребителей;
- продвигало разного рода инновации на уровне продуцирования текста (*Textbildung*) в направлении к многожанровой и многостилевой языковой культуре;
- активно влияло на языковые отношения эпохи и смену приоритетов;
- создавало конкурентную среду с толерантным отношением к индивидуальным практикам использования языка.

Литература

Бабенко Н.С. История языка и модели ее описания// Теория, история, типология языков. Материалы чтений памяти В.Н.Ярцевой. Вып.1. М., 2003.

Гухман М.М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. Часть 2. М., 1959.

Гухман М.М. Язык немецкой политической литературы эпохи Реформации и Крестьянской войны. М., 1974.

Гухман М.М., Семенюк Н.Н., Бабенко Н.С. История немецкого литературного языка XVI-XVIII вв. М., 1984.

Дубинин С.И. Юго-западный письменно-литературный узус позднего средневековья в метаязыковых оценках современников // Аспекты становления и функционирования западногерманских языков. Самара, 2003.

Морозова П.В. Язык и жанры немецких медицинских рукописей XIV-XV веков. Автор.канд.дисс. М., 2004.

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.

Степанов Ю.С. Протей. Очерки хаотической эволюции. М., 2004.

Ярцева В.Н. Развитие английского литературного национального языка IX-XV вв. М., 1969.

Babenko N. Reisebeschreibungen in der Textsortenklassifikation // Textsorten und Textsortentraditionen. Bern, 1997.

Barge H. Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Leipzig, 1940.

Betten A. Zur Problematik der Abgrenzung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei mittelalterlichen Texten // Neue Forschungen zur historischen Syntax des Deutschen. Referate der internationalen Fachkonferenz Eichstätt 1989. Hrsg.v.A.Betten. Tübingen, 1990.

Ehlich K. Schriftentwicklung als gesellschaftliches Problemlösen // Semiotik – 2. 1980.

Eisenstein E. The Printing Press as an Agent of Change – Kommunikation and Cultural Transformations in Early-Modern Europe.2 Bd. Cambridge/London, 1979.

Engelsing R. Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft. Stuttgart, 1973.

Giesecke M. “Natürliche” und “Künstliche” Sprache? Grundzüge einer informations-und medientheoretischen Betrachtung des Sprachwandels // Deutsche Sprache, H.4, 1989.

Giesecke M. Syntax für die Augen. Strukturen der beschreibenden Fachprosa aus medientheoretischer Sicht // Neue Forschungen zur historischen Syntax des Deutschen. Referate der internationalen Fachkonferenz Eichstätt 1989. Hrsg.v.A.Betten. Tübingen, 1990.

Giesecke M. Als die alten Medien neu waren – Medienrevolution in der Geschichte // Information ohne Kommunikation? Frankfurt a.M., 1990.

Giesecke M. Orthographia. Der Anteil des Buchdrucks an der Normierung der Standardsprache // Zur Theorie der Orthographie. Interdisziplinäre Aspekte gegenwärtiger Schrift- und Orthographieforschung. Tübingen, 1990.

Giesecke M. Von den skriptographischen zu den typographischen Informationsverarbeitungsprogrammen. Neue Formen der Informationsgewinnung und – darstellung im 15. und 16. Jahrhundert// Wissensliteratur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Wiesbaden, 1993.

Giesecke M. Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations-und Kommunikationstechnologien. Frankfurt a.M., 1998.

Glaser E. Die textuelle Struktur handschriftlicher und gedruckter Kochrezepte im Wandel. Zur Sprachgeschichte einer Textsorte // Textarten im Sprachwandel – nach Erfindung des Buchdrucks. Heidelberg, 1996.

Hartweg F. Die Rolle des Buchdrucks für die frühneuhochdeutsche Sprachgeschichte // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2.Hdb. Berlin, 1985.

Kettmann G. Zum Problemkreis “Druckersprache” in der frühneuhochdeutschen Forschung // Luthers Sprachschaffen. 2. Berlin, 1984.

Kettmann G. Städtische Schreibzentren und früher Buchdruck (Beispiel Wittenberg): Medienwechsel und Graphemik // Textarten im Sprachwandel – nach Erfindung des Buchdrucks. Heidelberg, 1996.

Meier J. Städtische Kommunikation in der frühen Neuzeit. Historische Soziopragmatik und historische Textlinguistik. (Deutsche sprachgeschichtliche Texte und Untersuchungen, 1). Frankfurt a.M., 2000.

Polenz Peter von. Mediengeschichte und deutsche Sprachgeschichte // Erscheinungsformen der deutschen Sprache. Festschrift für H.Steger. Berlin, 1990.

Polenz Peter von. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd.I. Berlin, New York, 1991.

Reichmann O. Nationalsprache als Konzept der Sprachwissenschaft (= Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in der Geschichte und Gegenwart. Sonderdruck). Berlin, 2000.

Stolt B. Redeglieder, Informationseinheiten: Cola und commata in Luthers Syntax // Neue Forschungen zur historischen Syntax des Deutschen. Referate der internationalen Fachkonferenz Eichstätt 1989. Hrsg.v.A.Betten. Tübingen,1990.

Schwitalla J. Deutsche Flugschriften. Textsortengeschichtliche Studien (1460-1525). Tübingen, 1983.

Stopp H. Verbreitung und Zentren des Buchdrucks auf hochdeutschem Sprachgebiet im 16. und 17. Jahrhundert. Fakten und Daten zum “organischen Werdegang der Entwicklungsgeschichte der neuhochdeutschen Sprache” // Sprachwissenschaft, 3, 1978.

Stopp H. Schreibsysteme in Handschrift und Druck. Zu graphemischen Differenzen der beiden Überlieferungsformen am Beispiel zweier Zeugen der selben Textart // Sprachwissenschaft, 5, 1980.

Ukena P. Tagesschriften und Öffentlichkeit im 16. und 17. Jahrhundert in Deutschland//Presse und Geschichte. Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung, Studien zur Publizistik 23. München, 1977.

Widmann H. Buchdruck und Sprache. Mainz, 1964.

Widmann H. Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks – aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders. Mainz, 1973.

Wiesinger P. Die Entwicklung der deutschen Schriftsprache vom 16. bis 18. Jahrhundert unter dem Einfluss der Konfessionen // Studien des Instituts für Kultur der deutschsprachigen Länder.1999, № 17, Sophia.

Wellmann H. Textbildung (nach der Frühzeit des Buchdrucks) // Deutsche Sprachgeschichte. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. Festschrift für J.Erben zum 65.Geburtstag. Frankfurt a.M., 1990.

Wolf H. Das Druckwesen im Lichte deutscher Vorreden des 16. Jahrhunderts // Arbeiten zum Frühneuhochdeutschen.Gerhard Kettmann zum

65.Geburtstag (= Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie, Bd.XI). Würzburg, 1993.

Р.С.Аликаев

ОБ ИСТОКАХ НЕМЕЦКОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящей статье рассматривается один из интереснейших и малоизученных феноменов немецкого литературного языка – женская научная литература эпохи раннего Просвещения в Германии.

Известно, что женщины в описываемый период все еще были исключены полностью из научной сферы, т.е. они не могли учиться в университетах, писать и публиковать научные труды. Такая ситуация, однако, не означало, что женская половина европейского, в том числе и немецкого, общества не боролась за свои права в этой сфере деятельности. В качестве ярких примеров можно назвать имена отдельных личностей, сделавших исторический шаг в данном направлении. Это прежде всего итальянка Лукреция Маринелла (Lucretia Marinella), Анна Мария фон Шурманн немецко-нидерландского происхождения, француженка Мари де Жар де Гурней (Marie de Jars de Gournay). Эти исторические личности известны своими выступлениями за право женщин на высшее образование и научную деятельность [Deutsche Literatur von Frauen 1988, 185-197]. Несомненно требовались упорство, дипломатичность и сила духа, чтобы преодолеть стереотипное представление об ученой женщине как *monstrum naturae* мужского духа в женском теле. Существовал и более мягкий мужской аргумент против обучения женщин в академических заведениях: женщина, если она столь талантлива и обладает необходимой волей, может совершенствовать свой научно-образовательный уровень без обучения в женских академиях.

Непрекращающиеся попытки женщин внедриться в научную, традиционно мужскую, сферу деятельности вызывают жесткие нападки со стороны мужчин (ср. сочинения Джузеппе Пасси «*I donneschi diffetti*» («Ошибки женщин») и Аббате Тонди «*La femina origine d'ogni*» («Женщина – происхождение всего зла» 1600). В том же году появляется книга итальянки Лукреции Маринеллы с броским названием и весьма саркастичным содержанием «*Le Nobilita et Eccellenze delle Donne et I diffetti e Mancamenti degli Huomine*» («Благородство и превосходство женщин – ошибки и недостатки мужчин»), опровергающая аргументы названных выше сочинений.

Логически более последовательную и мягкую в формулировках манеру аргументации выбирает Анна Мария Шурманн в своей опубликован-

ной на латинском языке книге «Dissertatio num foeminae christianae conueniat stadium litterarum» («Следует ли христианской женщине изучать науки?», 1648 г.), а также в частной переписке. Своим примером она показывает пути достижения желанной цели: родом из Кёльна, Анна Мария Шурманн прожила большую часть своей жизни в Утрехте, где первой протестанткой в качестве вольнослушательницы с правами студентки посещала реформированную академию в Утрехте: в одиночестве, отдельно от мужской аудитории, в специальной тесной пристройке к главному залу слушала лекции известного протестантского теолога Гизберта Воетиуса (Gisbert Voetius). В традиции полиисторизма она изучала десять языков, философско-теологические дисциплины, математику и естественные науки, занималась также живописью, изобразительным искусством и музыкой. Ее природный ум и образованность вызывали восхищение и удивление современников, которые относились к ней как к экзотическому явлению. Но сама Шурманн отвергала свою исключительность и упорно указывала на талантливых и стремящихся к науке и образованию соотечественниц.

Фрагментарные примеры, приведенные выше, показывают суть исторической ситуации с положением женщин в научной и образовательной сфере в описываемую эпоху.

В таких условиях в эпоху становления языка немецкой науки в Германии в 17 столетии появляются две научные публикации на немецком языке, посвященные астрономии и зоологии. Исключительность этих публикаций объясняется двумя причинами: с одной стороны, они написаны на немецком языке, что большинством консервативного в языковом отношении немецкого научного сообщества все еще воспринимается отрицательно и научная ценность подобных публикаций не признается, а с другой стороны, авторами этих монографических публикаций выступают женщины, что вызывает еще большее непонимание. Речь идет о двуязычном монографическом исследовании в области математики и астрономии под названием «Urania propitia – Neue und langgewünschete / leichte Astronomische Tabelln», опубликованном в 1650 году Марией Куниц, и двухтомном исследовании на немецком языке в области зоологии под названием «Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumen=nahrung», опубликованном в 1679 и 1683 Марией Сибиллой Мериан, дочерью известного франкфуртского художника и издателя Маттеуса Мериана.

Первое из названных исследований интересно тем, что в науке, где безраздельно господствовал латинский язык, была предпринята попытка внедрения немецкого языка. Думается, что этим и объясняется параллельное изложение математико-астрономических феноменов на двух

языках- на традиционном латинском и новом немецком научном языке. Основу данного исследования составляют, по признанию автора, астрономические таблицы Кеплера, опубликованные им в 1627 году и посвященные кайзеру Рудольфу II. Следует отметить разницу в объеме исследований: работа Кеплера состоит из 112 страниц латинского текста и 115 страниц с таблицами, а исследование Марии Куниц состоит из 265 страниц текста с научными комментариями к основным астрономическим понятиям, к принципам вычисления и приводимым в этой связи астрономическим таблицам и 286 страниц с таблицами. Другой особенностью изложения материала в данной работе является некоторая упрощенность подачи материала в немецком тексте, т.е. латинский и немецкий тексты не совпадают дословно. В латинском тексте изложение носит более детальный характер, и автор озабочен научной глубиной и корректностью излагаемого материала. В немецком тексте отдельные места упрощены в дидактических целях, описание носит более объясняющий и детализирующий характер, т.к. в этой части своей работы автор апеллирует к любителям науки, к дилетантам, а не к ученым мужам. Такое же наблюдается при перечислении набора астрономических инструментов во вводной части под названием «Mechanica», в немецкой части работы список инструментов приводится не сразу. Раздел латинского текста под названием «Conclusio» в немецком отсутствует, вместо него приводятся два псалма с восхвалением господина.

Важным в исследовании Куниц представляется и принцип систематизации фактологического материала: на страницах 148 и 149 своей работы она утверждает, что языковое изложение материала подчиняется внутренней системности научного объекта: *In Anleg=oder Auslegung dieses Werckes/ hab ich die Ordnung erfolget/ welche mir die arth der sache an die Hand gegeben hat: Dann weil in anmerckung beydes der innhabenden orthe/ als der bewegung von orth / zu orth derer Himmlischen Cörper dreyfache verenderung fürlauffet; hab ich mich nothwendig in Eintheilung des Werckes nach denselben richten müssen.* Данный подход к изложению материала свидетельствует о ее глубокой образованности и знакомстве с известной работой Рене Декарта под названием «Discours de la Méthode» (1637), посвященной методу, где он пропагандирует именно такой подход к анализу и описанию научного факта.

Интерес представляет и аргументация двуязычного оформления текста, своеобразного билингвизма: Мария Куниц озабочена тем, что и среди тех, кто не владеет латинским языком, имеются талантливые и любознательные люди, которым она стремится открыть на немецком языке астрономию, что сформулировано ею в следующем предложении: «... denn es ist offenbar/ daß unter den Deutschen zu erlernung dr Astronomia / so

begierig alß tauglich ingenia sindt /dehrer viel durch ohnkündigkeit der Lateinischen Sprache / davon zurück gehalten werden...» [Cunitz 1650, 154, 7-9].

В отношении качества немецкого текста следует сказать, что он отражает общие тенденции развития научного текста эпохи: новые или малоизвестные немецкие термины введены посредством связки *oder* с участием как латинского соответствия, так и немецкой синонимической лексемы, реже со связкой *und* (например, *objectum oder Gegensatz, Situation oder inhabender sitz der Sterne*), объяснения вводятся словами *wird genandt, welches man in gemein... nennet, diese Wort aber bedeuten...*, в которых видно следование существовавшей традиции (думается, чаще в устной сфере научной коммуникации), однажды введенный термин стабильно функционирует на протяжении всего текста, дефиниции терминов ориентированы структурно и содержательно на их латинские эквиваленты, т.е. в этом отношении параллельный латинский текст оказывает влияние на структурно-семантическую организацию немецкого научного текста.

Следует отметить еще одну особенность, характерную для всего текста Марии Куниц: перегруженность излишне детальными объяснениями, что понимает и сам автор и объясняет выбор такой методики изложения дидактическими целями: «Dieses wird so weitläufftig erkläret/ wegen der anfangenden» [там же 1650, 153, 37-39].

В содержательном отношении примечателен креативный подход автора к изложению научных положений в исследуемой области. Она подчеркивает самостоятельность своего изложения, креативность в использовании кеплеровских таблиц, которые определены как «*schwerem Calculo*» [там же, 147,46] (тяжелые в исчислении) и требующие новой, более доступной методики расчета, т.е. она отмечает свой авторский вклад в использованные ею таблицы Кеплера: «*Zu diesem Ende nemlich dem Leser den Kern und Nutz der Stren=Kunst zu weisen/ und solches durch einen leichten/ kurtzen/ schnurgraden richtigen weg/ (mit solcher gewissheit/ alß zu unserer Zeit/ und in solchen Richtsteigen zu hoffen möglich/) hab ich mich einer solchen Arbeit..... vnterwunden*» [там же, 148, 23-28].

Вторая из исследуемых работ «*Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumen=nahrung*» посвящена зоологии, а именно процессу превращения гусеницы в бабочку. Проблема весьма серьезная, если вспомнить отношение тогдашней церкви к гусеницам (Teufelsgeschöpfe).

К научным изысканиям в области зоологии Мария Сибилла Мериан приходит достаточно зрелым человеком в возрасте 27 лет. Особо следует подчеркнуть ее организаторский талант: имея двух детей, она на протяжении пяти лет систематически занимается исследованием различных

гусениц. На основе экспериментов и долговременных наблюдений она создает описание всех процессов превращения гусеницы в бабочку и создает научный труд, состоящий из 50 глав, отличающийся глубиной мысли и креативным характером языкового оформления. Работа иллюстрирована гравюрами, которые показывают художественный талант автора, изложение материала подчинено внутренней логике становления описываемого объекта. О научной ценности проделанной работы свидетельствует тот факт, что она была несколько раз переиздана и оказала значительное влияние на формирование поколений зоологов.

Обращаясь к языковой и содержательной стороне анализируемой работы Марии Сибиллы Мериан, отметим, что особо впечатляет ее манера изложения материала. Она как бы пытается вовлечь читателя в процесс самого эксперимента и его описания, делится проблемами, которые у нее возникали в начале научного эксперимента, не боится признаться, что сама с трудом различала виды гусениц (*vieleley grüne Raupen zu unterscheiden*), знакомит в такой же доброжелательной форме и с используемыми ею исследовательскими методами, перечисляет дифференциальные признаки различных гусениц, объясняет детали рисунков и эстампов. От всего изложения веет человеческим дружелюбием и домашним уютом. Языковую динамику научному изложению придают многократно повторяющиеся глагольные лексемы *untersuchen*, *unterscheiden*, *erkennen*, *schließen*, *erfahren*, используемые ею при описании различных этапов проведенного эксперимента, а также употребленные для описания свойств научных объектов обороты и слова типа *es gibt*, *zielen auf*, *zusammentreffen*, *bestehen in*, *von sich geben*, *aussehen*.

Логика изложения основана на иерархической последовательности составляющих основных терминологических понятий, что позволяет автору на этой основе структурировать иерархическую систему признаков для классификации и систематизации эмпирического экспериментального материала. Параллельно структурируется и система понятий для поэтапного описания действий. В качестве самого распространенного методического приема описания внешности гусениц можно привести следующую иерархию метаединиц: *Größe*, *Dicke*, *Gestalt*, *Farb*, *Zierathen*. Понятно, что такой набор единиц и их последовательность придают описываемому материалу системно-классифицирующий характер.

Есть еще одна особенность, которая отличает подход Марии Сибиллы Мериан к терминологии от подхода Марии Куниц. Речь идет о номинативных стратегиях в терминологических образованиях, использованных при описании процесса превращения гусеницы в бабочку. Важную роль здесь играют аналогии и ассоциации, которые наблюдаемый объект вызывает у исследовательницы. Но этого ей недостаточно, она хочет еще

мотивировать свое видение и реализацию конкретной номинативной стратегии в противовес существующей. Задолго до Лейбница она рассматривает в качестве источника для терминологических номинаций не только литературный язык, но и диалект. Сказанное можно проиллюстрировать на следующем примере: для обозначения куколки бабочки используется лексема *Dattelkern* 'финиковая косточка', это мотивируется тем, что по форме и расположению куколка напоминает финиковую косточку. Думается, что подобная стратегия номинации носит определенный дидактический характер и упрощает подачу научного материала в самых разных науках.

Завершая эскизное изложение темы, отметим, что женская научная литература 17 столетия, а также многочисленные неисследованные научные тексты малого и научно-эпистолярного жанра описываемой эпохи подготовили до известной степени тот качественный скачок в метаязыке научного изложения, который мы встречаем в обобщающих теоретических работах Лейбница, где частично затрагиваются возможные источники пополнения языка немецкой науки, и в серии философских работ Вольфа. Бесспорно, внимательное комплексное изучение названных нами выше авторов, а также целого ряда научных источников малого и научно-эпистолярного жанра, появившихся на протяжении 17 столетия, дадут возможность точнее описать суть процесса становления метаязыка немецкой науки и его связей с европейскими языками науки.

Литература

Deutsche Literatur von Frauen. Erster Band. Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Gisela Brinker-Gabler. München, 1988.

Cunitz, Maria. Urania propitia... Neue und langgewünschte/leichte Astro-nomische Tabelln. Oels, 1650.

Merian, Maria Sibilla. Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumen=nahrung. Nürnberg und Frankfurt: Graff, 1679-1682. 2 Bde.

А.В. Кокова

ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В РЯДУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ XIX СТОЛЕТИЯ

XIX столетие явилось эпохой подлинной публицистической революции в Германии. «В течение нескольких десятилетий скромная пресса информативного типа превратилась в массовую прессу воздействующего

и делового характера с многотысячными тиражами» [Koszyk 1966, 306]. Важнейшие этапы её развития характеризуются следующими событиями: борьбой за свободу прессы от цензуры и финансового давления, возникновение партийной прессы, появление газетных и издательских концернов (концерны Котты, Ульштейна, Шерля, Моссе), наступление эры «генеральанцайгеров» (разновидности массовой анонсной прессы).

Периодизация истории немецкой прессы XIX в. проводится, как правило, с опорой на соответствующие периоды исторического и политического развития страны (ср., например, периодизацию прессы в кн. К. Кошчика [Koszyk 1966], а также периодизацию научно-исследовательского института газетной прессы г. Дортмунда):

1799 – 1815	Эра Наполеона
1815 – 1830	Эра Меттерниха
1830 – 1848	Предреволюционная эпоха
1848	Эпоха Мартовской революции 1848 г.
1849 – 1862	Период реакции
1862 – 1890	Эра Бисмарка
1890 – 1914	Эра Вильгельма II

Неоднородность и несинхронность политической ситуации в отдельных государствах Немецкого Союза имела прямые последствия на состояние газетной прессы. В её истории отражается бурное, подчас драматичное развитие общественно-политических событий столетия.

В исследованиях немецких лингвистов и публицистов общепризнанным является выделение трёх основных функций средств массовой информации – функции информирования, воздействия на общественное мнение и развлекательной.

Исторически предназначением газеты являлось информирование в кратчайшие сроки о свежих новостях и главных событиях, происходящих в собственной стране, а также за рубежом (см. работы Н.Н. Семенюк применительно к ранней немецкой публицистике: [Семенюк 1967, 1972]).

Первым типом газетно-журнального текста, специализированным на функции воздействия, явилась передовая статья (ПС).

До настоящего времени отсутствует комплексное исследование передовой статьи (ПС) как в лингвистике, так и в теории публицистики. Тематика ПС обычно связана с актуальной для соответствующего времени проблемой. Автор ПС – опытный аналитик, обладающий особым дарованием и склонностью к написанию публицистических текстов подобного рода. Поэтому хорошая ПС часто представляет интерес как выдающееся речевое произведение. Привязанная к определенному политическому

событию, она, тем не менее, способна обладать силой длительного воздействия (см., например, ПС выдающихся журналистов XIX в. Й. фон Герреса, Г. Вирта, Г. Гервинуса, К. Брюггемана, О. Герлаха, И. Леви, Т. Вольфа и многих других). Нередко ПС репрезентирует эпоху с историко-политической, культурно-исторической, публицистической или лингвистической позиций.

В немецкой прессе ПС впервые утверждается как новый тип текста вначале в журнальной публицистике. К наиболее ранним статьям относятся статьи Юстуса Мезера в журнале «*Wöchentliche Osnabrückische Anzeigen*» (1760). Большое значение для своего времени имели статьи Тренка фон Тондерна в журнале «*Gespräche aus dem Reich der Todten*», в которых автор выступал против идей Французской революции. Журнал Тондерна впервые свидетельствует об осознании роли воздействующей функции в публицистике, т.к. ПС составляют в нем не менее 30% всего объема редакционной части [Koszyk, Pruys 1969, 218].

Тексты воздействующего типа – статья и передовая статья – начинают играть важную роль в немецких политических газетах с начала XIX столетия.

В глобальной схеме построения политической статьи в XIX в. возможно использование всех четырех типов развертывания темы текста (нарративного, дескриптивного, аргументативного и экспликативного). В связи с тем, что жёсткой структурной схемы построения текста политической статьи не установлено, в качестве основных критериев для выделения ее разновидностей используются содержательные и стилистические критерии, а именно: 1) тип модусной характеристики текста; 2) способ представления реальности, особенности референции; 3) тип межтекстуальных связей (взаимодействие с другими типами текстов). В соответствии с вышеназванными критериями выделяются следующие четыре направления в истории развития текстов воздействующего типа:

- 1) романтико-патетическое направление (с 1800 г. по 1850 г.);
- 2) рационально-аналитическое направление (с 1840 г. по настоящее время);
- 3) апеллятивно-категорическое направление (с 1848 г. по настоящее время);
- 4) интеллектуальное направление (с 1848 г. по настоящее время).

Каждое из указанных направлений характеризуется особыми доминирующими признаками. Общими для всех политических статей являются: основная функция текста – убеждение или апеллирование; ограниченный характер аргументации, т.к. в сфере социальной жизни и политики вследствие сложности характера фактов и их комбинаций

невозможно доведение доказательства до его полного логического завершения, как это имеет место в научных исследованиях.

Для романтико-патетического направления, находившегося под влиянием литературных течений немецкого романтизма, характерны нестрогая аргументация, эмоционально-оценочный характер комментариев, высокая степень амплификации. В основе построения политической статьи лежит классическая риторическая схема.

К крупнейшим представителям романтико-патетической публицистики относятся Й. фон Геррес (газета «Rheinischer Merkur» 1814-1816 гг.), Г. Вирт (газета «Deutsche Tribüne» 1831-1832 гг.), Г. фон Клейст, Л. Берне. Основными средствами убеждения являются аргументация и экспликация («конфирмация»), подкрепляемые «нарративо» (сообщение, описание, притча).

В патетической публицистике широко употребляются следующие типы аргументов: 1) аргументы фикционального характера без конкретной референциальной отнесенности обозначаемой ситуации: «an uns ist der Ruf ergangen, zu vollenden... und auszuführen, was ein Geschlecht... angefangen» («Rheinischer Merkur», 1814); 2) аргументы гипотетического характера, в которых основная модальность модифицируется дополнительными средствами (здесь – модальным словом *wahrlich*): «*Wahrlich*, (die Herren Minister) von Kotzebue,... Schöneres, Tüchtigeres, Herrlicheres *werden* sie nicht *ersinnen*, als dieses in höchster Künstlichkeit einfachste Werk, das uns in jenem Dom vor Augen steht» («Rheinischer Merkur», 1814); 3) аргументы делиберативного характера, содержащие советы и предложения: «so werde es denn auch ein Symbol des neuen Reiches, das wir bauen wollen» («Rheinischer Merkur», 1814).

Все вышеупомянутые типы аргументов характеризуются модальностью неэвидентности (недействительности).

Амплификация как один из главных признаков патетического направления в публицистике значительно затрудняет экспликацию глубинной структуры текста и структуры его тематического развёртывания (нарративной, аргументативной, экспликативной или дескриптивной). С целью снятия указанных трудностей предлагается ввести понятие ядерного предложения (ЯП), являющегося результатом редукции реального амплифицированного предложения.

С дальнейшим социально-политическим развитием немецкого общества и связанным с ним совершенствованием политической культуры многие из средств убеждения и характерных признаков романтико-патетического стиля (высокая степень образности, чрезмерная эмоциональность и экспрессивность, нестрогий характер аргументации, референциальные

особенности аргументации) устаревают. В 40-е гг. XIX столетия романтико-патетический стиль вырождается.

В рационально-аналитическом направлении развития текстов перлокутивного типа ведущей стратегией убеждения и воздействия является апелляция не чувствам читателей, а к их разуму. Изменения в прагматической установке повлекли за собой принципиальные изменения в языке, стиле и структуре текста. Исчезают несвойственные политической публицистике текстовые структуры нарративного типа, пространственные отступления и аналогии, возрастает степень информативности текста за счет сокращения амплификации, происходит упрощение или полный отказ от классической схемы риторики, развивается и совершенствуется метод аргументации, ставший ведущим средством убеждения; усиливается роль комментария.

В связи с тенденцией к уменьшению объема политической статьи аргументация, даже в наиболее объемных формах, обычно не превышает двух тезисов к одной проблеме и двух-трех аргументов к каждому тезису. В аргументах соблюдается принцип строгой документальности фактов и однозначное соответствие номинации и денотата.

Апеллятивно-категорическое направление в развитии текстов воздействующего типа было вызвано к жизни революционными событиями 1848 г. Оно характеризуется стремлением сделать доступными язык и стиль политической публицистики для широкого круга читателей, прежде всего для трудящихся масс, превратить их в приверженцев определенной социально-политической доктрины, теории социализма и коммунизма. Демократическая направленность рассматриваемых статей проявилась в упрощении структуры текста, исчезновении сложных логических структур доказательств и аргументации, сложных фигур образности, в упрощении синтаксиса, влиянии разговорного стиля.

Если характерным признаком предшествующих стилей публицистики была некатегоричность высказывания, известная осторожность в суждениях, то для данного направления свойственно абсолютное преобладание декларативных речевых актов, полное отсутствие модальных средств, релятивирующих категоричность утверждений, что связано с полным неприятием и безоговорочной критикой всех политических оппонентов: «Die Februarrevolution war die schöne Revolution, die Revolution der allgemeinen Sympathie... Die Junirevolution ist die häßliche Revolution, die abstoßende Revolution» («Neue Rheinische Zeitung», 1848).

Для интеллектуального направления характерно: 1) отсутствие однозначного соответствия между формой/структурой текста и его

содержанием; 2) отход от традиционной риторической схемы; 3) отход от тактики «черного и белого» (тактики контрастного представления действительности); 4) склонность к гротескам и пародиям; 5) критичность и сенсационность.

Излюбленным методом «интеллектуальной» публицистики является метод парадоксов, игры слов; это явствует уже из названия статьи «Grillparzers Lebensmaske», написанной Ф. Кюрнбергером в связи с кончиной знаменитого поэта Франца Грильпарцера («Berliner Börsen-Zeitung», 23.01.1872).

Для политических статей конца рассматриваемого периода характерна «мозаичная» структура элементов текста (комментария, аргументации, экспликации, разновидностей наррации, внешних аргументов), а не строгая схема классической риторики, которой придерживались публицисты в начале XIX столетия.

К стилевым чертам первого уровня, присущим перлокутивной функции газетной публицистики, относится апеллятивность, аргументативность, комментативность и экспликативность.

Апеллятивность как стилевая черта детерминирующего характера языка газетной публицистики непосредственно связана с присущей ему функцией воздействия. Последняя осуществляется путём обращения, апеллирования к читателю. При этом частными формами апеллирования в языке газет XIX в. являются: побуждение к действию, убеждение, поучение (совет), разъяснение, пожелание. В первой половине XIX в. в немецкой прессе встречаются передовые статьи, представляющие собой прямое обращение, призыв к определённой личности (т.наз. «открытое письмо»): «Handbillet des souveränen österreichischen Volkes an seinen verantwortlichen Minister des Äußeren» («Opposition für Volk und Recht», Wien, 1848); группе лиц или представителям некоторого сословия: «An Deutschlands Fürsten und Völker» («Rheinischer Merkur», 1814); «An die deutschen Arbeiter in Paris»; «An die versammelten Vertreter des deutschen Volkes» («Deutsche Tribune», 1831).

В наиболее прямой и непосредственной форме призыв к действию осуществляется в лозунгах революционного характера. Немецкая газетная пресса подхватывала и распространяла главные лозунги социальных революций, ставшие популярными в международном масштабе: «Es lebe die Republik!» («Vorwärts», 1905); «Auf zum Kampfe!»; «an die Barrikaden!» («Ewige Lampe», 1848).

Аргументативные фрагменты в политических статьях выполняют функцию убеждения, доказательства истинности позиции автора, касающейся рассматриваемой в статье проблемы. Языковая форма аргументативных фрагментов соответствует их функции в процессе убеждения. Тезис аргументации имеет форму повествовательного

предложения-констатива: «Es sind der Reden viel gegenwärtig von großen Denkmalen, die... errichtet werden sollen» («Rheinischer Merkur», 1814).

Аргумент (посылка силлогизма) также выражается предложением-констативом: «Kleine Staaten sind den mächtigen Nachbarn gegenüber schutzlos» («Rheinischer Merkur», 1814).

Правило-доказательство аргументации имеет форму сложноподчиненного предложения с придаточным условия: «Wenn man im Bilde ist, große Denkmale zu errichten, dann ist dieser Wille gut und der Vorsatz lobenswert» («Rheinischer Merkur», 1814).

Функциями экспликативных фрагментов в политических статьях являются:

– популяризация знаний из общественно-политической области, представление их в доходчивой и убедительной форме;

– представление основания или опоры для аргументации.

Языковое оформление отдельных частей экспликативных фрагментов политических текстов связано с их функциональной нагрузкой. Части текста, описывающие объясняемый феномен (экспланандум), представляют собой предложения-констативы: «Das wahre Verhältnis zwischen den entgegengesetzten Klassen ist... der Bürgerkrieg» («Neue Rheinische Zeitung», 1848).

В объясняющей части экспликативных фрагментов текста (эксплананс) исходные условия (т.е. конкретные факты, описывающие ситуацию) также выражаются предложениями, имеющими языковую форму речевых актов-констативов: «Das nationale Selbstbewußtsein der Deutschen wächst» («Rheinischer Merkur», 1814).

Высказывание, описывающее общую закономерность, имеет форму сложноподчиненного предложения с условным придаточным, в котором содержится условие, необходимое для доказательства истинности содержания главного предложения: «wenn es (das Volk) durch Thaten und Aufopferungen sich werth gemacht, in den öffentlichen Angelegenheiten Stimme und Einfluss zu gewinnen, dann verlangt es nach solchen Blättern» («Rheinischer Merkur», 1814).

Важная текстообразующая функция газетно-публицистических комментариев заключается в их тесной взаимосвязи с аргументативными фрагментами текста. Комментирующие фрагменты текста, содержащие общую оценку рассматриваемой проблемы, могут служить исходным пунктом аргументации, ограничивать действенность аргументов, а также завершать аргументативные последовательности.

В наиболее эксплицитном виде газетно-публицистический комментарий выражается сложноподчинённым предложением, в главной части которого содержится оценка, а в придаточной - условие, при котором комментарий главной части является истинным: «*Es ist ungerecht, wenn Gelehrte (Juristen) die Kriminalurteile sprechen*» («Königsberger Hartung'sche Zeitung», 1842).

К стиливым чертам второго уровня относятся стилистическая тональность, образность, оценочность, эмотивность, экспрессивность.

Язык газетной публицистики XIX в., как и в предшествующие столетия, характеризуется явлением стилистической гетерогенности, т.е. наличием в нем элементов высокого и официального стилей, а также языковых признаков разговорной речи. Книжно-письменные элементы характерны как для лексики, так и для грамматики языка газетной публицистики.

Преимственность традиций ранней немецкой прессы проявляется в следующих чертах:

- в наличии большого количества глагольно-именных сочетаний, заменяющих полнозначные глаголы: *Abschluss finden, Anlass geben*;

- в преобладании сложных абстрактных существительных (вместо простых и конкретных): *Nichtanerkennung, Unterscheidungspunkte, Zuhilfenahme, Volkssouveränität, Rechtszustand* («Kölnische Zeitung», 1848);

- в широкой употребительности сложных предлогов из области официально-канцелярского обихода: *in Folge, in Betreff, in Beziehung auf, kraft, rücksichtlich* («Frankfurter Zeitung», 1849);

- в особенностях дейксиса, например, в широкой употребительности указательного местоимения *derselbe*, характерного для канцелярского стиля: «...mit den dem Chef *desselben* zuständigen Rechten» («Vossische Zeitung», 1800);

- в абсолютном преобладании значительных по объёму сложных предложений на протяжении всего рассматриваемого периода.

Возвышенный, патетический стиль характеризует прежде всего газетную публицистику начала XIX в.

Общая тенденция к демократизации языка газетной прессы, свойственная уже ранним немецким газетам, находит свое отражение в некотором снижении его тональности, сокращении разрыва между публицистикой и разговорной речью.

Элементы разговорной речи в языке газетной публицистики представлены прежде всего:

- 1) разговорными глаголами-метафорами: «Die Politik von morgen ist *verpfuscht*» («Berliner Morgenpost», 1917); «Es *schlichen* Zweifel ein» («Deutsche Zeitung», 1847).

2) разговорными фразеологизмами и метафорами: «einen *Stachel*, der allzuleicht der *Hebel neuen Krieges wird*» («Welt am Morgen», 1917).

3) слэнгизмами. В публицистике начала XX в. встречаются отдельные примеры употребления слэнгизмов, прежде всего, в прессе социал-демократического направления, что является одним из показателей углубления процесса демократизации языка: «*Kommiss*»; «*agrарische Sippe*»; «Auf das stärkste Stück der junkerlichen Beutepolitik wird das stärkste Stück des industriellen Raubzugs *aufgetrumpft*» («Vorwärts», 1905).

4) особенностями синтаксиса, а именно, употребительностью эллиптических предложений, служащих средством маркировки относительно законченных фрагментов текста: «Doch nicht genug»; «Und noch eins!»; «Noch mehr» («Vorwärts», 1905).

Динамика развития системы образных средств в языке газетной публицистики позволяет проследить путь перехода от романтического пафоса публицистики начала столетия к четкости и определенности языка журналистики конца века. В языке публицистики романтико-патетического направления отчётливо прослеживается веяние символики немецкого романтизма, из которого заимствована символика цветов, растений и света, с которой ассоциируются главные политические понятия в демократически настроенной прессе - демократические свободы, единство народа и страны, демократическая конституция (ср. название статьи Г. Вирта «Die Morgenröte deutscher Freiheit»): «Mit Recht betrachtet die Reichsversammlung ihr *Verfassungswerk*... als den *leuchtenden Stern*» («Deutsche Zeitung Heidelberg», 1848).

Метафоры с семантикой разрушения основаны на стёршихся образах и ограничены в языке ГП небольшим набором лексических средств, к которым относятся: существительные *Splitter*, *Trümmer*, *Riss*, а также глаголы и прилагательные со сходной семантикой: *zerreißen*, *zerstören*, *zerbrechen*, *zersplittern*, *trümmerhaft*: «*trümmerhafte Unvollendung*» («Rheinischer Merkur», 1814); «*Der Riss* ging mitten durch national-liberale Partei» («Gegenwart», 1872).

Степень эмоциональности и экспрессивности, присущих статьям, передовым статьям, обзорам и комментариям XIX в., в целом значительно выше соответствующих показателей в прессе XX столетия.

Одним из конструктивных принципов, формирующих константные характеристики сферы оценки в газетной публицистике XIX в., является социальная и политическая окраска оценочности. Социальная оценочность связана прежде всего с двумя факторами: 1) с сословным характером общества, что нашло свое отражение в однозначно позитивной оценке образа монархов, правителей, их действий и высказываний; 2) с развитием политических партий и межпартийной

борьбы. Так, в социалистической прессе наивысшую оценку неизменно получает все, что связано с образом класса трудящихся, в то время, как класс собственников рассматривается только с негативных позиций.

Политическая оценочность находит свое отражение в появлении определённых понятий, которые на протяжении многих десятилетий рассматривались как политические сверхценности: объединение Германии, демократическая конституция, свобода прессы.

Ведущей коммуникативной тактикой при выражении оценочности в газетно-журнальной публицистике на протяжении всего XIX в. неизменно остается «тактика черного и белого».

Итак, изучение стиля с позиции установления общих принципов отбора и структурирования коммуникативных единиц позволяет выявить качественные аспекты стилистических характеристик текста. При этом существенно, что свобода выбора языковых средств ограничивается определёнными принципами, обуславливающими адекватность употребления языка.

Литература

Семенюк Н.Н. Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия. М.: Наука, 1967.

Семенюк Н.Н. Из истории функционально-стилистической дифференциации немецкого литературного языка. М.: Наука, 1972.

Koszyk K. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. – Berlin: Colloquium Verlag, 1966.

Koszyk K., Pruys K.H. Wörterbuch zur Publizistik. München: Verlag Dokumentation, 1969.

Schaber W., Fabian W. (Hrsg.) Leitartikel bewegen die Welt. Stuttgart: Cotta Verlag, 1964.

Раздел 6

Исследования по лексике и грамматике современных германских языков

Д.О. Добровольский

ЧТО ЗНАЧИТ НЕМЕЦКАЯ КОНСТРУКЦИЯ *VOR SICH HIN*?

1. Введение в проблему

Современная лингвистика характеризуется повышенным интересом к изучению различного рода нестандартных образований в языке. Наиболее влиятельным направлением в этой области является Грамматика конструкций (ср. [Fillmore 1988; 1990; Fillmore, Kay, O'Connor 1988; Goldberg 1995; Fischer, Stefanowitsch 2006] и др.). Грамматика конструкций (ГК) рассматривает любые нестандартные образования не как исключения из правил, т.е. своего рода забавные, экзотические курьезы, а как вполне нормальные способы выражения заданных смыслов. Появление подобных подходов к изучению языка стало возможным в первую очередь благодаря новым инструментам лингвистического анализа – корпусам текстов большого объема. Методы корпусной лингвистики позволяют фиксировать комбинаторный потенциал каждой лексемы и рассматривать частотные узуальные сочетания как единицы лингвистического описания безотносительно к наличию семантического сдвига в значении компонентов таких сочетаний.

Объектом нашего исследования является, как это следует из названия статьи, немецкая конструкция *vor sich hin*. Подобные устойчивые словосочетания с неаддитивной семантикой исследуются сегодня не только в рамках ГК, но и в рамках современной теории фразеологии, где, помимо «классических» типов фразем, выделяются грамматические фразеологизмы и фразеологизмы-конструкции, называемые также синтаксическими фразеологизмами [Баранов, Добровольский 2008, 67]. Прежде чем перейти к анализу контекстов с этой конструкцией, полученных из текстовых корпусов DeReKo и DWDS, а также из корпуса немецко-русских параллельных текстов НКРЯ, остановимся на некоторых общих моментах.

В системе языковых средств, служащих для выражения пространственного дейксиса, немецкий язык обнаруживает ряд нетривиальных особенностей, ср. наличие огромного количество адвербиалов (часто как компонентов глагольного словообразования) с дейктическими элемента-

ми *hin* и *her*, аналоги которых отсутствуют во многих других языках, в том числе и в русском. В случаях, когда эти дейктические элементы употребляются в составе конструкций, их значение никоим образом не укладывается в стандартные рамки. Так, в конструкциях *vor sich hin* и *vor sich her* элементы *hin* и *her* указывают на направление, как бы противоположное ожидаемому, т.е. дейктические элементы употребляются с точностью до наоборот. Ср. контексты (1) и (2).

(1) Er verflucht den unglücklichen Zufall in den ersten Jahren laut, später, als er alt wird, *brummt* er nur noch *vor sich hin*. (НКРЯ: F. Kafka. Der Prozess)

(2) Frauen, Männer und Kinder *schieben* Rollwagen mit Grills, Herdplatten, Friteusen oder ganze Garküchen *vor sich her*, reihen sich nebeneinander auf und beginnen zu kochen. (DWDS: Zeit-Corpus 2008)

Исходя из значения конструкций *vor sich hin* и *vor sich her* можно было бы ожидать, что *hin* и *her* поменяются в них местами. Так, люди, толкающие перед собой тележку с покупками (ср. контекст 2), явным образом совершают движение от себя, а не к себе. А движение от себя, т.е. «туда» (в противоположность движению «сюда»), в соответствии со стандартным правилом, должно маркироваться с помощью *hin*, а не с помощью *her*. Почему же тогда *schieben* сочетается в норме с *vor sich her*, а не с *vor sich hin*? И наоборот. Человек, который ворчит про себя (контекст 1), совершает действие, направленное не вовне, а как бы внутрь себя. Казалось бы естественнее в таком случае маркировать направление действия с помощью *her*, а не *hin*. Тем не менее, замена *hin* на *her* здесь невозможна. Этот «дейктический парадокс» нуждается в истолковании. В [Добровольский, Падучева 2008] предложено некоторое объяснение этого явления. Возможны, конечно, и другие интерпретации, вплоть до допущения, что дейктические элементы в составе этих конструкций полностью демотивированы, т.е. как бы растворились в значении целого. Здесь мы не будем останавливаться на этой проблеме. Задача данной статьи в другом. Мы хотим, используя материал больших немецких корпусов, описать комбинаторный профиль конструкции *vor sich hin* с тем, чтобы лучше понять, как устроено ее значение.

2. Комбинаторный профиль конструкции *vor sich hin*

Начнем с того, что уже известно об этой конструкции из лексикографических источников. В Duden-GWDS эта конструкция представлена два раза: под **vor** (a) и под **hin** (b).

(a) **vor sich hin** (*ganz für sich u. in gleichmäßiger Fortdauer*): vor sich hin schimpfen, reden, weinen;

(b) **vor sich hin** (*ohne die Umwelt zu beachten, für sich*) murmeln, reden, gehen [значение слова *hin* в этом сочетании ошибочным образом описано как «drückt die Erstreckung aus»].

Из предложенного описания можно сделать вывод, что данная конструкция содержит семантические признаки ‘дуративность’ и ‘интроверсивность совершаемого действия’ (т.е. его направленность «вовнутрь», а не «вовне»). С одной стороны, эти семантические признаки представляются вполне адекватными; ср. пример (1). Но с другой – даже случайные примеры употребления этой конструкции с другими глаголами показывают, что это описание не является исчерпывающим; ср. контексты (3) и (4).

(3) Die Schlafkrankheit hat ihren Namen dadurch erhalten, dass die Kranken *vor sich hin dämmern*. (<http://www.netzeitung.de/mgenundmensch/237937.html>)

(4) Er *nickte vor sich hin* und sagte abschließend: «Das ist wichtig». (НКРЯ: М. Ende. Momo)

В контексте (3) речь идет о больных, находящихся как бы в полузабытьи, т.е. вряд ли речь идет о сознательном игнорировании окружающего мира, о действии, направленном внутрь себя. Это скорее некое не контролируемое субъектом состояние. А контекст (4) исключает дуративность, поскольку *кивнуть* – одноразовое моментальное действие.¹

Для того, чтобы разобраться в семантике конструкции *vor sich hin*, нужно попытаться систематизировать типы глаголов, которые могут сочетаться с этой конструкцией, и выделить для каждой из этих констелляций релевантные семантические признаки. Иными словами, по крайней мере на первом этапе исследования нужно анализировать не адвербиальную конструкцию *vor sich hin*, которая, судя по всему, обладает настолько богатой и подвижной семантикой, что не поддается однозначному истолкованию, а глагольную конструкцию [*vor sich hin* + V]¹, которая – из-за наличия глагола того или иного типа – конкретизирована по определенной семантической оси. Ср. столь различные по семантическому потенциалу сочетания, как *leise vor sich hin fluchen*, *vor sich hin starren*, *vor sich hin welken*.

2.1. Омонимичные словосочетания

Первое, что бросается в глаза при просмотре примеров, – это наличие омонимичных словосочетаний. Ср. высказывания типа *Gerade **setzt sie sich zwei Sitzreihen vor mir hin***, или *Ich lehnte an einer Brüstung, sie **stellte***

¹ В примере (4) реализуется лишь идея направленности действия на самого себя. Ср. перевод этого контекста в НКРЯ: *Он кивнул сам себе и закончил: – Вот что важно.*

sich vor mich hin, где мы имеем дело не с конструкцией [*vor sich hin* + V], а с сочетанием некого *hin*-глагола с обстоятельством места *vor sich*, т.е. с омонимичным словосочетанием [*vor sich* + *hin* V].

(5) Alexiou, der Wirt, auch einer meiner früheren Schulfreunde, beobachtet mich lange zögernd aus einer Ecke heraus, eilt dann auf mich zu, *stellt sich vor mich hin*, starrt mich an und ruft erstaunt: <...> (DeReKo: Cosmas II; DIV/SHW.00000)

(6) Die Therapeutin sitzt schon auf dem Pferd, welches mit einer Decke und einem schmalen Fell ausgerüstet ist, und *setzt* dann Sina *vor sich hin*. (DeReKo: Cosmas II, A00/JUL.46071)

Интересно, что в рамках предложной группы *vor sich* предлог *vor* может управлять здесь как аккузативом, так и дативом (ср. примеры выше), в то время как в конструкции [*vor sich hin* + V] *sich* всегда аккузативно. То, что речь идет здесь о поверхностной омонимии, доказывается также отсутствием в [*vor sich* + *hin* V] обязательной кореферентности между подлежащим и *sich*; ср. (5). Особенно показательны контексты типа (7), в которых *vor* управляет не местоимением *sich*, а именем, т.е. [*vor sich* + *hin* V] оказывается частным случаем регулярного сочетания глагольной группы *hin* V и управляемой ею предложной группы *vor* N.

(7) Aber danach fragte Herr Dr. Blach auch nicht, obwohl er Jakob leise auflachen sah über den Küchentisch gebeugt; gründlich und gedankenlos *stellte* er die abgetrockneten Schüssel und Teller *vor Jakob hin* und dachte dass es also zuing auf diese Weise. (DeReKo: Cosmas II, DIV/UJM.00001)

Еще одна омонимичная конструкция наблюдается в примерах типа (8).

(8) «Messen Sie dem Lachen nicht zuviel Bedeutung zu», – sagte das Mädchen zu K., der, wieder traurig geworden, *vor sich hin starrte* und keine Erklärung zu brauchen schien, «dieser Herr – ich darf Sie doch vorstellen?» (НКРЯ: F. Kafka. Der Prozess)

В сочетаниях типа *vor sich hin starren* мы также имеем дело не с интересующей нас конструкцией [*vor sich hin* + V], а с комбинацией *hin*-глагола с локативным обстоятельством *vor sich*, т.е. это конструкция [*vor sich* + *hin* V], а не [*vor sich hin* + V]. Ср. также сочетания с другими глаголами направленного визуального восприятия: *blicken*, *schauen*, *sehen*, *glotzen*, *stieren*.

Неслучайно словосочетание *vor sich hin* переводится в этом случае на русский язык с помощью обстоятельства места *перед собой*, (ср. 8а – пе-

¹ Тот факт, что та или иная конструкция может быть частью другой конструкции, общеизвестен и неоднократно обсуждался в соответствующей литературе; ср., например, [Taylor 2006].

ревод контекста 8) в то время как в примерах типа (1) *vor sich hin* соответствует русскому обстоятельству образа действия *про себя*; ср. (1а).

(8а) – И пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху, – обратилась она к К., видя, что тот опять помрачнел и *установился перед собой*, не интересуясь никакими объяснениями, – этот господин – вы разрешите вас представить? (НКРЯ: Ф. Кафка. Процесс)

(1а) В первые годы он громко клянёт эту свою неудачу, а потом приходит старость и он только *ворчит про себя*. (НКРЯ: Ф. Кафка. Процесс)

Итак во всех случаях, когда словосочетание *vor sich (hin)* сохраняет чисто локативное значение, речь идет об омонимах интересующей нас конструкции.

2.2. Типы глаголов, сочетающихся с *vor sich hin*

Обратимся теперь к вопросу, с какими типами глаголов сочетается конструкция *vor sich hin* в своем нетривиально-идиоматическом значении, т.е. в значении близком описанному в словарях (ср. [Duden-GWDS 1999]). Просмотр примеров употребления из корпусов показывает, что здесь возможны глаголы по крайней мере следующих типов.

(i) Глаголы, обладающие неким коммуникативным потенциалом (V_{CommPot}), типа *sprechen, murmeln, nuscheln, lallen, brabbeln, fluchen, schimpfen, singen, summen; kichern, grinsen, gähnen; lachen, weinen, heulen*.

Сюда попадают как «классические» глаголы говорения, так и глаголы со значением физического действия, передающего некоторое внутреннее состояние. Причем в норме эти действия фиксируются окружающими, так что само действие обладает коммуникативным потенциалом: зевая, смеясь, напевая, мы сообщаем прочим участникам ситуации какую-то информацию о собственном внутреннем состоянии. В этом случае основная функция конструкции *vor sich hin* – это «зачеркивание» идеи направленности вовне. Сочетаясь с этими глаголами, *vor sich hin* ослабляет или даже аннулирует их коммуникативный потенциал, превращает их в обозначения квази-аутичных реакций. Еще один характерный семантический признак – это ‘слабая интенсивность’. Наличие этих признаков хорошо прослеживается при обращении к русским эквивалентам, ср. примеры (9) и (10).

(9) Noch Tage später war er von dem intensiven Geruchserlebnis ganz benommen und *brabbelte*, wenn die Erinnerung daran zu kräftig in ihm aufstieg, beschwörend „Holz, Holz“ *vor sich hin*.

‘Еще несколько дней спустя он был совершенно не в себе от интенсивного обонятельного впечатления и когда воспоминание с новой силой всплывало в нем, *бормотал про себя*, словно заклиная: «Дрова, дрова»’. (НКРЯ: P. Süskind. Das Parfum)

(10) Gigi *pfiff* leise ein melancholisches Lied *vor sich hin*.

‘Джиги тихо *насвистывал себе под нос* грустную песенку’. (НКРЯ: M. Ende. Момо)

Признак интровертивности (= ‘для себя, а не для других’) передается русскими выражениями *про себя, себе под нос*. А признак слабой интенсивности – с помощью морфологической *на-(ы)ва-*деривации; ср. *свистеть* vs. *насвистывать*, *петь* vs. *напевать*.

(ii) Глаголы, обозначающие неактивные, неконтролируемые состояния живых организмов, как правило, людей, а также соответствующие вялотекущие, большей частью неконтролируемые процессы ($V_{Proc/StateAnim}$)¹; ср. *vegetieren, welken, dösen, kränkeln, siechen, dämmern, schlummern, leiden*.

Семантический вклад конструкции *vor sich hin* состоит здесь прежде всего в усилении идеи длительности, неактивности и слабой контролируемости. Так, глагол *dösen* ‘дремать’ и сам по себе обозначает пассивное состояние. *Vor sich hin* подчеркивает, что субъект находится в состоянии, исключающем активную деятельность и контроль (как над ситуацией, так и над собственным состоянием), а также продолжительность этого состояния. По этим причинам сочетание конструкции *vor sich hin* с глаголами типа (ii) часто дает выражения с отрицательной оценкой. Если сам по себе глагол *dösen* может быть переведен, например, как *клевать носом*, то *vor sich hin dösen* – это скорее *пребывать в состоянии сонной апатии*; ср. контексты (11) и (12).²

(11) Julius Exmann entspricht einem klassischen Typ, der sich dem männlichen Ideal in Passivität verweigert und schon in der russischen Literatur *vor sich hin döste*. (DWDS: Zeit-Corpus 2008)

(12) An den ungeputzten Rotznasen der Kinder kann man erkennen, dass hier die Armut zu Hause ist, und aus dem Anblick der *vor sich hin dösenden* Erwachsenen spricht Perspektivlosigkeit. (DWDS: Zeit-Corpus 2008)

Как правило, состояния, обозначаемые глаголами типа (ii), оцениваются как «плохие» (и без участия конструкции *vor sich hin*), а процессы – как ведущие к ухудшению состояния субъекта. Таков, например, глагол *welken* ‘увядать’: и по отношению к растению и в переносном употреблении относительно человека. Ср. также такие «плохие» состояния, как *kränkeln, siechen, vegetieren*. Однако встречаются случаи, когда глагол сам

¹ Признаки Anim и Inanim (см. ниже) следует понимать не в смысле граммем категории одушевленности, а исключительно в смысле противопоставления живого (людей, животных, растений) и неживого (веществ, артефактов, институтов).

² Контексты, в которых *vor sich hin dösen* уместо перевести как *клевать носом*, разумеется, также встречаются. Важно, что такое «безобидное» понимание этого состояния скорее редко.

по себе не обозначает ничего «болезненно-увядающего». Так, в семантике глагола *leben* нет ничего неактивного или неконтролируемого. Этот глагол абсолютно нейтрален с этой точки зрения и в этом смысле может быть включен в группу (ii) лишь условно. Интерпретация предиката в указанном смысле возможна именно благодаря сочетанию глагола с конструкцией *vor sich hin*; ср. контекст (13), где *vor sich hin leben* понимается как ‘жить пассивно, без особых событий, замкнуто в своем собственном мире’. Тем самым, семантические признаки, которые вносит эта конструкция в высказывание, могут быть (хотя бы приблизительно) охарактеризованы как ‘дуративность’, ‘пассивность’, ‘неконтролируемость извне’ и ‘отрицательная оценка’.

(13) Monsieur Ravel ist hier ein schrulliger Typ mit Einstecktuch und Lackschuh-Manie, ein Neuerer der Herrenmode, der nebenbei auch komponierte und ansonsten eigenbrötlerisch *vor sich hin lebte*. (DWDS: Zeit-Corpus 2008)

(iii) Некоторые ментальные глаголы и глаголы, обозначающие внутренние состояния (V_{Ment}); ср. *denken, überlegen, sinnieren, träumen, brüten*.

(14) Auch Herbert von Karajan *träumte* beim Auswendigdirigieren meistens nur so *vor sich hin*. (DeReKo: Cosmas II; A00/JAN.00921)

На вопрос, в чем состоит семантический вклад в высказывание конструкции *vor sich hin*, не так просто найти удовлетворительный ответ. Понятно, что это не может быть идея инверсивности, направленности «в себя», как в сочетаниях с глаголами типа V_{CommPot} , поскольку глаголы со значением ‘думать’, ‘мечтать’, ‘размышлять’ и т.п. и так обозначают виды ментальной деятельности и внутренние состояния, которые, по определению, не могут быть обращены вовне. Также и семантические признаки, выделенные для сочетаний с глаголами типа $V_{\text{Proc/StateAnim}}$ вряд ли приложимы к V_{Ment} (за исключением ‘дуративности’, пожалуй). Это и понятно. Шкала активности-пассивности или степени контролируемости плохо применима к внутренним состояниям. Отрицательная оценка сочетаниям группы (iii) также не свойственна (ср. контекст 14). По-видимому, то новое, что вносит *vor sich hin* в высказывание – это идея игнорирования окружающего мира, полной погруженности в себя, а также относительной длительности соответствующего состояния. Это как раз те семантические признаки, которые – с излишней экстраполяцией – выделяются в Duden-GWDS для всех употреблений конструкции *vor sich hin*; ср. «ganz für sich u. in gleichmäßiger Fortdauer» и «ohne die Umwelt zu beachten, für sich».

Идея отказа от каких бы то ни было контактов с внешним миром хорошо видна в русских переводах сочетаний типа (iii); ср. (15).

(15) Dann setzte ich mich in meinen Stuhl und *brüte vor mich hin*.

‘Потом усаживаюсь в свое кресло и *погружаюсь в мрачную задумчивость*’. (НКРЯ: Е.М. Remarque. Der schwarze Obelisk)

(iv) Глаголы, относящиеся к неодушевленным существам и обозначающие вялотекущие, большей частью неконтролируемые процессы, а также соответствующие состояния ($V_{\text{Proc/StateInanim}}$); ср. *tröpfeln, köcheln, brennen, glimmen, dümpeln, gären, rosten, modern, plätschern, krieseln, gammeln*.

(16) Wenn die Bakterien von keiner Zahnbürste gestört *vor sich hin gären* können und gleichzeitig genügend Zucker als Rohmaterial bekommen, dann werden große Mengen Milchsäure gebildet, die zuerst den Zahnschmelz angreift. (DeReKo: Cosmas II, P00/APR.15369)

Тип (iv) может рассматриваться как метафорическое расширение типа (ii). По этой причине, сочетаясь с глаголами $V_{\text{Proc/StateInanim}}$, конструкция *vor sich hin* обнаруживает довольно много семантических признаков, характерных для ее сочетаний с глаголами $V_{\text{Proc/StateAnim}}$. Так, соответствующие процессы часто оцениваются как ведущие к ухудшению состояния субъекта, т.е. эта глагольная группа (как и в типе (ii)) часто обладает здесь признаком ‘отрицательная оценка’. Причем этот признак может как уже содержаться в семантике глагола (ср. *modern, dämmern, gammeln*), так и привноситься (как в контексте 16) конструкцией *vor sich hin*. Дальнейшие характерные признаки – это ‘дуративность’, ‘неконтролируемость извне’ и ‘слабая интенсивность’. Тесная семантическая связь конструкции [*vor sich hin* + $V_{\text{Proc/StateAnim}}$] с [*vor sich hin* + $V_{\text{Proc/StateInanim}}$] проявляется также и в том, что в обеих конструкциях могут употребляться одни и те же глаголы, например, *kränkeln, siechen, dümpeln, dämmern, vergammeln*. Между употреблением этих глаголов с живым и неживым субъектом устанавливаются отношения метафорического наследования, так что основные нетривиальные семантические признаки повторяются, ср., например, *siechen* в значении ‘хворать чахнуть’ (о людях) и в значении ‘чахнуть, хиреть’, как в примере (17).

(17) Von Kommunikation zwischen den Funktionsträgern des ehemals badischen Musterklubs nicht die Spur. Das zeugt davon, wie marode der Traditionsverein inzwischen *vor sich hin siecht*. (DeReKo: Cosmas II, M00/APR.12681)

Относительно межъязыковой эквивалентности конструкция [*vor sich hin* + $V_{\text{Proc/StateInanim}}$] обнаруживает интересную особенность. Ее наиболее типичным русским эквивалентом оказывается конструкция [$V_{\text{Proc/StateInanim}}$ + *себе*]; ср. *кипит себе, коптит себе, дымит себе, ржавает себе, чахнет себе*. Форма *себе* – своего рода *dativus ethicus* – берет на себя выражение дуративности, слабой интенсивности и неконтролируемости, т.е. показы-

вает, что речь идет о длительных, вялотекущих процессах, протекающих без вмешательства извне и не в соответствии с целями некой активной инстанции. Употребление формы себе в составе русского переводного эквивалента возможно, хотя и в меньшей степени, и для конструкции [*vor sich hin* + V_{Proc/StateAnim}].

Выделяются еще два типа сочетаний *vor sich hin*:

(v) с глаголами, обозначающими виды деятельности (V_{Act}); например: *arbeiten, sortieren, diletieren, essen, regieren, suchen*, и

(vi) с глаголами движения (V_{Motion}); ср. *gehen, tanzen, taumeln, hüpfen, fahren, tappen* и пр.

Здесь эти типы сочетаний обсуждаться не будут. Заметим лишь, что конструкции [*vor sich hin* + V_{Act}] и [*vor sich hin* + V_{Motion}] встречаются в корпусах существенно реже, чем рассмотренные выше. С семантической точки зрения они обнаруживают свои собственные конфигурации признаков, выделенных на материале конструкций (i) по (iv).

3. *Vor sich hin*: семантические признаки

Итак, мы установили, что немецкая адвербиальная конструкция *vor sich hin* способна «вставляться» в шесть типов матричных глагольных конструкций:

[*vor sich hin* + V_{CommPot}]

[*vor sich hin* + V_{Proc/StateAnim}]

[*vor sich hin* + V_{Ment}]

[*vor sich hin* + V_{Proc/StateInanim}]

[*vor sich hin* + V_{Act}]

[*vor sich hin* + V_{Motion}]

Первые четыре из них были подробно рассмотрены.

Попробуем теперь ответить на вопрос, как устроено значение конструкции *vor sich hin*. Напомним, что традиционное лексикографическое описание ограничивается признаками ‘обращенности на себя’ и ‘монотонной продолжительности’, т.е. признаками интровертивности и дуративности. Эти признаки оказываются одновременно и недостаточными и ненужными. Анализ материала текстовых корпусов показал, что, помимо этих двух, выделяется ряд не учтенных в Duden-GWDS признаков; например: ‘слабая интенсивность’, ‘неконтролируемость извне’, ‘пассивность’ и ‘отрицательная оценка’.

Важно, что ни один из выделенных семантических признаков не является «сквозным». Наиболее стабильным представляется системообразующий признак ‘дуративность’. Но даже он может аннулироваться в

определенных контекстах.¹ Для каждого из выделенных типов глагольной конструкции, в которой участвует *vor sich hin*, характерна своя собственная конфигурация семантических признаков. В принципе это распределение может быть описано как многозначность. Однако более адекватной представляется модель значения в духе «семейного сходства» Витгенштейна. Такая модель должна, с одной стороны, фиксировать наиболее часто встречающиеся признаки в их прототипической конфигурации (видимо, это комбинация признаков ‘дуративность’, ‘обращенность на себя’, ‘слабая интенсивность’ и ‘неконтролируемость извне’), а с другой – описывать модификации этой семантической структуры под воздействием контекста. В каждой конкретной конструкции [*vor sich hin* + V] определенные аспекты значения могут нейтрализоваться, «уходить в тень» и даже полностью зачеркиваться, а другие – напротив, фокусироваться или добавляться к основной конфигурации признаков (ср. идею «плохого», появляющуюся в группах (ii) и (iv), и нехарактерную для других групп сочетаний). Такой подход в большей степени соответствует принципам современных семантических теорий (ср. [Падучева 2004]). Такие контекстно-зависимые модификации значения могут быть описаны с помощью семантических правил (в смысле [Апресьян 2008]).

Литература

Апресьян Ю.Д. О проекте активного словаря (АС) русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». Выпуск 7 (14). М.: Изд-во РГГУ, 2008.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008.

Добровольский Д.О., Падучева Е.В. Дейксис в отсутствие говорящего: о семантике немецких дейктических элементов *hin* и *her* // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». Выпуск 7 (14). М.: Изд-во РГГУ, 2008. С. 140-146.

Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Duden-GWDS – Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden. 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim etc.: Dudenverl., 1999.

¹ В некоторых контекстах, особенно в сочетании с глаголами типов (v) и (vi), признак ‘дуративность’ заменяется признаком ‘итеративность’.

Fillmore C.J. The mechanisms of Construction Grammar. In: Proceedings of the 14th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. University of California, Berkeley, 1988. P. 35-55.

Fillmore C.J. Construction Grammar. Course reader for linguistics 120 A. University of California, Berkeley, 1990.

Fillmore C.J. Border conflicts: FrameNet meets Construction Grammar // Proceedings of the XIII EURALEX International Congress. Barcelona: IULA, 2008. P. 49-68.

Fillmore C.J., Kay P., O'Connor M.C. Regularity and idiomaticity in grammatical constructions. The case of 'let alone' // *Language* 64/3. P. 501-538.

Fischer K., Stefanowitsch A. (Hrsg.). Konstruktionsgrammatik: Von der Anwendung zur Theorie. Tübingen: Stauffenburg, 2006.

Goldberg A.E. Constructions: a Construction Grammar approach to argument structure. Chicago and London: The Univ. of Chicago Press, 1995.

Taylor J.R. Polysemy and the lexicon // *Cognitive linguistics: current approaches and future perspectives*. Ed. by Gitte Kristiansen et al. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2006. P. 51-80.

Текстовые источники

НКРЯ – Корпус немецко-русских параллельных текстов Национального корпуса русского языка: <http://www.ruscorpora.ru/search-para.html>

DeReKo – Das Deutsche Referenzkorpus des IDS Mannheim im Portal COSMAS II (Corpus Search, Management and Analysis System): <https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web>

DWDS – Corpora¹ des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts: <http://www.dwds.de>

Д.Б.Никуличева

КОГНИТИВНЫЙ СМЫСЛ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ОППОЗИЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ И ДАТСКОМ ЯЗЫКАХ

Задача данной статьи состоит в том, чтобы исследовать, как невербальные представления людей о времени отражаются в системе грамматических категорий конкретных языков и как разнообразные индивидуальные ментальные представления времени оказываются формализованными, закрепленными за системой языковых форм, а следовательно, кон-

¹Орфографические варианты Corpus и Corporus употребляются здесь в соответствии с написанием, принятым на конкретном портале или сайте: Corpus в COSMAS II и Corporus в DWDS.

цептуализированными, причем порой по-разному даже в близких языковых культурах.

Под *перцептивным представлением времени* понимается то, как индивид организует в своем сознании временные представления на довербальном уровне, то есть то, как человек физически воспринимает время – «видит» или «чувствует» его.

Под *концептуализацией временных значений* понимается отбор значимых для данной языковой культуры понятий о времени, отраженных как в системе грамматических оппозиций, так и в сопряженной с ней структуре ментальных (когнитивных) представлений.

В лингвистике начала XXI века принято говорить о развитии когнитивной парадигмы знания, пришедшей на смену структурной парадигме. Мы постараемся показать, что одна парадигма не вступает в противоречие с другой, а развивает и дополняет представление о предмете исследования. Одновременный учет структурной, когнитивной и перцептивной составляющей грамматического явления позволяет нам поставить вопрос о взаимосвязи принципов структурной организации грамматических категорий с принципами категоризации значений в данном языке и принципами организации человеческого восприятия.

Обратимся сначала к пространственной основе временных представлений. Как человек ощущает время? Ответ на этот вопрос, на первый взгляд, прост: по часам, по календарю, по изменению освещенности в течение суток, по биологическим ритмам сна и бодрствования. Но если задуматься, то за кажущейся простотой ответа обнаружится, что мы, человеческие существа, органы чувств которых прекрасно приспособлены для ориентации в пространстве, ощущения равновесия, различения форм, движений, цветов и т.п., не имеем органов чувств для восприятия времени. Мир, воспринимаемый нашими органами чувств, трехмерен. Для ориентации во времени, этом «четвертом измерении», люди создают артефакты, используют аналогии, метафоры и метонимии. Вследствие этого время, как это убедительно доказывают Дж. Лакофф и М. Джонсон, может быть доступно нам только опосредованно – посредством метонимического или метафорического переноса. «Слово *время* – это человеческий концепт, отчасти характеризующийся корреляцией событий, и отчасти метафорой. Именно сочетание событий и метафор структурируют наш реальный опыт, давая ощущение и вместе с тем позволяя нам понимать наш мир, его физическое устройство и его историю» [Lakoff, Johnson 1999, 167].

Как показывает исследование указанных авторов, в самых различных языках мира развита пространственная метонимия времени.

Метонимиями времени (то есть переносом фокуса внимания по смежности), по сути дела, являются любые разновидности часов, ведь все они представляют время в виде регулярных типов движения, будь то *движение* тени по циферблату солнечных часов, *колебания* маятника, *вращение* земли, *движение* солнца относительно определенных звезд или *частота* атомного резонанса. Движение стрелки по циферблату или смена цифр на электронных часах, так же как и любые типы календарей, оказываются, таким образом, привычными метонимиями времени.

Исторические события также служат метонимиями времени. Так, мы говорим: «*во времена фараонов*», «*в эпоху Реформации*», «*в период коллективизации*», «*в годину Великой Отечественной*» или: «*в Древнем Египте*» (перенос «пространство – время»), «*в коллективизацию*», «*в ходе Реформации*», «*в Великую Отечественную войну*» (перенос «событие – время») аналогично англ. *in the Victorian times*, дат. *i vikingetiden* «*в эпоху викингов*», *i Holbergs tid* «*во времена Хольберга*».

Естественными метонимиями времени в разных языках являются события суточного цикла. Например, блоковское «*Мы встречались с тобой на закате*» или из Маршака «*Когда цветут луга весны и трель выводит дрозд, мы честной радости полны, бродя с утра до звезд*» аналогично дат. *i gryet*, англ. *twilight bark*.

Е.В. Падучева отмечает, что «в русском языке практически все слова, обозначающие отрезок времени, могут обозначать также и события, которые развертывались на этом отрезке», приводя примеры типа: «*время было тревожное*» = ‘жизнь в это время была тревожная’, «*1940 год ощущался как погребение эпохи*» = ‘события, происшедшие в 1940 году’, «*эта минута решила его участь*» = ‘события, происшедшие в эту минуту’ [Падучева 2000, 239].

Универсальные метафоры времени также как и метонимии являются проекциями восприятия реальности человеческим мозгом.

Приведем некоторые первичные метафоры, описанные ШРини Нараянаном в его нейрологической теории метафоры [Narayanan 1997], имеющие, на наш взгляд, отношение к концептуализации времени в языках мира. Прокомментируем их, введя понятие «перцептивный опыт», учитывающее специфику восприятия объективной реальности человеческим мозгом:

«Время – это движение»

Англ. *time flies*, аналогично: дат. *tiden går*, аналогично: рус. *время бежит*, *время течет*, *время остановилось*. Перцептивный опыт: отсутствие собственно временной перцепции; восприятие движения либо как *движение объекта* (фигуры) относительно неподвижного наблюдателя

(фона), либо как собственное *движение наблюдателя* (фигуры) относительно неподвижных объектов (фона).

«Состояния – это местоположения в пространстве»

Англ. *I'm close to being in a depression and the next thing that goes wrong will send me over the edge*, аналогично: дат. *Jeg var ved at falde i søvn*, аналогично: рус. *Это выходит за пределы моего понимания. Она находится на грани нервного срыва*. Перцептивный опыт: ощущение собственного бытия как существования Я (фигура) в пространстве (фон): «я существую в мире» – это значит: «я вижу, слышу, чувствую окружающий меня мир».

«Изменение – это движение»

Англ. *My car has gone from bad to worse lately*, аналогично: дат. *Han gik atok*, аналогично: рус. *Вода переходит из жидкого состояния в газообразное*. Перцептивный опыт: физическое движение способно изменить состояние. (*Не спи, встряхнись! Что-то я засиделся, пойдю разомну ноги. Устал работать - пойдти приляг*).

«Действия – это движения»

Англ. *I am moving right along on the project*, аналогично: дат. *Han kører forretningen godt*, аналогично: рус. *мы прошли (= сделали, выполнили) два урока, дело сдвинулось с мертвой точки, дело пошло*. Перцептивный опыт: совершая действия, мы ощущаем движения своего тела.

«Цели – это пункты назначения»

Англ. *He'll ultimately be successful, but he is not there yet*, аналогично: дат. *Han vil altid opnå de mål han sætter sig*, аналогично: рус. *мы приближаемся к поставленной цели, они вплотную подошли к своей цели. Мечтай и смело иди к своей мечте*. Перцептивный опыт: чтобы получить желаемый объект, надо к нему приблизиться.

«Важное – это большое»

Англ. *tomorrow is a big day*, аналогично: дат. *det var en mægtig begivenhed*, аналогично: рус. *это был великий день, надвигаются грандиозные перемены*. Перцептивный опыт: важное попадает в фокус внимания; фокус внимания, как и большие предметы, занимает большую визуальную область.

«Знать, предполагать – значит видеть»

Англ. *I see what you mean*, аналогично: дат. *Jeg kan ikke se nogle muligheder her, Fremtiden tegner sig mørk*, аналогично: рус. *Я не вижу смысла в этой работе. Я не усматриваю здесь большой разницы*. Перцептивный опыт: вспоминаемые события, так же как и конструируемые представления, в том числе представления, конструируемые в процессе общения, доступны нам в виде визуальных образов, поэтому понять собеседника на перцептивном уровне – это «увидеть» то, о чем он говорил,

а сконструировать будущую возможность – это представить ее себе визуально.

Событие, удаленное по времени, регулярно вербализуется посредством пространственных характеристик, как будто бы оно находилось соответственно **дальше или ближе в пространстве** по отношению к наблюдателю-говорящему (ср. русск. в *недалеком* будущем / о *ближайшем* прошлом, из *далекого* прошлого / в *отдаленное* будущее, англ. *long ago*, in the *near future*/ in the *distant future*, дат. i en *fjern* fortid, inden for den *nærmeste* fremtid). Еще одна особенность языкового выражения идеи времени состоит в том, что в разных языках типично используются визуальные характеристики четкости / нечеткости **видения** событий ближайшего / отдаленного прошлого/ будущего ср. рус. «из *тьмы* веков», «на заре *туманной* юности», «в обозримом будущем», «в неопределенном будущем», дат. en *overskuelig* fremtid, *fremtiden* tegner sig lyst/ mørkt. Наконец, само именование прошлого и будущего связано с метафорической локализацией событий как *находящихся сзади* или как *прошедших мимо* наблюдателя-говорящего (русск. «прошлое», «минувшее», англ. the past), а будущих событий как *расположенных перед* наблюдающим субъектом (дат. fremtid, русск. «вперед»).

То есть мы можем сделать вывод о том, что в основе лексических метафор времени лежат некоторые общечеловеческие перцептивные особенности. Но почему же тогда так существенно отличаются грамматические темпоральные системы в разных языках?

В 2005 и 2006 годах нами были проведены эксперименты с носителями датского и английского языков по выявлению перцептивных основ представления времени в датской и английской языковых культурах. (Подробно методика проведения эксперимента и его результаты впервые были опубликованы в статье [Nikulicheva 2007]). Принципиально важным стало наблюдение о том, что американские информанты обычно визуализировали события своего прошлого и будущего в одной плоскости на линии, приближающейся к наблюдателю с одной стороны и удаляющейся от него в другую сторону. См. рис. 1.

Организация представлений датчан о событиях, относящихся к разному времени, оказалась пространственно сложнее, поскольку помимо параметров левее-правее и ближе-дальше, как правило, возникал и параметр выше-ниже, так что события далекого прошлого, актуального прошлого и будущего визуализировались как бы в разных плоскостях. См. рис 2.

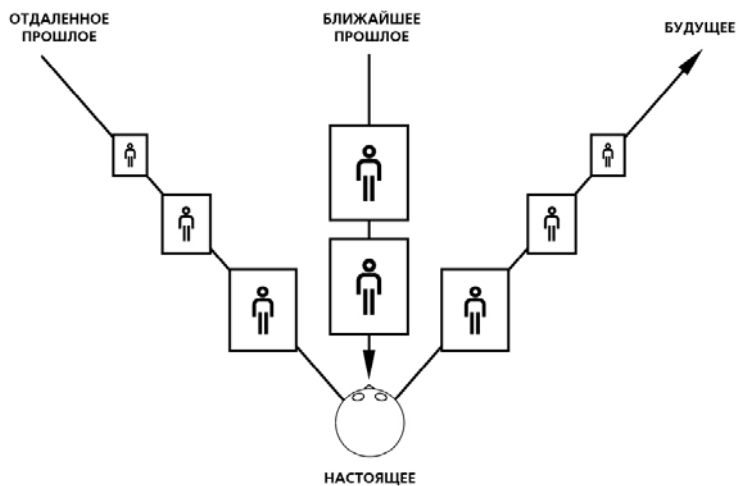


Рис. 1.

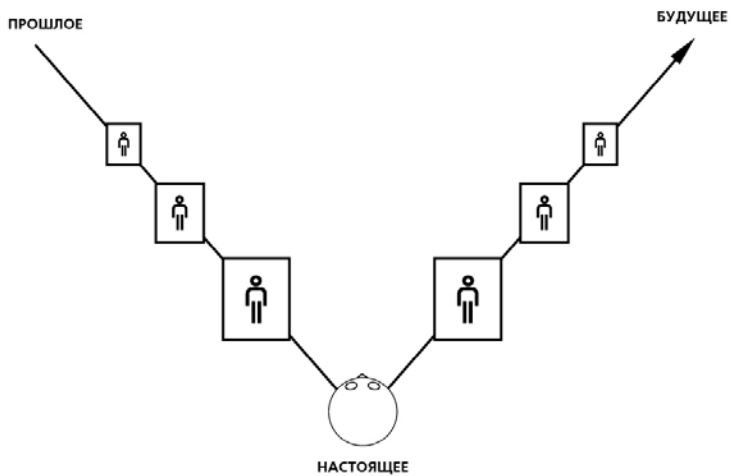


Рис.2

Комментируя это наблюдение с точки зрения набора темпоральных категорий, представленных в датском и английском языках, отметим, что одна и та же грамматическая категория, например, категория временной отнесенности, являясь общей для всех германских языков, может, тем не менее, получать различное перцептивное осмысление в каждом отдельном языке.

С одной стороны, наличие в языке системы форм перфекта (перфект прошедшего, настоящего и будущего времени) создает своеобразное представление о *векторной последовательности* событий: предпрошедшего и прошедшего, преднастоящего и настоящего, предбудущего и будущего. Такое представление естественным образом сочетается с *метафоризацией линии времени как обозримо расположенной в поле зрения наблюдателя*, что соответствует результатам перцептивного эксперимента с американскими информантами. Такая метафоризация отражает отношение ко времени как к явлению, объективированному по отношению к человеку, линии, четко разделенной на временные интервалы и как бы отстраненной от наблюдающего субъекта, «диссоциированной» от него. Это представление о времени, связанное с современной индустриальной цивилизацией, о времени, которое можно и нужно планировать и организовывать.

С другой стороны, для других языковых культур более значимым компонентом значения перфекта, нежели компонент значения «предшествование», может стать компонент значения «актуальность события». Таким представлениям должна соответствовать иная пространственная организация, когда *актуальные события* закономерно находятся *в центре внимания наблюдающего субъекта*. Такой тип пространственной организации темпоральных представлений как раз и был отмечен в нашем эксперименте с датскими информантами в виде трех взаимно перпендикулярных векторов. (Схематически это изображено на рис. 2).

А теперь сопоставим то, как перцептивные представления времени, существующие у людей на довербальном уровне и выявляемые в экспериментах, согласуются с тем набором грамматических оппозиций, которые представлены в грамматических системах конкретных языков. Рассмотрим это на примере сравнения структуры темпоральных оппозиций датского и английского языков.

История развития германских языков наглядно демонстрирует, что время – это грамматическая категория, последовательно усложняющаяся на протяжении языкового развития по принципу «усложнение значения → усложнение формы». В древнейших германских памятниках присутствует лишь оппозиция претеритальности / непретеритальности, затем складывается категория перфектности (и таким образом устанавливается

оппозиция перфектности / неперфектности), затем постепенно оформляется категория футуральности (в скандинавских языках до сих пор не полностью отделившаяся от категории модальности), что приводит к становлению оппозиции футуральности / нефутуральности, а затем (пока лишь в английском языке) оформляется категория длительности. Стоит отметить, что активно развивающиеся в современных скандинавских языках лексико-грамматические конструкции со значением длительности и одновременности процесса (типа дат. *Vi står og snakker*, *De ligger og sover*, *Hun går og nynner*, *Han er i færd med at vaske op*) указывают на то, что со временем, возможно, эта категория сможет получить грамматическое оформление и в этих германских языках.

Исследователями неоднократно отмечалось, что общей типологической константой развития германских языков является их развитие в сторону агглютинации, аналитизма и изоляции [Гухман 1981; Плоткин 1980; 1989; Кузьменко 1991; Шапошникова 2004; Ильина 2004]. Все эти тенденции укладываются в общую тенденцию сдвига грамматического строя современных германских языков от *полюса слитности* с ярко выраженными фузионными явлениями, характерными их древнего состояния, к *полюсу дискретности*, проявляющейся на разных уровнях в развитии тенденций к агглютинации, аналитизму и изоляции.

Общей типологической тенденцией, характеризующей датский и английский как языки аналитического строя, можно также считать их тенденцию к *разгрузке исходной формы от грамматических показателей* и тенденцию к *переходу от многомерных грамматических оппозиций к бинарным*: «Для языков аналитического строя (английский и датский в этом случае не составляют исключения) «разгрузка» немаркированных форм от аффиксов представляет, по-видимому, такое же характерное явление, как и вынесение формантов за пределы слова» [Кузнецов 1989, 58]; «На протяжении своей истории датский язык неуклонно избавлялся от многочисленных оппозиций в пользу бинарных. Противопоставление трех родов (мужского, женского и среднего) сменилось двухродовой системой (общий и средний род), противопоставление четырех падежей было устранено и у существительных (где возникла бинарная оппозиция общего и родительного падежей), и у личных местоимений (где возникла оппозиция, также бинарная, субъектного и несубъектного падежей). Небинарные оппозиции сохранились лишь в том случае, если в них можно было наблюдать внутреннюю иерархию по принципу бинарности» [Ibid. 83].

Дискретной аналитической синтагматике современных германских языков закономерно соответствует принцип «чем проще значение, тем проще форма», а любое усложнение грамматического плана содержания

требует соответствующего усложнения плана выражения, то есть последовательного «нанизывания» новых формантов в синтагматическую цепочку при соответствующем усложнении компонентов содержания.

Проследим, как все вышеназванные принципы проявляются в организации временных противопоставлений в датском языке, как они влияют на грамматическую концептуализацию соответствующих значений и как грамматическая концептуализация соотносится с невербальным восприятием времени.

Категория времени структурируется в датском языке на пересечении трех грамматических бинарных оппозиций (*претеритальность-непретеритальность*, *футуральность-нефутуральность* и *перфектность-неперфектность*) [Кузнецов 1989, 85], образующих восемь существующих в датском языке видо-временных форм действительного залога: arbejder, arbejdede, vil arbejde, har arbejdet, havde arbejdet, vil have arbejdet, ville arbejde, ville have arbejdet.

Позиция говорящего - это позиция настоящего, совпадающая с моментом речи. Это точка хронотопа, выражающаяся единством «здесь» и «теперь», единственная точка реального бытия субъекта. Грамматически она наименее маркирована. Она противопоставлена событиям, ставшим уже «не-настоящим», как бы отошедшим в прошлое (оппозиция «непретеритальность / претеритальность»: jeg arbejder / jeg arbejdede). С другой стороны, она противопоставлена также событиям, еще не наступившим, прогностически относимым к будущему (оппозиция «нефутуральность / футуральность»: jeg arbejder / jeg vil arbejde). Наконец, точка реального настоящего противопоставлена прошлым событиям, воспринимаемым как актуальные, влияющие на настоящее и как бы «накладывающие на него свой отпечаток» (*fortid som har sat sit præg på nutid* «прошлое, которое наложило свой отпечаток на настоящее»). В результате формируется оппозиция «неперфектность / перфектность» (jeg arbejder / jeg har arbejdet).

При этом важно обратить внимание на то, что результаты эксперимента с датскими информантами дали весьма любопытный результат, уточняющий то расположение трех перпендикулярных векторов, которое было схематически представлено на Рис. 2. Оказалось, что в *основной плоскости, расположенной прямо на уровне глаз субъекта*, испытуемые помещали, с одной стороны, вектор событий прошлого (*datid*) и, с другой стороны, перпендикулярный первому вектор событий преднастоящего (*førtid*), тогда как события будущего виделись более смутно и располагались на векторе, направленном вперед и вниз от основной плоскости визуализации. Схематично это представлено на рис.3.

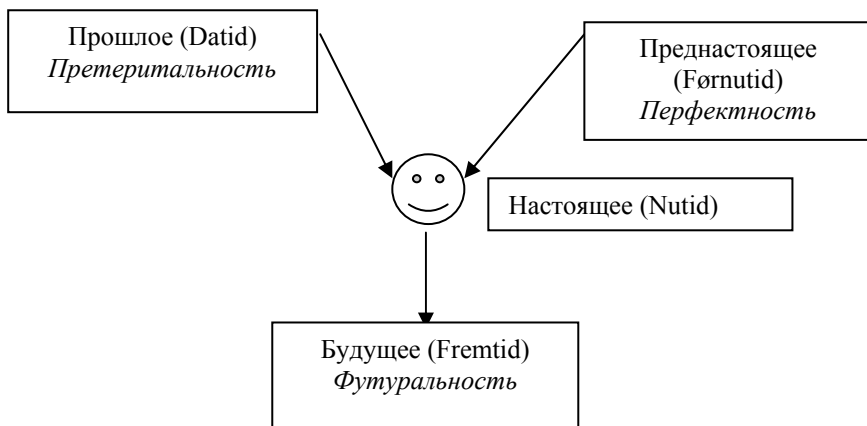


Рис. 3

Основному для носителей датского языка когнитивному плану, локализирующему *события пережитой реальности* (*den oplevede virkelighed: arbejder – har arbejdet – arbejdede – havde arbejdet*) противопоставлен более отдаленный от реальности план еще не пережитых, но только *прогнозируемых событий* (*vil arbejde – vil have arbejdet – ville arbejde – ville have arbejdet*).

В результате формируется следующая объемная структура грамматических оппозиций (Рис. 4). При этом важно подчеркнуть, что каждая из шести граней куба, образованного системой восьми глагольных оппозиций, соответствует особому когнитивному плану осмысления темпоральной реальности.

Когнитивные планы датской темпоральной системы 1

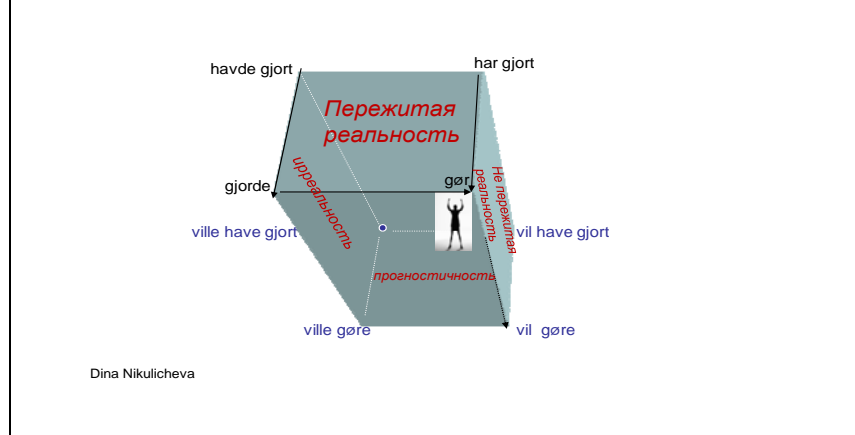


Рис 4.

Приведенная выше фигура дает представление о соотношении линейного представления реального времени с тремя грамматическими оппозициями как тремя когнитивными плоскостями, на которые проецируются события.

Представим, что наблюдающий субъект находится в точке настоящего. Он как бы стоит на линии реального времени, идущей из прошлого в настоящее (*Jeg gjorde det/ Jeg arbejdede der - Jeg gør det nu/ Jeg arbejder her nu*). Одновременно в оперативном поле зрения говорящего (прямо по центру визуальных представлений, как следует из эксперимента) находятся события *актуального прошлого* (преднастоящего), формирующие вектор перфектности (*Jeg har lige gjort det/ jeg har arbejdet her siden januar*).

По законам геометрии через три точки можно провести плоскость, притом только одну. Эту плоскость можно определить как *плоскость пережитой реальности* (*Den oplevede virkelighed*). Кстати, метафора точки опоры, «почвы», как критерия реальности присутствует в датском языке точно так же, как и в русском: «Han har *fast grund* under sig/ han har *fast grund* under fødderne» – «Он твердо стоит на земле»; «Du skal komme ned på jorden!» – «Спустиись на землю!». Ср. антонимические идиомы, концептуализирующие утрату связи с реальностью как утрату точки опо-

ры: *miste fodfæstet* ‘потерять почву под ногами’, *svæve oppe i skyerne* ‘витать в облаках’, *bygge luftkasteller* ‘строить воздушные замки’.

Плоскости пережитой реальности в датской системе грамматических оппозиций противопоставлена *плоскость прогностичности, представленная футуральными формами с ville*: Футурум I (*vil + Inf*), и соотносенный с ним отношением предшествования моменту в будущем Футурум II *vil + Inf II* (Hun ***vil have skrevet*** det inden da «К тому времени она это уже напишет»), и Будущее в прошедшем I и II (*ville + Inf*) и (*ville + Inf II*), и ирреальный прогноз относительно момента речи (*ville + Inf*) и относительно момента в прошлом (*ville + Inf II*). Это и прогноз в реальном будущем: Hun *vil arbejde* hjemme i morgen ‘Завтра она будет работать дома’, Når jeg går af til juli, *vil jeg have arbejdet* fyre år i firmaet ‘К Рождеству, когда мне уходить на пенсию, я проработаю на фирме ровно сорок лет’, и прогноз из прошлого: Han *håbede*, at hun *ville arbejde* hjemme ‘Она надеялась, что будет работать дома’, и прогноз из прошлого относительно одного будущего события, предшествующего другому: Han *sagde*, at han til jul *ville have arbejdet* fyre år i firmaet ‘Он говорил, что к Рождеству должно было исполниться сорок лет, как он работает на фирме’.

С когнитивным планом прогностичности соприкасаются, с одной стороны – план *конструируемой реальности*, а, с другой стороны – план *ирреальности*. (См. рис. 4). План *конструируемой реальности* (*gøre, har gjort, vil gøre, vil have gjort*) локализует события, которые мыслятся говорящим как *еще не пережитые, но достаточно достоверные*. Показательно, что в отличие от русского языка для обозначения будущих событий, подготовленность которых получает перцептивное подтверждение уже в настоящем, в датском языке регулярно используется форма презенса: *Snart er kaffen klar* ‘Скоро будет готов кофе’. Для выражения будущего используется футуральный презенс.

Точно так же формы презенса и перфекта используются для обозначения само собой разумеющихся временных ориентиров в придаточных времени и условия: *Vil du ikke tage skraldet med når du går?* ‘Ты (не) захватишь мусор, когда будешь уходить?’; *Når jeg har drukket min kaffe, går vi hjem* ‘Когда я допью кофе, мы пойдем домой’.

Собственно футуральная форма с *vil* приобретает значение достоверного будущего только при неопределенных глаголах с неволитивным неодушевленным субъектом: *I morgen vil vækkeuret ringe kl. 6.30.* «Завтра будильник прозвонит в 6.30». При волитивных субъектах возможно только модализированное будущее: Han *vil være* topleder engang, hvis han *kan* det ‘Он будет (= он хочет стать) менеджером высшего звена, если сможет’, *Chefen lover*, at alle nok *skal få* en lønforhøjelse, som de *kan være* tilfredse med ‘Начальник обещает, что все получают (=все должны полу-

чить) прибавку к зарплате, которой будут довольны (=которой *могут быть* довольны)'. То есть при волитивном субъекте прогноз получает тот или иной субъективный оттенок. Таким образом, дистанцирование события от момента настоящего в будущее помещает футуральное событие на стык плоскостей реального и гипотетического прогноза (*vækkeuret vil ringe* kl. 6.30 / *han vil være topled*).

Когнитивному плану конструируемой реальности противопоставлен план *ирреальности*, образуемый серией претеритальных форм, противопоставленных презентным формам как «(уже) не-настоящее» (*gjorde, havde gjort, ville gøre, ville have gjort*) (см. Рис.4).

Предлагаемый нами *когнитивно-перцептивный подход* к представлению грамматических оппозиций позволяет по-новому взглянуть на вопрос о соотношении категории времени и наклонения в датском языке.

Традиционно среди данистов существуют две противоположные точки зрения. Датские грамматисты обычно не признают омонимии форм претерита и ирреалиса. Так, еще Г.Вивель писал, что «форма прошедшего времени отнюдь не всегда обозначает то, что *по времени* удаляется от настоящего, но также и то, что удаляется *по степени реальности*, так как оно представляется то как *возможность*, например, *Det var rart, hvis han var her* 'Было бы приятно, если бы он был здесь', то как *предположение, противоречащее действительности*, например, *Hvis jeg havde penge, var jeg lykkelig* 'Если бы у меня были деньги, я был бы счастлив' [Wiwel 1901, 140. Цит. по Кузнецов 1989, 86]. На этом основании Вивель предлагал для этой двузначной формы термин «*форма отдаления*» (*afstandsform*), который поддержал и П.Дидериксен, который, однако, также пользовался терминами «реальный претерит» и «ирреальный претерит». Как инвариантную «форму отдаления» трактуют претерит в своей новой грамматике «*Grammatik over det danske sprog*» также Эрик Хансен и Ларс Хельтофт. Претерит понимается ими как форма, имеющая два основных варианта употребления. Один из них – это «фактический опыт» (*faktisk erfaring*): *Han arbejdede på hospitalet* 'Он работал в больнице', *Rom var den smukkeste by. Dens barokkirker var uforlignelige* 'Рим был (оказался) красивейшим в мире городом. Его церкви в стиле барокко были неподражаемы' (даже вневременной, хабиутальный, признак может в датской грамматической системе оказаться темпорально локализованным в точке прошлого, если связан с *прошлым моментом восприятия субъектом речи*). Другой вариант – «предполагаемый опыт» (*forestillet erfaring*): *Vare han nu arbejdede på sagen* 'Если бы только он сейчас занимался этим вопросом!' [Heltoft 1998, 8-9].

Двойственность употребления претеритальных форм побудила Л.М. Локштанову, исследовавшую категории датского глагола, признать омо-

нимию претерита и ирреалиса в датском языке [Локштанова 1986, 21-22]. С.Н.Кузнецов не мог согласиться с ней по структурным соображениям: «невозможно допустить системную омонимию, потому что, по определению, омонимия – это совпадение форм (то есть средств выражения) при различии содержания, а все разнообразные средства выражения претерита не могут одновременно и без каких бы то ни было исключений совпасть со всеми средствами выражения ирреалиса» [Кузнецов 1989, 88]. Как бы то ни было, факт остается фактом: все датские претеритальные формы могут выражать как реальные, так и ирреальные значения. Это даже позволило Л. Хельтофту заявить, что «датская система временного отдаления – не классическая временная система, так как принцип ее формообразования идет вразрез с референциальным временем» (*Det danske afstandssystem er ikke et klassisk tidssystem, for dets formprincip går på tværs af referentiel tid*) [Heltoft 1998, 9].

Предлагая в данной статье когнитивный подход к анализу временных оппозиций в конкретном языке, мы хотим показать закономерность такой семантической неоднозначности каждой из форм глагольной парадигмы. Исходя из выявленной графической структуры оппозиций, мы утверждаем, что вывод о двойственности значений каждой из темпоральных форм в датском языке закономерен. Как было показано выше, восьмичленная оппозиция формирует геометрическую фигуру, куб. А каждая грань куба по законам математической логики должна принадлежать двум соседним плоскостям. Таким образом, совершенно закономерно, что дистанцирование от момента настоящего в прошлое помещает событие на стык плоскости реальности и ирреальности, так что одна форма может обозначать как реальность прошлого события (*Han arbejdede på sagen* «он поработал над этой задачей»), так и ирреальность пожелания: *Vare han nu arbejdede på sagen* «Если бы только он (сейчас) поработал над этой задачей!»

Таким образом, графическое представление соотношения темпоральных оппозиций позволяет подвести когнитивную основу под метафору «параллельной реальности», особенно широко распространенную именно в германских языковых культурах и постоянно обыгрываемую в их кинематографе.

Представление прогноза как нереального выражается в германских языках посредством его дистанцирования грамматическими средствами от точки настоящего. Та линия развертывания событий, которая «запускается» ирреальным предположением, не может пересечься с реальной линией времени, а существует параллельно ей. А ирреальное предположение относительно иного сценария развития событий прошлого задает еще одну параллельную линию, еще более отдаленную от линии реаль-

ного будущего, что наглядно видно из структуры темпоральных оппозиций датского языка. Категория временной отдаленности (afstandssystem), так горячо отстаиваемая датскими лингвистами, получает, таким образом, наглядное графическое выражение. (Рис. 5).



Рис 5.

При этом каждая из восьми оппозиций лежит на пересечении двух разных плоскостей. Поэтому оппозиция, выраженная гранью «svarede – havde svaret», закономерно находится на пересечении *плоскости вспоминаемой реальности* (Han svarede mig i går ‘Она ответила мне вчера’ или Efter at I havde svaret os, sendte vi jer et andet tilbud ‘После того, как вы нам ответили, мы послали вам другое предложение’) и *плоскости ирреальности* (ирреальное пожелание относительно настоящего/ будущего Gid hun svarede ja! ‘Хотел бы я, чтобы она согласилась!’; ирреальное предположение относительно настоящего/ будущего Hvis han svarede mig, (ville jeg tilgive ham) ‘Если бы он (сейчас) ответил мне, (я бы его простил)’; ирреальное предположение относительно прошлого Hvis han havde svaret mig, (ville jeg have tilgivet ham) ‘Если бы он (тогда) ответил мне, (я бы его тогда простил)’).

Точно так же оппозиция «*ville svare – ville have svaret*» лежит на пересечении плоскостей *прогностичности* (Han sagde at han *ville svare* 'Он сказал, что ответит') и *ирреальности* (*Hvis du havde skrevet til hende*), *ville hun nok have svaret dig*.

Эта же двойственность характеризует и грань «*svarer – har svaret*». Так, формы презенса, с одной стороны, могут обозначать события, объективно относящиеся к прошлому. Например, в датском языке обязательным стилистическим требованием к реферированию текста является изложение прошлых событий в форме настоящего времени. Типичный пример – аннотации к фильмам: ”Dear Wendy” handler om en lille klike, Dandyerne. Fem tabere i en amerikansk western-lignende by *slutter sig sammen* i en kult. De *dyrker* deres våben til det sygelige «Фильм “Дорогая Венди” повествует о шайке подростков, называющих себя “Денди”. Пять неудачников из маленького американского городка объединяются в секту, болезненно поклоняющуюся оружию». События, выраженные датским презенсом статива, тоже объективно локализованы в прошлом (Bogen *er oversat* «Книга переведена»). С другой стороны, формы презенса также широко используются для обозначения событий будущего: Han *rejser* i morgen. ‘Он уедет завтра’, Det *bliver* solskinsvejr i morgen ‘Завтра будет солнечная погода’. То же самое касается и форм перфекта. При том, что обычно событие, обозначаемое перфектом, референциально локализовано в прошлом (Han *har rejst* meget ‘Он много поездил’, Vi *har brugt* pengene ‘Мы истратили деньги’), презентный перфект может также использоваться и для обозначения событий, которые будут завершены к определенному моменту в будущем: Når jeg *har drukket* min kaffe, går jeg hjem. ‘Когда я выпью кофе, я пойду домой’.

Рассмотренным выше четырем когнитивным планам датской темпоральной системы (плану *пережитой реальности*, плану *прогностичности*, плану *конструируемой реальности* и плану *ирреальности*) противопоставлено еще два когнитивных плана, образующих соответственно переднюю и заднюю плоскости темпорального куба – план *объективной временной отнесенности* и план *субъективной временной отнесенности* (см. Рис. 6).

Когнитивные планы датской темпоральной системы 2

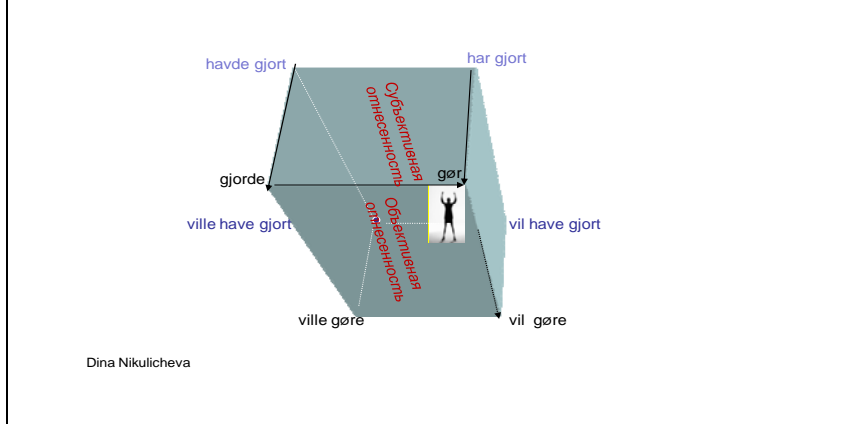


Рис. 6.

Перцептивно ближайшая к говорящему плоскость *объективной временной отнесенности* образована формами презенса, претерита, футурума1 и футурума2 (gør, gjorde, vil gøre, ville gøre). Ее когнитивный смысл состоит в объективном соотношении события с моментом речи (совпадение – презенс, предшествование – претерит, следование – футурум). То, что последняя из названных форм (футурум 2) также характеризуется локализацией относительно *момента речи*, а не только относительно *момента в прошлом*, ясно видно из сопоставления примера *Ole skrev at han ville komme til næste år* ‘Оле писал, что приедет в следующем году’, где форма будущего в прошедшем указывает на то, что тот год, когда Оле должен был приехать, уже находится в прошлом, с примером *Ole skrev for en måned siden at han kommer i næste uge* ‘Месяц тому назад Оле написал, что приезжает на следующей неделе’. Использование формы футурального презенса свидетельствует о том, что относительно момента речи приезд Оле все еще локализован в будущем [Allan e.a. 1998, 275].

Плану объективной темпоральной отнесенности события к моменту речи противопоставлен план *субъективной актуализации* говорящим предшествующего события относительно выбранного им ситуативного

момента. Этот когнитивный план выражен формами перфектного ряда: *har gjort, havde gjort, vil have gjort, ville have gjort*.

Подчеркнем, что в датской грамматической системе категория перфектности особенно тесно связана с субъективным восприятием актуальной ситуации говорящим. Это проявляется при рассмотрении употребления перфектных форм в датском языке в сравнении с английским языком.

С одной стороны, в отличие от английского языка, указание на момент прошлого не является в датском языке основанием для запрета на употребление формы Present Perfect, *если говорящий подчеркивает актуальность этого события на момент речи*. Ср:

англ. Imperf. «We sold the car 8 hours ago» и дат. Pr. Perf. «Vi har solgt bilen for 8 timer siden» ‘Мы продали машину восемь часов тому назад’ [Durst-Andersen 2000]

англ. Imperf. «Heiberg wrote “Elverhøj”» и дат. Pr. Perf. «Heiberg har skrevet ”Elverhøj”» ‘Хайберг (известный писатель XIX в.) написал «Волшебную гору»’. [Routledge 1998]

С другой стороны, типично датским употреблением перфекта, в отличие от английского языка, является перфект косвенного предположения. Речь идет о случаях, когда говорящий подчеркивает, что сам он объективно не был свидетелем произошедшего, но *субъективно реконструирует события по косвенным свидетельствам*. Прагматической рамкой такого высказывания типично является предикат «я полагаю, что...»: «Jeg er ikke sikker på, hvordan det er gået til. Hun er vel gået hjemmefra ved 10-tiden og har så gået sin sædvanlige tur. Hun har gået i sine egne tanker. Og så er hun pludselig faldet og brækket benet. Og så har hun ligget der på stigen i skoven, uden at nogen er kommet forbi. Og hun er blevet rigtig bange og har råbt om hjælp. Og nogen har hørt hende og er kommet til undsætning og har fået hende på hospitalet» [Øckenholdt 1999]. ‘Я не знаю точно, как все произошло. Она (я полагаю) вышла из дому около десяти часов и шла своей обычной дорогой. (Должно быть) она шла, глубоко задумавшись, и тут внезапно упала и сломала ногу. И вот она лежит на тропинке в лесу, и некому ей помочь. (Видимо) ей стало страшно, и она начала звать на помощь. Кто-то (должно быть) ее услышал, прибежал на выручку и отвез в больницу’. Если бы просто излагались объективные события, то была бы использована форма имперфекта: «Hun gik hjemmefra ved 10-tiden og gik sin sædvanlige tur. Hun gik i sine egne tanker. Og så faldt hun pludselig og brækkede benet...» Использование перфекта подчеркивает субъективное восприятие актуальной ситуации говорящим.

Таким образом, в датской системе темпоральных оппозиций оказываются противопоставлены когнитивный план объективной временной отнесенности и когнитивный план субъективно актуализируемых со-

бытий, который в буквальном смысле «накладывается» на план объективной временной отнесенности.

Всего же, как было показано выше, в когнитивной структуре датских временных форм может быть выделено шесть когнитивных плоскостей: 1) плоскость объективной временной отнесенности (svarede – svarer – vil svare – ville svare), 2) плоскость субъективной временной отнесенности (havde svaret – har svaret – vil have svaret – ville have svaret), 3) плоскость пережитой реальности (havde svaret – svarede – har svaret – svarer), 4) плоскость конструируемой будущей реальности (svarer – vil svare – har svaret – vil have svaret), 5) плоскость прогностичности (vil svare – vil have svaret – ville svare – ville have svaret), 6) плоскость ирреальности (svarede – havde svaret – ville svare – ville have svaret).

Сочетание приведенных выше результатов системно-структурного подхода с данными о перцептивно-визуальном представлении времени, позволяет, таким образом, предложить целостное когнитивное осмысление категории времени, концептуализированной в грамматической системе датского языка как одного из типичных представителей германской языковой группы.

Следующей задачей будет сравнить, как различия в системе темпоральных оппозиций, существующие между германскими языками, отражаются в межкультурных перцептивных различиях и различиях в формировании их когнитивных структур.

По сравнению со скандинавскими языками и немецким языком английская система темпоральных противопоставлений оказывается наиболее нюансированной из-за развития в английском языке категории *Continuious*. За счет того, что в оппозиции недуративности/, дуративности вовлечены все восемь общих для современных германских языков темпоральных форм, рассмотренных выше на примере датского языка, количество оппозиций в активном залоге возрастает в английском языке до шестнадцати. Как же такая усложненная система временных форм отражается в перцепции и как она влияет на усложнение когнитивной структуры временных представлений?

Что касается перцептивных особенностей, то главной чертой, отмеченной в ходе эксперимента, который проводился автором в 2005 году в США в штатах Теннесси и Филадельфия, оказалась более сильно выраженная линейность невербальных временных представлений американцев по сравнению с русскими и датскими информантами. При этом следует подчеркнуть, что эта линейность характеризовала самые различные индивидуальные типы временных представлений. И те люди, кто был склонен вспоминать и прогнозировать события более рассудочно, *диссоциированно* (метафора «на берегу реки времени»), и те, кто вспоминал и

прогнозировал события более эмоционально, *ассоциировано* (метафора «время как путь»), визуально организовывали события линейно. Эти данные позволили построить схему визуализации, которая схематично была представлена на Рис. 1.

Следует подчеркнуть, что статистически наиболее типичным для англоязычных американцев является именно диссоциированное представление времени. И именно на его основе строится когнитивная структура англоязычных темпоральных представлений.

Первичность линейного представления времени накладывает свой отпечаток и на специфику употребления английских временных форм. В фокусе видения времени в англоязычной грамматической системе находится именно линия.

Это проявляется, в частности, в том, что, если обозначена точка на линии в прошлом, то грамматически действие обязательно должно быть обозначено в английском языке как отстраненное от наблюдателя, диссоциированное от него, то есть как Past Indefinite. Ср. англ. *We sold the car 8 hours ago*. (диссоциация – точка на линии, соответствующая моменту «8 часов» от момента речи) и дат. *Vi har solgt bilen for 8 timer siden* (в фокусе актуальность результата в момент речи). Не *hid in the attic when the sheriff arrived* (диссоциация – точка на линии, соответствующая вхождению в состояние: «Он спрятался на чердаке»). Ср. *He hid in the attic for an hour* (также диссоциация, но уже не точка, а отрезок на линии, равный вхождению в состояние и пребыванию в нем). Из-за примата в русскоязычной темпоральной системе ассоциированного восприятия времени (на чем мы не имеем возможности останавливаться в этой статье) носитель русского языка обязательно представит соответствующее действие ассоциированно (как наблюдаемый говорящим процесс), используя форму *несовершенного вида*: «Он *прятался* на чердаке целый час». Ср. употребление англ. формы Continuous: *He was hiding in the attic when the sheriff arrived* «Когда пришел шериф, он *прятался* на чердаке». Для английского языка обязательно указание на одновременность состояния *точке на линии*. (В данном случае точка на линии обозначена придаточным предложением времени «*when the sheriff arrived*»).

Если, как было показано выше, в датском языке категория перфектности в первую очередь обслуживает когнитивный план субъективной актуализации предшествующего события, то в английском языке категория перфектности прежде всего вовлечена в выражение отношений таксиса, непосредственно связанного с относительным расположением событий на линии.

Линия реального времени направлена слева из прошлого к настоящему субъекта и от него вправо в будущее. На ней локализованы точки событий, соотносенных между собой в плане следования/ предшествования.

Линия реального времени локализует как события отдаленного прошлого (Real Past), где одни события (Past Perfect) объективно предшествуют другим (Past Indefinite), так и события актуального в настоящий момент прошлого (Present Perfect) и соотносенные события будущего (Future Perfect и Future Indefinite). На эту диссоциированную от наблюдателя линию времени закономерно попадают и вневременные события, отмечаемые в настоящем (формы Present Indefinite типа The Earth goes round the Sun). Как показывают перцептивные тесты, события, реально происходящие «здесь» и «теперь», воспринимаются говорящими ассоциировано, поэтому реальное «здесь и теперь» выражается в английском языке не формами Indefinite, соответствующими диссоциированному представлению событий, а дуративными формами Present Continuous, предполагающими включенность субъекта в процесс. Так же, как отмечалось выше для датского языка, план ирреальности (Irreality) и план прогностичности (Prognosis) и перцептивно, и когнитивно отдален от плана реального настоящего (рис.7).



Рис. 7.

Английская категория Continuous вторична по отношению к категории Indefinite, расположенной на линии времени. Она в буквальном смысле «накладывается» на линейное представление, задаваемое формой Indefinite. Поэтому чтобы активизировать значение дуративности, обязательно должно существовать указание на процесс, длящийся синхронно какой-либо точке или отрезку *на линии* времени. Такая структура оппозиций в сочетании с данными экспериментов по визуализации времени носителями английского языка (см. подробнее [Никуличева 2008]) позволяет предложить следующую когнитивную структуру англоязычных темпоральных представлений (Рис.8):



Рис.8

Базовая идея линии времени, лежащая в основе англоязычного темпорального сознания, накладывает свой отпечаток на художественное осмысление времени. Не случайно столько англоязычной фантастики построено на перемещении по линии времени, на игре со временем. Именно англоязычная когнитивная структура темпоральных форм в полной мере позволяет говорить о создании «параллельных реальностей». Расхожая метафора получает четкую структурную иллюстрацию, поскольку оказывается производной от когнитивного представления существующих в языке грамматических оппозиций. Целая драма заложена в простом отслеживании корреляции темпоральных форм рассматриваемой когнитив-

ной структуры. Ведь если действие, заявленное на линии прогностичности, может в точке пересечения попасть на линию реального будущего (He said that he *would work* hard, and probably he *will*), то ни линия ирреального будущего (If you *worked* hard, you *would be* famous), ни линия ирреального прошлого (If you *had worked* hard, you *would have been* famous) никогда не соприкоснутся с линией реального будущего, поскольку эти линии параллельны (You don't work hard and you will not be famous). (См. Рис.9)

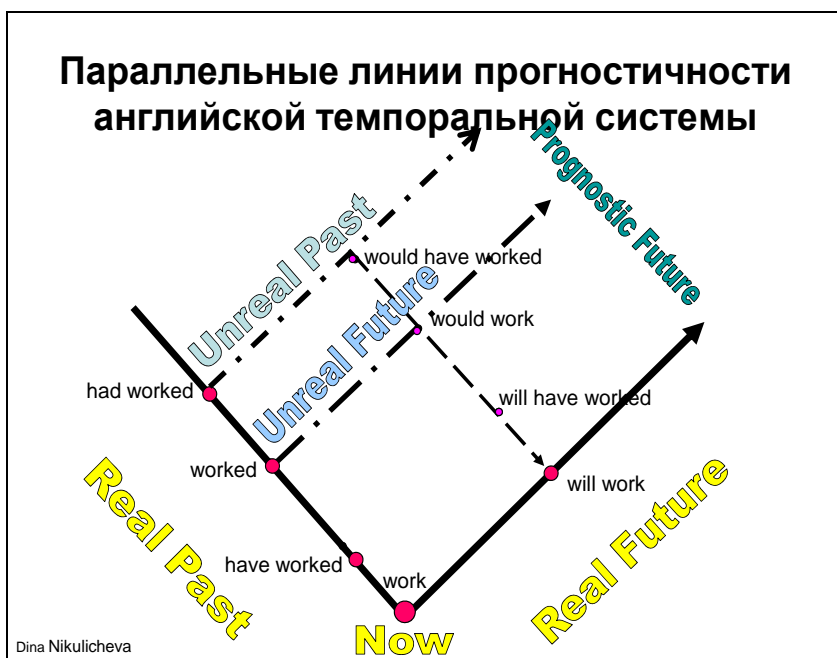


Рис.9

Таким образом, проведенное исследование показывает, что грамматическая система каждого конкретного языка из множества индивидуальных представлений времени отбирает те, которые являются наиболее значимыми для данной языковой культуры в целом. Эти представления оформляются в виде ряда лексических метафор и грамматических противопоставлений и таким образом создается обобщенное языковое видение темпоральной реальности данным языковым коллективом.

Литература

- Бондарко А.В.* Полевые структуры в системе языковой категоризации // Теория, история, типология языков. Материалы чтений памяти В.Н.Ярцевой. М.2003.
- Гухман М.М.* Историческая типология и проблема диахронических констант. М. 1981.
- Ильина Т.И.* Новые тенденции в аффиксальной деривации современного английского языка // Вестник НГУ, Т.2, вып.1, 2004.
- Кубрякова Е.С.* Морфология сегодня и исследование морфологического строя в работах В.Н.Ярцевой // Теория, история, типология языков. Материалы чтений памяти В.Н.Ярцевой. М.2003.
- Кузнецов С.Н.* Теоретическая грамматика датского языка. Морфология. М. Наука, 1989.
- Кузьменко Ю.К.* Фонологическая эволюция германских языков. Л., 1991.
- Локишанова Л.М.* Система форм индикатива в датском языке // Вопросы языкознания 1986. №1.
- Никуличева Д.Б.* О перцептивных основах категоризации видо-временных значений в английском и датском языках // Германистика. Скандинавистика. Историческая поэтика. К дню рождения О.А.Смирницкой. М. МАКС Пресс, 2008.
- Плоткин В.Я.* О путях эволюции аналитизма в германских языках // Взаимодействие языковых структур в системе. Сб. научн.тр. ЛГПУ, Л.1980. Вып.4.
- Плоткин В.Я.* Строй английского языка. М., 1989.
- Шапошникова И.В.* Концепция подготовки специалиста-исследователя высшей квалификации филологического профиля по специальности *германские языки*. Новосибирск. 2004.
- Durst-Andersen P.* En kognitiv analyse af perfektum og imperfektum i dansk // Nydanske studier Bd. 26-27. København, 2000.
- Heltoft L.* Hvorfor findes der ikke noget nutids-r på dansk? Og andre provokationer i den kommende grammatik over det danske sprog // Danske sprog dage. Moskva 18.04.1998.
- Lakoff G., Johnson M.* Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought. New-York: Basic Books, 1999.
- Nikulicheva D.* Perceptiv og grammatisk tid i dansk, engelsk og russisk // Danske studier. København, 2007.
- Routledge - Allan R., Holmes Ph., Lundskaer-Nielsen T.* Danish. A Comprehensive Grammar. NY: Routledge, 1998.
- Wiwel H.G.* Synspunkter for dansk sproglære. Kbh., Det nordiske forlag, 1901.
- Øckenholdt M.* Dansk er lidt svært. Kbh. Gyldendal uddannelse, 1999.

О.А. Сулейманова

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ БЕЗЛИЧНЫХ ИНФИНИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Данная статья является попыткой представить совокупность безличных инфинитивных синтаксических моделей в виде некоторой упорядоченной системы на основе выделения дифференциальных и интегральных семантических признаков, выявить некоторые общие принципы, определяющие семантику каждой из инфинитивных безличных структур.

1.0. Существующие описания семантики инфинитивных моделей

Безличные инфинитивные конструкции неоднократно служили предметом исследования в лингвистической науке, многие особенности их семантики уже получили точное и детальное описание. В качестве примера можно привести формально-семантические типы инфинитивных предложений, выделенные авторами «Русской грамматики» [РГ 1980]. (Последующие работы, в которых представлены детализированные описания системы безличных предложений, практически не уделяют внимания инфинитивным структурам, например, [Guiraud-Weber 1984; Leiponen 1985]). Классифицируя синтаксические модели, Г.А.Золотова объединяет инфинитивные структуры в единый класс «модально-экспрессивных модификаций, выражающих необходимость, неизбежность, желательность действия – *Молчать! Вам начинать; Встретиться бы нам!; Мне еще уроки учить; Не цвести садам зимой по снегу; Ему не сдобровать; Только бы успеть!*» [Золотова 2001а, 349], не обозначая в чем состоит безусловно осознаваемое носителями языка отличие данных предложений друг от друга.

В РГ предложения типа *Здесь не пройти, Цвести садам, Молчать* трактуются как одна модель с точки зрения формальной организации [РГ 1980, 2560], с различием при этом по семантике.

Первая группа – модели, представленные предложениями типа *Росси не быть под Антантой!* (Маяковский), вносят информацию об объективной предопределенности, о долженствовании, вынужденности, предстояния (лексически свободны) – часто с глаголом *быть*, причем выделяется 5 семантических вариантов:

– со значением неизбежности, содержат глагол *быть* или иные, называющие бытие и пребывание в нем – *Так тому и быть*;

– отделены от предложений, вносящих информацию о долженствовании, вынужденности, предстояния (лексически свободны) – *Забывать про них*, в них часто присутствует наречие *лучше* – *Вам лучше не знать про это*;

– значение возможности / невозможности *Ему не разобраться самому*; когда реализуется значение невозможности, в высказывании присутствуют единицы типа *едва, едва ли*;

– ненужность, отсутствие необходимости *Энергии ей не занимать*;

– со значением недопустимости *Не тебе же объяснять такие вещи!*

Вторая группа – предложения со значением субъективной предопределенности; они означают воленарправленность, побуждение, желание, субъективно осознаваемую целесообразность или своевременность (часто могут сопровождаться частицами со значением желательности и побудительности). В этой группе выделены три семантические варианта:

– со значением побуждения, направленного к адресату (обычно без дативной именной группы – ИГ) *Не двигаться! Молчать!* (ср. **Двигаться!*, **Не молчать* – как представляется, эту группу точнее можно определить как вносящую информацию о требовании прекратить реализацию некоторого события Р);

– со значением субъективной необходимости и желаемости, с дативной ИГ – *Мне поговорить с ним*;

– со значением субъективно осознаваемой целесообразности и своевременности *Мне теперь детей воспитывать*. При этом отмечается регулярная корреляция данной модели со структурами с частицей *бы* – *Еще раз увидеть ее!* – *Еще бы раз увидеть ее!*, которая, в свою очередь, рассматривается отдельно ([РГ 1980, 2563], см. также ниже).

Третья группа – высказывания со значением желательности и побудительности, с частицами *бы / б*; авторы выделяют их в отдельный тип на том основании, что они не входят в парадигматические отношения с другими инфинитивными предложениями без соответствующих частиц. (Как представляется, такое выделение не вполне обосновано – см. ниже.) В рамках этого типа далее различаются три группы – первые со значением желательности – *Пожить бы еще!*; вторые – со значением согласия, принятия – *Ну хорошо, пусть мне идти, а вам остаться*; третьи – со значением побудительности – *И чтоб(ы) сегодня же все решить!*

Наряду с объективной и субъективной предопределенностью авторы РГ выделяют признак, вносящий информацию о физическом или интеллектуальном восприятии, здесь отсутствует значение предопределенности, и может присутствовать элемент качественной квалификации, оценки [РГ 1980, 2565] – *Тебя не узнать, О нем давно ничего не слышать, Такого парня поискать*.

Последний тип инфинитивных предложений [РГ 1980, 2566] вносит информацию о действии / состоянии в соединении оценкой, субъективным отношением – *Сказать при ребенке такое!*

Как хорошо видно, выделение и описание моделей строится на основании нескольких критериев, ведущим из которых, по-видимому, признается формальный. Степень детализированности семантических критериев остается недостаточной, поскольку предлагаемые дефиниции – через признаки объективной и субъективной предопределенности, или возможности / невозможности – носят слишком широкий характер и могут быть приложены к целому ряду сходных, но не тождественных структур (ср., например, всевозможные высказывания, «нагруженные» модальностью в ее различных видах и проявлениях) и не позволяют разграничить модели. Более того, неясен статус ряда признаков (например, возможность / невозможность, или желательность и побудительность, отличие от побуждения, направленного на адресат, и под.). Неясна также иерархия внутри самой совокупности признаков – какой остается ведущим, какие «наслаиваются» дополнительно, не меняя при этом основы модели (например, структурно образующими признаются частицы *бы* и *не*, неструктурно образующими слова типа *лучше*) и под.

Все вышесказанное позволяет заключить, что в сфере изучения этих конструкций по-прежнему остается нерешенным целый ряд вопросов (ср. круг проблем в изучении инфинитивных конструкций, очерченный в работе Г.А.Золотовой [Золотова 2001, 249-273]), а именно:

- не всегда четко определены критерии разграничения инфинитивных безличных моделей;
- требует анализа соотношение этих критериев, уточнение их статуса в общей системе признаков;
- не до конца ясны особенности семантики ряда инфинитивных конструкций, многие из которых получают у разных авторов разную интерпретацию.

2.0. Характеристика общего подхода к описанию безличных структур

Приступая к описанию системы инфинитивных конструкций, отметим сразу, что при анализе синтаксических структур мы исходим из представления, что структурная схема (модель) предложения может представлять собой наложение нескольких структурных схем / словосочетаний (см. обоснование такого подхода в [Сулейманова 1999]). Так, безличные русские предложения можно представить как соединение некоторой базовой модели (пространственная генитивная, аккузативная, дативная) со структурной схемой предикативного словосочетания. Такое представление о структурной схеме предложения (ср. сходное представление в работе М.Гиро-Вебер [Guiraud-Weber 1984], где, к сожалению, системно не представлены инфинитивные структуры) позволило автору

получить систематизированное описание семантики совокупности безличных предложений типа *У меня в ухе звенит, В комнате пахнет яблоками, Мне не спится, Светает, Здесь / Мне негде спать* и мн.др. [Сулейманова 1999]. Структурная схема инфинитивных безличных предложений, по-видимому, также может быть представлена как наложение некоторой базовой структурной схемы и инфинитивного предикативного словосочетания. В качестве базовой чаще всего может выступать – как и во многих других типах безличных предложений – дативная модель, ср. *Вам стрелять, Мне негде спать, Было бы (мне / ему) что подарить* (причем при различных прочтениях датива: ср. *Мне* – как возможный объект / субъект дарения). В ряде случаев, вместе с тем, в качестве базовой возможны аккузативные и генитивные базовые структуры, однако их удельный вес невелик. Они будут также рассмотрены в данной статье.

Предикативная (в нашем случае, инфинитивная, или – иначе – вторично-предикативная) составляющая может иметь различную формальную структуру и, соответственно, вносить различную информацию о внеязыковой действительности. Так, с учетом именно предикативной (= инфинитивной) составляющей можно выделить несколько типов формальной организации высказывания (см. ниже).

Предлагаемое представление позволяет, во-первых, более системно представить совокупность инфинитивных предложений; во-вторых, выстроить иерархию признаков и точнее определить их статус; в-третьих, предложить более точные семантические описания.

2.1. Дативные инфинитивные конструкции

Рассмотрим семантику дативной составляющей в составе структурной схемы предложения. Как мы пытались показать ранее [Сулейманова 1999], дативная структура - в случае если она выполняет функцию базовой модели, - вносит информацию о том, что носитель предикативного признака (НПП – А.В.Бондарко), или семантический субъект высказывания представлен как ощущающий результат действия, произведенного над ним [Сулейманова 1999, 115].

Начнем анализ с предложений типа *Мне негде спать*. Как мы пытались показать в [Сулейманова 2004], данная структура вносит информацию о том, что

- говорящий констатирует наличие / отсутствие у X-а (где X-носитель предикативного признака, X может совпадать с говорящим) потенциальных условий для осуществления P;
- эти условия объективны, не зависят от X-а;
- условия заданы **местом** (или пунктом назначения – *негде, неоткуда, некуда*); **объектом** (*не о ком, не с кем, ни о чем, ни о ком*); **причиной** (*не*

зачем, ни к чему); **временем** (некогда); **возможностью** (нет необходимости, нет нужды).

Таким образом, в сферу действия модели включены многие коррелирующие структуры. Мы сочли возможным объединить ряд моделей под «общим знаменателем» в силу того, что ранг единиц, различающих их, безусловно можно отнести к второстепенным. Иными словами, при совпадении базовой структуры, при совпадении также инфинитивной предикативной составляющей (а это две основные компоненты модели), высказывания различаются только в объеме информации, вносимой второстепенными элементами – о их «второстепенности» свидетельствует то, что их возможное устранение не меняет коренным образом тип модели (см. подробный анализ и аргументацию в [Сулейманова 2004]).

В целом корпус инфинитивных моделей действительно можно представить, как это сделано в РГ, в виде двух групп, противопоставленных по признаку субъективности / объективности, и это как бы вполне согласуется с интуитивными представлениями о том, какую информацию вносят данные модели о внеязыковой ситуации. Такого указания на объективность / субъективность, вместе с тем, безусловно, недостаточно: так, неясно, что именно означают эти термины в данном случае – они слишком «размыты» для того, чтобы на их основе строить лингвистическое описание без предварительного четкого определения того, какое в них вкладывается содержание. Так, за объективностью (в случае с инфинитивными структурами) может стоять

– указание на то, что именно X «выбран» для осуществления события Р (причем выбран неясно кем – людьми, ситуацией в целом, силами судьбы и проч. – Это остается не обозначенным), это не его решение – *Так тому и быть, Мне теперь детей воспитывать, Вам решать;*

– указание на неотвратимость осуществления Р – *Быть тебе в раю.*

За субъективностью может стоять

– представление о том, что говорящий выражает свое мнение или мнение некоторого сообщества (рекомендации) относительно модели поведения, которой, по его мнению, должен следовать X: *Тебе бы помочь ей, а не смеяться;*

– мнение относительно способности / неспособности X-а осуществить Р

– констатация неспособности говорящего осуществить Р: *Тебя не узнать* и др.

Иными словами, указание на объективность / субъективность не позволяет уточнить описание семантики данных синтаксических структур, поэтому предлагаемое описание строится без учета данного признака.

Начнем рассмотрение с модели (1), представленной в высказываниях типа *Вам решать, Вам бежать (Ей выпало бежать первой), Не бродить,*

не мать в кустах багряных лебеды и не искать следа... (Есенин), Мне детей воспитывать, Так и быть, Так тому и быть. В них привносится представление о некоей «провиденциальности» – ситуация сложилась так, что у X-а нет выбора, он «выбран» для осуществления P. Эту модель часто обозначают как модальную, и с этим трудно согласиться – ср. *Вам нужно решать*, где присутствует модальность необходимости / долженствования, а именно: X **должен** осуществить P, тогда как интересующая нас модель вносит информацию о том, что X только выбран для осуществления P (и нет информации о том, что X должен обязательно это сделать). В данной модели X представлен как действующий независимо от своей воли – отсутствует информация о волеизъявлении, контролируемости за ходом событий, нет никакой информации о том, будет или нет иметь место событие P. Инфинитив может иметь только форму несовершенного вида – ср. неправильное **Вам решить*. По всей видимости, говорящий в этом случае исходит из презумпции, что X наделен способностью в принципе осуществлять действие, обозначенное инфинитивом. Инфинитив поэтому обозначает действие вообще *Вам бежать на длинную дистанцию*, или класс действий *Вам в этом сезоне бежать на длинную дистанцию*. Ср. *Вам выпало делать что-либо* и **Вам выпало сделать что-либо* – неправильность последнего предложения можно объяснить следующим образом – неконтролируемость со стороны X-а за осуществлением P (осуществимостью?) вступает в противоречие с подчеркнутой контролируемостью формы совершенного вида. При этом не ставится вопрос о целесообразности P, речь идет только о том, кто именно должен осуществить P, в позицию контраста попадает именно X, и таким образом оператор отрицания может занимать место только перед семантическим субъектом высказывания *Не вам решать, а мне*.

– модели типа (2): *Вам не решить всех проблем, Мне не понять, Тебя не узнать, Вам меня не понять*. Подчеркнем сразу, что эта модель отличается от предыдущей, во-первых, тем, что в ней представлен только инфинитив в форме совершенного вида (ср. предыдущую структуру типа *Не вам решать все проблемы* с инфинитивом несовершенного вида); во-вторых, сфера действия оператора отрицания, в отличие от первой модели, приходится на предикат (а не на семантический субъект, как в предыдущем случае). За указанными формальными различиями стоят существенные различия в семантике, а именно: данная модель вносит информацию об отсутствии у X-а предпосылок для осуществления P и тем самым о потенциальной невозможности для X-а осуществить P. Это значение соотносит ее со структурами, прямо выражающими модальность – *Вам меня не понять, Вы не сможете меня понять*; при сохранении, вместе с тем, отмеченных семантических различий;

– модели типа (3): *Вам бы (только) смеяться*, осложненные частицей *бы*, сигнализирующей о присутствии сослагательности в семантике модели. Ср. *Мне бы понять, чего вы хотите*. В ее отрицательной модификации инфинитив имеет форму совершенного вида.

– модели типа (4): *Саду – цвесть, Быть ему в раю*, как представляется, вносят информацию о «неотвратимости» наступления Р, его полной независимости от волеизъявления / приложения усилий со стороны кого-либо; событие неконтролируемо. (Ср. *Вам решать*, где Х представлен как «выбранный» для реализации Р);

– модели типа (5): *Вам ли жаловаться? Тебе ли не веселиться?* вносят информацию о том, что у Х-а есть / нет основания для осуществления Р, к первой фазе реализации которого Х уже приступил;

– модели типа (6): *Тебе бы (лучше) помочь нам, а не смеяться*, вносят информацию о том, что Х-у предлагается сделать выбор из по крайней мере 2 типов событий – Р1 и Р2 в пользу одного из них; при этом событие Р2 не обязательно эксплицировано;

– модели типа (7): *И царица хохотать, Она бежать* (строго говоря, последняя модель не безличная, однако мы все же рассмотрим ее в системе прочих инфинитивных структур по причинам, о которых скажем несколько ниже). *Она – идти, а он не пускает; Она было идти, а он не пускает*. Эта конструкция вносит информацию о том, что Х вступил в осуществление Р (начальная фаза протекания действия), характер Р таков, что оно обозначено предикатом «бесперспективного протекания» [Маслов 1948]; в данной модели может использоваться только глагол несовершенного вида – ср. **Она – пойти, *Она – захохотать, *Она – убежать*), что определяется именно тем, что Х представлен как вступивший только в первую фазу осуществления Р, и потому говорить о совершении, завершенности Р (что вносится формой совершенного вида) пока не имеет смысла.

Данная модель отличается от синонимичной модели с глаголом в личной форме типа *Она давай хохотать / начала хохотать* в том, что предикат *начать хохотать* вносит информацию о вступлении в Р, тогда как *она - хохотать* вносит информацию о том, что Х «зафиксирован» в момент уже идущего Р, Х уже вступил по крайней мере в конец первой фазы / начало второй фазы осуществления Р. (Ср. сходную ситуацию с моделями типа *Мне не спится*, где событие представлено как уже имеющее место к моменту вступления в него Х-а [Сулейманова 1999]).

2.2. Аккузативная безличная инфинитивная модель

Костей не собрать, Книг не сосчитать коррелирует с определенно-личной моделью *Костей не соберешь, Книги не сосчитаешь* – различие в

том, что последняя модель вносит информацию о том, что в основе обобщения лежит личный опыт говорящего (см. об этом [Яковлева 1992]). Ср. возможное продолжение *Книг у них – не сосчитать, и не пытайся*, и *Книг у них – не считаешь* (носитель предикативного признака почти попытался это сделать, но отбросил как невозможное).

Литература

Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 2001.

Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 2001.

РГ 1980 – *Русская грамматика*. М., 1980

Сулейманова О.А. Проблемы русского синтаксиса: Семантика безличных предложений. М., 1999.

Сулейманова О.А. В развитие возможного подхода к семантике синтаксиса // *Языковые значения: методы исследования и принципы описания*. М., 2004, С.274-284.

Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1992.

Guiraud-Weber, M. *Les Propositions sans Nominatif en Russe Moderne*. Paris, 1984.

Leinonen, M. *Impersonal Sentences in Finnish and Russian*. Helsinki, 1985.

М.Я.Блох

ФАКТОР СЛУШАЮЩЕГО В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ

Совокупная система элементов языка делится на две принципиально различные части с точки зрения **формы их существования**. Одна часть – фиксированная, она строится готовыми объектами, отражаемыми прежде всего в разного рода словарях – толковых, синонимических, тематических, переводных и т.п. Эта часть в конечном счете является называющей, номинационной: перед обычным носителем языка она предстает в виде **словарного состава языка**, дающего имена предметам и явлениям мира. Но одних имен для представления о мире недостаточно. Для этого необходима и другая часть языка – нефиксированная, подвижная; она образуется тем, что называется «правилами соединения слов в предложения»; по-ученому говоря, она строится системой **моделей** словосо-

четаний, предложений, высказываний. Базовое описание этой части языка издревле было названо грамматикой.

Само выделение непосредственного предмета грамматики как «правил соединения слов в предложения», то есть соединения слов в речи для выражения мыслей-суждений, показывает органическую связь грамматики (грамматического строя языка) с осуществлением речевого действия в общении. Это значит, что классическое учение о грамматике, уходящее корнями в глубокую древность, содержит в себе принципиально важную часть теории общения, выделенной ныне в «снятом» виде в лингвопрагматику. Так или иначе, в представлениях прагматики или не прагматики, языкознанию по необходимости приходилось и приходится подвергать изучению не только внутренне-системную реальность языка, но также и его внешне-системную реальность, выявляющуюся в речевом пространстве, которое задается параметрами говорящего, слушающего, текста сообщения и условий общения, что обобщенно передается единым понятием «ситуация общения» и выражается также в подтексте понятия «речевой акт» [Карасик 1992].

И в традиционных, классически-грамматических, и в новейших, лингвопрагматических, представлениях речевого акта центральным объектом описания оказывается **говорящий**, что вполне оправдано, поскольку говорящий является непосредственно действующей силой общения. Вместе с тем по мере углубления в сущность общения за фигурой говорящего все отчетливой и значительней стала обрисовываться фигура **слушающего** как той способной к умственному восприятию личности (единичной или множественной), для которой и осуществляется речевое действие говорящего. И мы все более четко и наглядно осознаем, что **слушающий** заявляет свои права как на содержание, так и на форму сообщения, которое посылает ему говорящий: ведь сообщение предназначено именно для него, слушающего, который в ходе диалогического общения вот-вот и сам превратится в ответного («отзывного») говорящего [Блох, Поляков, 1992].

Итак, мы приходим к закономерному заключению, что слушающий отражен в речи говорящего отнюдь не только прямыми обращениями к нему (слушающему), но и всем воплощением речи – как содержательным, так и формальным. Говорящий в обычном общении строит свое сообщение, руководствуясь, с одной стороны, своей нуждой в передаче информации слушающему, а с другой стороны, характером запроса информации со стороны слушающего и одновременно такими свойствами его личности (постоянными или временными, выражающимися в особенностях речевого поведения «на данный случай»), которые являются существенными для развивающегося акта общения.

Личность слушающего представлена в сознании говорящего в виде некоторого образа, который для удобства изложения можно назвать «псевдослушающим». Псевдослушающие должны быть подразделены на два типа, в корне различающиеся между собой. Первый тип составляет образ («имидж») **реального, внешнего** слушающего, либо имеющийся в мозгу говорящего в готовом виде (слушающий заранее известен говорящему), либо складывающийся в ходе развивающегося акта общения. Второй тип представляет собой образ **внутреннего** слушающего, то есть образ «второго Я» при внутреннем общении говорящего с самим собой. Ясно, что акт внутреннего общения не требует специального приспособления речи говорящего (человека, ведущего разговор с самим собой) к личности слушающего, поскольку обе личности (личность-объект и личность-образ) совпадают. Поэтому дальнейшее рассуждение касается псевдослушающего первого типа, то есть мысленного образа внешнего, реального слушающего.

Одна из характеристик слушающего, кардинально важная для формирования речи говорящего, касается степени прямоты, с которой проявляется отношение слушающего к получаемому сообщению: в оценочном восприятии сообщения (оценочное восприятие отражается, помимо ответной реплики, в фатических языковых и кинесических сигналах, параллельных ходу общения) слушающий может быть искренен, а может быть и неискренен. Неискренний слушающий – это маска. Задача говорящего – как можно скорее разгадать, находится ли перед ним слушающий в маске или без маски. Если слушающий надел маску и маска разгадана, то говорящий скорее всего тоже наденет маску, и общение станет двусторонне-игровым, двусторонне-маскарадным. Значит, общение может быть искренним и маскарадным, а маскарадное общение – односторонним и двусторонним. В маскарадном общении существенная информация передается **импликациями**, она скрыта в подтексте [Ленская 1998]. Говорящий выбирает характер формулировок подлежащей передаче информации, исходя из того псевдослушающего, то есть из той образной модели находящегося перед ним слушающего, которая им создается по впечатлениям развивающегося акта общения. Понятно, что сама образная модель слушающего может меняться по мере развития акта общения. И она, как всякое субъективное впечатление или решение, может быть либо верной, либо неверной.

На данной ступени раскрытия свойств слушающего, релевантных для построения речи говорящего, укажем на необходимость соблюдения говорящим двух условий успешности нормального общения: во-первых, условия членораздельности речи; во-вторых, условия внятности, логико-семантической прозрачности речи. Эти условия одинаково важны для

всех этических разновидностей общения со стороны говорящего: доброжелательной и недоброжелательной, заинтересованной и равнодушной, уважительной и неуважительной и т.д. Отмеченные условия являются недействительными лишь в тех случаях, когда говорящий намеренно делает свою речь нечленораздельной и невнятной – чтобы унизить слушающего или завуалировать смысл речи, или же то и другое вместе [Блох 2004].

Разумный слушающий, какова бы ни была его оценка получаемого сообщения, прежде чем открыто реагировать на него, внимательно его выслушает. Невнимательный же слушающий – невнимательный по природе, или незаинтересованный в содержании сообщения, или случайно отвлеченный от последовательного прослушивания сообщения, – при прочих равных условиях, должен быть возвращен к прослушиванию соответствующим фатическим высказыванием говорящего. С другой стороны, среди слушающих выделяются два противоположных типа по их открытой оценочной реакции на сообщение (оценочному отзыву на информативное высказывание): одни слушающие готовы заведомо согласиться с сообщением, содержащим суждение говорящего, безоговорочно и мгновенно принимая его и одобряя, в то время как другие слушающие готовы заведомо возражать сообщению, безоговорочно и мгновенно отвергая суждение говорящего. Назовем первый тип слушающих конфирматистами, а второй тип – негативистами. Целевое общение с конфирматистами особых тактических приемов не требует – естественно, при условии их искренности. Что касается негативистов, то для успешного развития акта общения, то есть для успешного достижения говорящим своей коммуникативной цели, последнему полезно надеть маску коммуниканта, готового согласиться с негативистом – но согласиться небезоговорочно. Дальнейшая тактика говорящего будет состоять в том, чтобы посредством наводящих высказываний (для чего, между прочим, удобно использовать прямые и риторические вопросительные конструкции) превратить оговорки в главные тезисы своего сообщения, получающего таким образом большие шансы на успех.

Наконец, еще одно существенное деление псевдослушающих должно быть проведено с учетом фонда общих знаний говорящего и слушающего, необходимых для понимания сообщения.

Вопрос о фонде общих знаний коммуникантов, как известно, был ясно сформулирован и рассмотрен именно в лингвопрагматике как науке об использовании языка в непосредственных актах общения [Демьянков 1981]. Теоретическим результатом рассмотрения явилась лингвистическая интерпретация логического понятия **пресуппозиции** – «**предпредположения**» [Арутюнова 1973]. Пресуппозиция так и определяется по

своей букве как фонд общих знаний говорящего и слушающего, необходимый для адекватного восприятия и понимания **речи говорящего со стороны слушающего**.

Плодотворность этого понятия самоочевидна; его использование в разных направлениях языкознания помогло глубоко раскрыть явление подтекста и подойти с новых позиций к проблеме **смысла сообщения**.

Понятие пресуппозиции, закономерно развиваясь по мере его применения в лингвистических наблюдениях, все более отчетливо обращалось своей релевантностью не к слушающему как таковому, а к говорящему. В самом деле, ведь не слушающий, а говорящий начинает общение; не слушающий, а говорящий делает изначальное предположение о вышеуказанном «фонде общих знаний». А раз это так, то осмыслить и определить понятие пресуппозиции следует не просто в качестве соответствующего «фонда общих знаний», а как **предположение говорящего о наличии у слушающего** суммы сведений, необходимых для адекватного понимания высказывания (или смысла высказывания).

Следовательно, пресуппозиция есть движение мысли **говорящего**. Но параллельно с движением мысли говорящего должно, по необходимости, осуществляться и движение мысли **слушающего**, направленное на интерпретацию воспринимаемого высказывания. Если у говорящего имеется предположение относительно отправного информационного фонда слушающего, то у слушающего, со своей стороны, должно быть сформировано предположение об отправной («оперативной») **информационной базе** говорящего, необходимое для адекватного понимания его высказывания. Если предположение говорящего называется «пресуппозицией», то предположение слушающего разумно назвать **«постсуппозицией»**. Таким образом, мы будем различать, во-первых, общее понятие «коммуникативной суппозиции», во-вторых, частное понятие «коммуникативной пресуппозиции» (говорящий), и в-третьих, частное понятие «коммуникативной постсуппозиции» (слушающий) [Блох 2004].

Коммуникативная суппозиция реализуется в конкретных условиях двух контекстов: горизонтального (широкая ситуация общения) и вертикального (общий культурный фон общения). Для достижения успеха в акте общения суппозиции коммуникантов должны возможно более строго соответствовать друг другу. Чтобы соответствовать друг другу, а в идеале быть эквивалентными или тождественными, они должны адекватным образом строиться на аналогичных оперативных информационных базах – то есть на релевантном фонде общих знаний, органически связанных с обоими контекстами высказывания – горизонтальным и вертикальным. Указанное требование настолько важно, что может быть возведено в ранг **коммуникативно-когнитивного закона**. Нарушение этого закона

(то есть закона эквивалентности коммуникативной суппозиции), выражающееся в возникновении **ложной пресуппозиции** или **ложной постсуппозиции**, ведет к **информационному сбою** – ошибочной интерпретации смысла высказывания **слушающим**. Для того, чтобы возможность такого сбоя была сведена до минимума, а в идеале предотвращена, и говорящий (базирующий свое сообщение на пресуппозиции), и слушающий (базирующий свое понимание сообщения на постсуппозиции) должны сознавать свою коммуникативную ответственность друг перед другом.

Что касается говорящего, то его коммуникативная ответственность должна диктовать допустимую степень импликации смыслов в сообщении с точки зрения его понимания реальным слушающим. Но реальный слушающий присутствует для говорящего через свой образ, то есть он реализуется в сознании говорящего в виде псевдослушающего. И безотносительно к соответствию или несоответствию данного образа реальности (в идеальном общении, естественно, образ полностью соответствует реальности), по данному признаку псевдослушающие должны быть подразделены на пресуппозиционно-определенные и, следовательно, предсказуемые по своей реакции на сообщение, и пресуппозиционно-неопределенные, и, следовательно, непредсказуемые по данной реакции. Огромное влияние этого деления на форму и содержание сообщения самоочевидно.

В вышеприведенном делении слушающих и псевдослушающих мы указали на крайние, полярные типы тех и других. Между полюсами, как мы знаем, существует континуум. Таким образом, в актах общения возможно присутствия «чистых» типов коммуникантов по указанным характеристикам, а возможно присутствие и «смешанных» типов, совмещающих в себе черты обоих полюсов в разных пропорциях.

Итак, в любой речи, производимой говорящим или пишущим, отражается образ того, к кому эта речь обращена, то есть образ адресата речи. Условно этот образ мы назвали «псевдослушающим». В числе особо важных типологических характеристик псевдослушающего следует назвать, во-первых, степень внимания к речи (Внимательный – Невнимательный); во-вторых, степень искренности в ее оценке, которая будет выявлена в потенциальном отзыве (Искренний – Неискренний); в-третьих, этическое отношение к говорящему (Дружелюбный – Недружелюбный); в-четвертых, аксиологическая оценка речи (Подтверждающий – Отрицающий или Конфирматист – Негативист); в-пятых, оценка слушающего по степени предсказуемости его реакции или отзыва (Предсказуемый – Непредсказуемый). Ясно, что указанные характеристики слушающего, отраженные в его образе, то есть в псевдослушающем, должны непременно учитываться говорящим для того, чтобы процесс общения

эффективно удовлетворил поставленную говорящим коммуникативную цель.

Литература

Арутюнова Н.Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. М. 1973, т. 32, № 1.

Блох М.Я. Прагматика, этика и эстетика языкового общения // Лингвистика и лингвистическое образование в современном мире. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Д. Аракина. М., 2004.

Блох М.Я., Поляков С.М. Строй диалогической речи. М., 1992.

Демьянков В.З. прагматические основы интерпретации высказываний // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. М. 1981, т. 40, № 4.

Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 1992.

Ленская И.С. Проблема невербализованного содержания текста // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Иркутск, 1998.

Е.В. Терехова

РЕКУРРЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ЧАСТЬ АНГЛИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Данная работа посвящена рассмотрению устойчивых словосочетаний, получивших название *рекуррентные конструкции*, которые возникают и распространяются в современном английском газетном дискурсе в ответ на определенные экстралингвистические сигналы, как объективные, так и субъективные. Рассматриваемые нами конструкции частично нашли своё отражение в теоретических аспектах фразеологии А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского, положения которых составляют базу данного исследования, хотя они не получили своего «законного» места и не вычленяются из классификационной системы фразеологизмов, предложенной данными авторитетными учеными: идиом (*grass widow*); коллокаций (*to pay attention to, the Wall Street meltdown*); пословиц (*time and tide wait no man*); поговорок (*all hat and no money*); крылатых слов (*red under the bed*), а также грамматических и синтаксических фразеологизмов (*whatever you do...; once committed...*). [Баранов, Добровольский 2008, 9]. Автор данной работы, используя примеры, заимствованные из английского политического газетного дискурса, даёт определение этому «летучему» отряду конструкций, появляющемуся на периферии уже сложившейся системы

фразеологических единиц, анализирует их типы и предлагает критерии их выделения.

Рекуррентными конструкциями мы считаем коллокации, которые воспроизводятся событийно или жанрово отнесённым дискурсом. Они также могут восприниматься и как свободные словосочетания, если не будут связаны, например, с данным событием и не обслуживают его. Но как только они попадают в сферу дискурса определенного события, в нашем случае политический дискурс, свободные словосочетания могут утратить свою «свободу», событийность текста «связывает» их, превращая в конструкции, которые впоследствии тиражируются в текстах СМИ. Решение назвать эти словосочетания *рекуррентными конструкциями* вызвано также тем, что, во-первых, они возникают в сегодняшнем дискурсе, на пике событий дня. Во-вторых, пока сложно определить, как будет складываться частотность употребления подобных конструкций, иными словами, насколько они будут востребованы и начнут воспроизводиться, или тиражироваться другими авторами в других СМИ.

Объект нашего изучения намного легче будет поддаваться анализу, если ему предпослать набор критериев, которые послужат нам инструментом исследования «среды обитания» (в том числе и Интернет-среды) наших «организмов» – рекуррентных конструкций. Чтобы иметь право называться *рекуррентной конструкцией*, она должна отвечать следующим критериям:

1. Быть *неоднословной* или *сверхсловной* (выражение В.Н. Телии), т.е. состоять из двух или более слов, например, «*unedifying spectacle*» – ‘отвратительное зрелище’, «а *back-room plan*» – ‘«закулисный» план, план, разработанный в результате секретных переговоров’, и т.д. [Телия 1995,10].

2. Иметь *ключевое слово*, которое в рекуррентной конструкции из двух или более слов должно быть *слабоидиоматичным* или *идиоматичным*, например, «*friendly fire*» – ‘вызывать огонь на себя/огонь «по своим»’, или дословный перевод – ‘дружественный огонь»; «*damage control*» – ‘минимизация негативных последствий (типично американский политкорректный перевод)’. Сегодня всё чаще СМИ предпочитают данную конструкцию передавать словом «зачистка», и цель подобной интерпретации очевидна: не допустить негативную оценку события в сфере соприкосновения с адресатом.

Ещё один пример – «*stump speech*». Перевод этого словосочетания – ‘импровизированная речь кандидата во время агитационных поездок по стране’. Анализ этого рекуррентного словосочетания указывает на его идиоматичность и образность, поскольку «*stump*» – это пень, именно это слово в нашем сочетании нетривиальное, нестандартное, в то время как

слово «speech» ‘речь’ – нейтрально и маркировано. Визуально передаваемый этим словосочетанием образ – образ кандидата, взгромоздившегося на пенёк, в походных условиях произносящего свою предвыборную речь, которая часто бывает шумной, грубоватой, стилистически не очень хорошо отредактированной. По-видимому, у всех россиян определённого возраста сразу же в памяти по аналогии возникает другой лидер, другой страны, державший подобную речь с броневика. Нас эта конструкция привлекает именно подобной образной направленностью, характерной для живого разворачивающегося политического дискурса.

3. Характеризоваться слабой идиоматичностью за счёт одного из слов конструкции, например, «*glut* of weapons» – перенасыщенность оружием, словарное значение слова «glut» – ‘обжора’; «*healthy and robust* market» – здоровый и крепкий /сильный рынок, причём первые два определяющих слова, «*healthy & robust*» по своему первому словарному значению характеризуют ребёнка. В обоих примерах, таким образом, наличествует связанная с идиоматичностью образность.

4. Обладать способностью к тиражированию (воспроизведению). Если конструкция не тиражируется, по определению это уже не рекуррентная конструкция, например, «*bulldog* spokesman» – ‘бульдог’, ответственный пресс службы за ранний выпуск утренних газет’. Эту конструкцию сложной для выявления её внутренней формы делает первый компонент словосочетания – *bulldog* ‘бульдог’. Среди множества словарных значений этого слова нам удалось вычленить значение «упорный цепкий человек», которое наиболее близко к передаче предложенного нами варианта перевода. Хотя по аналогии с другим рекуррентным словосочетанием – «party whip», которое уже довольно широко воспроизводится политическим дискурсом, приводимое в словаре значение как ‘партийный организатор (в Парламенте Великобритании и в Конгрессе США; следит за партийной дисциплиной в парламентской фракции; обеспечивает присутствие членов своей партии на парламентских заседаниях и их участие в голосовании)’, мы полагаем, имеет аналогичную тенденцию извлечения общего значения, как и наше искомое словосочетание «bulldog spokesman» – общее значение устойчивого словосочетания не выводится из суммы значений каждого из компонентов. С другой стороны, конструкции типа «*landslide* win» – ‘блестящая победа/полный разгром соперника’ или «*sweeping* layoffs» – ‘повсеместные/широкие сокращения’, воспроизводятся многими СМИ. Небезынтересен для анализа пример «*coattail* liberals» – либералы, пользующиеся чьим-то покровительством. В СМИ можно также встретить яркий экспрессивно-оценочный перевод этого словосочетания с негативной оценкой – прихвостни, которое передаёт внутреннюю форму слова, в основе которой

лежит образ «повиснуть у впереди стоящего человека на хвосте», в нашем примере хвост актуализируется фалдами фрака, по своей форме, действительно, напоминающими хвост. Эту конструкцию так же широко тиражируют газеты.

5. Быть *событийно и жанрово отнесёнными конструкциями*. В качестве примера здесь вполне уместно было бы привести развёрнутый контекст, событийно относящийся к времени избирательной кампании, а по своей жанровой принадлежности – к политической статье из журнала «Newsweek»: «The Obama war room responded with a not-so-subtle crack about selling the Lincoln Bedroom in the Bill Clinton administration. The Clintonites were delighted – as they saw it, the Obama team had taken the bait and fallen into a trap. <...> It was an all-hands-on-deck moment...». В приведённом примере политического дискурса по закону жанра разворачивается определённое событие – предвыборная кампания 2008 года. На фоне данного события нападающая команда Хилари Клинтон пытается заставить держащую оборону команду Обамы «заглотить наживку и попасть в ловушку». «Оперативный штаб» Обамы неловко отбивается от наскоков «Клинтоновцев», отмочив неудачную шутку о том, что Администрация Билла Клинтона продала спальную гарнитуру Авраама Линкольна, – и в конечном итоге оба лидера дают команду своим сотрудникам «свистать всех наверх». Пример интересен тем, что в нём чётко просматриваются образы охотника и преследуемой им дичи, травля зверя и попытка последнего отбиваться. Курсивом выделены рекуррентные конструкции, которые относятся к различным типам: рекуррентным словосочетаниям (*war room*) и рекуррентным конструкциям предикатного типа (*to take the bait, to fall into a trap*). Мы также выделили грамматически устойчивое словосочетание, композитное слово и поговорку, которые находятся за рамками нашего рассмотрения, но которые, тем не менее, представляют интерес для анализа – это (*an all-hands-on-deck moment*), (*Clintonites*) и (*a not-so-subtle crack*), соответственно.

6. *Не быть зафиксированными* (кодифицированными) в общих и специальных словарях, например, «(*Iron*) *Bladder* diplomacy» – многочасовые переговоры; «Just give me *one-armed advisors*. Don't give me any more people who tell me "on the one hand, on the other hand" – 'Мне не нужны рефлектирующие советники. Дайте мне таких людей, которые сами чётко представляют, чего они хотят'. Если первый пример легко поддаётся категоризации, что позволяет нам отнести его к типу рекуррентных словосочетаний, то по причине своей идиоматичности и наличия внутренней формы (образа) он довольно труден для семантического анализа. Второй пример довольно сложен и в семантическом, и в грамматическом плане. Он не прозрачен, поэтому буквальный перевод, с наскака,

не пройдет: перевод композитного словосочетания (*one-armed advisors*) как *‘однорукие советники’ будет неверен. В языке перевода меняется и синтаксический строй предложения. Лишь благодаря развёртыванию дискурса можно понять, что речь идёт о нежелании советников брать на себя всю полноту ответственности за принимаемые руководителем, но ими предложенные решения. Как следствие, они постоянно предлагают различные альтернативы и варианты решения проблемы (*on the one hand, on the other hand*), что буквально по-английски переводится «с одной руки, и с другой руки» и соответствует русскому устойчивому выражению «с одной стороны, и с другой стороны».

7. Соответствовать одному из двух выделяемых нами типов рассматриваемых конструкций, (а) рекуррентным словосочетаниям или (б) рекуррентным конструкциям предикатного типа, например, (а) «а *suicide belt*» – пояс смертника/шахида; и (б) «*America lost its innocence on 9/11*» – Америка утратила свою наивность после теракта 11 сентября (выражение принадлежит Госсекретарю США Кондолизе Райс). Более подробно они рассматриваются ниже.

Рекуррентные словосочетания и рекуррентные конструкции предикативного типа

После того, как было дано определение понятия рекуррентных конструкций в английском политическом дискурсе и выделены критерии, которым они должны отвечать, ниже мы проиллюстрируем два основных типа рекуррентных конструкций, которые нами выделяются в данной работе. Мы исходим из того, что в английском политическом дискурсе широко употребляются:

(а) рекуррентные словосочетания, состоящие из двух или более слов, из которых одно, имя существительное, является маркированным, а одно или более немаркированными, нестандартными словами, которые могут быть простыми или композитными. В качестве этих, определяющих, слов выступают имя существительное или прилагательное; и

(б) рекуррентные конструкции предикатного типа, в качестве которых выступают, как правило, предложения или его части, неизменным атрибутом которых является предикация.

Рассмотрим каждый из этих двух типов рекуррентных конструкций:

Рекуррентными словосочетаниями, 90% которых составляют коллокации, являются такие сочетания слов как (1) *time window* (‘временное окно, временной интервал, интервал времени’), (2) *brain trust*, (‘мозговой трест/пул’), (3) *gut reaction* (‘инстинктивная реакция’, буквальный перевод – ‘ощущение /ощущать «нутром /печёнкой»’), (4) *hawkish party* (‘воинственная партия’), (5) the *political traffic* (‘политическое движение’), (6)

unsettling images ('тревожащие образы'). По определению этот тип словосочетаний состоит из неоднословных, т.е. минимально состоящих из двух лексических единиц конструкций. Прототипическим, то есть, нейтральным, уровнем данных рекуррентных конструкций является *определяемое слово*, – в наших примерах оно выделено курсивом, это слово семантически маркированное, оно главное и нейтральное в словосочетании. *Определяющими* эти прототипические слова могут выступать как имена существительные, так и прилагательные, которые играют в этих конструкциях главную роль, поскольку именно они являются нестандартными и «нетривиальными» (термин А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского) – в наших примерах они *выделены и подчеркнуты*. Эти зависимые слова могут характеризоваться слабиодиоматичным значением в силу наличия образной формы – *hawkish, gut, brain*, а их план содержания слабо поддается передаче на русский язык посредством простых стандартных правил перевода. Далее мы подробно остановимся на моделях образования этого типа рекуррентных словосочетаний и нестандартных способах их интерпретации и перевода.

Мы провели количественный и качественный анализ рекуррентных конструкций (РК) данного типа в плане их воспроизведения политическим газетным дискурсом, и, пропустив их через поисковый механизм «google» несколько примеров словосочетаний, по результатам количественного и квалификативного анализа обнаружили, что

- РК (1), time window – 'временное окно', в политико-экономической сфере качественно изменилась, расширила своё значение до концепции «единое окно». Эта конструкция была воспроизведена только один раз, просмотрено 200 примеров. Все остальные случаи употребления данной конструкции, принадлежат телекоммуникационной и компьютерной областям применения [Wikipedia: www.sptimes.ru/story/12306].

- РК (2), brain trust – 'мозговой трест/пул', имеет очень широкое тиражирование: найдено 120 примеров употребления этой конструкции в узкоспециальном физиологическом значении. Только в 22 случаях анализируемая конструкция употреблена в расширенном значении 'группы людей, советников и консультантов, помогающих первому лицу принимать решение', областью функционирования которой является политика [Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Brain_Trust].

- РК (3), gut reaction – 'инстинктивная реакция', довольно широко тиражируется в политической области применения, найден 51 случай её употребления. Как и РК (2) эта конструкция очень активно воспроизводится СМИ. Обе конструкции были также обнаружены в других областях функционирования: они «со вкусом» воспроизводятся в художественной

литературе – имеются книги, песни, фильмы под одноимёнными названиями. Однако наряду с политической сферой и музыкально-литературной областью их употребления были найдены примеры терминологической, узкопрофессиональной интерпретации этих конструкций, например, область медицины, физиологии, спорта и т.д. [[Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Feeling](http://en.wikipedia.org/wiki/Feeling)].

- Найдено 440 примеров тиражирования ПК (4), hawkish party – ‘воинственная партия, партия ястребов’, причём в исключительно политическом дискурсе. Кроме анализируемой нами рекуррентной конструкции «hawkish party», были также выявлены такие конструкции как «hawkish language», «hawkish amendment» и «hawkish statement», заимствованные из выступлений Президентов США и лидеров других стран. Это является свидетельством возможности дальнейшего расширения значения данной рекуррентной конструкции, как и других, за счёт её маркированных нейтральных слов [[en.wikipedia.org/wiki/Socialist Party USA](http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Party_USA)].

- Найдено только один воспроизведённый пример этой ПК (5), political traffic – ‘политическое движение’, в политическом дискурсе – это несколько видоизменённая конструкция «political spam traffic» – ‘распространение спама в политических целях’. Все остальные словосочетания, а их было найдено и просмотрено 137, используются в ином значении, например «trafficking» – ‘торговля людьми’ – с прилагательным «политический» или без него [[www.spamfighter.com /News-10920-Political-Spam-Traffic](http://www.spamfighter.com/News-10920-Political-Spam-Traffic)].

- Просмотрено 320 примеров ПК (6), unsettling images – ‘тревожащие образы’, найден только один случай его тиражирования политическим дискурсом. Прочие случаи воспроизведения данной конструкции относятся к областям литературы, психологии, художественной фотографии и т.д. [www.guardian.co.uk].

Рекуррентные конструкции предикатного типа в соответствии с нашим определением – это, как правило, двусоставные предложения, или части предложения, с подлежащим и сказуемым, обладающие предикативностью, относящей содержание предложения к действительности. Их количество не столь велико по сравнению с первым типом конструкций, главную роль в них играют глагольные словосочетания. Приведём примеры: 1). *New President will have to bridge gaps between Israel and Palestine as well as to bridge cultural divides* – ‘Новому Президенту *н*удётся *искать точки соприкосновения* между Израилем и Палестиной, *сокращая пропасть культурных различий* между ними». 2). *He drew the short stick of history* – «Он *вытащил/ему выпал свой жребий* в истории». 3) «Phil Gramm noted<...> that «we’ve sort of *become a nation of whiners*»

– ‘Фил Грамм отметил, что «мы, в некотором роде, превратились в нацию *нытиков*»’.

Рассмотрение рекуррентных конструкций предикатного типа на массиве текстов позволило нам выявить и обобщить специфику синтаксиса используемых дискурсом конструкций. Их изучение показывает, что образовался определённый типичный контекст, позволяющий дифференцировать уровни «конвенциональной» семантики маркированного слова в процессе. [Манаенко 2004, 60]. Анализ примеров рекуррентных конструкций предикатного типа, как правило, представленных предложениями, начинается с поверхностного уровня, вычленения сказуемого – оно способствует осознанию и пониманию плана содержания данной единицы. Подлежащее обычно не вызывает трудностей, поскольку главная роль в этих конструкциях отведена сказуемому: именно на фоне предиката-сказуемого в конструкциях предикатного типа можно распознать их образную составляющую, что, в свою очередь, способствует передаче коннотативного экспрессивно-образного оценочного компонента конструкции.

Интерпретация таких конструкций начинается с их буквального восприятия, иными словами, буквального перевода – это всегда помогает вызывать в памяти у читателя или слушателя образное представление плана содержания. По выражению Н.Д.Арутюновой, такое «слияние образа и смысла контрастирует с тривиальной таксономией объектов, актуализирует «случайные связи», не сводит интерпретацию дискурса к буквальной парафразе» [Арутюнова 1990, 20]. Рассмотрим пример, «*When something hits one newspaperman, the others usually circle wagons*» – ‘Когда задевают одного журналиста, остальные, как правило, занимают круговую оборону (смыкают свои ряды)’. Однако, к приведённому выше варианту перевода, и, соответственно, пониманию оригинальной конструкции «*the others usually circle wagons*», и её плану содержания, мы приходим не сразу. Ниже приводится механизм поуровневого анализа конструкций данного типа:

(1) Уровневая иерархия, сопутствующая пониманию значения, начинается с первого уровня, на котором происходит буквальный перевод конструкции предикатного типа, в результате чего мы получаем выражение «...остальные обычно *ставят вагоны в виде круга*». На следующем этапе происходит переосмысление и метафоризация этого выражения, что помогает нам выйти на следующий уровень понимания: «во времена опасности караваны запряжённых лошадьми повозок/вагонов *составляли в круг*, помещая внутри женщин и детей, чтобы мужчинам их было легче защищать». Такое понимание контекста в равной степени относится и к временам завоевания американского запада белыми переселенцами

(carpetbaggers) США, и к русским купцам, продвигавшим свои товары с севера на юг и востока на запад. Первые вели затяжные войны с коренным населением Америки, индейцами, вторые – с нападавшими на них по дороге разбойниками и грабителями.

Так, подобное поуровневое восприятие интерпретируемого события, передаваемого рекуррентной конструкцией предикатного типа, в конечном итоге, помогает снять трудности в понимании и переводе «... на уровне конвенционального значения, на уровне личностного смысла и на глубинно-архетипическом уровне восприятия» [Кабакова 1999, 3-4].

(2) Нерегулярность – это использование при формировании языкового выражения менее общего правила при наличии более общего [Баранов, Добровольский, 2008, 54]. Это последнее замечание относится к обоим типам конструкций, рекуррентным словосочетаниям, но в большей степени – ко второму типу выделяемых нами конструкций: рекуррентным конструкциям предикатного типа. Поясним на примерах. Сравнение двух языковых выражений, «*headquarters*» и «*war room*», говорит о следующем: первое из двух приведенных языковых выражений – композит, второе – устойчивое словосочетание (рекуррентная конструкция/коллокация). Первое слово сформировано по общим правилам словосложения, второе выражение – по менее общим правилам, с привлечением синтеза языковых выражений. Хотя их значение и перевод примерно одинаковы, политический дискурс газет постоянно отдаёт предпочтение конструкциям, сформированным на базе менее общих правил, чем готовым, уже сформированным в языковом фонде словам, а именно «*war room*».

Подобный аспект нерегулярности, а именно – применение менее общего правила при образовании рекуррентного словосочетания «*war room*» – (командный пункт/оперативный центр) с когнитивной точки зрения проявляется в осложнённом процессе порождения языкового выражения. Словосочетание «*war room*» – устойчивое словосочетание, в котором второй его компонент является маркированным и нейтральным, «комната», а первый – нестандартным, необычным, несущим образность и идиоматичность. Это не может не указывать на связь нерегулярности с устойчивостью и идиоматичностью, как было уже отмечено, «нерегулярность может являться одной из причин устойчивости» [Баранов, Добровольский 2008, 55], что, в свою очередь, не может не влиять на понимание, интерпретацию и перевод анализируемого словосочетания или конструкции.

Особенно наглядно этот тезис проявляется в процессе понимания и анализа примеров рекуррентных конструкций предикатного типа, которые чаще всего представлены предложениями или микротекстами. Рас-

смотрим тексты примеров, (а) «At Coretta Scott King’s funeral, Ethel Kennedy whispered to Obama, “*The torch is being passed to you*”» – ‘На похоронах Коретты Скотт Кинг, Этель Кеннеди шепнула Обаме: «*Теперь эстафета переходит к тебе*»’. (б) «And Obama was upset with his own campaign after a low-level staffer referred in a press release to Clinton as “(D-*Punjab*)” – because of her ties to supporters of India» – ‘Обаму расстроил ход его предвыборной кампании, когда он узнал о том, что один из его младших штатных сотрудников штаба назвал Хилари Клинтон в пресс-релизе «*Д-Пунджаб*», по причине её связей со сторонниками Индии»’. Эта конструкция была использована сотрудником Обамы с целью дискредитации его соперницы, Хилари Клинтон, представив её как защитницу интересов выходцев из Индии на самом высоком уровне в Конгрессе, «демократом от штата Пунджаб».

Нетрудно заметить нерегулярный подход при формировании двух рекуррентных конструкций предикатного типа, рассмотрим первую из них – «*to pass the torch*» ‘передать эстафету’. Первое словосочетание имеет только одно словарное значение: ‘передать олимпийский огонь (факел)’. Это устойчивое идиоматическое словосочетание, которое в результате переосмысления, приобрело в политическом дискурсе значение ‘передать эстафету приемнику, продолжателю политической линии ушедшего человека’. Со сцены сначала убрали (убили) Мартина Лютера Кинга – эстафету/факел подхватила его вдова, Коретта Скотт Кинг. После её смерти их дело должен был подхватить и продолжить другой чернокожий человек, Барак Обама, но уже на посту Президента страны. Английский язык благодаря категории нерегулярности сумел синтезировать приведённую выше информацию и передать её путём формирования устойчивой идиоматической конструкции предикатного типа «The torch is being passed to you».

Второй пример ещё более показателен. Без применения правила формирования языкового выражения «D-Punjab» на базе менее общего правила, что позволяет сократить многочленное выражение до краткой формы *D-Punjab*, или без соответствующей внутритекстовой экспликации нам было бы весьма непросто переосмыслить конструкцию, вычленив лежащий в её основе образ, а затем интерпретировать и дать соответствующий перевод на русский язык как ‘быть демократом от штата Пунджаб’.

Таким образом, наша гипотеза относительно типов и моделей рекуррентных конструкций, высказанная в статье, подтверждает путём анализа приведённых примеров тот факт, что основой возникновения и базой последующего расширения применения рекуррентных конструкций является их повторяемость, воспроизводимость и тиражирование. В силу того,

что рекуррентные конструкции обоих типов функционируют в сфере политического дискурса, они обладают высокой экспрессивностью, характеризуются устойчивостью и различной степенью идиоматичности. Конструкции образуются по определённым языковым правилам, на основе определённых моделей. Иерархические уровни анализа рекуррентных выражений предикатного типа и категория нерегулярности их образования, с нашей точки зрения, являются основными характерными особенностями данного типа конструкций.

Литература и источники

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. // Теория метафоры. М.: Наука, 1990. С. 5-32.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008.

Кабакова С.В. Образное основание идиом (психолингвокультурологические аспекты). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: ИЯз РАН, 1999.

Кубрякова Е.С., Александрова О.В. Виды пространств текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время. - М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 34-36.

Манаенко Г.Н. Предикация, предикативность и пропозиция в аспекте «информационного» осложнения предложения [Текст] / Г.Н. Манаенко // Филологические науки. 2004. №2. С. 59-68.

Паршин П.Б. Понятие идиополитического дискурса и методологические основания политической лингвистики [Электронный ресурс] / П.Б. Паршин – www.elections.ru/biblio/lit/parsshin (23.03.1999).

Телия В.Н. Основные особенности значения идиом как единиц фразеологического состава языка // Словарь образных выражений русского языка. Под ред. В.Н. Телия - М.: Отчизна, 1995. С. 10-16.

Beard, Adrian. The Language of Politics. Routledge, NY, 2000. P. 134.

Gläser, R. Syntactic and Semantic Aspects of Phraseological Unit. // Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. Jg.26, H.4. S. 351-355. (Цит. по: Алехина, Е.В. О критериях выделения идиом в зарубежной лингвистике / Е.В. Алехина // СПб: Вестник СПбГУ, 1978).

Англо-русский словарь Cobuild English Dictionary. Collins Gem Cobuild Dictionary, М. 2004.

АВВУ Lingvo 12. Английская версия [Электронный ресурс]. М., 2006. 1 электронный оптический диск (CD-ROM).

Blinder, Alan. Six Errors on the Path to the Financial Crisis. International Herald Tribune. 2009. January, 25.

Библиографический список научных трудов Н.Н.Семенюк

Монографии, статьи, рецензии

1. Язык города Нюрнберга в XV в. по материалам народной драмы (к вопросу о соотношении письменной и устной форм языка немецкой народности в XV веке). Кандидатская диссертация. М., 1954.– 175 с.
2. Язык города Нюрнберга в XV в. по материалам народной драмы (к вопросу о соотношении письменной и устной форм языка немецкой народности в XV веке). Автореф. канд. диссертации. М., 1954. – 22 с .
3. О соотношении письменного и устного языка немецкой народности // Ученые записки МГПИИЯ. № 19. М., 1959.
4. Некоторые вопросы построения парадигматических рядов немецкого литературного языка // Проблемы морфологического строя германских языков. М., 1963. С.164-175.
5. Einige Probleme der sprachgeschichtlichen Untersuchung der deutschen periodischen Literatur des 18. Jahrhunderts // Forschungen und Fortschritte. Berlin, 1964. 38. Jg., H.6. S.178-182.
6. Некоторые вопросы изучения вариантности // Вопросы языкознания. 1965. №1. С.48-55.
7. К характеристике лингвистических традиций разных жанров письменности (на материале немецкой письменности) // Вопросы языкознания. 1966. №6. С.60-70.
8. О III Международном конгрессе германистов в Амстердаме // Вопросы языкознания. 1966. №3. С. 125-127
9. Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия. Монография. М., Наука, 1967. – 300 с.
10. О социальном аспекте рассмотрения литературного языка. Тезисы докладов (совместно с М.М.Гухман) // Проблемы нормы и социальная дифференциация языка. М., 1967. С.5-8.
11. Grammatische Normen des 18.Jhs. als eine Etappe in der Entwicklungsgeschichte der deutschen Literatursprache // Forschungen und Fortschritte. Berlin, 1967. 41. Jg., H.1. S.19-22.
12. Рецензия: Т.И.Сильман. Проблемы синтаксической стилистики (на материале немецкой прозы) // Филологические науки. 1968. № 4. С. 89-91.
13. О социологическом аспекте рассмотрения литературного языка (совместно с М.М.Гухман) // Проблема нормы и социальная дифференциация литературного языка. М., 1969. С.5-25.

14. Норма // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. Отв. ред. Б.А.Серебренников. М., Наука, 1970. С.549-595.
15. Некоторые вопросы дифференциации языка в немецкой лингвистической литературе (о социологическом аспекте изучения языка) // Филологические науки. 1971. № 5. С.82-91.
16. Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка. Монография. М., Наука, 1972. – 156 с.
17. Zustand und Evolution grammatischer Normen des Deutschen in der 1.Hälfte des 18.Jhs. am Sprachstoff der periodischen Schriften // Studien zur Geschichte der deutschen Sprache. Bausteine zur Geschichte des Neuhochdeutschen, 49. Hrsg. von Günter Feudel. Berlin, 1972. S.80-168.
18. Формирование норм немецкого литературного языка первой половины XVIII столетия. Докторская диссертация. М., 1973. – 483 с.
19. Формирование немецкого литературного языка первой половины XVIII столетия (на материале периодических изданий). Автореф. докт. дисс. М., 1973. – 47 с.
20. Два немецких разговорника XVIII столетия (к характеристике общо-разговорного языка) // Philologica. Исследования по языку и литературе. Памяти Виктора Максимовича Жирмунского. Л., 1973. С.66-75.
21. Norm // Allgemeine Sprachwissenschaft. Bd. 1, Existenzformen, Funktionen und Geschichte der Sprache. Hrsg. von Boris A.Serebrennikov (Übersetzung aus dem Russischen). 2.Aufl., Berlin, 1975. S.454-493.
22. О функциональном аспекте типологического изучения германских литературных языков // Типология германских литературных языков. М., Наука, 1976. С.61-78.
23. Социальный аспект языка в историческом рассмотрении // Теория языка. Англистика. Кельтология. М., Наука, 1976. С.97-101.
24. О некоторых принципах изучения литературных языков и их истории (совместно с М.М.Гухман) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1977. Т. XXXVI. № 5. С.435-444.
25. К характеристике разных видов варьирования в истории немецкого языка // Социальная и функциональная дифференциация литературных языков. М., Наука, 1977. С.109-129.
26. Zur Untersuchung der deutschen Literatursprache unter soziologischem Aspekt//Existenzformen germanischer Sprachen (совместно с М.М.Гухман). Berlin, 1977. S.35-53.
27. Функционально-стилистическая дифференциация литературного языка как один из видов социолингвистического варьирования //

- Теоретические проблемы лингвистики (на английском, немецком, французском и испанском языках). М., 1977. С.42-48.
28. К типологии форм существования немецкого языка // Проблемы общего и германского языкознания. Сборник в честь проф. Н.С. Чемоданова. М., 1978. С. 116-125.
 29. Лексикографические источники и «языковая ситуация» // Язык и текст. Сборник научных трудов МГПИИ им. М.Тореза. Выпуск 103. М., 1978. С. 136-143.
 30. К развитию советской германистики // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1979. Том XXXVIII. №1. (совместно с О.И.Москальской). С.431-435.
 31. Das XVII. Jahrhundert als Übergangsperiode in der deutschen Sprachgeschichte // Akten des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses. Basel, 1980. Teil. 2. Frankfurt/M., Las Vegas, 1980. S.431-435.
 32. Zur Ausbildung der Norm der deutschen Literatursprache im Bereich des Verbs (1470-1730). Tempus und Modus (Bausteine zur Geschichte des Neuhochdeutschen. 56/5). Berlin, 1980. (совместно с М.М.Гухман). – 278 S.
 33. О роли культурно-исторических факторов при периодизации истории литературного языка // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Выпуск журнала к 70-летию проф.Гюнтера Фойделя. 1980. Bd.33. Н.1. S.136-142.
 34. Категория времени и текст в исторических исследованиях // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Выпуск журнала к 75-летию проф. М.М.Гухман. 1980. Bd.33. Н.3, С.136-142.
 35. Германистика в Советском Союзе: планы и итоги (совместно с В.Н.Ярцевой) // Общественные науки и современность. 1980. №3. С.131-147.
 36. Наддиалектные формы в истории немецкого языка и некоторые аспекты их изучения (совместно с М.М.Гухман) // Типы наддиалектных форм языка. М., Наука, 1981. – С. 120-136.
 37. Einige Fragen der Periodisierung des Deutschen (совместно с М.М.Гухман) // Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte. Bd. 88. Berlin, 1982. S.15-99.
 38. История немецкого литературного языка Ч.1, IX-XV вв. (совместно с М.М.Гухман.). М., Наука, 1983. – 300 с.
 39. История немецкого литературного языка. Ч.2, XVI-XVIII вв. (совместно с М.М.Гухман и Н.С.Бабенко). М., Наука, 1984. – 248 с.
 40. Versuch einer Rekonstruktion der Sprachsituation im 18. Jahrhundert anhand von lexikographischen Daten bei Johann Christoph Adelung //

- Sprache und Kulturentwicklung im Blickfeld der deutschen Spätaufklärung. Der Beitrag Joh. Chr. Adelungs. Hrsg. von W. Bahner. Berlin, 1984.
41. Luther und Karlstadt. Zur Frage der sprachlichen Tradition // Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte, Bd. 119/I. Berlin, 1984. S.48-58.
 42. Soziokulturelle Voraussetzungen des Neuhochdeutschen. Das Neuhochdeutsche in seiner Entwicklung vom 17. bis zum 20. Jahrhundert // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Hrsg. von Werner Besch, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger. 2. Halbbd. Berlin; New York, 1985. S.1448-1466.
 43. О реконструкции функциональных парадигм языка в историко-лингвистических исследованиях // Функциональная стратификация языка. М., Наука, 1985. С. 157-169.
 44. Einige Aufgaben der historischen Grammatik des Deutschen in der Gegenwart und die Traditionen J.Grimms in der Grammatikschreibung (совместно с Н.С.Бабенко) // Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte, Bd. 162. Berlin, 1987. S.35-52.
 45. Рецензия на монографию С.А. Миронова «История нидерландского литературного языка» // Вопросы языкознания. 1988. №2. С.113-116.
 46. Müntzer und Karlstadt/ Zur Frage nach der Persönlichkeit und Sprache // Thomas Müntzers deutsches Sprachschaffen. Referate der internationalen sprachwissenschaftlichen Konferenz. Berlin, 23.-24. Okt., 1989. Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte, Bd. 207. Berlin, 1989. S. 129-134.
 47. Немецкий язык (совместно с Б.А.Абрамовым) // Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.Н.Ярцева. М., 1990. С. 329.
 48. Статус и некоторые проблемы стилистического варьирования: исторический аспект // Языки мира. Проблемы языковой вариативности. М., Наука, 1990. С.36-51.
 49. Языковая ситуация и «языковая личность» в эпоху немецкой Реформации (Лютер и Карлштадт) // Общее и восточное языкознание. Сборник трудов, посвященных 70-летию член-корреспондента РАН В.М.Солнцева. М., 1990. С. 123-131.
 51. Stilistisches Variieren unter historischem Blickwinkel // Begegnung mit dem Fremden. Grenzen, Traditionen, Vergleiche. Akten des VIII. Internationalen Germanistenkongresses. Bd.3. Tokyo, 1990. S.125-132.
 52. Zur Funktion der mundartlichen und umgangssprachlichen Elemente in den Denkmälern des XVII. Jhs. // Beiträge eines Kolloquiums zu Ehren von Theodor Frings. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Bd.73, H.1. Berlin, 1990. S.240-248.

53. О некоторых аспектах изучения исторического синтаксиса немецкого языка // *Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung*. 1991. Bd.44. H.1. S.102-110.
54. О прагматическом основании нормализационных процессов // *Прагматические аспекты функционирования языковых единиц*. Воронеж, 1991. С. 11-20.
55. Некоторые особенности синтаксических процессов в истории немецкого языка // *Типология языков и межуровневые связи*. Сборник научных трудов МГЛУ. Выпуск 382. М., 1991. С. 121-129.
56. Sprachnormung im Aspekt der kultur-historischen Entwicklung // «Das Wort». *Germanistisches Jahrbuch, DAAD*. Выпуск IV. Moskau, 1992. S.85-95.
57. Zur Sprache der ältesten deutschen Zeitungen des XVII. Jhs.: Syntaktische Textstruktur // *Methoden zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen*. Studien des deutsch-japanischen Arbeitskreises für Frühneuhochdeutschforschung. Hrsg. von O.Reichmann, K.J.Mattheier, H.Nitta und M.Ono. München, 1993. S. 148-159.
58. Zur Spezifität der syntaktischen Wandlungen // «Das Wort». *Germanistisches Jahrbuch, DAAD*. Выпуск V. Moskau, 1993. S. 46-51.
59. Нормативность в культуре и языке немецкого барокко // *Литературный язык и культурная традиция*. М., 1994. С.55-77.
60. Предисловие (совместно с В.Я.Порхомовским) // *Литературный язык и культурная традиция*. М., 1994. С.5-8.
61. Рецензия на книгу: Н.Н.Крон. Grundwortschätze und Auswahlkriterien. Metalexikographische und fremdsprachdidaktische Studien zur Struktur und Funktion deutscher Grundwortschätze // *Вопросы языкознания*. 1994. № 6. С.150-152.
62. Rezension (совместно с Б.А.Абрамовым): Grammatik des Frühneuhochdeutschen. Beiträge zur Laut- und Formenlehre. Flexion der Adjektive von H.-J. Solms, K.P.Wegera. Heidelberg, 1991 // *Zeitschrift für deutsche Philologie*. 1994. Bd. 114. H.1. S.146-151.
63. Zu den sozial-geschichtlichen Grundlagen der sprachlichen Differenzierung der frühen deutschen Periodica // *Historische Soziolinguistik des Deutschen*. Forschungsansätze – Korpusbildung – Fallstudien. Internationale Fachtagung. Rostock, 1-3.09. 1992. Stuttgart, 1994. S.109-116.
64. О некоторых новых тенденциях в изучении и преподавании истории языка // *История германских языков в современной высшей школе России* Калуга., 1995. С. 6-14.
65. Формирование литературных норм и типы кодификационных процессов // *Языковая норма. Типология нормализационных процессов*. М., 1996. С.23-47.

66. Введение (совместно с В.Я.Порхомовским) // Языковая норма. Типология нормализационных процессов. М., 1996. С. 11-20.
67. Устная речь и ее отображение в немецкой художественной прозе XVIII столетия // Литературный язык и устные сферы коммуникации. М., РАН, 1996. С.32-43.
68. Обзор "Германские языки" (совместно с Н.С.Бабенко) // Актуальные проблемы российского языкознания: 1992-1996 гг. Материалы к Международному лингвистическому конгрессу в Париже. М., 1997. С. 150-172.
69. Zur Sprache der ältesten deutschen Zeitungen aus dem XVII. Jahrhundert. Stilistische und lokale Schichtung im Wortschatz // Gesellschaft, Kommunikation und Sprache Deutschlands in der frühen Neuzeit. Studien des deutsch-japanischen Arbeitskreises für Frühneuhochochdeutschforschung. Hrsg. von K.J.Mattheier, H.Nitta und M.Ono. München, 1997. S. 301-316.
70. Нормализационные процессы в контексте культурно-исторического развития // Русско-немецкие культурные связи: история и современность. Самара, 1998. С.103-107.
71. К вопросу о соотношении стилистики и лингвистики текста (разграничение аспектов изучения) // Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России. Калуга, 1998. С.8-15.
72. Введение (совместно с В.Я.Порхомовским) // Устные формы литературного языка. История и современность. М., 1999. С.11-26.
73. Устная речь и ее отображение в немецком сентиментальном романе XVIII столетия // Устные формы литературного языка. История и современность М., 1999. С.47-73.
74. Формирование литературной нормы и типы кодификационных процессов // Языковая норма. Типология нормализационных процессов. Российская Академия Наук. Ответственные редакторы д.ф.н. В.Я. Порхомовский, д.ф.н. Н.Н.Семенюк. М., 1999. С. 23-47.
75. Сложное предложение в немецкой средневековой прозе XIII-XIV веков // Язык. Теория, история, типология. Сборник трудов к 90-летию В.Н.Ярцевой. М., 2000. С. 301-309.
76. Немецкий язык (совместно с Б.А.Абрамовым) // Языка мира. Германские языки. Кельтские языки. М., Наука. 2000. С. 216-274.
77. Предисловие (совместно с В.П.Калыгиным) // Языки Мира. Германские языки. Кельтские языки М., Наука. 2000. С. 8-12.
78. К теории вариативности: современное состояние и некоторые перспективы изучения (совместно с Н.С.Бабенко и др.) // Вопросы филологии. 2000. №2 (5). С. 8-19.

79. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. Монография. М., 2000. – 184 с.
80. Soziokulturelle Voraussetzungen der Entwicklung des neuhochdeutschen (17.-20. Jh.) // Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2. vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Hrsg. von W.Besch, A. Betten, O.Reichmann, S.Sonderegger. 2.Teilband. Berlin, New York, 2000. S. 1745-1766.
81. О некоторых спорных вопросах периодизации истории немецкого языка // Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России. Калуга, 2000. С. 8-12.
82. Язык в немецкой культуре XVII столетия (о соотношении языковых и культурных феноменов) // Международная научная конференция «Язык и культура». 14-17 сентября 2001г. Тезисы докладов. М., 2001. С. 112.
83. К вопросу о роли языковой традиции: Лютер и Карлштадт // Язык, литература, эпос. К 100-летию со дня рождения академика В.М.Жирмунского. СПб, 2001. С. 191-198.
84. Язык в немецкой культуре XVII столетия (к соотношению языковых и культурных феноменов) // Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России. Калуга, 2002. С. 88-95.
85. Проблемы дифференциации языка в немецкой лингвистической традиции (к вопросу о терминах) (совместно с Н.С.Бабенко) // Формы дифференциации языка в зеркале национальных терминологических традиций. М., 2002. С. 34-45.
86. О некоторых функциях диалектных и разговорных элементов в немецкой литературе XVII столетия // Вестник МГЛУ. Выпуск 465. Реализация междисциплинарных парадигм в различных типах текста. М., 2002. С. 143-152.
87. Введение (совместно с В.Я. Порхоновским) // Формы дифференциации языка в зеркале национальных терминологических традиций. Материалы круглого стола. Институт языкознания. Проблемная группа по теории литературных языков. М., 2002. С.5-13.
88. Sozial-stilistische Schichtung der mündlichen Kommunikation nach den deutschen Sprachführern des 17. Jahrhunderts // Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses. Wien, 2000. // Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Peter Wiesinger. Bd.3. Aufgaben einer zukünftigen Sprachgeschichtsforschung. Wien, Bern, Frankfurt/M, New York, Oxford, 2002. S.299-304.
89. О некоторых синтаксических процессах в истории немецкого языка и их изучении // Теория, история, типология языков. Материалы чтений памяти В.Н.Ярцевой. Выпуск 1. М., 2003. С. 93-100.

90. История языка и развитие художественной литературы // 100 лет со дня рождения профессора Н.С.Чемоданова. Материалы юбилейных чтений 22-23 декабря 2003 г. М., 2003. С. 55-56.
91. Russland-Österreich. Zur Geschichte der Ideenentwicklung in der Linguistik (совместно с Н.С.Бабенко и Н.Н.Трошиной) // Материалы международной конференции: Россия-Австрия. Этнос и культура в зеркале языка и литературы. М., 2003. С. 103-106.
92. О немецком поэтическом языке XVII столетия (структура и семантика) // Языковые значения: методы исследования и принципы описания (памяти О.Н.Селиверстовой). М., 2004. С.257-264.
93. Россия-Австрия: некоторые параллели развития лингвистических знаний (совместно с Н.С.Бабенко и Н.Н.Трошиной) // Вопросы филологии. 2004. № 1 (16). С.6-10.
94. Из истории развития академической германистики (совместно с Н.С.Бабенко) // Германистика в России: традиции и перспективы. Новосибирск, 2004. С. 3-7.
95. О задачах исторической стилистики (на материале немецкого языка) // Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России. Калуга, 2005. С. 66-81.
96. Эстетический канон и некоторые языковые характеристики немецкого прозаического романа XIII-XV вв. // Языковая норма и эстетический канон. М., 2006. С. 37-53.
97. Предисловие // Языковая норма и эстетический канон. Отв.ред. В.Я.Порхомовский, Н.Н.Семенюк. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 7-18.
98. Ранние немецкие газеты 17 века как источник изучения новых текстовых форм (совместно с Н.С.Бабенко) // Текст, речь, коммуникация. Сборник научных трудов. Выпуск IV. Посвящен юбилею Р.И.Кусовой. Владикавказ, 2006. С. 189-205.
99. О задачах и возможностях исторической стилистики (на материале немецкого языка) // Актуальные проблемы лингвистики. М., 2006. – С. 30-48.
100. Из истории текстовых новаций в немецкой письменности XVII века (совместно с Н.С.Бабенко) // Лингвистическая полифония. Сборник в честь юбилея проф. Р.К.Потаповой. М., 2007. С.254-264.
101. Предисловие // М.М.Гухман «Готский язык». Учебное пособие. Издание 2-ое. М., 2007. С. I-IV.
102. Литературная норма и некоторые формы ее кодификации: историческая последовательность процессов // Личность и модусы ее реализации в языке. Коллективная монография, посвященная юбилею д.ф.н., профессора Ю.М.Малиновича. М., Иркутск, 2008. С. 8-18.

103. Поэтический опыт между сентиментализмом и штурмерством (J.W. Goethe. «Die Leiden des jungen Werthers», 1786) // Литература в культурно-историческом и языковом контексте. М., 2008. С. 104-115.
104. Концепция афинитности в системе историко-грамматических построений В.Г.Адмони (совместно с Н.С.Бабенко) // Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Г.Адмони. 9-13 ноября 2009 г. СПб., 2009. С. 224-225.
105. Жанр текста как лингвистическая реальность (совместно с Н.С.Бабенко) // Горизонты современной лингвистики. Традиции и новаторство. Сборник в честь юбилея Е.С.Кубряковой. М., 2009. С. 713-721.
106. Развитие сложного предложения в немецком языке (XII-XVIII вв.). Монография. М., 2010. – 170 с.

Издательская деятельность

1. Абрамов Б.А. Типология элементарного предложения в современном немецком языке. Под редакцией Н.Н.Семенюк и А.Л. Зеленецкого. Издание 2-ое. Бишкек, 2000. – 122 с.
2. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Учебник для вузов. Сопоставительная типология немецкого и русского языков. Под редакцией Н.Н.Семенюк, О.А.Радченко, Л.И.Гришаевой. М., 2004. – 287 с.
3. Абрамов Б.А. Избранные работы по немецкой грамматике и общим проблемам языкознания. Под редакцией Н.Н.Семенюк, О.А.Радченко, Л.И.Гришаевой, М.Л.Котина, Е.Б.Абрамовой. М., 2003. – 424 с.

Научные переводы

1. Бах А. История немецкого языка. М., 1956. Издание 2-ое. М., 2003.
2. Скаличка В. О венгерской грамматике // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
3. Коржинек И.М. О соотношении языка и речи // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
4. Скаличка В. О фонологии языков центральной Европы // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.

5. Трнка Б. Об омонимии // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
6. Трубецкой Н.С. О морфонологии // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
7. Едличка А. О пражской теории литературного языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.